Е. ПОПОВКИН

СЕМЬЯ РУБАНЮК

КНИГА I

Е. ПОПОВКИН

СЕМЬЯ РУБАНЮК

РОМАН

Книга первая

ЧИСТАЯ КРИНИЦА

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА СОЮЗА ССР
МОСКВА — 1953

Постановлением
СОВЕТА МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР
ПОПОВКИНУ Евгению Ефимовичу
за роман „СЕМЬЯ РУБАНЮК"
присуждена СТАЛИНСКАЯ премия
третьей степени
за 1951 год

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Гроза ушла так же внезапно, как и налетела. Погода к вечеру разгулялась. Лишь на горизонте громоздились тяжёлые облака; их ещё озаряли далёкие зарницы.

Небо, прозрачное и чистое, будто омытое тёплым дождём, излучало ясный, мягкий свет. Возбуждённо гудели шмели над лимонно-жёлтыми шапками подсолнухов, над мокрыми ветвями вишен с нежными, ещё зелёными ягодами.

Ливень застиг садовода Остапа Рубанюка в питомнике, на днепровском острове. Сейчас он пробивался на челне домой. Вода, взбудораженная ветром, перекатывалась вдоль бортов, плескалась под ударами весёл, вывязывая белое кружево пены. Но и волна уже успокаивалась. Голоса ребятишек, бегавших после дождя на берегу, звенели всё отчётливей.

Остап Григорьевич поплевал на ладони,— от этого вёсла словно прилипли к рукам,— и чёлн рванулся вперёд.

На стремнине, передыхая, гребец вытер рукавом обнажённый лоб. Старость к шестидесяти годам оставила голову Остапа Григорьевича почти без волос, щедро посеребрила брови и свисающие усы. Но светлосерые живые глаза остались молодыми, плечи под аккуратным суконным пиджаком — не по-стариковски сильными.

Метров за двести от берега Остап Григорьевич различил среди сновавших у реки людей Василинку. Узнал он свою меньшую дочку по яркоголубой кофточке — материнскому подарку на майские праздники, когда Василинке исполнилось пятнадцать лет.

Встречать отца Василинка приходила каждый раз, когда он долго задерживался в саду. Она усаживалась на старую

корягу, болтала ногами в прохладной воде или, расчёсывая гребешком длинные русые, такие же, как у матери, косы, глядела на сновавшие мимо резвые катера, ползущие шаланды и голосисто распевала свои любимые веснянки.

Но сегодня Остап Григорьевич сразу понял, что Василинка принесла какую-то весть. Она махала ему рукой, что-то кричала, неспокойно перебегала с места на место.

Остап Григорьевич, силясь расслышать, перестал грести. Потом вновь поплевал на широкие, в чёрствых бугринках мозолей ладони, и через несколько минут чёлн мягко ударился о берег.

Василинка с мальчишеской ловкостью вскочила в чёлн, ухватилась за цепь. Карие глаза девушки блестели так возбуждённо, что смуглое, в тёмных веснушках лицо ёе казалось светлее обычного.

— Ты что, дочко? Как на велик-день сияешь.

— Петро наш едет! — ликующе крикнула Василинка.— Ей-богу! Телеграмму прислал... Пишет, чтоб в пятницу коней на станцию присылали...

— Завтра?

— Ага.

Глаза Остапа Григорьевича засветились, как и у дочери. Сына Петра в семье не видели очень давно.

— Мать уже знает?

— Ой! Там же слёз было,— весело откликнулась Василинка. — То смеются, то плачут. Как дытына маленькая...

— Приключи лодку.

Василинка с торопливой готовностью взялась за цепь, поглядывая на отца счастливыми глазами. Продела цепь в кольцо, ввинченное в колоду, ополоснула руки потеплевшей от дождя водой.

— Побежать Настуньке похвалиться? — сказала она, вопросительно посмотрев на отца.

— Ну, что ж...

Остап Григорьевич догадался, что не ради Насти, своей подружки, пойдёт дочь к председателю колхоза Девятко. Однако он и вида не показал, молча кивнул.

Василинка откинула на спину косы и зашлёпала босыми ногами вдоль берега, легко перепрыгивая водомоины.

Отец загляделся ей вслед. Вот такой же, порывистой и ласковой, с тяжёлыми светлорусыми косами, смуглым румянцем и быстрыми карими глазами, была её мать, когда он впервые увидел её в Богодаровке. Да и старшая, уже

замужняя дочка Ганна такая же задорная, жадная до работы и до веселья.

«Эх, дивчата, как гусята,— подумал Остап Григорьевич, провожая глазами Василинку. — Только перьями обрастут — поразлетаются...»

Василинка, будто знала, о чём думает отец, помахала ему белой косыночкой и перед тем, как подняться по переулку в село, крикнула:

— Та-ату-у-у! Скоро верну-у-усь!..

До хаты Кузьмы Девятко ближе всего было итти напрямик, огородами и садом, спускавшимся к Днепру. Но Василинка пошла улицей. Как знать, может, встретятся по дороге подружки, и им можно будет похвалиться телеграммой Петра.

За три года отсутствия брата сильно изменилась Василинка, выросла в смышлёную, бойкую девушку. Радостно глядела она на жизнь; ей было хорошо и в семье и среди школьных подружек.

В семье больше всех её баловал Петро, и теперь Василинка с нетерпением ждала его приезда из Москвы.

Запыхавшись, Василинка вбежала во двор Девятко.

На соломенной крыше хаты стоял в гнезде из сухих сучьев голенастый аист. Он дремал, поджав длинную, с красной сетчатой кожей ногу. Вспугнутый стуком калитки, аист тяжело расправил крылья и перелетел на клуню.

— А, чтоб тебя! — вздрогнула Василинка.

Нехорошо тревожить птицу, приносящую счастье дому. Василинка виновато посмотрела на аиста, сердито захлопавшего клювом, и пошла тихонько, на носочках.

Меж деревьев, за плетнём, мелькнула синяя косынка Насти. Вместе с матерью, дородной полтавкой, она сажала капустную рассаду в мокрую после дождя землю.

Василинка с ловкостью котёнка пробралась меж грядок к подружке и присела на корточки. Глаза её блестели.

— А что я тебе скажу, Настунько?

— Что?

В серых, чуть раскосых глазах Насти вспыхнуло нескрываемое любопытство. По такой грязюке Василинка зря не примчится.

— Сказать?

— Не хочешь — не говори. Очень мне нужно...

Настя сделала нарочито равнодушное лицо.

— Батько, наверно, что-нибудь купил тебе?

Василинка видела, что Настунька сгорает от любопытства. Но и ей самой не терпелось скорее объявить свою новость.

— Петро наш завтра тут будет! — выпалила она.

— Нет, правда? Побожись.

— Стану я тебе божиться.

— Значит, врёшь.

— Ей-богу, верно!

— Чуете, мамо? — крикнула Настя, откинув прядь светлых волос со лба.— Петро ихний приезжает.

— Письмо прислал? — спросила мать и перестала сажать.

— Телеграмму.

— Батьке с матерью большая радость будет...

Василинка шушукалась с Настей, а сама нетерпеливо поглядывала по сторонам. За вербами садилось в лиловой дымке багровое отяжелевшее солнце. Мокрая земля запахла корневищами трав. На мгновение у горизонта заиграла в облаках лучистая дорога. Свет залил всё, что было видно вокруг: деревья, кровли хат, ветряки на взгорке. И даже одинокая влажная травинка на обочине грядки вспыхнула ярким зелёным пламенем.

— Где же ваша Оксана? — спросила Василинка.

— Скоро придёт... Да вон она, около хаты.

Оксана, старшая дочь председателя, старательно очищала у порога грязь с сапог. Настя поманила её рукой.

— Новость еще не слыхала? Петро приезжает,— лукаво произнесла Василинка.— Завтра,— добавила она, замирая от счастья.

Оксана пытливо, с недоверием глядела на девчонок.

— А вы не привираете? — спросила она, подозрительно сощурив глаза.

— «Привираете»... Здравствуйте! — обиделась Василинка.— Батько на вокзал завтра едут.

Настя хитро усмехнулась:

— Что же ты покраснела, голубко?

— Ничего я не покраснела,— с замешательством сказала Оксана.

— Ой, лышечко! Ещё и отказывается... Глянь, чисто пион.

— Вот привязалась! Ты своими глупостями кого хочешь в краску вгонишь.

Глаза Насти сузились. Не так-то легко было отделаться от неё.

— Куда же ты теперь Лёшку своего денешь? — с ухмылкой спросила она. — Поперебивает ему, несчастненькому, ножки Петрусь-сердце.

— Мелешь ты чёрт-те что,— с досадой сказала Оксана.

Она, сердито нахмурившись, сорвала былинку, зажала её в зубах. Скинув с плеч чёрный, с кумачовыми розами платок, девушка пошла в хату.

В маленькой боковой комнатке у распахнутого окошка чуть вздрагивали от ветерка полотняные рушники. На них ещё руками матери были вышиты по канве красные и чёрные петухи, пожелания «Доброго ранку». Перед замужеством дивчата просиживают за таким рукоделием длинные зимние вечера. Потом всю жизнь напоминают крутогрудые петухи о беспечной девичьей поре.

На угловом столике, под репродукцией репинской картины «Запорожцы», которую привёз в прошлом году из Киева отец Оксаны, лежала аккуратная стопка книг, стояли прикрытые марлей склянки и баночки. В селе Оксану полушутя звали «докторшей»: ещё подростком она активно посещала санкружок, научилась подавать первую лечебную помощь. Среди её книг больше всего было медицинских.

Бросив на стол платок, Оксана поправила перед зеркалом тёмную, с рыжеватым отливом косу, дважды обвивавшую голову. Синие глаза её улыбнулись своему отражению: «Не узнает, совсем ещё девчонкой была...»

Оксана села на лежанку, устланную цветастым рядном, порылась в своём сундучке, достала несколько фотографий и разложила их на коленях.

На одной — Петро Рубанюк среди сельских хлопцев-комсомольцев. Руки у всех вытянуты по швам, мальчишеские лица напряжены. Петро уткнул палец в развёрнутую книгу, а глаза впились в аппарат, — снимались парни впервые.

Другой снимок Петро привёз из Москвы. Снялся он с товарищами-студентами после окончания второго курса Тимирязевки. Тот же вьющийся чуб, простая косоворотка под пиджаком. Но уже другой, не простодушный сельский парень смотрел с фотографии дерзкими, весёлыми глазами.

Оксана, низко склонившись, разглядывала снимки. Она всё ещё не верила, что Петро завтра будет в Чистой Кринице.

Ей хотелось убедить себя в том, что его приезд вызвал у неё лишь обычное любопытство, как если бы в село вернулся любой другой земляк. Но ощущение тревоги и в то же время радостного возбуждения, которого Оксана не могла унять, заставило её почувствовать, что обмануть себя она не сможет.

В памяти её возник тот вечер, когда они прощались с Петром во время его последнего приезда из Москвы. Тогда ей, шестнадцатилетней девушке, впервые довелось пережить чувство, о котором она вспоминала даже сейчас с замиранием в душе. Она тогда не понимала, что с ней творилось, но ощущала, что так хорошо, как с Петром, ей ещё никогда и ни с кем не было.

Первое время Петро писал ей из Москвы часто, подробно описывал столицу, сельскохозяйственную академию, новых товарищей. Но года через полтора письма стали приходить всё реже, воспоминания потускнели.

Оксана, глубоко оскорблённая тем, что Петро почти перестал ей писать, чувствовала себя одинокой и старалась не вспоминать о нём. Но против её воли долгое время хранило образ Петра упрямое, верное сердце.

Через некоторое время письма совсем перестали приходить. «И не надо! Учёный больно стал! Что ему селянская дивчина, он себе, верно, городскую студентку нашёл, — ревниво думала она. — Ну и пускай. Проживу и без него! Разве я в поле обсевок?»

А вскоре случилось так, что полюбил Оксану задорный и весёлый Алёша Костюк, брат задушевной подружки.

Нет, не принесла ей тепла, веселья и радости любовь Алексея! Не тянулась к нему душа; не билось тревожно и взволнованно сердце, когда на вечёрке, минуя всех дивчат, к ней, только к ней шёл озорной и настойчивый Алексей Костюк. Во время танцев жадное прикосновение его больших и горячих рук не только оставляло Оксану равнодушной, но, наоборот, будило воспоминание о Петре, о единственной прогулке с ним.

...В ласковую летнюю ночь они шли, держась за руки, по берегу Днепра. И в те минуты возникла между ними та теплота и близость, которая придала Петру смелости, и он впервые дал понять, что девушка дорога ему. Вот почему, когда Алексей стал упорно добиваться ответа на вопрос, пойдёт ли она за него замуж, Оксана ответила ему неопределённо:

— Подождём, Леша! Мне ещё учиться надо. Да и тебе следовало бы о техникуме или институте подумать. Ты же так в свои моторы влюблён...

— Поженимся, вместе и поедем, — не отставал Алексей. — На инженера выучусь, это для меня дело не трудное.

Он и действительно раздобыл где-то специальную литературу, обращался к Оксане за разъяснением непонятных слов, и девушка помогала ему охотно и дружелюбно.

Но втайне, сравнивая Алексея с Петром, Оксана убеждалась всё больше, что никогда не сможет Костюк покорить её сердце так, как Петро. Ему и только ему девушка могла быть верной, беззаветно ждать его долгие годы.

«О Лёшке Петру сразу прожужжат уши», — подумала Оксана.

Впервые её отношения с Алексеем, чистые и целомудренные, предстали перед ней как измена; сердце её тревожно сжалось, и Оксана взволнованно зашагала по комнатке.

За дверью заскрипели под босыми ногами ступеньки крылечка. Оксана, вздохнув, убрала снимки на место, достала будничную юбку и кофточку.

Настя вошла в комнату, внеся с собой запах дождя и трав. Она швырнула на лежанку охапку любистка и мяты и, сердито глянув на сестру, сказала:

— Ступай корову доить.

— А мать?

— На огороде ещё.

Настя без видимой надобности потопталась около стола. Не оборачиваясь, спросила:

— Рада, небось?

— Ну, рада. Тебе-то что?

— Радоваться, вроде, нечего. Как ты, голубка, за Лёшку оправдаешься?

Оксана, хотя и была старшей, обычно отмалчивалась, когда Настя начинала её задирать. Но сейчас вспылила:

— Ты чего хочешь? Чтоб мать тебе язычок укоротила? — повысила она голос.— Гляди, доиграешься.

Настя независимо повела плечами. Связывая в пучки духовитую мяту, она исподлобья наблюдала за сестрой. Потом примирительно сказала:

— Я б Петра ни на кого не сменяла. Лучше, чем он, парня в селе не было.

— Ну, хватит,— строго оборвала её Оксана.— Не твоего ума дело.

Она достала чистое полотенце и пошла в кухню за подойником. Выпуская из хлева белолобого, радостно взбрыкивающего телёнка, Оксана засмеялась, увидев, что вместо подойника у неё в руках сито.

II

Кузьму Степановича Девятко, отца Оксаны, шесть лет назад избрали председателем колхоза. В Чистой Кринице почитали его как человека рассудительного, в обращении с людьми приветливого, характера настойчивого и неподкупного, а главное — неутомимого работягу, хотя ему давно уже перевалило за пятьдесят.

Неторопливо, с палочкой в руках, обходил он за день все бригады, птичью и животноводческую фермы, пасеку, кузнечную и столярную мастерские. И всюду, где бы он ни появлялся, его встречали с искренней почтительностью. Знали, что если и подметит Кузьма Степанович какие-нибудь упущения, то браниться не станет, а спокойно всё растолкует, покажет и назавтра обязательно наведается снова — проверить. Всё, до последних мелочей, он держал в памяти, не записывая.

Всегда и всем интересующийся, он удовлетворял свою любознательность тем, что выписывал около полдюжины газет и журналов. Кузьма Степанович просиживал над ними до вторых петухов, стойко выдерживая бурное негодование жены.

Жену Пелагею Исидоровну, или, как её запросто называли многие, Палажку, Кузьма Степанович вывез с Полтавщины, где в молодости батрачил на свекловичных плантациях. В доме она была полновластной хозяйкой, и Кузьма Степанович втайне её побаивался. Смысл своей жизни она видела в том, чтобы в семье было всего вдосталь — и в сундуках и в амбаре. Она ревниво придерживалась старинных обрядов и обычаев. Очень хотелось бы ей ходить и в церковь, но тут уж Кузьма Степанович восстал так яростно, проявил такую непоколебимость, что она уступила. Зато в свою очередь отстояла иконы, которых было у неё множество.

Дебелая, по-мужски сильная, она к сорока пяти годам не утратила цветущего здоровья. Косам её, туго скрученным

под очипком [1], могли позавидовать девчата; ровные крепкие зубы, румянец и строгие чёрные глаза запоминались надолго каждому, кто видел её впервые.

На разговоры Пелагея Исидоровна была скупа, с соседками никогда ни о ком не судачила, за что её считали гордой, хотя и напрасно. Малоразговорчивой и нелюдимой она была с детства.

В дочках своих, Оксане и Настуньке, она мечтала увидеть хороших, домовитых хозяек. И когда Оксана, закончив в 1940 году десятилетку, выразила желание ехать учиться в Киев, в мединститут, мать воспротивилась.

— Раз ты науками себе голову забила,— упрямо твердила она,— учителюй или фельдшеруй тут на глазах батька́. От рук отобьёшься, девки теперь такие норовистые пошли...

Но упрямство и неподатливость Пелагеи Исидоровны натолкнулись на своенравный, от неё же унаследованный характер дочери.

— Вы, мама, хотите, чтоб дочки ваши ничего, кроме своего двора, не увидели, — сказала однажды Оксана запальчиво. — Ну, то, знайте, из этого ничего не выйдет! Поеду в Киев!

Она никогда не говорила с матерью так резко, и та посмотрела на неё с удивлением.

— Ну, а что ж, на самом деле, — уже более сдержанно сказала Оксана. — Советская власть дала возможность каждому человеку проявить свои способности, где он хочет, а вы упёрлись на одном: «Сиди дома». Люди над вами смеяться будут. Кому это нужно? Я хочу быть врачом, значит пользы принесу больше там, где мне мило...

Отец стал на сторону дочери. Оксана была способной, в школе училась отлично, увлекалась биологией, естествознанием, активно участвовала в школьном санкружке. И Кузьма Степанович мысленно уже представлял себе её в белом халате, среди сверкающих мудреных инструментов, приборов, пузырьков и склянок с латинскими надписями. На них Кузьма Степанович, когда ему доводилось бывать в больнице, поглядывал с большим уважением.

В спорах с Оксаной мать не получила поддержки даже у четырнадцатилетней Настуньки, решившей посвятить себя скромному ремеслу колхозной модистки.

---

[1] Очипок — домашний головной убор замужних женщин (укр.).

— Что вы её держите? Пускай едет, а я уж дома с вами буду, — уговаривала Настунька мать. — Другие вон учатся. А чем наша Оксана хуже Кати Мельниченковой или Одарки Горбаневой?

В конце концов мать согласилась отпустить Оксану в город, и девушка с нетерпением ожидала осени. За лето она перечитала много книг, которые доставала в сельской библиотеке и школе. Особенно большой след оставили в душе девушки «Мать» Горького и «Овод» Войнич. В двух этих различных книгах Оксану глубоко взволновали образы героев, стойкость которых показывала внутреннюю душевную красоту, высокую моральную чистоту человека. Пытаясь сравнивать себя с ними, Оксана с огорчением думала о том, что, живя в своём родном селе, она никогда ничем не сумеет походить на них. Но позже Оксана поняла, что у человека, который любит свою родину, свой народ, эта любовь выражается не только в героическом подвиге или героической смерти.

Она часто вспоминала, как Петро Рубанюк, собираясь в Москву после своего последнего приезда летом тридцать восьмого года, полушутя сказал ей:

— Не отставай, Оксана. А то вернусь профессором, а ты только и умеешь, что рушники да платочки вышивать.

И уже серьёзно добавил:

— Живём один раз, Оксана. Прожить надо так, чтобы ни перед людьми, ни перед собой не было стыдно. Обязательно учись, я тебе всегда помогу...

Сказал он это ей не так, как сказал бы любой другой дивчине; в тот вечер добился он у Оксаны обещания ждать его...

В одиночестве, скрывая свои мысли даже от задушевной подруги, она часто представляла себе: Петро вернётся из Москвы и увидит, что Оксана не забыла этих последних его слов. Она умеет не только вышивать рушники и платочки, и если Петро не шутя добивался обещания ждать его и сам найдёт в себе силы пережить долгую разлуку честно и незапятнанно, Оксана будет достойной женой; краснеть Петру за неё никогда не придётся.

Но когда Петро перестал приезжать на каникулы и стал писать всё реже, Оксана решила, что в Москве ему встретилась другая девушка, может быть и умней, и образованней её...

Тайком, никому не признаваясь, перестрадала Оксана горечь жгучей обиды, гордую девичью ревность. «Нашёл

себе, ну и пускай», — думала она, но теперь ей стало совсем скучно в Чистой Кринице.

В августе сорокового года она собралась ехать в Киев, но накануне её отъезда тяжело заболела мать и месяц не поднималась с постели, чего с ней раньше никогда не случалось. Бросить её и отца на Настуньку Оксана не могла. А когда мать выздоровела, давно уже прошли сроки приёма в институт.

Всё же Оксана решила ехать, дав себе зарок, что будет учиться, каких бы усилий ей это ни стоило.

В Киеве Оксана бывала раньше, поэтому разыскала своих дальних родственников без труда. Оставив у них чемоданчик, она пошла в мединститут.

Чувствуя, как колотится сердце, поднялась она по лестнице. Побродила по длинным коридорам, с завистью разглядывая девушек и юношей; они держались уверенно, громко разговаривали о лекциях, профессорах, семинарских занятиях. Оксана заметила любопытство, с каким некоторые разглядывали её смущённое, растерянное лицо, и сама себе показалась смешной и несуразной в своём цветастом платке и праздничном синем жакетике, с накрахмаленным платочком за рукавом.

Она перечитала все объявления, приказы, расписания, расклеенные на доске. Около одного объявления задержалась. Учебная часть института сообщала о научной студенческой конференции, созываемой 22 сентября. Студент второго курса сделает доклад: «Павлов и условные рефлексы».

Оксана много читала о работах Павлова, и присутствовать на такой конференции было бы для неё очень интересно.

Когда коридоры опустели, она отыскала дверь, за которой должна была решиться её судьба.

За столом, в углу огромной комнаты, в которую вошла Оксана, сидела, углубившись в бумаги, девица.

— Вы что хотите? — спросила она.

— Мне к директору.

— По какому делу?

— По очень важному.

— Вот как! Даже по очень важному?

Девица с улыбкой взглянула на раскрасневшееся лицо Оксаны, окунула в чернила перо и принялась старательно

снимать с него прилипший волосок, изящно оттопыривая мизинец с малиновым ноготком.

— По какому именно делу? — спросила она.— Я секретарь директора.

— Мне нужен сам директор,— настойчиво сказала Оксана.

Секретарша пожала плечами и, небрежно кивнув на вторую дверь, сказала:

— Директор у себя.

Расстояние, которое отделяло стол девицы от директорского кабинета, Оксана прошла с таким чувством, словно ей предстояло сейчас самое страшное в жизни. Её воображению представился суровый профессор, почему-то обязательно с сухим, рассеянным лицом. Он, конечно, не захочет и выслушать её.

Но, переступив порог, Оксана увидела молодого стройного человека. Он приветливо взглянул на неё и поднялся из-за стола.

Лицо Оксаны так раскраснелось от волнения, что директор, не дожидаясь вопроса, спросил:

— Чем смогу вам помочь, товарищ?

— Приехала поступать в институт,— приободрившись, сообщила Оксана.— Я немножко опоздала, но не по своей вине...

Она, торопясь, чтобы её не перебили, рассказала, как ей трудно было вырваться в Киев, как, наконец, уговорила родителей, а потом болезнь матери помешала приехать своевременно.

Директор слушал её очень внимательно. Сердечность, с которой он отнёсся к просьбе, успокоила Оксану. Она почувствовала, что директор понимает и одобряет её страстное желание учиться и поможет ей осуществить свою мечту. Но когда Оксана умолкла и с надеждой посмотрела на директора, он нахмурился.

— Сколько вам лет? — неожиданно спросил он.

— Восемнадцать.

Директор энергично побарабанил пальцами по столу. Стараясь говорить возможно мягче и убедительнее, он сказал:

— Очень сожалею. Очень. Вижу, что вы серьёзно относитесь к поступлению в вуз. Но раньше следующего года я ничего не смогу для вас сделать. Приём прекращён. Но это не так страшно, вы ещё молоды...

Пришла в себя Оксана только на улице, почувствовав, что на её сердитое, заплаканное лицо оглядываются прохожие.

Голосисто перезванивались трамваи. Несмотря на осень, было тепло от нагретого солнцем асфальта. На каждом углу продавали цветы. Оксана шла сперва шумными, оживлёнными улицами, потом пустынными в этот час каштановыми аллеями.

Так она забрела на Владимирскую Горку и, поражённая красотой, неожиданно представшей перед её глазами, остановилась.

Внизу, переливаясь серебряными блёстками, синел Днепр. Огромный мост, уходивший вдаль, к песчаным отмелям и водным станциям на противоположном берегу, казался воздушным. Пароходы, баржи, шаланды...

Залюбовавшись, Оксана отвлеклась от горестных мыслей, а потом и совсем успокоилась. В конце концов она ведь знала, что ей не легко будет добиться желанной цели. Завтра она снова пойдёт к директору института, и теперь уже ему не удастся так легко от неё избавиться. Или с утра отправится в Наркомздрав...

Оксана вспомнила, что ничего сегодня не ела. Родственники, у которых она остановилась, жили на другом конце города. И пока она до них добралась, солнце зашло, в воздухе повеяло прохладой.

Наскоро и без удовольствия она поела; вышла в садик и присела на скамеечку. Весь вечер и всю ночь ей предстояло томиться в ожидании того часа, когда она сможет пойти в Наркомздрав. И вдруг она вспомнила, что вечером в институте состоится научная конференция, о которой сообщалось в объявлении.

Оксана надела самое лучшее своё платье, тщательно заплела косу и, боясь опоздать, побежала к трамвайной остановке.

Большой лекционный зал, на который указал ей швейцар, был ещё пуст. Затем постепенно он заполнился студентами, преподавателями. Грустно было Оксане чувствовать себя чужой и одинокой среди этой весёлой, смеющейся молодёжи. Заметив за столом президиума директора, она обрадовалась ему, как старому знакомому.

Наконец, доклад начался. Облокотившись на ручку кресла, Оксана слушала с таким вниманием, что сидевшие рядом парни стали шептаться и пересмеиваться. Один светло-

русый, подвижной парень, в украинской вышитой сорочке, наклонился к её уху и, озорничая, сказал:

— Нравится оратор, что вы так впились глазами в него?

Оксана удивлённо посмотрела и отвернулась. Ей было необычайно интересно всё, что говорил докладчик о современном взгляде на торможение условных рефлексов, о том, какое значение придавал академик Павлов внешним причинам воздействия, о его знаменитой «башне молчания».

С таким же интересом слушала Оксана и двух других студентов, дополнявших докладчика.

— А посторонним можно выступать? — нерешительно спросила она у соседа.

— Почему же нет? Вы разве не студентка?

Оксана не ответила. Ей хотелось выйти и рассказать о том, как она долгими вечерами просиживала над книгами Павлова. Но при мысли о том, что её будут слушать врачи, учёные, у неё перехватило дыхание, начало громко колотиться сердце.

Светлорусый студент легонько подтолкнул её:

— Ну, смелее. Видите, никто больше не просит слова...

Он встал и звонко крикнул:

— Здесь вот девушка не решается выступить...

Все оглянулись. Оксана испуганно уткнула лицо в ладони. Что могла она, деревенская девушка, сказать интересного людям, к которым сама пришла за знаниями? Да у неё от страха язык прилипнет к гортани! И дёрнула её нечистая сила задеть этого белобрысого студента!

Оксана, не отнимая левую руку от горящего лица, правой поспешно извлекла из-за рукава платочек и вытерла пот, обильно выступивший на лбу.

— Смелость города берёт, — шептал над её ухом сосед, посмеиваясь и продолжая легонько подталкивать.

— Ну... если... осрамлюсь... — пробормотала Оксана.

Но она всё же поднялась и, провожаемая любопытными взглядами, прошла вперёд.

Директор узнал её, поощряюще улыбнулся.

— Простите, ваша фамилия? — спросил он.

Оксана сказала.

— Итак, слово имеет колхозница Оксана Девятко,— объявил директор.

В зале дружно зааплодировали и, как только Оксана подошла к трибуне, воцарилась тишина.

У Оксаны вмиг вылетело из памяти всё, о чём она собиралась говорить. Она с ужасом оглянулась на директора, немеющими пальцами стиснула крышку столика, у которого стояла.

В зале ждали. Седой старичок в переднем ряду надел очки, стараясь разглядеть её, девушки за его спиной ободряюще закивали ей. И Оксана отважилась.

— Я хочу сказать об иррадиации рефлексов,— звонко произнесла она, и в зале снова шумно зааплодировали.

— Вернее... Я прочла много книг. Брала их в местной больнице, у врачей. Читала труды академика Павлова об условных рефлексах, «Топографическую анатомию» Пирогова, работы Тимирязева, Сеченова, Мичурина. Я запиралась в своей комнатушке или пряталась в саду за хатой и читала, читала. И у меня родилось стремление самой... Мне захотелось проверить, своими руками произвести опыты над лягушками. Я пробовала. И вот... когда изучала вопрос об иррадиации рефлексов, — продолжала Оксана окрепшим голосом, — если помещаешь одну лапку лягушки в раздражающую среду, то образуется защитный рефлекс. Так? Я брала соляную кислоту... А если придержать эту лапку в кислоте, то защитный рефлекс образуется на второй. Тогда я и её придерживала в кислоте. Защитный рефлекс возникал на передней. То-есть происходило распространение рефлекса по всему организму...

Заметив, что её слушают уже без снисходительных улыбок, а с интересом, Оксана уверенно заговорила о торможении условных рефлексов, о внешних и внутренних факторах их угасания...

Когда она кончила и студенты захлопали в ладоши, директор поманил её.

— Молодец, Девятко,— пожимая ей руку, сказал он.— Вы завтра часикам к двенадцати загляните ко мне. Сможете?

Оксана радостно кивнула головой.

...Домой она возвращалась радостно возбуждённая, перебирая в памяти мельчайшие подробности этого чудесного вечера.

На следующий день директор сообщил, что Наркомздрав разрешил её принять.

— В виде исключения,— добавил он многозначительно.

Счастливая, ликующая Оксана порывисто поблагодарила директора. Весь вечер просидела она на берегу родной реки. Вглядываясь в широкую водную даль, пыталась представить себе завтрашний день, заглянуть в будущее. Студентка... первый... второй... четвёртый курс... Затем медик, учёный, продолжатель бессмертного учения Павлова. В строгой, чистой лаборатории, в белоснежном халате, она будет упорно и настойчиво проводить опыт за опытом... Бегут минуты, часы, дни, месяцы, может быть и годы... И она делает открытие! Сотни, нет, тысячи людей спасены благодаря ей, Оксане!

И внезапно оборвались тревожные, волнующие раздумья девушки: где-то в самой глубине упорно помнящего сердца ощутила она острый укол: «А Петро?!»

Оксана ответила сердцу:

«Петро? Теперь мы с ним равные. Потягаемся. Я в учёбе себя не посрамлю! — И, улыбнувшись горделиво и торжествующе в вставшие перед мысленным взором ласковые и блестящие глаза Петра, впервые открыто, не таясь даже от самой себя, она призналась: — Нет, не могу я без тебя, мой любый Петрусь!»

Через три дня Оксана как отличница школы была без испытаний зачислена студенткой первого курса.

Осень и зима, заполненные лекциями, семинарами, пролетели для неё незаметно. А летом она приехала на каникулы в Чистую Криницу. После стольких месяцев разлуки с родным селом ещё милей стало её сердцу всё, что напоминало о минувшем детстве: заросшие полынью и повиликой плетни за садом, школьные подружки, малиново-золотые закаты за Днепром, беленькие уютные пароходы, позлащённые солнечными лучами.

Отдыхая, с наслаждением занималась она привычной домашней работой: доила корову, копалась в огороде, ездила с Настунькой в луга за травой. Тёплыми вечерами с закадычной подружкой Нюськой и братом её Алексеем ходила к Днепру или в колхозный клуб, и казалось Оксане, никогда ещё не была она так счастлива, как в эти дни...

III

— Нюська! Уже спишь?

Из сада в открытое окно тихонько просунулась голова. Оксана, часто дыша, вглядывалась в темноту; глаза её раз-

личили, наконец, смутно белевшую на кровати сорочку спящей подруги.

— Эй, баба-соня,— шопотом окликнула ещё раз Оксана.— Нюська!

— Кто тут? — испуганно спросил сонный голос.

Скрипнув кроватью, Нюська быстро спустила ноги на пол, шагнула к окну.

— Ты что так поздно? Или случилось что?.. Лезь в хату.

Оксана взялась за подоконник, легко спрыгнула в комнату.

— Я легла уже... Никак сон не идёт... Хоть кричи. Оделась и вот... прибежала.

Нюська ощупью отыскала протянутую руку, усадила Оксану рядом с собой на постели. Дивчата сдружились ещё в школе. С прямодушной откровенностью крестьянских девушек они доверяли друг другу самые затаённые мысли и мечты.

Оксана прилегла на кровати.

— Не вернулся брат из района? — спросила она шопотом.

— Лёша? Нет, ещё не вернулся.

Оксана полежала молча, потом сообщила:

— Петро завтра приезжает.

По её голосу Нюська сразу определила, что Оксана взволнована.

— Ну, что же,— притворно зевая, ответила она.— Поглядим, какой он герой стал. Наверно, и не подступишься к нему... учёный...

Оксане ясно было, что Нюська хитрит, но ей очень хотелось ещё поговорить о Петре.

— Интересно на него поглядеть. Правда? — сказала она.

Нюська промолчала, и Оксана добавила:

— Он молодец. Ему двадцать четыре, а он уж академию закончил.

— Ты, я вижу, голубонька, что-то затревожилась?

— И сама не знаю, почему,— чистосердечно призналась Оксана.

— А как же Лёшка?

— Что Лёшка?

— Заморочила ему голову... Только и говорит про тебя.

— Не дури.

— Ты не дури, бессовестная!

Нюська резко выпростала руку и приподнялась на локте.

— И себя, и меня дуришь. Скажи, чего ты всполошилась? Едет, ну и пусть себе едет...

— Нюська!

— Уже девятнадцать лет Нюська.

Тон у неё был такой, что Оксана съёжилась и затихла. Но ненадолго.

— Ты не горячись... Вот смотри,— робко начала она.— Петра я три года не видела. Он, наверно, и думать забыл обо мне.

— Ты вот его не забыла?

— Ну, так что же?

— Значит, любишь?

— Не знаю... Я же, когда он последний раз приезжал, совсем маленькой была... девчонка.

— А Лёшка?

— Он хороший у вас...

— Лёшка ведь сватался за тебя. Чего же ты?.. Туда-сюда крутишься.

— Нет, Нюська! Замуж я ни за кого не пойду, пока институт не закончу.

Оксана глядела на неясно вырисовывавшийся квадрат окна. Чуть слышно шелестели листья, беспечно высвистывал соловей.

— Нюська...

— А?

— Нюська, чего у меня сердце болит? Вот тут, гляди...

Оксана прижала её руку к своей груди.

— Так тоскливо мне... ох!

— Чего это ради?

— Не знаю.

Нюська вздрагивала, борясь с одолевавшей дремотой, и вдруг услыхала, что Оксана плачет.

— Ты в своём уме, дивчино? Что это с тобой?

Нюська повернула к себе голову Оксаны, прикоснулась губами к её мокрым глазам. Она по себе знала сладость этих беспричинных девичьих слёз, знала, что они пройдут так же быстро и легко, как и появились, и потому больше ни о чём не допытывалась.

Всё ещё всхлипывая, Оксана укоризненно пробормотала:

— Какая же ты подружка после этого?

— После чего?

— Я плачу, а ты нет.

Нюська засмеялась:

— Ты и сама не знаешь, чего ревёшь.

— Тебе хорошо. Полюбила своего Грицька и знать ничего не хочешь.

— Погоди! И ты кого-нибудь полюбишь.

Обнявшись, девушки долго лежали молча. Услышав ровное, спокойное дыхание задремавшей Оксаны, Нюська осторожно поправила под её головой подушку. Но Оксана тотчас же встала и начала закручивать косу.

— Ночуй у меня, Оксанка,— предложила Нюська.

— Ой, что ты! Мать же не знает, что я ушла.

Нюська проводила её на крылечко. У порога подружки постояли. Оксана, поёживаясь, сказала:

— Ты Лёше не рассказывай, что я плакала. Знаешь, какой он шальной...

IV

В пятницу Остап Григорьевич проснулся рано. Выглянул в окно. Заря только занималась. На посветлевшем небосклоне догорали последние звёзды, ещё тонули в предутренней зыбкой полутьме очертания высокого берега за Днепром, вербы и тополи.

Остап Григорьевич опустил ноги с пола [1]. Потирая рукой волосатую грудь, он смотрел, как жена топила печь. С вечера зарезали гуся, подходило тесто для калачей, наполняя кухню кислым хмельным запахом.

— Чего рано схватился? — спросила Катерина Федосеевна, не отрывая взгляда от полыхавшего пламени.

— Выспался.

Остап Григорьевич громко, во весь рот, зевнул, шагнул к сундуку, извлёк оттуда праздничный костюм.

— Сашка́ возьмёшь на станцию? — приглушенным голосом спросила Катерина Федосеевна.— Крик ещё с вечера поднял. Просится ехать.

Сосредоточенно посапывая, Остап Григорьевич прилаживал несходившиеся шаровары. Глухо буркнул:

— Нехай спит.

---

[1] Пол — широкая деревянная кровать (укр.).

— Возьми. Слёз не оберёшься.

Будто в подтверждение сказанному, на печи стремительно возникла стриженая голова девятилетнего Сашкà. Он, глядя ещё сонными глазами на отца, приготовился зареветь.

— Вот, пожалуйста,— добродушно усмехнулась мать.— Такого удержишь? Нехай едет.

Сашкó начал проворно натягивать штаны.

— Добре. За конями будет смотреть. — Отец махнул рукой.

Сашкò только сейчас заметил на отце праздничные шаровары и с негодованием откинул свои, требуя новые, из сундука.

— Дурачок, — урезонивала мать. — Ладные штанцы, чего же в дороге праздничные пачкать.

— Ничего не пачкать!

— Эти же красивше.

— Ничего не красивше!

— Да ты спи ещё, такой-сякой! — прикрикнул отец. — Ну? Чего смотришь? Спи, тебе говорят!

Но сон уже покинул хату. В маленькой комнатушке, вздыхая, одевалась Василинка. Ей предстояло сбегать в Богодаровский лес за квитченням[1]. Сашкó, заискивающе глядя на мать, приник к открытому сундуку.

Остап Григорьевич вышел на крыльцо. За чёрной каймой сосновое бора мягко золотилось небо. От палисадника поднимался густой аромат ночных фиалок, крепким настоем плавал над подворьем.

Поскрипывая свежесмазанными сапогами, Остап Григорьевич прошёл к воротам; голубенькая лента дыма из трубки тянулась за его новым картузом.

Мимо бежала соседка с вёдрами на коромысле. Увидев старого Рубанюка, остановилась.

— Доброго ранку, дядька Остап.

— Доброго здоровья, Степанида.

— Петро, говорят, приезжает?

— Приезжает.

— Кончил своё учение?

Остап Григорьевич снисходительно посмотрел на неё.

— Кончил, раз отпускают из Москвы.

---

[1] Квитченн я — ветки дуба и клёна для украшения хаты и двора (укр.).

Сердцу его было очень приятно поговорить о сыне, и он, опасаясь, что Степанида уйдёт, смягчил голос, уже более словоохотливо и доверительно сказал:

— Этот долго на месте не усидит, чтобы без науки. У него ж, сама знаешь, порода какая... С малых лет беспокойный. То на тракториста кинулся учиться, то водяной движок целое лето мастерил. А то, бывало, с лекарни его не вытянешь. В какие-то телескопы с фершалом всё глядели на эти... дай бог памяти... енфузории.

— Так, так, — поддакивала Степанида. — А Ванюшка ваш ничего не пишет?

— Давно не писал.

— Что ж это он?

— Ещё напишет...

Остап Григорьевич выколотил трубку, сунул в карман. Проводив взглядом стайку диких уток, прошелестевших невысоко над головой, он вернулся к хате.

Просторная, весёлая усадьба Рубанюков раскинулась за аккуратным плетнём, на развилке двух улиц. Окружённая высокими тополями, хата чистыми своими оконцами глядит в сад. Позже, когда взойдёт солнце, густая листва накинет узорчатые тени на её слепяще белые стены, на соломенную кровлю. Заиграют в его лучах посаженные Василинкой огненные чернобривцы, пунцовая гвоздика, желтогорячие настурции.

Мимо хлева и клуни тропинка ведёт к фруктовому саду и на пасеку, проскальзывает под молочными ветвями бузины-невесты и теряется где-то в лугах.

Остап Григорьевич зашагал на пасеку. Из ульев вылетали пчёлы. «Петро ещё своего домашнего мёда не ел... — пришло на ум старику. — И жердёлы [1] не при нём посажены...»

Он, не торопясь, обошёл сад, наведался к скотине, заглянул в амбар, и вдруг будто посторонними глазами увидел, как в последние годы незаметно окрепло и расцвело хозяйство, хоть и трудно было без сыновей.

Не с лёгкой руки начал он самостоятельную жизнь. В девятьсот четвёртом году, на японской войне, убили отца. После него и наследства осталось — лишь низенькая саманная хатёнка с отсыревшими углами и маленькими окошками да небольшой участок супесчаной земли. Вдвоём с матерью

---

[1] Жердёлы — мелкий сорт абрикосов.

бились они над скупой делянкой, но земля кормила, как мачеха, — с голоду не пухли, а хлебом никогда не наедались. Ходил Остап, тогда ещё двадцатитрёхлетний парубок, в соседнюю экономию графа Тышкевича на заработки. Хватался и за другие профессии — столярничал, рыбачил. Долго копили деньги на коня, привели, наконец, с базара, а через неделю конь околел от сибирки.

Бедствовал Остап всю свою молодость. На улицу с хлопцами не ходил — не гульбищами была голова забита, да и не в чем было показаться на люди.

Похоронив мать, женился он в 1906 году на дочке кузнеца из Богодаровки, Катерине. Может быть, и выбился бы из нищеты (жена попалась хорошая и ретивая до работы), да забрали его осенью четырнадцатого года воевать с немцами. Пришлось покинуть беременную Катерину на её младшего брата Кузьму, помогавшего по хозяйству и раньше, да на семилетнего сынишку Ваню.

Пришёл с фронта, пожил дома несколько месяцев, и вновь пришлось Катерине сушить солдатские сухари в дорогу. Немцы были на Украине. Остап Рубанюк партизанил, потом дрался с петлюровцами, гнал белополяков.

Вернулся он под родную кровлю на исходе двадцать первого года — постаревшим, с синим рубцом на шее от немецкого клинка — и попрежнему с охотой взялся за хозяйство, стремясь наверстать упущенное. Но лишь гораздо позже, в колхозе, обрёл он то, к чему тянулся всю жизнь. Сытно, обильно стала жить семья, укрепилось и расцвело колхозное хозяйство, и уж никого в селе не тревожил завтрашний день.

Остап Григорьевич постоял у плетня, прикидывая размеры урожая, ожидаемого в колхозе. Получалось здорово! Электростанцию теперь обязательно должны достроить; прикупить, как требовало собрание, две-три автомашины, племенных быков и йоркширов...

...Позавтракали на скорую руку. Мать открыла ворота, пропуская Василинку, гнавшую корову на пастбище. Остап Григорьевич выдернул из стрехи свой ципòк [1], попыхивая трубкой, пошёл на колхозную конюшню. Накануне председатель, узнав, по какому делу нужно садоводу на станцию, приказал дать правленческих выездных лошадей.

[1] Ципóк — палка (укр.).

Над плетнями шумно возились воробьи. Свистящими стаями перелетали они на влажную от вчерашнего дождя дорогу, с озорством прыгали у самых ног Остапа Григорьевича и уносились прочь.

Из бокового переулка, заполняя улицу, выходило стадо. Коровы брели длинной чередой, разноголосо мыча и тяжело шарахаясь от пастушьих бичей. Над улицей стоял запах парного молока и согретого навоза.

Остап Григорьевич, пережидая, дружелюбно разглядывал рыжебоких, черноголовых, белых красавиц, разыскал глазами и свою бурую Красуню, важно нёсшую большие острые рога.

С противоположной стороны улицы Остапа Григорьевича окликнул по-бабьи пискливый голос. Никифор Малынец, низенький, вертлявый почтарь, помахивал над головой конвертом.

— От старшего пришло!

Малынец улучил момент, ловко протиснулся сквозь стадо к Остапу Григорьевичу.

— Битте, — сказал он, протягивая письмо.

— Как?

— Битте, говорю. Это «пожалуйста» — значит.

— Ты всё по-немецкому шпаришь, — Остап Григорьевич улыбнулся одними глазами.

На германском фронте он служил с Никифором в одном полку. Малынец попал в плен и два года работал у прусского помещика. Неизвестно, как ему там жилось, но дома, в Чистой Кринице, он всячески превозносил хозяйство помещика, электрические поилки и кормушки, кстати и некстати уснащал свою речь немецкими словечками.

Остап Григорьевич повертел в руках голубой, с тёмной каёмкой, конверт и бережно положил его в карман.

— Дома почитаем.

Почтарь чиркнул спичкой, раскуривая погасшую цыгарку, осведомился:

— Остапович на совсем прибывает или погостевать?

— Это уже как там его академия порешила, — сдержанно ответил Остап Григорьевич. — Ему сейчас пути нигде не заказаны. Понял? Хоть в Киеве, а хоть в самой Москве, скрозь пройдёт.

— Образова-а-ние, — многозначительно поднял палец Никифор. — Его за плечами не носить.

Он поправил ремешок от сумки, шевельнул картузом:
— С тем до свидания. Аухвидерзейн.
— Иди здоров.
Остап Григорьевич замахнулся ципком на игривого бычка, отставшего от стада, и зашагал к правлению.
Перед выездом на станцию он завернул домой, за сынишкой.
— Ну, старая, — сказал он жене с порога. — Ещё один сын объявился. От Ванюшки письмо.
Катерина Федосеевна остановилась с чугунком в руках. С семьёй и с Чистой Криницей старший сын расстался давно, с тех пор, как его призвали в армию, на действительную службу. В памяти матери он остался скромным и почтительным с родителями, но властным и настойчивым среди сверстников, которые охотно признавали его вожаком и на гулянках и в работе.
Письмо от него было коротенькое, содержало главным образом приветы семье и знакомым. В конце Иван объяснял, почему пишет мало:

«...Надеюсь, дорогие мать и отец, скоро повидаться с вами. Надняx мне обещали отпуск, и мы с женой и сынишкой Витькой обязательно нагрянем в Чистую Криницу. Надо же познакомиться вам со своей невесткой и внучонком. Он у меня боевой, весь в деда.
Вчера мне присвоили звание подполковника, так что выпьем с тобой, тато, и за встречу и за всё сразу. Ваш Иван».

— Слышишь, старая? — почтительным шопотом произнёс Остап Григорьевич. — Подполковник... Вон куда Ванька махнул!
Катерина Федосеевна, взяв письмо, ещё раз сама перечитала его. Молодо заблестевшими глазами она посмотрела на мужа:
— Скорей бы приезжал! Это ж они с Петром теперь повидаются. А вдруг снова не приедет?
— Раз пишет, беспременно приедет, — молодецки расправляя усы, успокаивал Остап Григорьевич.
— Хоть бы трошки дитё его понянчить, — вздыхая, проговорила Катерина Федосеевна. — Совсем откололся от дому.
— Там дел хватает. Читала ж? Подполковник!
— Оно, может, и так, — нерешительно возражала Катерина Федосеевна. — А для матери он всегда дитём останется. Кому он генерал, а мне — Ванюшка.
— Ты ж гляди, с обедом тут...

Остап Григорьевич спрятал письмо в карман и пошёл к бричке. Сашко, блистая новой сатиновой рубашкой и поминутно оглядывая синие, под ремешок, штанцы, гордо держал вожжи, покрикивал на коней...

V

Петро лежал на верхней полке и, облокотившись, смотрел в окно. Стекло было опущено; в вагон врывались смешанные запахи угольной гари и полевых трав, пригретых июньским солнцем.

Паровоз то замедлял ход на изгибах дороги, то вдруг, пронзительно свистя, стремительно мчался, раскачивая вагоны, и тогда телеграфные провода за окном тоже стремительно взмывали к белым чашкам на столбах, резко опускались, вновь тянулись кверху.

Петро смотрел на игру проводов, курил и рассеянно слушал голоса пассажиров, споривших о чём-то с самого Бахмача. На соседней полке лежал с закрытыми глазами и скрещёнными на груди руками его товарищ Михаил Курбасов.

— Ты не спишь, Михайло? — спросил Петро.

— Нет. Хорошо едем. Быстро, — сказал Михаил, не открывая глаз.

Петро кивнул головой.

— Едем хорошо. Часа через три буду дома.

Он свесился с полки и прислушался к словам старичка, который донимал своего собеседника — майора.

— Вы вот говорите, общение с ними полезно. Культура, техника и тому подобное... Не спорю, Бетховен, Гёте — величины. А вы все-таки, батенька мой, загляните в историю.

— Что же? — возразил майор. — Выходит, по вашему, всё надо зачеркнуть? И то, что было хорошего у немецкого народа до прихода нацистов?

— Эх, какой вы, — горячился старичок. — Я, милый человек, тридцать два года историю преподаю. Согласен с вами: немецкая культура высокая. А позвольте спросить: что её, эту культуру, нынешнее правительство создавало? А?

— Не нынешнее.

— Ага! Уверяю, фон Шуленбург сидит в Москве не затем, чтобы декламировать стихи Гейне.

— А Гейне всё равно найдётся кому читать и в Германии.

Это сказал Петро. Он быстро спрыгнул с полки.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил старичок.

— Фашисты могут сжигать на кострах книги великих поэтов и мыслителей, но они бессильны против их идей.

Петро застегнул косоворотку, посмотрел на собеседников.

Был Петро невысок ростом, но крепко сбитый, кряжистый — в отца. Крутой большой лоб, прикрытый чубом, энергичные сочные губы, румянец, пламенеющий под смуглой кожей, дышали юношеской свежестью. Глаза, тёмные, большие, светились тем живым, задорным блеском, какой бывает у людей, уверенных в себе.

— Убеждён в том, что фашизм никогда не убьёт великих революционных традиций немецкого народа, — сказал Петро, глядя в упор на старичка. — Рано или поздно, революционные силы восторжествуют и в Германии.

— Это уже, батенька, вопрос совершенно другой, — возразил старичок.

Майор щёлкнул крышкой серебряного портсигара, но не закурил. Он вертел в пальцах папироску, раздумывал.

Мимо плыли белые хаты, сады, огороды. Петро смотрел на тени облаков, скользившие вдоль дороги, на коричневые стволы сосен, то приближавшиеся к самому поезду, то отбегавшие прочь.

С каждым мгновением расстояние до Чистой Криницы становилось всё короче, а Петру до сих пор не верилось, что он скоро будет дома. Разлука с семьёй, с родным селом была долгой, и своё возвращение он ощущал сейчас, как очень серьёзное событие. Петро закрывал глаза и старался представить себе отца, сестёр, мать. Но они возникали в памяти такими, какими были три года назад. Он подумал о том, что ни с кем в семье не сможет поспорить о вещах, которые стали для него привычными: о театральной премьере, о новой книжке, новом фильме. И тут же возразил себе: «Что ж... В Чистой Кринице за эти годы росла своя культура... Отец писал не раз о новых сортах яблонь, которые выращивает колхоз по методу Мичурина. Сестра Ганна добилась рекордного урожая в своём звене. В селе собирались пустить электростанцию, приобрели киноустановку...» Петро вспомнил, как он, будучи секретарём комсомольской организации, всегда стремился работать так,

чтобы его село было передовым, мечтал об электрическом свете во всех хатах, о богатых фруктовых садах в каждом дворе. Он немало сделал раньше, а сейчас, возвращаясь специалистом, агрономом, сумеет дать своему селу ещё больше. Он вложит всю страсть и пыл, живой огонь в дело, ради которого провёл лучшие свои годы в студенческих аудиториях и библиотеках, ради которого отказывался от свидания с родными, с любимой девушкой.

Петро с огорчением подумал о том, что он последнее время мало писал Оксане. Время не отдалило её от него, её образ попрежнему был дорог и близок. Стремясь поскорее встретиться с ней, он досрочно сдал государственные экзамены и в Москве не задержался ни одного лишнего дня.

Петро почувствовал, что Михаил пристально глядит на него, и поспешно спросил:

— Писать мне будешь?

— Напишу. Да тебе, верно, не до меня будет.

— Почему?

Михаил хитро прищурился.

— Сознайся, — сказал он. — Ты из-за Оксаны своей отказался от аспирантуры?

— Нет. Не из-за неё.

— Ещё пожалеешь, что отказался.

— Что жалеть? Ведь я просил послать меня в село.

— Всё-таки Чистая Криница не Москва. Заглохнешь.

— Чушь, Мишка! У нас в селах есть дивчата... Они дальше районного села нигде не были. А об их звеньях в Москве труды пишут... В Чистой Кринице есть своя эмтээс, электростанцию строят...

— Так-то так...

— Почему же это я должен заглохнуть?

Скуластое лицо Михаила с насмешливыми глазами стало сосредоточенным. Подумав, он сказал:

— У какого-то писателя я читал, что люди созданы не для того, чтобы отъедаться у корыта. Они должны скитаться по дорогам, бродить по лесам, вечно искать новое, интересоваться всем...

— Беспризорничать?

— Зачем так вульгарно, профессор?

— Что же ты хочешь этим сказать?

— Ты даже не поездил по стране, не знаешь её богатств.

— Есть, Михайло, человеки, которые ничего за положенный им век не дают, а взять от жизни как можно больше хотят, а?..

— Имеются такие.

— Я не желаю быть таким. Скитаться очень интересно, смотреть, любоваться. Ого-го! В нашей стране есть на что посмотреть. А я хочу, чтобы и Чистую Криницу не объезжали. Понял? Хочу, чтобы восхищались её садами, богатством...

Петро смотрел на товарища вызывающе, готовясь спорить, но Михаил только повёл плечами и замолчал.

А Петру хотелось высказать всё, что было у него на душе в эти минуты возвращения на родину.

— Ты вот сказал, люди должны всем интересоваться,— продолжал он. — Согласен... Но разве для этого обязательно странствовать? Мне везде интересно... Если по-настоящему любишь жизнь, всюду найдёшь столько впечатлений, столько больших и маленьких радостей... Есть мудрая поговорка, — всё больше загораясь, продолжал Петро: — дорогу осилит идущий. Слыхал? У каждого из нас своя дорога, но мы все идём к одной цели — к счастью. И путь этот не гладкое шоссе, Мишка... Не раз себе шишки набьёшь, пока дойдёшь. Но если ты твёрдо решил дойти, разве ты остановишься перед чем-либо? Если я понял всем своим сердцем и умом, что моё счастье — в счастье и радости моего народа, должен ли я, вернее, могу ли стремиться туда, где только мне будет лучше, спокойнее?

Друзья, увлёкшись разговором, не заметили, как поезд подошёл к Богодаровке. Петро начал вглядываться в лица людей, стоявших на перроне.

— Вон мой старикан! — воскликнул он, схватив Михаила за плечо.

Остап Григорьевич ещё не заметил сына, но он уже расправлял горделивым жестом усы, взволнованно покашливал, широко шагая вдоль вагонов...

VI

Василинка уже много раз выбегала к воротам и вглядывалась в конец улицы. Окончательно потеряв терпение, она вприпрыжку побежала в хату.

— Нема, — со вздохом сказала она матери. — Татка нашего только за смертью посылать.

— Ты в своём уме, доню?.. — удивилась мать. — Про батька такое болтаешь...

Она говорила строго, а сама в душе любовалась нарядной дочерью. Лучистые карие глаза Василинки даже потемнели от нетерпения.

— И до завтра нехай не приезжают, — фыркнула она. — Хм! Паны большие! Выглядывай их с самого ранку...

Спокойствие покинуло давно и Катерину Федосеевну. Она бесцельно бродила от стола к печке, вновь принималась наводить порядок на шкафчике, без нужды переставляла посуду.

В хате — как на троицу: свежие, только утром срубленные ветви клёна выглядывали из-за чисто вымытых скамеек и наличников окон, свисали с балок потолка. От влажной травы, любистка и мяты, устилавших свежесмазанный глиняный пол, было прохладно, как на лугу после заката солнца.

Перед обедом забежала Ганна.

— Не приехал ещё?

— Где-то пропал батько.

Ганна присела на скамейку, вытерла уголком косынки лицо:

— Ну, и печёт. Опять дождя сегодня нагонит.

— Нехай нагонит, — откликнулась мать. — Житам и огородине аккурат на пользу. А ты с работы?

— С работы.

— Поверяете бураки?

— Подрыхляем. Там после дождя такая корка! Прямо запарились.

У Ганны заметно выдавался под белым опрятным фартуком живот. Однако беременность не тронула её миловидного лица, с тонкими, словно нарисованными углём, бровями и ямочками на щеках.

Василинка придвинулась к сестре, обвила рукой её пополневший стан.

— Раздобрела ты, Ганька, — шепнула она, щекоча ухо сестры с большой серебряной серьгой. — Скоро будешь, как баба Харитына.

— Ганько, а от Ванюшки нашего письмо пришло, — сообщила мать.

— Правда? — вскинулась Ганна. — Что пишет?

— Обещает приехать с жинкой и с Витькой, — затараторила Василинка.

Она вдруг вскочила, побежала в другую комнату и тотчас же вернулась с небольшим свёртком.

— Эх, пташка не без воли, а казак не без доли, — произнесла она с лихим видом. — Похвалюсь тебе, сеструнько, что мне тато подарили.

Головы сестёр склонились над отрезом розового крепде-шина.

— Любит тебя батько, — с лёгкой завистью сказала Ганна. — Славная кофточка выйдет.

— Это за отметки в школе, — сказала Василинка. — Кругом «отлично».

Ганна заторопилась домой, кормить мужа обедом.

Василинка пошла её проводить. Они уже подходили к площади, когда из переулка вынесся на коне Алексей Костюк. Он завернул к ним, круто осадил своего мохнатого, припотевшего маштачка.

— Тю, дурной! — вскрикнула Василинка, стряхивая с платья комья земли. — Чего на людей наскакиваешь?

— Я не я, а коняка моя, — засмеялся Алексей. — Петро приехал, сеструшки?

— Батько поехал за ним, — ответила Ганна. — Ты с бригады, Лёша?

— Оттуда. Там идёт твой Степан с ребятами. Чарочку к обеду готовь. Он сегодня всю норму свою отгрохал.

Алексей, сверстник и школьный товарищ Петра, работал два года на тракторе, а весной его назначили механиком криничанской МТС, чем он немало гордился. Даже из старых трактористов немногие так хорошо знали машины, как он.

— А зачем тебе Петро? — ревниво и недоброжелательно спросила Василинка.

— Здорова была, кума, — обиделся Алексей. — Что ж, он не дружок мне был?

— Был...

Василинка во-время спохватилась и замолчала. Неприязненно взглянув на Алексея, она отвернулась и побежала домой.

С ближних полевых участков шумно прошли на обед полольщики, проехал на своей бричке почтарь Малынец, всегда возвращавшийся с почты в час дня, а отца с Петром всё не было.

VII

От станции Остап Григорьевич горячил коней батогом, держал на рыси, а перед Каменным Бродом, передавая Сашку́ вожжи, сказал:

— Нехай идут шагом. Поспешать нам некуда. Аккурат к обеду доберёмся...

Он давно приметил, с какой жадностью Петро разглядывал знакомые места, и это радовало старика. Втайне Остап Григорьевич побаивался, что сын его, как это нередко случалось с другими, после долгого отсутствия будет на родине чувствовать себя чужим. Однако Петро так нетерпеливо расспрашивал про домашние дела, про село, что отец успокоился.

Тени от придорожных клёнов и тополей уже потянулись через шлях, когда кони вынесли бричку на взгорье и перед глазами Петра раскинулась Чистая Криница. Петро даже привстал. Стиснув пальцами плечо братишки, вглядывался он в дорогие сердцу очертания села.

Над хатами и садками повисла огромная сизая туча. Выбившись из-под её крыла, солнце зажгло синим пламенем сосновый бор за селом, позолотило соломенные крыши. На дорогу упали редкие тяжёлые капли.

В просветах среди верб и сосен блеснула полоска Днепра и исчезла в красноватых песчаных холмах. На бугре, за редкой кисеёй дождя, три ветряка. К ветрякам этим, на вытоптанный бурый выгон, сбегалась, бывало, по вечерам мальчишечья орава, обсуждала свои дела, а затем, замирая, слушала «страшные» рассказы мельника, деда Довбни.

Показался ряд новеньких столбов, выстроившихся вдоль улицы.

— Электростанцию пустили? — спросил Петро.

— Трошки работы осталось. Обещают к осени пустить.

— Хочется скорее на плотину взглянуть... Вообще взглянуть на всё...

...Петро жадно искал глазами высокие тополя над крышей родной хаты.

— Соскучился за домом? — понимающе глядя на сына, спросил Остап Григорьевич.

— Как же не соскучиться? — сказал Петро.

— Три года... — задумчиво произнёс Остап Григорьевич. — Это не три недели... Неужели не мог хоть разок наведаться?

— Вы же знаете, я писал вам, — оправдывался Петро. — Последние три года все каникулы свои — в Мичуринске. Как будто меня околдовал кто... Мы там с одним научным сотрудником опыты затеяли. Зимой думаю: «Ну, съезжу весной домой, проведаю своих...» Скучал сильно. А весна подойдёт, сердце разрывается: и домой хочется съездить, и на работу свою не терпится взглянуть... Я же там, в Мичуринске, многое почерпнул. Не только для себя. Чистой Кринице помогу...

Сашко̀, внимательно слушавший брата, обернулся:

— Мать плакали, что ты не хотел домой приезжать...

В памяти Петра вдруг ярко возник давно позабытый им день, когда в тридцать шестом году провожали его в Москву. Мать наполнила большой мешок под самую завязку всякой домашней снедью, гостинцами и с трогательной наивностью советовала непременно «угостить» будущих учителей и товарищей. Отец посмеивался над матерью: «Ты ему торбу полотняную для книжек нацепи, как школяру цепляла...»

Лошади почуяли на припотевших боках свежий ветерок, побежали резвее. Через несколько минут первые хаты села, показавшиеся Петру почему-то маленькими и низкими, остались позади.

Во дворах, за плетёными из лозы тынами, хозяйки убирали к вечеру скотину, возились подле прикладков сена,— волнующе знакомая Петру с детства бабья суета.

Кони шли бойко, и Петро еле успевал разглядывать знакомых людей, кланявшихся издали. Прервав работу, они долго смотрели из-под ладоней вслед повозке, голосисто перекликались через улицу.

На повороте к площади, через дорогу, шла с вёдрами на коромысле девушка. Она прибавила шаг, торопясь перейти путь едущим. Придерживая рукой раскачавшееся ведро, девушка обернула к бричке румяное лицо. Из-под яркого платка блеснули в озорной улыбке большие глаза.

— К удаче, — довольно заметил Остап Григорьевич.— С полными вёдрами.

— Это чья такая? — спросил Петро.

— Нюська Костюковых, — в один голос откликнулись Остап Григорьевич и Сашко́.

— Нюська?! — удивился Петро и ещё раз оглянулся на девушку.

— Она теперь в звене у нашей Ганьки, — важно пояснил Сашко̀. — У сестры её, Мелашки, прошлый год на масляную свадьбу гуляли.

Петро ласково потрепал братишку по плечу. Поощрённый этим, Сашко́ выпалил:

— Оксана, наверно, тоже скоро свадьбу отгуляет с Лёшкой.

— Брось языком молоть!— прикрикнул на него отец.— Чего не в своё дело встреваешь?

— Чего я мелю? — обиделся Сашко̀. — Все говорят...

Петро ощутил, как лицо его стало пунцовым. Он невольно повернулся к садкам, где за белым шатром цветущих акаций виднелась черепичная кровля оксаниной хаты. Отец перехватил взгляд Петра и снова обрушился на Сашка́:

— Ты, курячий сын, чего не знаешь, никогда не встревай! Сколько раз я тебе говорил? Без тебя нигде не обойдутся...

Лошади свернули в переулок, ведущий к Днепру. За несколько дворов до своей хаты Петро заметил, как от калитки стрелой метнулась во двор дивчина. «Ганна? Или Василинка?» — силился отгадать он. Но раздумывать над этим уже было некогда: кони, всхрапывая и переступая ногами, остановились у ворот.

Остап Григорьевич первый сошёл с брички, размял затёкшие ноги.

К воротам торопливо бежала от клуни мать. Она на ходу вытирала о фартук руки, поправляла выбившиеся из-под платочка волосы.

Петро пошёл ей навстречу, и она, добежав до него, прижалась к его груди головой, застыла так, не находя в себе сил оторваться. Петро гладил её руки, волосы и вдруг почувствовал, что плечи матери под простенькой коричневой кофточкой вздрагивают от рыданий.

— Э, что ж это вы, мамо? — старался он успокоить её, но и у него застлало глаза.

Плача и смеясь, мать ещё и ещё прижимала его к себе. Только сейчас Петро заметил Василинку. Она жалась к заборчику и глядела на брата ожидающе, исподлобья. Петро улыбнулся ей, и Василинку словно сорвала с места незри-

мая сила. Она бросилась к Петру, повисла у него на шее. Звонко целуя его в щёки, нос, ухо, она приговаривала:

— Братуня мой... братичек... ось тебе!

Задыхаясь, она снова хватала его за шею, целовала в подбородок.

— А ну, хватит вам, — вступился за Петра Остап Григорьевич. — Как там, стара, с обедом?

Катерина Федосеевна вытерла фартуком глаза, побежала в хату.

Не выпуская руки брата, Василинка потащила его за собой умываться. Она сама вытерла ему руки свежим рушником, засматривая в глаза, спросила:

— Сорочку свою вышитую наденешь, Петрусь? Я её тебе выгладила.

Разглядывая сестру, Петро удивлённо пожимал плечами.

— Ну, и повырастали вы все. Смотри, какая барышня.

— А ты б ещё дольше не ехал.

— Хлопцы, поди, за тобой уже ухаживают?

— Нужны они мне, как раз! — Василинка покраснела. — Скажет такое!

— Ну, сознайся, кто ухаживает? — смеялся Петро. — Наверно, Митька Загнитко? Он же тебе ровня.

— Совсем и не Митька.

— Ну, тогда Павка Зозуля?

— И не Павка. А ну тебя!

Василинка вдруг набросилась на кур, столпившихся около неё:

— Кш-ша! Вот вредные, так и ходят за мной.

Она держалась от Петра на расстоянии: слишком разгорелось её лицо.

Мимо, прикрыв фартуком чашку, пробежала мать. Она улыбнулась, отвечая на улыбку Петра.

— Иди, Петрусь. Наголодал, верно, в дороге..

VIII

Какая мать после долгой разлуки с сыном не захочет накормить его обедом, каким никто нигде его не накормит! Кто не знает, как умеют встретить дорогого гостя на Украине!

На столе, накрытом по-праздничному в чистой половине хаты, появится холодец из свиных или гусиных ножек, с хреном; квашеные помидоры, янтарно-прозрачная

капуста с зелёными стручками перца и душистым ароматом яблок; борщ, заправленный салом и забелённый сметаной; гусыня или курица, разомлевшая в румяной картошке; домашняя колбаса, скрючившаяся на жару. А потом гостя подстерегает ещё немало новых испытаний; пампушки с чесноком и пампушки с сахаром или мёдом, пирожки с капустой или печонкой, вареники с творогом в масле и сметане, кисель вишнёвый и кисель молочный... И, венчая всё это, — над тарелками и мисками будет возвышаться бутылка с сургучной головкой.

...Негромко переговариваясь с женой, Остап Григорьевич помогал ей у стола: крупными ломтями резал пшеничный хлеб, доставал из шкафчика чарки.

— Ганька чего ж не идёт? — спросил он, собрав крошки в ладонь и ссыпав их в тарелку.

— Прибежит. Управится и тут будет, — ответила мать.

Все сели за стол. Придерживая рукав пиджака, батько нацедил в гранёные чарки светлую булькающую влагу.

— Ну, сынок, с прибытием! В родной хате.

— И за Ванюшку, — добавила мать. — Нехай ему легонько икнётся, с жинкой и хлопчиком.

Она незаметно утёрла глаза: все дети дороги матери — и те, что с ней рядышком, и те, что где-то далеко...

Цветущая и прекрасная своей материнской силой и мощью женщины, давшей жизнь таким же цветущим детям, она сидела, положив на стол крепкие, огрубевшие в труде руки, слегка вздыхая от радостного волнения. Мать!

Подняв чарку, Петро смотрел, как по её щеке, удивительно ещё свежей и разрумянившейся, скатилась слезинка, другая, и мать, прикрыв кончиком платка дрожащий подбородок, грустно и смущённо улыбнулась.

Петро выпил чарку и в долгом поцелуе прижался к волосам матери.

— Холодцу, Петрусь, бери, — угощала она. — Ты ж его уважал.

— А вы совсем у нас молодая, — сердечно сказал Петро.

— Ох, сынок, какая там молодая, — вспыхнула мать. — Года, как вода...

После четвёртой чарки лицо у отца стало красным и лоснящимся.

— Пей, Петро Остапович! Ешь! — вскрикивал он торжествующе. — Кто как, а Рубанюк своих детей в люди

вывел. Ванюшка — подполковник, Петро академию прошёл...

На мгновение он тяжело задумался, но только на мгновение. Лицо его вновь приобрело восторженное выражение.

— Пей, Петька! — стукнул он кулаком по столу. — Пускай и у других такие дети будут.

— Что ты, человече добрый, разошёлся? — остановила его Катерина Федосеевна.

— Гляньте на них! Чего это вы? — налетела на отца и Василинка. — Как маленькие.

Петро посмотрел на отца и весело засмеялся.

— Какие батьки́, такие и дети, — сказал он.

— Ве-ерно! — вновь ударил по столу Остап Григорьевич. — Верные твои слова. Батьки́ ещё своё покажут, За нашу богатую колхозную жизнь!

Он выпил, лихо обнял Катерину Федосеевну, смачно чмокнул её в смеющиеся губы.

— Вот ещё, — отбивалась она. — Как говорят, — удастся бес, так выбей весь лес...

— Лес лесом, а бес бесом, — договорила Василинка под общий смех.

На столе уже появилось жаркое из гусятины, когда пришла Ганна с мужем, Степаном Лихолитом. Она мягко обняла брата, поцеловала в щёку и уселась рядом. Расшитая цветным шёлком, накрахмаленная сорочка туго облегала её грудь, полные плечи и руки. Петро про себя дивился, как изменило сестру замужество.

Ганна тянула мужа за рукав к столу.

— Садись, Стёпа. Ну, чего ты стесняешься? Петро, ты ж его знаешь?

Петро отрицательно покрутил головой, засмеялся:

— На свадьбе не гулял, стало быть, не знаю.

— Ну, как же не знаешь?

— Шучу, шучу. Как же мне его не знать?

Остап Григорьевич громко командовал:

— Василинка, ещё чарки! Стара, угощай зятька.

Степан, тракторист МТС, высокий, крупный, сел между женой и Василинкой. В аккуратно отглаженной рубашке с отложным воротничком и галстуком он чувствовал себя как-то неловко.

Степан и его старший брат Фёдор, такой же медвежастый и молчаливый, славились как очень работящие, незаменимые в хозяйском деле хлопцы. Степан со своей

гармонью до женитьбы был желанным гостем на посиделках.

Петру вспомнилось, что Ганне нравился другой — молодой фельдшер из соседнего села, и она даже собиралась замуж за него. «За эти годы, — думал Петро, — здесь всё так переменилось, не скоро разберёшься, что к чему...»

Он присматривался к лицам родных, отмечая происшедшие в них перемены, и ему вдруг очень захотелось увидеть, как изменилась Оксана, но вспомнились слова Сашка́, и Петро помрачнел.

Не поддаваясь щемящему чувству, грозившему отравить радость встречи с семьёй, Петро болтал с сёстрами о пустяках, шумно чокался с батьком и Степаном.

Мать и сёстры не знали, как угодить ему, чем ещё угостить своего Петруся. Остап Григорьевич широко раскрыл окна: невинное тщеславие старика требовало, чтобы все соседи знали, как у Рубанюков встречают сына.

Петро растроганно, с благодарностью глядел на сияющие лица родных. Он налил всем чарки доверху, поднялся.

— Давайте выпьем, — сказал он дрожащим от волнения голосом, — за наших дорогих отца и мать. За то, что кормили нас, одевали, учили. Чтоб были наши тато и мамо счастливыми, чтоб хорошо прожили свою жизнь.

Остап Григорьевич поспешно поднёс к глазам рушник, но не сдержался и от избытка радостных чувств заплакал.

Петро почувствовал, что пьянеет, и отставил вновь налитую ему отцом рюмку. В хате было душно от смешанных запахов еды, раздавленной ногами луговой травы, вянущих листьев клёна. Он вышел на воздух, в сад, и прилёг на траве.

Уже совсем стемнело. Искрящимся от края до края пологом неба ночь укрыла село. Над землёй, чуть касаясь её, текли пьянящие ароматы свежескошенного сена, акации, ночных фиалок.

Петро расстегнул сорочку и подставил разгорячённую грудь ветерку, тянувшему с луга. Ночные запахи, сухой треск кузнечиков вызвали в его памяти другой вечер — накануне его отъезда в Москву после каникул.

...Впервые он тогда засиделся с Оксаной допоздна. Она несколько раз порывалась уходить; смеялась и сердилась, но Петро никак не отпускал её. Ему нужно было многое сказать ей. Он раньше и вида не подавал, что она ему

нравилась, а перед отъездом пошел к Девятко, вызвал Оксану в садок.

Месяц лил такие потоки света, стояла такая тишина, что была отчётливо видна плывшая в воздухе паутинка. Её Петро помнил до сих пор; вместе с Оксаной они смотрели на мерцавшую шелковинку, пока она не исчезла в тени тутовника.

Расставаясь, Петро долго вглядывался в озарённое луной лицо Оксаны. Пунцовая астра в её волосах казалась голубой. Петро наклонился к ней, приблизил губы к её губам. Оксана отшатнулась, молча стиснула его руку, задержала в своих тёплых ладонях. Достала из-за рукава шёлковый платочек, волнуясь, положила в карман Петру. Потом, не оглядываясь, убежала в хату...

Закинув руки за голову, Петро разглядывал мерцающее небо. На ум пришли слова об Алексее. «Три года не пустяк, — оправдывал он Оксану. — Какая же дивчина устоит?» Но как ни старался Петро уговорить себя, желанное успокоение не приходило.

В саду зашелестели раздвигаемые чьей-то рукой ветки.

— Братунька, где ты? — звала Василинка.

Петро откликнулся. Василинка подошла, опустилась рядом на траву. Несколько минут сидели они молча.

— Василинка...

— А?

— Давай с тобой поругаемся, а то скучно.

— Ты чего такой смутный, Петрусь?

— Голова разболелась.

Василинка потрогала рукой его лоб, сочувственно разглядывая белеющее в темноте лицо брата.

— Чего ж ты про Оксану ничего не спрашиваешь?

— А что спрашивать?

Василинка оживлённо принялась рассказывать:

— Знаешь, Петрусь, как узнала Оксана, что едешь, так покраснела... Она дуже хотела тебя видеть.

— Хотела?

— Ага. Давай пойдём. Я до Настуньки собиралась, да одной неохота.

Петро поднялся, сел. Что ж, ему ведь весь вечер недоставало Оксаны. Он потёр пальцами лоб, застегнул сорочку.

— Вынеси мне картуз, — сказал он. — Сходим, поздороваемся...

IX

Яркие в ночной синеве полосы от ламп неровно ложились на улицу. Под хатами, на завалинках и дубках, — приглушенные голоса, журчанье балалаек, смех.

За бугром небо посветлело: собиралась всходить луна. На углу переулка чистый и сильный девичий голос завёл:

Солнце заходыть, а мисяць сходыть,
Тихо по морю човэн плывэ.

Невидимые в темноте девушки хорошо спевшимися голосами подхватили:

...В човни дивчина писню заводыть,
Козак почуе, сэрдэнько мрэ...

Петро замедлил шаг, слушал, как песня отдавалась эхом далеко за рощей. В разных концах села послышались новые девичьи голоса. Песни заполнили тёплый пахучий воздух, поднимались к высокому звёздному небу, плыли над улицами и левадами, над чёрно-глянцевым сейчас Днепром, его песчаными отмелями и прибрежными перелесками.

Давно ли Петро, парубком, вот так же сидел по вечерам с хлопцами и дивчатами под чьей-нибудь хатой? Или, повесив за плечо гармонь, шёл с друзьями-комсомольцами на чужой куток [1]. Звонкие переливы трёхрядки собирали молодёжь со всей округи, и тогда Петро, опытный вожак молодёжи, овладевал посиделками, умело завязывал беседу о работе в колхозных бригадах, о лучших стахановцах села, о том, какой будет Чистая Криница, как расцветёт она, если каждый поймёт, что значит строить социализм...

По дороге Петро расспросил Василинку о своих бывших друзьях. Почти никого не осталось в селе. Следом за Петром подались в техникумы и институты и Степа Усик, и Йосып Луганец, и Миша Сахно. Гриша Срибный приезжал зимой в отпуск в форме лётчика; он окончил авиационную школу и летает где-то на Дону. Яким Горбань ушёл служить в армию и остался на сверхсрочную.

Воспоминания о товарищах юности всколыхнули в памяти многое. Петро шёл, испытывая такое чувство, словно он только вчера расстался с селом. Но незнакомые, по-мальчишечьи хрипловатые голоса под хатами напоминали

---

[1] Куток — буквально: «уголок». В тексте — дальняя улица, часть села (укр.).

о том, что уже подросло, вступило в свои права новое поколение.

За балочкой начиналась улица, где жили Девятко. Петро сразу различил хату, о которой так много думал эти годы. Окна её, с тенями цветов на занавесках, казалось, светились не так, как в других домах.

К калитке с басовитым лаем кинулась собака. Кто-то скрипнул дверью, вышел на крыльцо. Василинка позвала:

— Титка Палажка, это вы? Придержите Серка.

— Добре, племянница,— откликнулся смеющийся голос Настуньки.

Прикрикнув на собаку, она подбежала к воротам.

— Проходьте, пожалуйста, — засуетилась она, узнав Петра. — Ходимте в хату.

— Кто дома, Настуся? — прижимаясь к подружке, спросила Василинка.

— Никого. Маты пошли до бабы ночевать. Батько ещё не приходили.

— А Оксана?

— Скоро будет. Нюську побежала провожать.

Настя пропустила Петра и Василинку в хату, забежала в свою комнатку причесаться.

Худенькая, с шапкой белокурых волос, буйно вьющихся над бойким личиком, быстроглазая и подвижная, она была в той девичьей поре, когда уже пробуждается интерес к мужчинам. Может быть, именно поэтому она держалась с парнями подчёркнуто насмешливо, мальчишек-сверстников беспощадно передразнивала и всячески выказывала им своё презрение. Только к Петру Рубанюку она относилась по-иному — и не без причины. Как-то раз, девятилетней девочкой, шаля с подружками на Днепре, Настя сорвалась с берега в воду и начала тонуть. Петро, переправлявшийся на лодке, успел вытащить и откачать её. После он частенько подшучивал над ней, но она никогда не обижалась.

Петро помнил Настуньку той поры, совсем девчонку-озорницу, с измазанными чернилами пальцами. Сейчас он увидел взрослую девушку, чем-то напоминавшую Оксану, с такими же, как у сестры, большими светлыми глазами. Она вошла смело и уверенно и, усевшись на скамейке, лукаво глядела на Петра.

— Мать родная! — весело произнёс он. — Ещё одна невеста подросла.

— Невеста без места, — засмеялась Настя.

Она переглянулась с Василинкой. Подружки, видимо, вспомнив что-то своё, дружно фыркнули.

— Вы чего?

Василинка, прыская, принялась рассказывать, как почтарь Малынец, напившись пьяным, шутливо сватался за Настю.

Петро слушал её рассеянно. В чертах настиного лица он отыскал то, что напоминало ему Оксану, и не сводил с неё глаз. Когда Настунька смеялась, на щеках её появлялись такие же мягкие ямочки, так же широко открывались белые, влажно блестевшие маленькие зубы.

— Что ж до сих пор нет Оксаны? — спросил он.

— Должна б уже вернуться. Погуляй, Петро, я сбегаю. — Настя предупредительно вскочила.

— Сиди, — остановил её Петро. — Лучше водичкой холодной угости.

Он пил крупными, жадными глотками и, услышав, как звякнула щеколда калитки, вздрогнул.

— Тато пришли, — сказала Настя, убирая кружку.

Кузьма Степанович, покашливая, переступил порог. Поздоровавшись, он вопросительно посмотрел на Петра.

— Щось не признаю, — сказал он, загораживая рукой свет от лампы и вглядываясь.

— Богатый буду, — улыбнулся Петро.

— Петра не узнаёте? — упрекнула Настя.

Кузьма Степанович, кряхтя, присел у стола, вытащил очки. Он остался таким же, каким видел его Петро последний раз. Выпуклый блестящий лоб с кустиками седых волос у висков, короткие остриженные усы.

— Разве ж его признаешь? — оправдывался он, поблескивая очками в сторону Петра. — Вон он какой стал. Ну, ну, будь здоров, Остапович. С благополучным прибытием!

Кузьма Степанович подсел ближе, приглаживая ладонями волосы, осведомился:

— Что же там, в нашей столице, новенького? Воевать скоро придётся?

Поговорить со знающими людьми — было его страстью.

— Ты теперь человек учёный. Хочу тебя спросить вот о чём. Все ж таки мы вроде как в союзе с Германией. Это ж большая сила, а? Теперь, кто хочешь, побоится. То, может, войны и не будет?

Кузьма Степанович напряжённо и пристально смотрел, ожидая ответа. Петро понял, что этот вопрос очень тревожил и волновал старика.

— Что вам сказать? — подумав, ответил он. — Договор-то у нас есть о ненападении. Может быть, нас и побоятся трогать.

— Ох, нет, — с сомнением покачал головой Кузьма Степанович. — Ближняя собака скорей укусит...

Он ещё долго выпытывал у Петра новости — о приезде в Москву японского министра, о последних опытах учёных Тимирязевской академии. Разговор постепенно перешёл на хозяйственные дела, но Петро всё время чутко прислушивался к каждому звуку, доносившемуся со двора. И когда под окнами прошелестели быстрые, лёгкие шаги, он на полуслове замолчал и обернулся к дверям.

Оксана остановилась на пороге. Неестественно громким и весёлым голосом она поздоровалась с Петром. Тот поднялся ей навстречу, молча взял её пальцы и крепко пожал. Рука её, тёплая и мягкая, чуть заметно дрожала. Василинка и Настя перестали шушукаться, с откровенным любопытством смотрели на обоих. Оксана, покосившись на них, потянула Петра за собой:

— Пойдём, посидим в комнатке.

X

Оксана прибавила в лампе огонь и задёрнула занавеску на окне.

— Какой ты у нас москвич, показывайся, — сказала она, поглядывая на Петра блестящими глазами.

Петро стал у окна. С плохо скрываемым волнением наблюдал он, как Оксана поправляла перед зеркалом косу, прикалывала к волосам красную гвоздику.

— Это чтобы понравиться, — кокетливо сказала она, чувствуя на себе его пристальный взгляд.

— А если не поможет? — посмеиваясь, спросил Петро.

Оксана с шутливой беспомощностью развела руками. От Петра не утаилось, что девушка взволнована: её выдавали побледневшие щёки, дрожащие пальцы, которыми она закалывала цветок. Но, несмотря на волнение, она держала себя свободно и уверенно. «Это уже не та девчонка, которая с такой наивной робостью дарила платочек», — подумал Петро.

Он всматривался в черты её лица. Оксана была даже лучше, обаятельней того образа, который за время разлуки создало воображение Петра и с которым он так сжился.

— Ну, Оксана, — произнёс он, шагнув к ней и положив руки на её плечи, — здравствуй!

Оксана отстранила щеку от его губ, с силой сбросила руки.

— Ты что это... Петро?!

В голосе её слышались негодующие слёзы, лицо выражало такую искреннюю обиду, что Петро растерялся и удивлённо отступил к столу. Он не понимал, что могло быть обидного в его дружеском порыве. Резкость Оксаны оскорбила и огорчила его.

Оксана, видимо, хотела сказать ещё что-то злое и ядовитое, но, мельком посмотрев на него, только пожала с досадой плечами.

С минуту они сидели молча.

— И что это за мода у хлопцев? — сказала Оксана беззлобно. — Ты же не знаешь, может, у меня есть... кому обнимать.

— Знаю, что есть, — голос Петра дрогнул. — Я просто рад, что вижу тебя. И поцеловал бы от души. С чистым сердцем.

Оксана посмотрела на него исподлобья.

— Что ты знаешь?

— Слышал, что жених есть.

— Уже успели... Как это ты надумал приехать? Даже не верится.

— Приехал, — коротко ответил Петро.

— Прямо записать где-то надо...

Петро, скорей по её насмешливому взгляду, чем из слов, понял горький намёк. Но он был слишком задет и обижен её холодным приёмом и поэтому круто переменил разговор.

— Расскажи, Оксана, как ты живёшь?

— Что о себе рассказывать? Кончила десятилетку, ты знаешь. В институт поступила.

— Нравится в медицинском?

— Очень интересно. Ну, а ты? Помнишь, писал, что хочешь карту садов составить.

— Начал. Думаю здесь заканчивать.

Петро отвечал на вопросы Оксаны о московской жизни, о практике на мичуринских станциях, но вскоре заметил, что она слушает рассеянно, с невесёлым лицом.

— Что ты такая? — спросил он.
— Какая?
— Скучная. Надоели тебе мои рассказы?
— Нет, нет. Говори. Я даже голос твой забыла.
— Но всё-таки непонятная ты.
— Почему?
— Вот ты на меня накричала. А за что?.. Помнишь, мы расставались, что ты говорила?
— Помню.
— А паутинку помнишь?
— Какую? А!

Оксана перевела взгляд с его лица на окно. Из-за шелестевшей верхушки каштана серебрился край ущербленной луны.

— Тогда было светлей в саду, — сказала Оксана. — И ветра совсем не было.

Она склонила над столом голову, медленно разглаживала ладонью складки полотняной скатерти. Волосы её чуть слышно, тонко пахли ромашкой.

— А ты?.. — тихо спросила она. — Неужели у тебя не было дивчины? Не верится этому, Петро.

— Друзья-девушки были и есть. А любил и... люблю я одну...

На крыльце кто-то переговаривался. Оксана поднялась, но в эту минуту в дверях показалась голова Насти.

— Петро, — шопотом сообщила она. — Лёшка тебя ищет.

— Ну, позови его. Мы ж ещё не видались с ним.

— Я сбрехала, что никого нет. А он такой настырный. Не верит. Чего он, на ночь глядя, припёрся, — обиженно шептала она.

— Покличь его, — сказала Оксана. — Зачем ты обманываешь?

Алексей ворвался в комнату шумный и оживлённый. Радостно поздоровавшись с Петром, он сел против него на краю постели.

— Я с бригады прямо до вас побежал, — говорил он, скручивая цыгарку и не спуская с Петра глаз. — Батько твой сюда меня направил. Наших хлопцев, слыхал наверно, никого в селе не осталось.

— Знаю.
— Погостевать приехал, Петро?

— Нет, работать.

— Вот это добре. Мы тут скучали за тобой.

Прикрывая цыгарку пригоршней и обволакивая себя клубами удивительно едкого жёлтого дыма, Алексей скороговоркой выкладывал сельские новости, и было видно, что он, хотя и насторожился, всё же искренне обрадован приездом школьного товарища.

Петро слушал его, украдкой поглядывая на Оксану. Она, подперев щёку ладонью, молча смотрела то на Алексея, то на Петра, и по задумчивому лицу её нельзя было определить, слышала ли она что-нибудь или думала о своём.

Алексей вдруг обратился к ней:

— Ты, Оксана, хочь угостила бы Петра?

— Да я сегодня наугощался, — сказал Петро. — Спасибо, ничего не надо.

— Как это не надо? — кипятился Алексей. — Оксанка, ступай, неси чего-нибудь закусить. Наверно, и по чарочке найдётся?

Петро удержал вскочившую с места Оксану и, посмеиваясь, сказал Алексею:

— Хорошим друзьям при встрече и без вина должно быть весело. Верно?

— Как же это не угостить гостя, — сокрушался Алексей. — До меня пойдём, у моей матери целый литр припрятан.

— Ладно, успеется.

Засиделись за разговорами до полуночи. Вразнобой закричали первые петухи, когда Петро с Алексеем собрались по домам. Оксана накинула на плечи платок, вышла проводить до ворот.

У калитки Петро сказал:

— Мы с тобой ещё не обо всём поговорили, Оксана.

— Всего никогда не переговоришь, — ответила она и мельком посмотрела на Алексея.

— Побалакай с хлопцем, чего ты? — свеликодушничал тот.

— Ох, уже не рано.

— Ну, что ж. Будь здорова, — сказал Петро, пожимая ей руку.

Алексей проводил его до самых ворот и ушёл лишь после того, как Петро пообещал разделить с ним завтра вечерок.

XI

Остались считанные дни до жнив. В Чистой Кринице готовились к уборке старательно; поля сулили невиданный урожай. К началу июня в поле стояли уже налаженные косилки, конные грабли, арбы. На выгоне, за ветряками, радуя взор криничан, длинным рядом выстроились комбайны, тракторы.

Молодицы и дивчата ранним утром собирались у бригадных дворов, шумными пёстрыми ватагами шли за село. Они спешили управиться с прополкой бураков, окучкой картофеля.

Ещё раньше, до восхода солнца, выезжали, покачиваясь на приземистых жатках и лобогрейках, косари: созрела люцерна, подходило время для косовицы берегового и лесного сена. Пришла та пора, когда работалось особенно весело, и оставаться в селе было трудно даже старикам.

В субботу, чуть забрезжил рассвет, Остап Григорьевич собрался на остров. Перед уходом, тихонько ступая на носках, он заглянул в чистую половину хаты, к сыну.

Петро, сидя на кровати, натягивал сапог.

— Что так рано? — удивился отец. — Маловато спишь.

— Хочу с тобой в сад пойти. Вы как добираетесь до сада? Паромом?

— Паромом... А если есть желание, можем лодкой. Хорошую справили.

— Лучше лодкой.

Петро перекинул через плечо полотенце, вышел во двор. Он сдёрнул с себя нижнюю сорочку, плеснул на грудь черпак ключевой воды. Вода была ледяная. Петро, жмуря глаза и шумно отдуваясь, быстро растирал грудь, руки, шею.

Мать несла мимо подойник с парным молоком. Поставив в погреб молоко, она вернулась, чтобы помочь сыну умыться.

— Повидался, Петрусь?

— С кем?

— Ты ж вчера до Девятко ходил.

— Повидался...

Он ответил неохотно.

— Иди снедать, Петрусь, — позвала Катерина Федосеевна.

— Куда в такую рань?

— Хоть молочка выпей, — настаивала мать. — Свеженького.

— Поешь, вернёмся не рано, — посоветовал отец.

— Ну, добре.

Наскоро позавтракав, Петр взял вёсла и пошёл следом за отцом к Днепру.

Утро расцветало в необычайной тишине. Застывшие в безветрии листья деревьев, молодые сосенки, стебли травы искрились на солнце жемчужной россыпью росы. Над зеркальной гладью воды поднимался нежнорозовый пар.

Петро дошёл до Днепра, остановился, любуясь зеленеющим островом. Оба берега — отлогий, с редким сосновым молодняком на песчаных бурунах, и крутой, с остролистыми дубами, простершими над яром широкие ветви, — были залиты чистым утренним светом.

По узкой тропинке на противоположном берегу поднимались от парома в гору женщины с тяпками на плечах.

— Ганькин участок за садом недалеко, — сказал Остап Григорьевич, отвязывая лодку. — Бравые у них этот год бураки.

Петро приладил вёсла, засучил рукава рубашки. Отец оттолкнул лодку, сел на корму. Пахло рыбой и мокрыми корягами. «В воскресенье пойду порыбалить», — мысленно решил Петро.

— Хорошо ловится рыба? — спросил он.

— Неплохо ловится.

Остап Григорьевич набил трубку, но раскуривать её не торопился: больно уж чистый воздух стоял над водой.

— Немножко освобожусь, порыбалим на неделе, если интересуешься, — сказал он.

— На неделе, тато, вряд ли выйдет. В понедельник поеду.

— Куда?

— В район. Надо за дело браться.

— Ты ж дома совсем мало был.

— Буду наезжать. Теперь недалеко.

— Погуляй три-четыре денька. Мать обижаться будет.

— Не смогу я... без работы.

— Ну, что ж, — разглядывая мозоли на руках, обидчиво сказал старик. — Делай, как твоя совесть приказывает...

В старом фруктовом саду было тихо, безмолвно. Под неподвижными кронами деревьев, вокруг поздно зацветших

зимних яблонь, вились пчёлы, мелькали яркокрылые бабочки. В прохладной тени серебрилась влагой трава.

Петро знал каждое деревцо в этом саду. Когда-то был он неплохим помощником отца в его садоводческом деле.

Остап Григорьевич не стал здесь задерживаться. Он повёл сына мимо питомника, к двух- и трёхлетним посадкам. Ровными, под шнурок, рядками, в аккуратных лунках стояли новые сорта яблонь, груш, слив, персиков.

Поглядывая украдкой на Петра, старик говорил деланно равнодушным голосом:

— Ты по садам поездил, посмотрел, что у людей есть. А мы тут потихонечку...

— Э, да сколько ж здесь сортов слив! — дивился Петро. — Даже «королева Беатриса» есть.

— Завелась и королева, — поглаживая усы, хвалился Остап Григорьевич. — Ажанская сладкая есть, ренклод, яичная жёлтая вон подрастает, персиковая, антарио...

Он повёл к деревьям-рекордистам. За их черенками приезжали откуда-то, чуть ли не с Черниговщины.

Осмотрев сад и питомник, Петро собирался уходить. Тяжело было у него на душе. Шагая по саду за отцом, он вспоминал, как встретила его Оксана, как держалась весь вечер, и воспоминания эти наполнили его сердце такой болью и тоской, будто он потерял близкого и очень дорогого человека.

— Давай перекурим, — сказал Остап Григорьевич. — А потом ступай с богом.

Они сели в холодке у шалаша. Петро протянул отцу портсигар.

— Э, нет! Я своего.

Старик старательно размял на ладони листья самосада, не спеша набил трубку. Он чиркнул спичкой о коробок и с заметным холодком сказал:

— Ты думаешь, мне легко эти дерева доглядать?

— Почему я так думаю?

— Сколько я горя хлебнул, пока это с земли всё поднялось, — продолжал тем же тоном отец. — Другой плюнул бы и не морочил себе голову. Людей Девятко не давал, всё на поля, да на огороды. Пока допросишься инвентаря или химикатов, слезьми изойдёшь. Один ответ: «Нету средств». Послухаешь такое раз, другой, думаешь, — ну вас к дидьку лысому!.. А сердце ж, оно болит. Не об себе хлопотал. И снова идёшь, копаешься...

Он остановил движением руки Петра, собиравшегося что-то сказать.

— А в этом году, — закончил он, — с одного сада дохода тысяч шестьсот возьмём. Теперь и Девятко следом бегает: «Чего ещё, Григорьевич? Говори, мол, всё сделаем...»

— Почему вы, тато, разговор об этом завели? Я же знаю, не легко вам.

— А ты думал, не приметил я, какой ты ходишь? Батько свои достижения показывает, а у тебя думки где-то в другом месте. Ты ж, сынок, китайку с жерделой спутал. Это как? Я промолчал, а сейчас всё тебе выкладаю...

Петро сокрушённо покрутил головой. С выжидающей улыбкой смотрел он на отца.

— Ты не смейся, — с неожиданной суровостью сказал Остап Григорьевич. — Ты слухай, что тебе батько говорит.

— Слушаю, тато.

— Что это, скажи, за беда такая приключилась, что и батькова хата тебе не милая? С матерью ещё не переговорил, как след, а уже ходу...

Петро молча ерошил пальцами чуб, перекладывая папиросу из одного уголка рта в другой.

— Если девка глупая туда-сюда шатается, — помолчав, продолжал отец, — так значит весь свет на ней сошёлся? Лучшую, что ли, себе не найдёшь? Гордости в тебе нету, сынку...

— Тут, тато, дело тонкое, — чужим, охрипшим голосом ответил Петро.

— Ты ещё за юбку матернину держался, — сказал отец, — я глядел на тебя и в думках держал: «Это казак добрый растёт. Этот в жизни дорожку пробьёт...» Боевой рос, настойчивый. Ванюшка, тот помягче был. А теперь, выходит, тебя девка, и та может подкосить...

Петро отлично понял, почему отец затеял этот разговор. Старик не мог простить Оксане, что она предпочла не Петра, а кого-то другого.

— Раз вы об этом заговорили, — повернулся он к отцу, — я вам вот что скажу. Настойчивость тут ни при чём. Когда надо, её у меня хватит.

— Во, во! Верные слова.

— Нравится она мне, не скрываю. Жениться думал...

— Девка как девка, — пренебрежительно перебил Остап Григорьевич.

— ...Но заставить любить силой да настойчивостью ещё никому не удавалось. И обвинять её не в чем, тато... А дивчина она хорошая, напрасно вы о ней так отзываетесь.

— Ну и тебе печалиться не к чему. Видеть тебя таким не могу.

Остап Григорьевич поднялся, выколотил о чурбак пепел из трубки.

— До Ганьки пойдёшь? Тут недалечко.

— Пойду.

Разговор с отцом оживил и развеселил Петра. «А и дотошный, — думал он об отце, уходя из сада. — Старый, старый, а ничего не пропустит...»

Он с облегчением глубоко вздохнул и, вспомнив суровое лицо отца, рассмеялся.

XII

На свекловичных посевах было многолюдно, но звено сестры Петро разыскал без труда.

Ганна заметила брата издали. Оторвавшись от работы, она сказала что-то своим подругам и помахала рукой. Ещё две-три девушки призывно замахали руками.

Обойдя межой зелёные рядки, Петро подошёл к работающим, весело шевельнул бровями:

— Боже поможи, дивчата.

Девушки разглядывали его, не стесняясь, с откровенным любопытством. Одна из них, с закутанным от солнца лицом, блеснула глазами из узенькой щелочки в платке и откликнулась певучим, грудным голосом:

— Богы казалы, щоб и вы помогалы.

Ганна отложила мотыгу:

— Отдохнул, братуня?

— Отдыхать пока мне, Ганя, не требуется.

— У батька был?

— Заходил.

Дивчата проворно орудовали мотыгами, вполголоса переговариваясь и пересмеиваясь меж собой.

Ганна вытерла платком пот на загорелом лице, оглядела пройденную загонку; пышные рядки ботвы протяну-

лись изумрудными лентами по взрыхлённой, угольночёрной земле. Увядали на солнце срезанные в междурядьях и примятые ступнями босых ног бледнорозовые стебли бурьяна.

— Хороший бурак, — похвалил Петро. — Видно, трудов не пожалели.

— А как же! Знаешь, сколько трудов? Мы ж и пахали глубоко, подкармливали. Сколько раз поливали. Это только сказать легко. Воду с Днепра вёдрами таскали...

— Шестьсот с гектара хотите взять?

— Не меньше.

Дивчата работали дружно и быстро ушли вперёд. Шутки и громкий смех их были так задорны, заразительны, что Петра внезапно охватило непреоборимое желание ощутить себя частицей этого жизнерадостного коллектива, разделить счастье его труда. И не просто раствориться в нём, а быть первым среди этих сильных и ловких работниц. Так когда-то в школьные годы хотелось отвечать учительнице лучше всех, бегать быстрее сверстников. Так в юношеские годы хотелось во всём быть ловчее и выносливее других. Сейчас Петра влекло желание проверить, не утратил ли он привычки к физическому труду, былой сноровки.

— Дай-ка, Ганя, твою тяпку, — нетерпеливо сказал он.

Он пошёл к дивчатам, на ходу засучивая рукава; вызывающе крикнул:

— А ну, кто тут у вас самая ярая ударница?

— Свататься будешь?

— Там посмотрим. Может, и посватаюсь...

Маленькая светловолосая колхозница, проворно поправляя платок, неприметно подмигнула в сторону укутанной дивчины:

— Нюська! Самая ярая.

— Она, — поддержала Ганна.

Петро поплевал на руки, стал рядом с Нюськой. «А вдруг отвык и опозорюсь», — мелькнула у него мысль. Но отступать уже невозможно: засмеют.

Нюська лукаво посмотрела на Петра снизу вверх, молча сковырнула с мотыги налипшую землю.

— Ну, голубонька, давай, нажми, — сказал Петро. — А то обгоню.

— Попробуй.

Петро сразу же ушёл вперед, однако через несколько минут начал отставать. Нюська, не обращая внимания на

поддразнивание подруг, мотыжила свои рядки спокойно и ровно. Легко обогнав Петра, она выпрямилась, чтобы передохнуть.

«Если к меже приду первым, Оксана меня любит», — загадал Петро. Подумав об этом, он твёрдо решил, что не сдастся, чего бы это ему ни стоило. Взяв держак мотыги поудобней, он зашагал уже спокойнее и увереннее. Всё внимание, мысли его устремились на зеркальный кусочек стали, с сухим шуршанием вгрызающийся в землю.

Спустя немного времени Петро почувствовал, что поровнялся с Нюськой. Пот катил по его лбу, заливал глаза, но вытереть его было некогда. Огромным напряжением сил он выдвинулся ещё немного вперёд. Но Нюська не хотела уступить. Она вновь настигла его и выскочила к меже первой.

«Значит, с Оксаной всё ясно: не любит...» — подумал Петро. Он вытер платком лоб и посмотрел на Нюську, смущённо улыбаясь.

— В звено до нас, Ганька, твоего братеника, — крикнул чей-то звонкий голос. — Он и Нюську перегодя сумеет обогнать. Разве не видно, как хлопец работает!

Поболтав ещё немного с дивчатами, Петро распрощался и зашагал к Днепру. Близился час, когда почтарь привозил свежие газеты.

Спускаясь тропинкой к яру, он услышал за спиной торопливые шаги. К реке, беспечно размахивая платком, спешила Нюська. Обгоняя Петра, она сошла с дороги, ускорила шаг.

Петро расставил руки, загородил дорогу.

— Куда бежишь, соперница?

Нюська с визгом увернулась.

— В лекарню Ганька отпустила. Сестру проведать.

— Что с ней?

Нюська загадочно усмехнулась.

— Чего наш брат туда попадает? Хлопчик нашёлся.

— Ого! В кумовья пусть Мелашка приглашает. Погуляем на крестинах.

— Погуляем, — согласилась Нюська.

Сейчас, когда она была без платка, Петро впервые увидел, какие у неё бойкие жёлто-серые глаза и добрая улыбка.

— Ты, Петро, на лодку или парома будешь дожидаться?

— Лодка есть? Поедем вместе.

Они подошли к реке. Нюська быстрыми, уверенными движениями отвязала лодку, села на вёсла.

— Давай, буду грести, — сказал Петро. — Ты ж, верно, с досвета на работе. Отдохни.

Нюська, не отвечая, оттолкнулась от берега. Вёсла в её сильных руках плавно опускались, вспенивая воду, легко взлетали вверх. Щегольская малиновая кофточка с короткими рукавами плотно облегала её широкие плечи. Лодка скользила стремительно, без рывков, и губы девушки приоткрылись от удовольствия.

«Ну и дивчата у нас. Цены им нет, — думал Петро, с нескрываемым восхищением глядя на Нюську. — На поле чудеса творят. Учиться такая вот поедет, профессора не нарадуются. И Оксанка такая».

— Учиться не собираешься, Нюся?

— Поеду.

— Куда?

— На лётчицу хочу.

— О!

— Гриша Срибный слово взял. Он, когда приезжал, всем дивчатам голову закрутил. Одно — езжайте в лётную школу.

— Ну, и кто же ещё туда собирается?

— Марийка, его сестра, Катя Шевчукова, Настя Попова, другие дивчата.

Нюська опустила вёсла, засмотрелась на воду. Нежное, не тронутое загаром лицо её светилось безмятежной радостью, спокойствием. Спохватившись, она снова налегла на вёсла.

— Мне же поспешать надо, а я... В будущее воскресенье бал у нас, Петро, в клубе.

— Слышал.

— Премии за весенние работы будут раздавать.

— И знамя кто-то заберёт?

— Мы заберём. Наша ланка [1].

— А вдруг другие?

— Э, нет! Наша бригада все премировки забирает.

— А другие терпят?

— Это нас не касается. Слово мы дали, чего ж позориться?

---

[1] Ланка — звено (укр.).

Лодка уткнулась в берег. Нюська достала из кармана зеркальце, поправила волосы.

— Ну, Петро Остапович, до свидания.

— Погоди, вместе пойдём.

— Э, нет! Боюсь,— лукаво усмехнулась Нюська.

— Это откуда ж страх у тебя взялся?

— Оксана что скажет? Будь здоров, хлопче.

Она помахала рукой и пошла покачивающейся походкой к майдану.

XIII

По пути к дому Петро раздобыл у почтаря свежие газеты. Тут же, в садочке, он перечитал их и явился домой часа в три пополудни.

Сашко́, стороживший брата у калитки, кинулся навстречу. Он беспокойно вертелся около Петра, с несвойственным ему рвением услуживал, пока тот чистился, умывался. Причину его ретивости Петро разгадал, подметив, как Сашко́ поглядывал на чемодан и неразвязанный дорожный мешок.

— Ну, иди, иди, кличь,— сказал Петро, улыбаясь.— Пускай разбирают свои гостинцы.

Василинка прибежала из кухни, вытирая на ходу руки. Катерина Федосеевна зашла, когда Василинка, обнимая Петра и ахая, уже разглядывала отрезы на платья, предназначенные ей и Ганне.

Отцу Петро привёз фетровые бурки и трубку из самшита с Сельскохозяйственной выставки.

— Это же старый, когда обуется, как секретарь райкома Бутенко будет,— всплескивая руками, восхищалась Катерина Федосеевна.

Петро извлёк из чемодана большую пуховую шаль с кистями, протянул ей.

— Ой же, и гарный та мягкий платок. Сроду такого не носила, — восклицала мать, ощупывая шелковистую шерсть.

— На кого же вы будете в нём похожие? А ну, примерьте,— неистовствовала Василинка.— А Сашку́ что привёз, Петрусь?

Петро посмотрел на заострившееся от ожидания лицо братишки и лукаво подмигнул матери:

— Ему хотел слона привезти, не пустили в поезд.

— Какого слона? — со слезами в голосе, подозрительно спросил Сашко́.— Который с кишкой заместо носа?

— Во, во! С кишкой.

— Не надо мне твоего слона-а-а! — отверг с возмущением Сашко̀.

— Не мучай хлопца,— заступилась мать.— Петро же в шутку говорит, глупенький ты.

Петро с таинственным видом отозвал братишку, шопотом сказал:

— Тебе я такое привёз... Секретное...

Выпроводив мать и Василинку, он порылся в мешке и достал заводной, едко пахнущий краской танк.

— Это дело военное,— говорил Петро, пуская игрушку по полу.— Мужчин только касается.

Сашко́ зачарованно смотрел, как танк пополз к столу. Не без труда освоив игрушечную премудрость, он беспрерывно запускал танк, ползал за ним на коленях и вдруг, увидев в руках Петра янтарные бусы, ревниво спросил:

— А это кому?

— Бабке Харитыне.

— Знаю, знаю! — прищёлкнув языком, крикнул Сашко́.

— Кому?

— Хитрый. Чтоб тато опять ругались..

— Это я сам буду носить.

— Оксане! — убеждённо заявил Сашко́.

Он поспешно забрал свой подарок, побежал на кухню хвалиться. Петро задумчиво посмотрел на монисто, переливавшееся на солнце, и положил его в чемодан...

К Костюкам он направился ранними сумерками. Алексей был у себя в коморе [1]. Скинув сорочку, он строгал что-то на небольшом верстаке.

— Проходь в мой кабинет,— с усмешкой повёл он рукой.— Скоро буду шабашить.

Петро присел на низкий сапожницкий стулец, огляделся. Глиняные стены коморы были оклеены ярко раскрашенными схемами моторов, тракторных деталей. Пол густо усеян свежей полынью и сосновыми стружками. Освещённый лампочкой от аккумулятора, блестел раскиданный по столу слесарный инструмент, матово чернел репродуктор самодельного приёмника.

---

[1] Комора — кладовая (укр.).

— Тут мой кабинет, тут и ночую,— пояснил Алексей.— Сам себе агроном, и блохи меньше кусают.

— Радио тоже ты смастерил?

— А кто же! Я, брат, почти все станции принимаю,— похвастал Алексей.

Он ещё несколько раз стругнул рубанком по ребру доски, зажатой в тисках.

— Сеструхе старшой колыску для хлопчика делаю. Скоро закончу.

— Ты давай работай, — сказал Петро. — На меня не обращай внимания. Я пойду пока с Нюсей посижу.

— Нюська в хатынке,— сообщил Алексей.— Иди, и я сейчас прибуду.

В сени и дальше, в комнатку, двери были распахнуты настежь. Нюська гладила бельё. Мелкие капельки пота скопились на её верхней, чуть вздёрнутой губе, в мягких полукружьях под глазами.

— Не успела управиться, — сказала она, — ты не обижайся.

Петро пристроился за столом. Опершись подбородком на руки, он следил за быстрыми движениями девушки.

— Что Грицько пишет?

— Давно письма не было.

— И не обижаешься?

— А об чём писать? — ответила Нюська, зевая. — У него другой работы не хватает? Переводить бумагу...

— Ждёшь его?

— Что ты спрашиваешь, Петро? Пообещала, значит, всё.

Нюська попробовала пальцем утюг, отставила его и отошла к лежанке, спрятав руки за спину, как бы грея их.

— И тебя ждали,— сказала она.— Крепко себя Оксана соблюдала. Ни гулянок, ни хлопцев. Знай себе, читает книжки...

— По вчерашней встрече если судить, не очень-то она рада мне.

— Не так встретила? Так она ж, Петро, знаешь, какая гордая. Может, у тебя там другая есть?

— Дело не во мне. У меня никого не было.

— И у Оксаны не было.

— А Лёша?

— Что тебе о нём сказать?..

Нюська, увидев за дверью брата, умолкла. Алексей уже приоделся и вошёл с шумом, празднично настроенный.

— А ну, сеструха, кончай свой базар с бельём,— распорядился он.— Неси на стол, что там есть.

Он сел против Петра.

— И рад же я,— сказал он,— когда хлопцы наши приезжают. Повидал тебя, и вроде прежние годы вернулись. Верное слово!

— Хорошие годы были.

— Когда ты секретарствовал в комсомоле, и хлопцы как-то живей крутились. Теперь того уже нету.

— Хлопцы добре работали,— согласился Петро.

Друзья помолчали. Обоим было приятно вспомнить, как они строили себе клуб, создавали стрелковый тир, первыми начали вывозить золу на участки комсомольских звеньев.

— Немножко маху дал я, что не поехал учиться,— прервал молчание Алексей.— Так влюбился в трактора, когда дали нам «челябинцев». Веришь, сплю, бывало, а мне магнето, жиклёры, зажигания только и снятся. Такой любитель этого дела...

— Это же хорошо, Лёша! Знаешь, как нужны в селе такие руки!

— Не только в селе. На осень и я в Киев подамся. Приезжал человек с ремонтного завода, приглашают... Деньги большие дают, квартиру...

Алексей встал, перегнулся над головой Петра и распахнул окно в сад.

Он сел на место и с минуту раздумывал. Ему очень хотелось выяснить, какие намерения у Петра относительно Оксаны, не станет ли он, Петро, на его пути.

— Ну, и жениться думаю, — нарочито равнодушным тоном проговорил он. — Оксану хочу брать. Она пусть учится, потом и я поступлю.

— И она согласие дала? — скороговоркой, почти шопотом спросил Петро.

От Алексея не утаилась тревожная взволнованность товарища. Он не забыл также, как часто и охотно Оксана вспоминала о Петре, как переполошилась, узнав о его возвращении в Чистую Криницу. В мозгу Алексея проснулась мысль о том, что Петро не простит Оксане, если ему намекнуть, что она его не ждала. «Сказать ему, что у нас скоро свадьба?» — подумал он, но не решился.

— Мы же с нею давно уже...— туманно произнёс он.— Правда, боится, чтоб из института не забрал, но я не против. Нехай учится. В Киев перееду, ей легче будет...

Петро расстегнул ворот рубашки, словно ему нечем было дышать, в голове мутилось. Огонёк папироски вспыхивал в полумраке всё чаще. Голос дрожал, когда, спустя немного, он спросил:

— А отпустит из колхоза тебя парторганизация? Ты при МТС состоишь?

Алексей неторопливо полез в карман за кисетом, старательно оторвал от сложенной газетки лоскуток на завёртку.

— Из партии меня исключили, Петро.

— Исключили? Как это... За что?

— Так... Было одно дело, — сказал Алексей, — да я об этом дуже не печалюсь. У механика, известно, дела и без собраний да нагрузок хватает.

— То-есть как не печалишься?! Тебя партия в люди вывела, а ты... «Не печалюсь». Слушай, Олекса, может быть, ты шутишь?

— Да нет, какие ж шутки! Я теперь вроде как беспартийный актив.

Петро порывисто встал с места, зашагал по комнатушке.

— Ты же комсомольцем сколько был, Олекса. Как же ты мог вот так... бросить партию? Нас у партии много, а вот партия у нас, как родная мать, одна. Об этом думал?

— Думай, не думай, теперь поздно. Переживём как-то...

— Эх, ты...

— Да чего ты разошёлся? — хмуро прервал Алексей.— Хочешь сволочью меня обозвать? Называй. Только мне что-то сдаётся, не за это ты на меня... Партийные дела не к чему сюда приплетать.

Алексей пыхнул дымом, сел удобнее.

— За Оксану нам с тобой споры нечего затевать,— сказал он, жуя окурок.— Она об тебе не дуже помнила...

Петро быстро надел кепку. Он подумал о том, что теперь уже говорить по душам с Алексеем не сможет и надо уйти... А Алексей, спохватившись, что зря обидел старого товарища, примирительно пробормотал:

— И чего это мы сцепились? Садись, Петро, повечеряем, тогда видней будет... что к чему.

Колеблясь, Петро постоял ещё минуту, потом сел. Но в это мгновение за дверью, в сенцах, послышался голос Оксаны, и Петро, быстро вскочив с табуретки, кинул Алексею:

— Другим разом, Олекса, потолкуем. А сейчас спешу до дому...

Он выскочил в сенцы, посторонился, пропуская Нюську и Оксану, нёсших угощение, и, перемахнув через ступеньки крылечка, пошёл к калитке.

— Ты куда, Петро? — крикнула встревоженно Нюська, когда он уже взялся за щеколду.

Петро не откликнулся. Рывком открыл калитку, зашагал по улице. И только спустя несколько минут он заметил, что идёт не домой, а к ветряку, в степь...

XIV

Несколько дней пожил Петро дома, а однажды, встав, как обычно, с рассветом, заявил отцу:

— Как хотите, тато, а без дела сидеть больше не могу.

— Примечаю, сынку, твоё настроение.

— Пусть вам не в обиду это будет. Поеду в район договариваться о работе.

— Раз нужно, не препятствую. Повидайся с людьми...

В Богодаровке у Остапа Григорьевича оказались дела в райземотделе, и он решил поехать вместе с Петром.

Часам к одиннадцати они были в районе. Старший агроном Збандуто, к которому направили Петра, встретил его очень любезно, расспросил подробно о Тимирязевке, о мичуринских опытах.

— Ну, что ж,— закончив расспросы, сказал он.— Весьма рады молодым кадрам. Нам как раз нужен работник по полеводству.

— Ведь я специализировался как садовод, — напомнил Петро.

— Сочувствую. Но нам важнее полеводство.

Збандуто снял очки, пригладил волосы на лысеющей макушке.

— У меня продуманы планы развития садоводства в районе, — сказал, нахмурившись, Петро.— Надо же правильно использовать мои знания и... считаться с желанием.

— Что за планы у вас?

Петро, всё больше воодушевляясь, обстоятельно рассказал о давно созревших у него замыслах превращения Богодаровского района в цветущий сад, с богатыми питомниками, парниками, теплицами.

Збандуто слушал его, не перебивая.

— Я вот в ваши годы желал виноделом быть, — сухо ответил он. — Ничего не поделаешь, молодой человек.

— Сделать всё можно, — загорячился Петро. — Знайте, что я всё-таки буду заниматься садоводством. Иначе не было нужды и ехать мне сюда.

Збандуто провёл ладонью по толстому стеклу, лежавшему на столе, брезгливо посмотрел на пыль, приставшую к пальцам.

— Совершенно напрасно расстраиваетесь,— сказал он.— Поработайте годик, другой, где прикажут. А потом замените нас, отживших стариков... Тогда распоряжайтесь, как душе угодно.

Петро вспыхнул и, чувствуя, что может нагрубить, повернулся и вышел, не прощаясь.

Проводив Петра неприязненным взглядом, Збандуто встал из-за стола и, сутулясь, зашагал по кабинету. Дерзкий план и поразил и встревожил его. Мальчишка! Молокосос! В районе никому и в голову не приходило ничего подобного. И ведь всё реально, всё существенно! Если дать волю этому безусому выскочке, то его, Збандуто, чего доброго, попросят с насиженного местечка. Скажут: узок, ограничен, не думает о больших масштабах. Таким, как этот самоуверенный чубатый парубок, легко: учатся на всём готовеньком.

Збандуто с сумрачным, сразу осунувшимся лицом подошёл к окну и увидел Петра, беседовавшего со своим отцом.

— Так-то, молодой человек! — зло и насмешливо прошептал Збандуто. — Не бывать по-вашему! Ишь ты, какой хозяин выискался! Хотите сразу авторитетик заработать? Не выйдет-с!

— И пень же этот Збандуто, — сказал Петро отцу, передав в подробностях беседу с агрономом.— Ну, да чорта с два! Я своего добьюсь.

— Этот упрямый,— подтвердил Остап Григорьевич.— А науку свою знает. Он уже годов тридцать при своём деле...

— Хоть и сорок,— никак не мог успокоиться Петро.— Это же не агроном, а чинуша. Как с ним работать?

Остап Григорьевич сочувственно поглядел на разгорячённое лицо сына.

— Не легко тебе с ним будет, с Збандутой, это ты верно сказал. Когда я ещё в экономии Тышкевичей батрачил, а Збандуто управляющим у графа был, людям от него здорово доставалось. Сам в помещики хотел выбиться, драл по три шкуры с рабочих. Ну, при нашей, советской власти, притих, служит вроде исправно. Специалист он в своем деле большой.

— Какой он специалист, не знаю, — прервал Петро, — а бюрократ редкостный. И попался же такой!

— Ты вот что, сынок,— пожевав ус, сказал Остап Григорьевич.— Зайдём до Бутенко. Тот разберётся.

— Кто это Бутенко?

— Секретарь райкома. Разумная голова.

— Обязательно зайдём.

В райкоме только что закончилось совещание, и Бутенко ушёл домой завтракать. Чтобы не терять времени, поехали на квартиру.

Бутенко сидел в садике и внимательно что-то разглядывал. Протянув руку Остапу Григорьевичу, затем Петру, он показал мотылька.

— Тьма таких развелась, — сказал он. — Совино-головку могу отличить, древоточца, шелкопряда — тоже. А вот это что за зверюга?

Петро взял из его рук тёмнобурую бабочку с белыми краями крылышек.

— Вишнёвая листовёртка,— определил он.

— Ишь ты! — Бутенко поднял бровь.— Вредитель?

— Кроме шелкопряда, почти все мотыльки вредители, — пояснил Петро.

Бутенко задержал на нём взгляд, повернулся к Остапу Григорьевичу:

— Сынок?

— Так точно.

— В Москве учился, если не ошибаюсь? В Тимирязевке?

— Да.

Бутенко жестом пригласил сесть.

— Теперь куда?

— Вот в родные края отпросился.

— Молодец! Агрономы нам дозарезу нужны.

— И я так думал, пока не переговорил с Збандуто,— сказал Петро.

— Что произошло у вас с ним?

Петро рассказал.

— Ну, ничего,— успокоил Бутенко.— Нам и садоводы нужны. Даже очень. Уладим.

Заметив на веранде низенькую полную женщину, он крикнул:

— Любовь Михайловна! Давай-ка нам закусить сюда. Учти, нас трое.

— Напрасное беспокойство, Игнат Семёнович,— начал отказываться Остап Григорьевич.

— Ты погоди с беспокойством,— Бутенко повёл рукой.— Беспокойство для тебя ещё впереди...

Голубое небо с редкими облаками щедро лило ясный свет на поля, на сады и хаты. Тёплый ветерок занёс с поля духовитые ароматы цветущей гречихи, мёда. Петро, вздохнув полной грудью, вдруг снова вспомнил шумливое звено сестры, своё состязание... «А ведь я тогда загадал, любит ли Оксана, — мелькнула у него мысль. — Вышло, как загадал».

— Что-то академик наш невесел? — взглянув на его лицо, спросил Бутенко.

— Нет, почему же невесел? — смутившись, ответил Петро.

И, почувствовав, что Бутенко продолжает смотреть на него проницательным, изучающим взглядом, сказал:

— Я очень прошу, Игнат Семёнович, о работе моей скорей решать. Не могу я слоняться без дела... Но пойду только по садоводству, никуда больше!

— Горячий. Это неплохо,— сказал Бутенко, улыбаясь.— Завтра у нас какой день?

— Воскресенье,— сказал Остап Григорьевич.— Завтра вы до нас на праздник пожалуйте, Игнат Семёнович. По случаю окончания весеннего сева. Просим вас и вашу супругу.

— Спасибо. Обязательно буду. Ну, вот и сообщу завтра, как порешим о молодом Рубанюке. Потерпишь до завтра? — спросил он Петра.

— Это нетрудно.

— Любовь Михайловна тоже ведь агроном,— сказал Бутенко, кивнув в сторону жены, подходившей с посудой.

Она доброжелательно оглядела Петра узкими чёрными глазами, усмехнулась:

— Рубанюковская порода.

— Из чего это видно? — спросил Петро.

— Глаза Ганны, брови матери.

— Вы их знаете? — обрадовался почему-то Петро.

— Я многих знаю в Чистой Кринице.

Она постелила на стол свежую скатерть, расставила стаканы и тарелки с копчёной рыбой, редиской, маслом и ушла.

Бутенко, следивший за разговором, объяснил:

— Целыми днями пропадает в звене Ганны. Сестра ваша молодчага. Мы её собираемся к ордену представить.

У Остапа Григорьевича перехватило дыхание. Он многозначительно посмотрел на Петра, счастливо подмигнул.

— От старшего сына письмо на днях пришло,— сообщил он, поворачиваясь к секретарю райкома.— В подполковники его произвели.

— Поздравляю, поздравляю,— откликнулся Бутенко.— Такими сыновьями нужно гордиться.

Хозяйка принесла высокий прозрачный кувшин. Бутенко наполнил стаканы, поднял свой на свет. Золотисто-янтарная жидкость заискрилась на солнце, скользнула зайчиком по его бритой щеке.

— Ну, что ж,— сказал он.— Поздравим с приездом. А заодно с сыном-подполковником. И попрошу определить, что за винцо.

Остап Григорьевич тоже посмотрел свой стакан против света, понюхал, взял на язык.

— Это д-да! — крякнул он.— Ну, будем здоровы.

Выпив, он уставился на Бутенко:

— Не нашей местности?

Бутенко переглянулся с женой. Петро отхлебнул, подумал, сделал ещё глоток.

— Хорошее видно, — похвалил он. — А вот из чего, не определю.

— Это наши сапуновские деды наловчились. Из розмарина,— с довольным видом сообщил Бутенко.

На лице Остапа Григорьевича отразилось недоверие. Он смущённо поглядывал на кувшин.

— Неужели сапуновские?!

— Обскакали тебя,— поддразнивал его Бутенко.— А?

Знал секретарь, чем уязвить старика. До сих пор Рубанюк ещё никому в районе не уступал первенства ни в чём, что касалось садоводства. Сады Чистой Криницы считались плодоноснейшими; за сеянцами к старику приезжали чуть ли не со всей Киевщины.

— В Сапуновке ещё деды и прадеды этим занимались,— сказал Остап Григорьевич себе в оправдание.— Ну, я их ещё не таким манером подсижу...

— Ну, ну,— смеялся Бутенко.— Я и угостил тебя, чтоб знал — сапуновские мозгами шевелят...

Уже за селом, когда отъехали версты три, старик сказал со вздохом:

— Угостил винцом, забодай его комар. Теперь и на улицу будет стыдно выйти. А сапуновские, глянь... Бойкие дедуганы.

XV

В воскресенье с утра Петро расположился за хатой чинить рыболовные снасти. Сашко сидел на земле, преданно заглядывая ему в глаза.

— Петро ваш дома, Катерина Федосеевна? — послышался у калитки мужской голос.

Сквозь листву Петро, пригнувшись, увидел: высокий, ладный парень в форме гражданского лётчика заглядывал через плетень, нетерпеливо помахивая прутиком.

Петро с посветлевшим лицом выбежал к воротам.

— Грицько! Вот здорово! Откуда тебя принесло?

Они бегло оглядели друг друга, звучно, по-мужски расцеловались.

— На денёк завернул,— говорил Григорий, идя за Петром в хату.— Завтра дальше...

Приятели уселись за столом. Они давно не виделись и, не задерживаясь на подробностях, перекидывались торопливыми вопросами. Лишь спустя некоторое время Петро сказал:

— Мы с тобой, Грицько, так обрадовались встрече, что говорить друг другу не даём... Ты по порядку о себе выкладывай.

— Ты вот расскажи. Доволен своей судьбиной?

— Я? Доволен.

Катерина Федосеевна, шелестя широкой праздничной юбкой, внесла в хату и поставила на стол тарелку с жаре-

ными подсолнечными семечками. Подперев щёку рукой, она приветливо смотрела на Григория.

— Может, позавтракаешь у нас, Гриша? — предложила она.

— Давай, Грицько,— поддержал предложение Петро.

— Не откажусь.

Катерина Федосеевна с готовностью побежала на кухню. Давно не выпадало ей счастье угощать петровых товарищей.

— Во Львов посылают, — сказал Григорий. — Буду теперь там летать.

Петро подметил в манерах и жестах Григория тот особый лоск, который он наблюдал только у лётчиков и моряков. Вскидывал ли Грицько ногу на ногу или поправлял твёрдый воротничок под форменным кителем, движения его были точны и уверенны. И выбрит был он как-то особенно, до сизого блеска на коричнево-смуглых скуластых щеках. Это был уже не тот Гришка — смекалистый, но простоватый селянский парень, каким знал его Петро пять лет назад. Тогда Грицько мог часами сидеть с открытым ртом у тракторного мотора, дивясь его мудрёному устройству.

— Интересную ты избрал профессию,— сказал Петро.

— На Дону уже надоело. Ползаешь от Ростова до Цымлы с запасными частями. Как извозчик.

— Чего же ты хочешь?

— Просился в школу истребителей.

— Ну?

— Говорят, полетай ещё. Вот поработаю на Украине и перебазируюсь в Арктику. Там есть где развернуться.

— Тебе уж и в небе тесно?

— Ну, а твои планы?

— У меня планы, Гриша, земные. Профессия моя незаметная, спокойная.

— Ну, ну, скромничаешь. Когда это ты таким спокойным сделался?

— Правду говорю. Буду сады разводить. Питомники мичуринские в колхозах. Садки фруктовые во дворах...

— Помнишь, мы когда ещё об этом толковали?

— Тогда только мечтали.

Катерина Федосеевна накрыла стол.

— Хозяйничай тут сам,— сказала она Петру, покрываясь платком.— А я побегу, бабам надо помочь готовить к вечеру.

— Сегодня пир в колхозе, — сообщил Петро Григорию.

Он вдруг помрачнел. Когда мать вышла за дверь, спросил:

— Ты знаешь, Лёшу исключили из партии?

— Знаю. Вот дурак.

— Придётся за него взяться. Направить ему мозги.

— Обязательно. Парень хороший. Жалко, если свихнётся окончательно.

Подвигая товарищу тарелку со студнем, Петро спросил:

— Так ты доволен своей судьбой?

— Не жалуюсь.

Обтерев рушником губы, Григорий спросил:

— Ты теперь надолго около земли сядешь. Жениться ещё не надумал?

— Пока нет.

— Женись. Умная жинка — это большой помощник во всех делах.

— Ты же лучших дивчат в лётчицы уговорил ехать, — пошутил Петро.

— Останется и для тебя. Оксана чем плохая невеста? У тебя как с ней?

— Никак. Разошлись наши с ней дорожки, Гриша.

— Есть другая?

— Нет. У неё другой есть.

— Ну-у?! Стало быть, кончено? А девка славная...

Ушёл Григорий в полдень, условившись с Петром вечером вместе пойти на празднество. Петро привёл в порядок снасти и уже собирался на реку, когда в хату влетела Василинка. Ещё с порога она крикнула:

— Садись обедать скорее! Там дел... навряд управимся до вечера. Тато где?

— Ещё не приходил из сада.

— Они всегда так. Теперь жди только вечером.

Пока Петро обедал, она сидела на лавке, выкладывая новости:

— Мать и тётка Палажка пироги пекут. С печонкой, капустой и яичками.

— Это по какому такому случаю? — притворно недоумевал Петро.

— Бал сегодня.

— Ну-у?!

— Что дразнишься? Ты же знаешь.

— Откуда мне знать?

Василинка посмотрела на брата, погрозила ему кулаком.

— Там три бочки пива привезли. Здоро-о-овые. Дядька Андрюшка вёз. Смехота с ним. Помнишь дядьку Андрюшку?

— Какой это?

— Глухой. Конюхом работает.

— Знаю. Гичак.

— До всех тёток лезет целоваться. Ну, такое представляет, у нас с Настунькой бока заболели.

— Это от старости бока болят.

— Ну, да! От старости. И скажет...

Василинка повертелась перед зеркалом, вновь подсела к брату.

— Оксана ходит чёрная, как хмара.

— Что с ней?

— А я знаю? Ничего не говорит. Забежала я в комнатушку за ситом, а она лежит на кровати, отвернулась к стенке. Молчит.

Василинка убрала со стола, переоделась в праздничное платье и исчезла.

До вечера Петро бродил по саду, долго сидел около ульев, наблюдая хлопотливую возню пчёл.

XVI

За столом — оживлённый говор. Там, где разместилась молодёжь, разноцветные девичьи наряды — светлые блузки, яркие ленты, блестящие бусы, бархатные и шёлковые корсетки — пестрели вперемежку с узорчатыми сорочками, косоворотками парней.

За отдельным столом тесно сидели почтенные, торжественно молчаливые старики. От пиджаков и шаровар их распространялся нафталинно-яблочный запах.

Петро и Грицько с немалым трудом протиснулись сквозь гомонившую около двери толпу мальчишек. Кузьма Степанович встретил их, отирая потный лоб, тряс руки:

— Спасибо, сыночки, что пришли, не побрезговали. Питомцы наши... Проходите. Сейчас приедет Бутенко, и начнём.

В проходах между столами, шурша сборчатыми юбками, сновали молодицы. С шуточками и прибаутками они рассаживали гостей, разносили сулеи[1] и кувшины с пивом.

---

[1] Сулея — бутыль (укр.).

Петро и Грицька усадили меж дивчатами звена Ганны. Петро огляделся и увидел наискось от себя Оксану. Скромное тёмносинее платье и пунцовая гвоздика, которую она заколола в волосы, так шли к ней, что Григорий негромко заметил:

— Ты, Петро, таких красунь, как Оксана, много встречал? То-то! Зевка дал.

Нюська, сидевшая напротив Оксаны, перегнулась к нему. Лукаво улыбаясь, спросила:

— Что это за мода шептаться? И что за порядок — хлопцам сидеть на балу вместе?

От неё пахло духами, и Григорий, поведя носом в её сторону, сказал Петру:

В городе одеколону не хватает. Он ведь вот где...

Нюська решительно поднялась, взяла Петра за руку и, посмеиваясь, перетащила на своё место. Оксана и Петро, встретившись глазами, улыбнулись.

— Почему тебя весь день не было видно? — спросила Оксана.

— С Грицьком засиделись.

— Я тебя поджидала. Думала, за Днепр поедешь.

— Не успел.

— А почему тогда ушёл? С Лёшей поссорились?

— Чего нам с ним делить? — ответил Петро, прямо и вызывающе глядя ей в глаза.— Вопрос, кажется, решённый?

— Он знаешь, что сделал? Напился, сорочку на себе порвал.

— Каждый тешит себя, как умеет.

— Нет, он здорово обиделся, что ты ушёл.

— На свою дурь ему надо обижаться.

За столом вдруг затихли. Кузьма Степанович, оглядывая зал, надел очки, извлёк из кармана какие-то бумажки. Он откашлялся и торжественным голосом произнёс:

— Дорогие наши колхозники, а также колхозницы. Сегодня у нас великое свято по случаю окончания весенних полевых работ.

Он поглядел поверх очков в сторону, где среди стариков сидел приехавший только что Бутенко.

— Тут есть сам секретарь райкома партии, наш руководитель. Он знает, как мы работали и чего перед людьми заслужили. Так что Чистая Криница не подкачала и взяла первое место по всему району. Как по севу яровых, а также

и технических и по прополке. За это имеем благодарность от районных руководителей...

Бутенко поднял руки и первый громко захлопал. Его дружно поддержали.

— Бухгалтера наши подсчитали,— продолжал Девятко, — с чем мы придём к осени по нашему урожаю. Если, конечно, хлеб, фрукты, овощи соберём аккуратненько, по-хозяйски... Докладывать сейчас подробно не приходится, но скажу: думка такая, что хлеба пудов по сто, а то и по сто десять возьмём на круг. Это, стало быть, кило по восемнадцати на трудодень... Теперь каждый подсчитайте, что он заработал... Хорошо поработали, обижаться нечего.

Словам председателя зарукоплескала молодежь. Её поддержали старики. И вот уже весь зал поднялся, долго и старательно, по-крестьянски, аплодируя самим себе, своим вожакам, богатому урожаю.

— А теперь,— заключил Кузьма Степанович,— поблагодарим наших передовиков. Так что, товарищи, переходящее красное знамя опять заслужила ланка Ганны Рубанюк.

— Лихолит,— дружно подсказали сбоку.

— Извиняюсь, Ганны Лихолит,— поправился Кузьма Степанович.

Все оглянулись, разыскивая глазами удачливую звеньевую.

Ганна поднялась. Порозовев от радости и опустив ресницы, она шептала что-то подружкам.

Кузьма Степанович развернул атласное, с золотыми буквами по красному полю, знамя. Ганна протиснулась за спинами сидящих, подошла к председателю. Взяв из его рук древко, она дрожащим голосом произнесла:

— Это знамя наша ланка стахановок-пятисотниц будет...

Она сбилась под устремлёнными на неё взглядами и замолчала. Потом с решимостью громко закончила:

— В будущем году обещаем собрать тысячу центнеров с гектара... И вызываем на соревнование горбаневских хлопцев!

Андрей Горбань, бригадир полеводческой бригады, заёрзал на стуле. Это он ещё две недели назад грозился отвоевать заветное знамя своему полеводческому звену. Может быть, и удалось бы, если бы не нашли на горбаневском участке неряшливо выполотый в просе осот.

Петро одобрительно смотрел на сестру, несущую алое полотнище к своим дивчатам, горячо хлопал ей.

— Нальём по чарке, дорогие гости,— сказал торжественно Кузьма Степанович,— и выпьем за того, кто показал нам богатую колхозную жизнь. За первого руководителя нашего, за родного батька—дорогого товарища Сталина!

Звякнули стаканы и чарки.

Все шумно поднялись. Кузьма Степанович обошёл стариков, чокнулся с каждым и сел подле Бутенко.

Подружки Ганны, горделиво поглядывая по сторонам, обнимались. Звенели стаканами. В разных концах гудевшего зала раздавались тосты. Пили друг за дружку, за передовиков, за тех, кого воспитал колхоз; отдельно, с шумом, выпили за стариков. Полевод Тягнибеда, высокий, с торчащими лопатками под серой рубашкой, предложил здравицу за секретаря райкома.

— Так как Игнат Семёнович,— громко пояснил он,— есть наш желаемый руководитель, и хоть строгий, а нехай почаще гоняет нам кота, если что не так...

Бутенко встал, поднял руку.

— В радостный час праздника, друзья,— сказал он,— будем помнить об одном. Впереди у нас ещё много работы. И вокруг нас много врагов. Будем зорки. И, если пробьёт та грозная година, которой мы не хотим, покажем, что не зря работали. Покажем, что умеем защищать свою родину-мать, своё великое дело. За счастливую долю нашей батьковщины! За её замечательных людей! — закончил он.

Петро усердно наполнял сливянкой стаканы близсидящих дивчат, сам пил мало. Потом, решив поговорить с Бутенко, направился к старикам.

Здесь успели изрядно подвыпить. Кумачовые лоснящиеся лица, громкие разговоры. Тягнибеда, сутулясь, держал за пиджак Андрея Горбаня. Обнажая коричневые, прокуренные зубы, он усердно твердил:

— Надо бросать эту поганую психологию. Чуешь, Андрюшка?

— Земля им лучшая дадена, там и дурак кашу сварит,— угрюмо возражал бригадир.

— Не бреши! Тебе, помнишь, говорил — возьми за Днепром. Не захотел. Далеко, то да сё...

— Чего пустое болтать.

Горбань, видимо, от горьких чувств, хлебнул больше положенного, на его рыжебровом, в крупных веснушках лице горели малиновые пятна.

— Земля сама не кормит,— назидательно сказал Тягнибеда. — Около неё ходить надо.

— Пустые речи уносят ветры.

Тягнибеда выплеснул в рот остатки водки из стакана и, морщась, закусил.

— Бросай свою психологию,— угрожающе повторил он, притягивая к себе бригадира.— Девки, они какую вспашку делали? А ну? Молчишь? Под яром на тридцать сантиметров пахали. Понял? Подкормку, поливку и так далее. По науке...

— Что ты равняешь? — рассвирепел Горбань.— У них все комсомольцы. Им науки легко проходить.

— Когда с любовью дело делаешь, так оно всё легко,— безжалостно крушил его Тягнибеда.

Бутенко сидел рядом с Остапом Григорьевичем и, подперев рукой голову, слушал спор. Заметив Петра, подозвал его:

— А ну, академик, иди сюда. Штрафную сейчас нальём.

— За что, Игнат Семёнович?

— Ты зачем батьков своих обижаешь? Что это за сын, погостить дома не хочет? Вон отец жалуется...

— Работать хочется, товарищ Бутенко.

— Раньше чем через неделю в район и не показывайся. Что ты, дорогой товарищ? Не совестно стариков своих огорчать? А ну, Тягнибеда, штрафную ему...

Широко улыбнувшись, Бутенко уже серьёзно добавил:

— Работу мы тебе подыскали. Плодовый питомник будешь создавать в районе. Подходит?

— Ну, а как же! Ещё как подходит. Но у меня и свои планы.

— О планах потом. Давай поглядим, вон пляшут.

В конце зала завзятые плясуны уже расчистили для себя место. Из-за спин людей, которые столпились около Степана Лихолита, нёсся звук гармошки, топот каблуков.

Петро подошёл к кругу, стал сзади. Низенький взлохмаченный почтарь Никифор Малынец вьюном крутился в казачке вокруг Нюськи. Он приседал по-гусиному, ухал, припрыгивал бочком по-петушиному, опять шёл вприсядку. Зрители покрикивали:

— Режь, Микифор!

— Валяй веселей!

— Ой, как выкомаривает!

Нюська плясала легко и неутомимо, и хлипкий почтарь давно бы уже рад был передохнуть, но азарт его ещё не иссяк. В конце концов он сдался и, отчаянно крутнувшись на месте, почти упал на руки стоящих вокруг.

Петро пробрался к Степану, взял у него гармонь. Он пробежал пальцами по перламутровым клапанам, вывел тонкий узор на дискантах и, развернув меха, заиграл польку.

В круг втиснулся Тягнибеда с рябой бригадной кухаркой, вынырнули из толпы Василинка с Настей. Подвыпившая, румяная Катерина Федосеевна подобралась к Бутенко, увлекла его в общий круг.

Обдирая коваными каблуками дощатый пол, мимо Петра неслись всё новые пары, обдавая его ветром с запахом разгорячённых тел.

Оксана подошла к нему.

— Пойдём погуляем.

Петро кивнул головой, передал гармонь Степану и пошёл к дверям.

Из ярко освещённых окон неслись в тёмную ночь звуки песни, топот ног. Кто-то, загородив дорогу на крыльцо, басовито укорял собеседника: «Что ты мне ерунду говоришь? И слухать не хочу...» Приглушённо смеялись невидимые в темноте парочки. До слуха Петра донёсся лёгкий девичий вскрик и оборвавший его звук поцелуя.

— Не теряются,— сказал Петро громко.

Оксана неуверенным движением взяла его под руку. Стараясь попадать в такт, она шагала широко опираясь на него и грея его теплом своей руки.

— Петро...

— Что?

— Просто так. Хотелось назвать твое имя...

Они дошли до Днепра, остановились. Вода чуть слышно плескалась у безлюдного берега, покачивала зелёный глазок бакена на фарватере. Лёгкий ветерок донёс с луга пресные запахи трав.

— Правда, хорошо тут, Петро? Тихо-тихо...

Оксана нагнулась и пошарила рукой по холодному песку. Она по-мальчишечьи размахнулась и бросила в глянцево-чёрную воду камешек. Слабый всплеск еле донёсся, но тотчас же у берега плеснулось что-то тяжёлое и сильное.

— Рыба играет,— сказал Петро.

Оксана притронулась пальцами к его пиджаку.

— Что у вас с Лёшей было?

— Перестал я понимать твоего Лёшу.

— Моего?

— Честного человека если исключат из партии, так он места себе не найдёт. Удавится с горя. А этот: «Я, говорит, не дуже печалюсь... »

— Он признавался, что с горячей руки у него получилось.

— Что?

— А разве он тебе не рассказывал? Его же за хулиганство исключили из партии...

— Постой, постой,— прервал Петро.— Я в таком случае ничего не знаю.

— Агронома из района побил. Не говорил об этом?

— Нет. Как избил? Какого агронома?

— Фамилию не запомнила. Смешная. Вердуто или Бандуто...

— Не Збандуто?

— Кажется.

— Так за что же Олекса его? — нетерпеливо спросил Петро.

— Ей-богу, не знаю. Сцепились они около тракторов. Вроде этот Бандуто... или как его... Вердуто... что-то там требовал, а Лёша загрызся с ним. Тот его обозвал, а Лёша ж шальной... Да ну их! Что, у нас другого разговора не найдётся?

— Интересно! Лёша совсем другое рассказывал...

Оксана, держась за локоть Петра, смотрела на зелёный светлячок бакена, на тёмную воду, плескавшуюся у берега.

— Петро, — тихо окликнула она. — Ты на меня обижаешься?

— За что?

— Знаю, обижаешься. Я... верно... немножко виновата.

— В чём?

— Давай сядем.

Петро обнял её плечи, усадил на разостланный пиджак. Оксана мягко высвободилась, поправила косу и закрыла лицо руками.

— Знаешь, как я о тебе скучал? — сказал он.

— И я скучала... сперва.

— А потом?

— Отвыкла... Чего говорить неправду?

Она низко склонила голову, машинально рвала и мяла пальцами влажную прохладную траву.

С горечью в голосе Петро проговорил:

— Ты ведь обещала выйти замуж за Алексея.

— Нет! Никому не обещала, Петро. Я учиться хочу.

— И меня встретила... как-то странно, холодно...

— Не обижайся, Петро. Я мучилась, когда ты приехал...

— В голосе её зазвучала какая-то новая для Петра покорная ласковость. Он ощутил, как мягко дрожали её плечи.

— Почему мучилась? — спросил он.

— Потому что я... люблю тебя,— шепнула она и вдруг жалобно, по-детски всхлипнула.

Петро наклонился к ней и отнял её пальцы от лица. Оксана обессиленно положила голову на его грудь, потом высвободила свои руки и, прижавшись к нему, обняла его.

Её прикосновение было таким же чистым и непосредственным, как три года назад, только, может быть, более смелым и уверенным. Но сейчас Петро испытал такую бурную радость, таким ликованием наполнилось всё его существо, что он понял: всю жизнь только Оксана, только она одна будет для него желанной. Ни одна из девушек, которые встречались ему до этого, не волновала так его сердце и ум, ни одна не вызывала своим прикосновением такого ощущения счастья, прилива неизъяснимой и чудесной силы.

«От любви к женщине родилось всё прекрасное на земле». Эти слова, слышанные когда-то Петром и забытые, возникли сейчас в его памяти, и он произнёс их вслух.

— Это Горький писал,— негромко сказала Оксана и, подумав, нерешительно спросила:

— Ты мне правду тогда, при встрече, сказал? Что никого не любил?

— Всегда всем говорил и буду говорить только правду. У меня никого не было...

Петро почувствовал, что Оксана прижалась к нему ещё доверчивее. Сознание того, что он сумел сохранить красивую и искреннюю любовь и что избранная им девушка разделяет его чувство, делало Петра особенно счастливым. Теперь уже ничто не сможет разлучить их. Он избрал её навек, она его святыня, они вместе пройдут через все испытания жизни, которая только открывалась перед ними. Он никогда, ничем не осквернит достоинства любимой де-

вушки, не разменяет на мелочь того чудесного клада, который снова открылся ему в этот вечер.

И вдруг Петро вспомнил об Алексее, о своих сомнениях и ревности.

— Ну, а если опять придётся расстаться? — спросил он, наклонив лицо к Оксане и заглядывая ей в глаза.

Оксана крепко стиснула его руку. Так, не разнимая рук и ни о чём больше не разговаривая, они сидели, пока на востоке не зазеленел небосвод.

XVII

Солнце с каждым утром поднималось над Чистой Криницей всё раньше, грело всё сильнее. Словно неохотно расставаясь с прозрачными, весёлыми красками обласканной им земли, перед закатом оно подолгу стояло над ветряками.

Шло горячее украинское лето, с душными звёздными ночами, с косыми дождями в жаркий день. На глазах тянулись вверх подсолнухи и кукуруза, на огородах расползались по земле, прикрывая её широкими листьями, плетни огурцов и тыквы, буйной порослью обступили обочины дорог и задворки будяки, полынь, сорочья кашка, чертополох.

Петро просыпался, едва лишь розовые лучи, дробясь в вишнёвой листве, ложились затейливым ажуром в комнате. Он вскакивал, мигом одевался, переправлялся на лодке через Днепр, чтобы помочь отцу в питомнике, или ехал верхом на поля с Кузьмой Степановичем, с полеводом Тягнибедой.

Несколько раз наведывался он в МТС, стремясь повидать Алексея. После того как Петро узнал, что исключили из партии его за стычку с Збандуто, он стал думать, что вина Алексея не так уж велика, и ему было неловко за свою горячность. Да и Грицько неодобрительно отнёсся к их ссоре.

Но Алексей уехал по делам в район, и Петро решил переговорить с ним, как только тот вернётся.

С Оксаной Петро виделся каждый вечер. Подолгу потом перебирал он в памяти тысячи маленьких подробностей этих встреч.

— Ну, а приедет Лёша? — спросил он как-то Оксану.— Ведь он тебя своей невестой считает?

— Брось эти разговоры, Петро,— рассердилась она.— Я ему ничего не обещала...

В середине недели Петро возвращался перед вечером из питомника. Солнце пекло нещадно, и он, добравшись на лодке к берегу, облюбовал меж вербами сухую, поваленную ветром корягу, разделся. Сложив на ней одежду, Петро с размаху бросился в воду. Его сразу охватило холодком.

Проплыв несколько саженей, он лёг на спину, закрыл глаза. Волны мягко покачивали его. Несли по течению. С песчаной косы гулко доносились радостные визги, крики. «У-у-с-тя-я, плы-ы-ви сюда-а-а», — звал чей-то голос. «Плы-ыву-у»,— эхом откликнулся другой.

Петро думал о том, как жалко будет покидать вот эту реку с её весёлыми берегами, приветливое село, родной дом. И Оксану... «Расстаться с Оксаной...» — обожгла мысль. Петро с силой ударил рукой по воде.

— Не расстанемся! — крикнул он.

Брызги, сверкнув на солнце, осыпались серебряным дождём. Петро засмеялся, ещё раз окунулся и поплыл к берегу одеваться.

Поднимался он по узкой просеке, напевая. Горячий зной, неподвижно стоявший под кронами сосен, был полон терпкого смолистого аромата. За редким ельником Петро вдруг увидел Василинку, Настю и Оксану. Они, держась за руки, со смехом бежали по склону навстречу ему. Петро притаился за деревом и, когда они поровнялись, выскочил, расставив руки. Девушки с визгом кинулись в стороны.

Отбежав немного, Настя оглянулась.

— Голубоньки! Это ж Петро!

Пересмеиваясь и часто дыша, девушки обступили его.

— Купаться с нами, братуня,— схватив его за руку, упрашивала Василинка.— Тяните его, подружки.

Оксана закрутила на затылке распустившуюся косу, покрылась косынкой. Безмолвно, с улыбкой глядела она на Петра.

Настя стрельнула в неё глазами, ущипнула Василинку и, увильнув от её руки, помчалась вниз, к берегу. Где-то в зарослях ельника затихли их голоса.

— На лодке хочешь покататься? — спросил Петро Оксану, взяв её за руки.

— Давай.

Петро отыскал спрятанную в осоке лодку, засучив рукава вышитой сорочки, вычерпал пригоршнями воду. Грёб потихоньку.

— Расскажи что-нибудь,— попросила Оксана.

— Что?

— Ты так много видел в Москве. Хотя бы когда-нибудь побывать мне там! Это же обидно, ни в метро не ездила, ни в театрах столичных не бывала. Кремль — только на снимках видела. Он очень красивый? Да, Петрусь?

— Очень. Особенно вечером, при заходе солнца. Это трудно передать.

— А Качалова ты видел?

— Сколько раз!.. Да ты, Оксана, не печалься, ты ещё тоже всё повидаешь...

Но Оксане не терпелось. Она задавала вопрос за вопросом и слушала с таким восхищением, что Петро, рассказывая, снова переживал вместе с ней всё, что когда-то поразило и восхитило его в Москве.

...Возвращались, когда солнце повисло над кромкой реки, рассыпав по зелёной глади золотые прожилки; они то вспыхивали, то гасли. Оксана, погрузив руку в тёплую воду, смотрела на золотую дорожку, протянувшуюся через реку.

Мысли её неотступно были около Петра и ожидающей его работы. Оксана слышала после колхозного праздника разговор отца с секретарём райкома о Петре. Кузьма Степанович рассказал Бутенко о плане развития садоводства в районе, предложенном Петром, и оба отзывались о молодом Рубанюке очень похвально. Оксане было это приятно, словно говорили о ней самой, но предстоящий отъезд Петра печалил и тревожил её.

— О чём ты, Оксана? — спросил Петро, заметив грусть на её лице.

— Про тебя думала.

— Как?

— Опять... разлука....

С минуту Петро сидел молча, потом, откинув коротким движением головы прядь со лба, произнёс:

— Что, Оксана, если нам не расставаться?

— Как же это? Придётся...

— Давай... распишемся.

— Ох, Петро! А институт? — Ощутив, как заколотилось у неё сердце, она прижала к груди руки. — Нет, и не думай сейчас об этом.

— Будешь учиться. Киев недалеко.

Он пересел к Оксане, взял её за руку.

— Поедем вместе. Помогу тебе готовиться. Ведь вспомни, четыре года тебе быть в институте.

— Если любишь, то и через семь лет меня найдёшь,— слабо улыбнулась Оксана, но лицо её тотчас же вновь стало серьёзным.

— Нет сил расстаться,— сказал Петро.

— Дай немножко погребу, — предложила Оксана.

Она перешла на корму. Из-под вёсел вскипали пузырьки, исчезали на поверхности, опять появлялись в зелёной прозрачной глуби.

— Оксана...

Встретились глазами.

— Ну, так как же? — спросил он.

Вёсла в её руках неуверенно скользнули по поверхности и медленно погрузились в воду. Подняв через некоторое время глаза, Оксана грустно покачала головой:

— Нет, Петро. Сейчас не будет этого.

— Почему?

— Боюсь, родной. Ты академию закончил, а я недоучкой останусь.

— И со мной будешь учиться,— с жаром возразил Петро.— А Люба Бутенко? Она же сумела стать агрономом. Замужем была и училась. Ведь опять расставаться нам...

Оксана протяжно вздохнула.

— Ну? — спросил Петро.— Решай.

— Погоди,— взволнованно шепнула Оксана.— Так... сразу...

Петро порывисто перегнулся к ней:

— Как я любить тебя буду!

Она отвернулась:

— Давай цветов нарвём. Я знаю, где ландыши ещё есть.

— Так ты согласна?

Оксана, вспыхнув до слёз, кивнула головой, еле слышно сказала:

— Всё равно так, как тебя, я никого не полюблю...

Она повела лодку к бору. В нескольких шагах от берега спохватилась:

— Ой, мне же в клуб надо! Обещала с дивчатами новые песни разучивать. Привезла из Киева.

— Ну, иди. А я потом забегу за тобой.

— Тогда поспешим. Ведь уже не рано.

Она сильно взмахнула вёслами, и лодка мягко врезалась в прибрежный песок.

Оксана добралась домой бегом, быстро переоделась. Причёсываясь, она застыла перед зеркалом с закинутыми за голову руками, глубоко задумалась.

В дверях стояла мать.

— Там твой припёрся. Ступай, кличет,— сказала она, не заходя в комнату.

Оксана проворно накинула на голову платок и выбежала к калитке. На скамейке, прислонясь к частоколу, сидел Алексей, курил.

— Куда это вырядилась? — спросил он мрачно.

— На кружок.

— Не ходи. Поговорить надо.

Оксана удивлённо сдвинула брови:

— К спеху тебе? В другой раз скажешь.

Алексей встал, швырнул окурок и притёр его сапогом.

— Значит, и поговорить со мной не хочешь?

— Тю, чудной! Говорю тебе, на кружок спешу. А если что неотложное, проводи, расскажешь по дороге.

Алексей шёл молча, с обиженным выражением лица, потом спросил:

— Верно об тебе по селу языками треплют?

— Что?

— Вроде ты с Петром любовь закрутила?

— Ты же разумный хлопец. И не пристало тебе такое болтать.

— А я спрашиваю, так это или нет? — угрюмо повторил он вопрос.

— Ну, а если верно?

Голос Оксаны звучал сухо.

Алексей замедлил шаг, сердито спросил:

— Чего ты летишь? Успеешь.

— Ой, нет! Я уже и так опоздала.

— Петро про меня говорил что-нибудь?

— Спрашивал, за что тебя исключили.

Алексей шагал, сипло дыша, с несвойственной ему мрачностью глядя под ноги, и Оксана, внезапно ощутив жалость к нему, тоже замедлила шаг, участливо спросила:

— Ты не заболел, Лёша? И на балу тебя не было. Бледный ты какой-то....

Он промолчал. На площади остановился. Загородив путь Оксане, сказал:

— Стало быть, кончилась наша дружба с тобой?

— Почему кончилась? Как было, так и останется.

— Оксана, иди за меня,— просяще произнёс он.

— Нет, Лёша. Это ты оставь.

— Петро сватать тебя всё равно не будет. Погуляет и покинет. Он теперь образованный...

— Чего это тебя так волнует? — рассердилась Оксана.— Я о себе сама побеспокоюсь.

— А того меня волнует,— хмуро ответил Алексей,— что я, как рак на мели. Ни тпру, ни ну.

Она обошла его и быстро зашагала к клубу.

— Оксана,— окликнул Алексей.

— Некогда.

— Оксана! — крикнул он повелительно.— Вернись!

Оксана задержалась. Сузившимися глазами она смотрела, как Алексей, пригнув голову, подходил к ней.

— У нас, может, последний разговор с тобой,— сказал он, исступлённо глядя на неё.— Пойдёшь за меня?

— Что ты терзаешь? — плачущим голосом воскликнула Оксана.— Навязался, как репей.

— Ну... гляди, — медленно расставляя слова, сказал Алексей.— За Петром тебе не быть. А мне... один край...

Он круто повернулся и медленно пошёл прочь.

Спустя час Оксана шла с Петром к Днепру. Доверчиво опираясь на его руку, она говорила:

— Ты вот сердился на меня, что Лёша сватался. А сегодня он снова об этом. Вбил себе в голову...

— Что ты ему ответила?

— И чего спрашиваешь? Сам же знаешь...

XVIII

Перекликались над селом петухи, когда Оксана пришла домой. Тихонько скрипнула калиткой. В сарае хрустела сеном корова Ветка, из чёрного провала двери тянуло парным запахом навоза. Серко, узнав Оксану, лизнул её руку и, помахивая хвостом, проводил до крыльца.

Оксана скинула в комнатке платок, пошла на кухню. Отец дремал на кровати.

Оксана зачерпнула в кружку воды, напилась и вдруг встретилась с сердитым взглядом матери. Рывком сунув ладони подмышки и скрестив руки на груди, мать спросила:

— Это ещё что за мода?

— Какая?

— Где ты гуляла до такого часа?

— Что же, мне и погулять нельзя? — ответила обидчиво Оксана.

— Какие гулянки до такой поры,— наседала мать.— В эту пору только черти на кулачках бьются. А ты мне голову морочишь...

Оксана спокойно смотрела на мать.

— Гляди, лышень, что-то, я вижу, не то, — пригрозила мать. — Закрутил тебе голову твой Лёшка. Это он тебя до сей поры держал?

— Что вы, мама, выдумываете? — недовольным голосом сказала Оксана.— С Лёшкой я не гуляла.

— А где ты была? — топнув ногой, крикнула мать.— Постой, дочко, я тебе погуляю. Ишь, моду взяла... Ты не замуж, часом, собралась?

Оксана присела на лавку, смело глядя на мать.

— Угадали, мамо. Я иду за Петра,— просто сказала она.

— Слышишь, батько, что дочка говорит? — изменившимся голосом спросила мать.— Вот это тебе студентка!

Кузьма Степанович сел на постели. Однако откликнулся он нарочито равнодушно:

— Не хочет батькова хлеба есть, то нехай идёт, свекровьего попробует.

— Ой, ты ж, лышечко, — всплеснула руками Пелагея Исидоровна. — Вон она что удумала. А я себе байдуже...

Затихнув, она с тревогой покосилась на решительное лицо дочери.

. . . .

Утром Петро с зарей подался на Днепр. Вернулся, когда семья собиралась завтракать. Поставил в сенцах ведро с ещё живой серебристой рыбой и подсел к столу.

— И когда ты спишь, Петро? — подвигая к нему миску, дивилась мать. — Вчера пришёл — уже петухи голосили, сегодня заглянула досвета, — опять нет.

— Он вчера с Оксаной Девятчихой прохаживался, — облизывая масляные пальцы, доложил Сашкò.

— Ты не сверчи тут, — закричала на него Василинка, примащиваясь рядом.

— А тебе что? — огрызнулся Сашкò и неприметно толкнул её под столом ложкой.

— Ну, ну! — прикрикнула мать. — Батько, достань там его, мне далеко.

Петро задержал руку отца, нёсшую ко рту ложку с молочной лапшой:

— Подождите, тато, минутку. Мама, у вас, может, чарочка найдётся?

— С самого утра чарочку? — удивился отец.

Однако ложку отложил, огладил вислые усы.

— Там, Катря, в скрыне[1] есть.

Катерина Федосеевна внесла бутылку, поставила две рюмки.

— И себе, — сказал Петро.

— Ой, леле! — отмахнулась мать обеими руками. — Да я её с утра и видеть не могу.

— Выпейте, — настаивал Петро. — Есть за что...

— Ну, немножко выпей, раз просит, — поддержал отец.

Петро налил. Обежав глазами уставившиеся на него с любопытством лица, сказал:

— Совета у вас хочу просить. Вчера с Оксаной договорились. Если вы не против, будем гулять свадьбу.

Отец с матерью переглянулись. Василинка таращила на Петра горящие глаза, не замечая, как Сашко̀, деловито посапывая, вязал к скамейке тесёмки от её фартука

Остап Григорьевич погладил лысину, спросил.

— Ну, мать, как твоя думка? Оксана вроде хорошая дивчина.

— Плохого ничего не скажешь. Соблюдала себя. И хозяйка добрая.

Василинка, задерживая дыхание, быстро переводила взгляд с отца на мать, с матери на Петра.

— Раз они порешили... — сказала Катерина Федосеевна. — Молодым жить. Дай им бог счастья и согласия.

— Хорошая дивчина, — ещё раз произнёс отец. — Ванюшка наш тоже против ничего не скажет.

Все молчали. Петро первый с сияющим лицом поднял рюмку:

— Так что ж? За новое семейство Рубанюков...

Вечером Петро пошёл к Оксане, переговорил с её родителями. Свадьбу условились справить в воскресенье — последнее перед жнивами.

---

[1] Скрыня — сундук (укр.).

XIX

В пятницу рано утром приехал в село Бутенко. Он возвращался из дальних колхозов и решил по дороге побывать на полях Чистой Криницы. Пока кучер кормил коней, он наведался к Рубанюкам.

Остап Григорьевич, в белых домотканных шароварах и такой же рубахе, чинил под навесом садовый инструмент. Увидел он Бутенко, когда тот, закинув через калитку руку, нащупывал задвижку. Остап Григорьевич смахнул с колен мелкую, горько пахнущую смолой стружку и поспешил навстречу.

— Доброго здоровья, деду, — приветствовал Бутенко. — Руки подать не могу. Видите, какой грязный? Помыться у вас вот хотел.

— Так проходьте в хату, — засуетился Остап Григорьевич. — Одним моментом организуем. Только вы уж извиняйте, беспорядок у нас...

На кухне Катерина Федосеевна, заляпанная мелом, наводила чистоту. Она побелила снаружи хату, подмазала печь и сейчас подмалёвывала её синькой.

Пропуская гостя вперед, Остап Григорьевич крикнул ей:

— Катря, достань воды из печи. Умыться.

Он взял запылённый пиджак и рубашку Бутенко, отдал Василинке вытряхнуть.

— А председатель наш в район к вам поехал. Не встретились?

— Встретиться не могли. Я ведь из Сапуновки еду.

— Поехал. Как же! Ещё досвета.

Катерина Федосеевна внесла в сенцы таз, чистое полотенце, горячую воду. Засучивая рукава, Бутенко сказал:

— Вы что же, Григорьевич? Слышал, сына жените? А на свадьбу не приглашаете?

— Кузьма Степанович аккурат с тем и поехал. Его же дочку берёт Петро

— Оксану?

— Ага.

— Из хорошей семьи берёт.

Умывшись, Бутенко присел на сундук.

— Ну, хлеба нынешний год, Григорьевич, каких не бывало!

Он извлёк из кармана горсть колосьев. Крупные зёрна распирали нежную сизоватую оболочку, топорщили ломкие колючие усики.

— Дуже хорошая озимина, — одобрил Остап Григорьевич. — Да и у нас хлеба! Кинь шапку, не упадёт. Деды не помнят такого урожая.

— Убрать своевременно надо.

— Сберём! Люди лютые стали до работы. Закликать, как в прежние времена, не требуется. Сами бегут в поле.

— Весело работают, это правильно.

— В садок до меня не заглянете, Игнат Семёнович? А то вы всё у сапуновских дедов, — ревниво добавил Остап Григорьевич. — В этом году мои труды ещё не глядели.

— Потом. Сейчас придёт полевод, поедем с ним на поля.

Бутенко, перекусив со стариком, разговаривал с Катериной Федосеевной о её домашних делах, когда появился Петро.

— Ну, жених, — встретил его с улыбкой Бутенко. — Наверно, в мыслях сейчас ничего нет, кроме невесты? Знаю, знаю, — остановил он его жестом. — Все мы пережили это.

На сочных юношеских губах Петра, не угасая, теплилась счастливая улыбка. Бутенко, с живым сочувствием разглядывая его сияющее лицо, сказал:

— Женитьба — это большое событие в жизни человека. Не сомневаюсь, что создадите хорошую, прочную семью. Девушка славная.

— Только мать её меня мучит, — пожаловался Петро. — Заладила: гулять свадьбу по старым обычаям.

— Венчаться?

— Ну, этого не требует. А чтоб свашки, караваи там разные, подарки.

— Это ничего, — сказал Бутенко, смеясь, — лишь бы повеселее. В старину здорово умели свадьбы играть.

Он вышел из хаты, стал набивать трубку. Петро постоял рядом, ощипывая ветку акации, сказал:

— Хочу вас спросить. Вы Алексея Костюка, наверное, знаете?

— Механика?

— Его из партии исключили. Ведь раньше золотой парень был.

Бутенко, держа в зубах нераскуренную трубку, задумчиво разглядывал свои запылённые сапоги. Повременив, ответил:

— Он агронома избил. За это наказать-то стоило. А вообще... разберёмся, — кто из двоих больше виноват. Поторопились с решением. Райком занялся, выясним.

— Не нравится мне этот Збандуто, — откровенно признался Петро.

В глазах Бутенко мелькнула и погасла неуловимая искорка, но он промолчал.

Вскоре ко двору подъехал на правленческой бричке Тягнибеда.

Бутенко простился со стариками и, пообещав Петру быть на свадьбе, взобрался на бричку.

— Ну, куда повезёшь, полевод? — спросил он Тягнибеду. — Туда, где лучше или где похуже?

— У нас хорошо везде, — заверил лукавоглазый и обычно малоразговорчивый полевод.

— Тогда вези в бригаду Горбаня, — решил Бутенко. — Он что-то там обижался.

Тягнибеда разобрал вожжи, стегнул коней.

За селом лошади свернули на просёлок, и Тягнибеда отпустил вожжи. Бричка покатилась по мягкой земле, вдоль затравевших обочин с блёклыми лопухами, синецветом, млеющим на жаре маком, лохматыми кустами тёрна.

— У Горбаня сегодня дивчата Ганны Лихолит, — сказал Тягнибеда.

— Чего они там очутились?

— Просто полют. В помощь, так сказать.

— Вот это зря. Балуете вы Горбаня.

— Дивчата сами про себя порешили. У них на сегодняшний день всё поделано. А Горбань запарился...

— Без напряжения работает.

— Как вы сказали?

— Не очень, говорю, Горбань в работе горит.

— Немножечко подленивается, это верно, — согласился Тягнибеда. — Психология поганая. Говоришь ему: «Возьми косу, Андрюша, обкоси эту межу». Там, стало быть, репею, бурьяну, сурепицы по пояс. «Добре, обкошу». Встретишь: «Обкосил?» — «Нет, пока. Завтра». На другой день снова спросишь: «Ну, как?» — «А никак». — «Что же ты, так-растак?» Серчает. Ну, если что захочет, бегом бегает. Аж земля дрожит под пятками...

Бутенко, облокотясь, разглядывал стену серебристого ячменя у дороги, зелёные квадраты овса. Насколько хватал глаз, волновалось под ветерком озарённое солнцем море хлеба. Лишь далеко за курганами, на сапуновских полях, тёмная мгла крыла кустарники и балки.

— Будет дождь, — определил Тягнибеда, глянув на запад. — У меня точные приметы.

— Небольшой не помешает.

— Э, нет! Грозы ждать надо, — сказал Тягнибеда, заметив, как зашелестел под горячим тревожным ветерком придорожный бурьян.

Он стегнул по коням кнутом и, сняв шляпу, кинул её в бричку.

По пути к горбаневскому табору Бутенко потолковал с пастухами, пасшими колхозное стадо, заглянул на опытный участок. За версту от бригады Тягнибеда показал кнутовищем на гребень дальнего рыжего бугра, резко очерченного на фоне неба. Оттуда росла и быстро обволакивала поднебесье грязно-жёлтая туча. Где-то далеко, ещё за горизонтом, глухо прогромыхал гром. Просвистел крыльями над бричкой коршун, борясь с ветром, взмыл кверху, унёсся в надвигающуюся темноту.

— Намочит сегодня нас, товарищ Бутенко, — подмигивая, сказал Тягнибеда.

— Ничего, не сахарные.

Туча ползла уже совсем низко, меняя очертания. Запахло дождём. За гребнем бугра сверкнула молния. Степь на мгновение замолкла в мертвенной тишине, и вдруг редкие крупные капли упали на дорогу, на потные крупы лошадей.

Тягнибеда пустил их вскачь, и бричка через несколько минут влетела в бригадный двор. Дождь припустил сильнее. Полевод и Бутенко, мокрые и смеющиеся, побежали к навесу, где жались в серединке хлопцы и дивчата.

Первое, что бросилось в глаза Бутенко, когда он поздоровался и присел на перевёрнутую кверху дном бочку, — сердитые лица женщин и злое, кумачово-красное лицо бригадира Горбаня. Нетрудно было догадаться, что здесь только что велась жаркая словесная перепалка.

— У вас тут, вижу, весело, — сказал Бутенко, посмеиваясь в усы, и принялся деловито очищать щепочкой грязь, прилипшую к сапогам. — Бригадир, вон, будто... тысячу рублей нашёл...

— Бригадир этот свои капризы строит, а у нас день зазря пропал! — сердито выкрикнула сидящая на ворохе соломы Ганна.

Дивчата дружно поддержали свою звеньевую:

— Гордость свою показывает.

— Шесть вёрст перлись, а он...

— Ещё до света повставали...

Бутенко, наблюдая, как у навеса заструились потоки воды, спокойно выждал тишину, потом обратился к бригадиру:

— Здесь Горбань хозяин, он нам с полеводом и расскажет, что стряслось.

Горбань выступил ближе к свету и, хмуро косясь в сторону женщин, пожаловался:

— Они тут смешки строят. А мы что, куцые? Чего они заявились? Я их не допустил, Игнат Семёнович. Как хотите, судите...

Над крышей сухо треснуло, ослепительно сверкнула молния, и тотчас же над еле видными за пеленой дождя курганами тяжко загрохотал гром. Дивчата, взвизгнув, прижались друг к другу.

— У тебя же проса ещё три гектара полоть, — подал голос Тягнибеда. — Нехай дивчата подмогут.

— Не надо нам ихней допомоги, — норовисто покрутил головой Горбань. — Сами управимся. У нас тоже ударники, не хуже дивчат. Потом будут в очи штрыкать: «Мы помогали...» Не надо мне!

— Ударники!.. Ударяют, кто налево, кто направо, — съязвил кто-то.

Ганна поднялась с места, подбоченясь, подошла к Горбаню вплотную.

— Нам что, думаешь, слава нужна? — распаляясь, крикнула она. — Или трудодни ваши себе запишем? Что ты глупости болтаешь! Осота сколько у тебя в просе? Это ж что такое? Кому вред?

— Земля обчественная, — поддержала её маленькая белобрысая Варвара. — Убытки на всех лягут от такой работы.

— Крой его, муженька своего, — подзадорил Тягнибеда. — Ты ему, Варвара, великий пост объяви. Не допускай недель шесть...

Не слушая насмешек, Горбань сказал, обращаясь к Бутенко:

— Я тут привселюдно заявляю, Игнат Семёнович. Сорняков через день-два не будет. А знамя я всё одно заберу на уборочной. Пущай девахи не обижаются. Это я привселюдно говорю.

— Хвалиться — не косить, спина не болит.

Горбань быстро обернулся на голос, но не нашёлся, что сказать, только презрительно махнул рукой.

— У них в бригаде есть ещё орлы,— не отступала Варвара. — Ночью спят, днём отдыхают... Эти заберут знамя. Держись!

Под навесом зашелестел дружный смешок. Бутенко, заметив, что все выжидающе поглядывают на него, сказал:

— Дождь перестанет, и дивчат надо отправить по домам. Прав бригадир. Нечего сейчас буксиры затевать. Каждый за свой участок отвечает.

Он повернулся к Горбаню и, строго разглядывая его веснущатое лицо, добавил:

— А тебе, бригадир, дивчата злой урок дали. Понял? Они по-настоящему беспокоятся за колхоз. Потому что люди они настоящие, наши, советские.

— А мы какие же?.. — скривив рот в обиженной улыбке, спросил Горбань. — Не советские?

— Вы тоже неплохие ребята, а у дивчат всё-таки поучиться следует. Тогда и знамя вам будет легче добыть...

Гроза прошла, гром погромыхивал уже где-то за Днепром, и Бутенко собрался ехать дальше. Пожимая на прощанье руку Горбаню, он спросил:

— Ты понял, почему девушки к тебе пришли? Не за славой. Слава у них лучше твоей.

— Понял, Игнат Семёнович, — торопливо кивнул Горбань. — Моим хлопцам это дуже полезно будет.

Он проводил Бутенко до брички, вернулся к навесу и торжественно объявил:

— А ну, бабы, садитесь на арбу да сматывайтесь. За харч не серчайте. Что наработали, тем и угощаем.

— Гавкай, гавкай, — беззлобно грозилась Варвара, взбираясь с подоткнутым подолом на арбу. — Придёшь вечером, я тебя накормлю, сизый голубок.

XX

Часа за полтора перед обедом, в субботу, Петро гладко выбрился, надел свой новый синий костюм и пошёл к Девятко. Предстояло зарегистрировать в сельсовете его брак с Оксаной.

Ещё издали из раскрытых окон хаты Кузьмы Степановича слышались весёлый бабий гомон, смех.

На кухне молодицы, предводительствуемые багровой от жары Пелагеей Исидоровной лепили из тянкого теста пшеничные шишки. В углу на лавке выстывали под чистой скатертью уже вынутые из печи хлебы, пироги, калачи, коржики, а тем временем в деже подходило свежее тесто. Пекли всего много, и в хате стоял терпкий, острый запах хмеля.

Высокая худая невестка Степана Лихолита, Христинья, возилась над караваем. Пока она проворно посыпала мукой тесто, клала в него яйца и три серебряных гривенника — на счастье, — бабы вразнобой запели:

Росты караваю,
Из божьего дару,
На столи высокый,
А в печи шырокый,
Бо в Оксаны род велыкый,
Шоб було чим дарыты.

Петро, покосившись на распахнутые из кухни двери, проскользнул через сени в комнатушку к Оксане. Она сидела у стола против Нюськи, положив голову на руки, и с встревоженно-радостным лицом вслушивалась в слова старинной свадебной песни.

В сельсовет договорились итти втроём. Вышли из хаты гуськом, потихоньку, прячась от матери.

— Начнёт плакать да благословлять, — сказала Нюське Оксана. — А Петру это хуже ножа.

— Какой дорогой пойдём? — спросила Нюська. — Поспешать надо, а то, гляньте, какая хмара поднимается...

— Давайте лугом, — предложила Оксана. — Там цветов... Усыпано всё.

— Тебе абы цветы, — усмехнулась Нюська. — И на Лысую гору к ведьмам не поленишься.

Шли узенькой топкой дорожкой, вьющейся в масляно-зелёной луговой траве. Влажно золотилась густая россыпь куриной слепоты и махорчатых головок кульбабы. С огородов струились горячие запахи бузины, укропа, конопли.

Оксана, словно прощаясь с вольной девичьей порой, озорничая, бегала по лугу, отыскивала в траве цветы и вскоре набрала большой букет.

Поворачивая к огородам, Нюська покосилась на оживлённое, счастливое лицо Петра и со вздохом сказала:

— Лёша доведается, что я с вами до сельрады ходила, даст мне... Жалко его, бидолагу.

— А если бы он был сейчас на моём месте? — сказал Петро. — У нас с ним так получилось — или у меня сердце разрывается, или он горюет...

— Дивчат вам в селе мало?

— Хлопцев тоже много, а вот лучше Грицька для тебя нету.

Оксана подкралась сзади, надела Нюське на голову венок.

— Тебе не замуж, а в детские ясли надо, — проворчала та. — Иди ты, бога ради, как люди ходят.

Оксана, передразнив степенно вышагивавшую подругу, оглянулась на Петра. Перед поворотом к майдану она поманила его пальцем, шепнула на ухо:

— Такой подружки, как Нюська, никогда у меня не будет. Родней сестры.

— Очень славная.

Они обнялись и от мысли, что люди такие хорошие, жарко расцеловались. Нюська оглянулась, всплеснула руками:

— Глянь на них! Времени вам не хватает обниматься? Дождь вот-вот пустится.

Петро и Оксана взялись за руки, бегом догнали её. В конце ближнего от луга переулка их обогнала, обдав запахом бензина, грузовая машина. Из кабинки высунулась голова школьного товарища Петра — шофёра Якова Гайсенко.

Он затормозил, поджидая, протёр тряпкой ветровое стекло.

— Ты что же, Яша, ни разу не зашёл? — сказал Петро, подойдя к машине.

— Горючее к жнивам перевозим. Дыхнуть некогда.

Яков покосился на праздничные наряды девушек и Петра, спросил:

— Куда это вырядились в будний день?

— Приходи завтра на свадьбу, — пригласил Петро.

— На которой же? — переводя ухмыляющийся взгляд с одной девушки на другую, поинтересовался Яков.

— С венком невеста, не видишь разве? — засмеялась Оксана, показав на Нюську.

— А сейчас в сельраду? Ну, завтра беспременно приду гулять, — пообещал Яков.

Он дал газ, машина, покачиваясь и дребезжа железными бочонками, завернула к усадьбе МТС.

— Сейчас похвалится хлопцам, — сказала Нюська. — Увидите, Лёша прилетит...

Предположения её оправдались. Шагов за сто до сельсовета Оксана оглянулась и увидела всадника, который скакал к ним намётом. Она дёрнула Нюську за рукав:

— Летит твой брат.

— Вот же шустрый.

Алексей, в промасленном комбинезоне, в еле державшейся на макушке кепке, осадил подле них коня, спрыгнул. Нюська и Оксана испуганно смотрели на зажатый в его руке шведский ключ. Алексей перехватил их взгляды, удивлённо посмотрел на свою руку, сунул ключ в бездонный карман спецовки.

— Куда, Лёша, поспешал так? — ласково спросила Нюська. — Глянь, конь ужарился.

Не удостаивая её ответом, Алексей сказал Петру:

— Отойдём в сторонку. Хочу спытать тебя кой об чём.

— Не ходи! — крикнула Нюська. — Что это тебе, Лёша, другого времени нету?

Петро внимательно посмотрел на бледное от быстрой езды лицо парня, на опущенные уголки его обветренных губ.

— Идите, дивчата, я догоню, — сказал он и, положив руку на плечо Алексея, отошёл с ним к каменной школьной ограде.

Низкая багрово-синяя туча закрыла рваным, сизым крылом солнце, и на улице сразу стало пасмурно и прохладно.

— Дождь сейчас урежет, — подняв голову, проговорил Алексей.

Он перевёл глаза на Петра, сдавленным голосом попросил:

— Дай закурить, забыл свой кисет...

Петро протянул ему коробку с папиросами, закурил сам. Алексей жадно затянулся.

— Какие дела у тебя в сельраде? — спросил он.
— Очень важные. Идём расписываться.
— Не ходи, Петро.
— Это почему?
— Не ходи. Решу и её, и себя. Не могу я без неё, — глухо сказал Алексей. Он снова затянулся и сказал с доверчивой, униженной улыбкой: — Никакая работа в думки не лезет. С того часу, как ты приехал, как полоумный...
— Слушай, Лёшка, — побледнев, сказал Петро. — Эти разговоры ни к чему. Я думал, ты о серьёзном хотел говорить.
— Стало быть, не отступишься?
— Да что ты, как шибай на ярмарке, — вспылил Петро. — Вон Оксана. Пойди, если хочешь, сам с ней поговори.
На дорогу тяжело упали первые капли дождя, близко ударил гром, но Алексей будто ничего не видел и не слышал. Он уставился на Петра, твердил:
— Брось Оксану. Слышь, Петро? Будь другом.
— Она не сапог, чтобы её бросать. Не городи чепуху.
Алексей скривил потрескавшиеся сухие губы в презрительной улыбке:
— Что ты, себе честную деваху не найдешь? Охота на... бабе жениться...
Петро с расширенными глазами шагнул к нему.
— Ах ты ж... сволочь! Оксану оскорбляешь? Как ты смеешь?!.
— Петро! — чужим голосом вскрикнула, подбегая, Оксана.
Алексей, опасаясь удара, вобрал голову в плечи, рванулся. Петро притянул его к себе.
— Чего вы сцепились? — хватая Петра за руку, крикнула Нюська. — Чисто маленькие.
Она с мужской силой оттащила его от брата и стала между ними.
— Попомнишь ты, Петро! — хрипло погрозил Алексей. — Не в последний раз встречаемся.
Он резко дёрнул за повод, вскочил на коня и с места перевёл его на рысь.
Багрово-синее небо, казалось, сейчас совсем обрушится на село, так низко спустились грозовые тучи. Бледнозелёные сполохи всё ярче и быстрее озаряли хаты, деревья, гнущиеся от ветра, завихрившуюся на дороге пыль.

Нюська схватила под руки Оксану и Петра. Ещё бледная от пережитого страха, она проговорила сквозь слёзы:

— Говорила, давайте поспешать! Он ещё спохватится, беды наделает.

Оксана освободила свою руку, прижалась к Петру и пошла с ним рядом...

XXI

Всю ночь под воскресенье Алексей не спал. Он ещё в сумерки заперся в своей коморе, притих. Нюська с вечера раза три подходила к дверям, стучала, но Алексей не откликался.

Под утро, не раздеваясь, он забылся часа на два. А когда открыл глаза, в маленькое окошечко лился яркий солнечный свет, золотил паутину в углу, блестел на лампах приёмника.

Алексей встал, открыл двери. Безмолвно высились в тёплом ясном воздухе блестящие после дождя тополи, сверкали прозрачные капли на кустах георгинов и роз, суетливо носились, верещали во дворе воробьи.

Алексей сдёрнул с себя рубашку, умылся. Нюська увидела его в окно, прибежала к коморе. Алексей застёгивал пуговицы на рубахе.

— Куда ты её надеваешь? — прикрикнула Нюська. — Я тебе синюю выгладила. Эта ж, глянь, какая. Не стыдно перед людьми?

— Мне теперь ничего не стыдно.

— Потерял совесть?

Алексей молча начал перекладывать инструмент, раскиданный на верстаке, сгрёб с полу в угол стружки.

— Чего это вы вчера схватились с Петром? Что ты ему такое сказал? — несмело спросила Нюська.

— Его спытай. Он же друг тебе.

— Нет, верно, Лёша? Что сказал ему?

— Что надо, то и сказал...

— Тьфу на тебя, какой ты стал вредный! Ступай снедать. Ты ж не вечерял. А мне надо поспешать.

Нюська на полуслове умолкла, зная, что о свадьбе у Рубанюков Алексею напоминать не стоит. Она с большей, чем обычно, заботливостью собрала ему на стол.

— На гулянку пойдёшь? — спокойно спросил Алексей, вставая из-за стола.

— Нужно побежать. Ты дома будешь?

— А куда же мне? В бояре до Петра?

Он вернулся в комору, повернул рычажок приёмника. Из репродуктора, сквозь хрип и птичье попискивание, пробивались то затухавшие, то вновь вспыхивавшие звуки: чужая гортанная речь, заунывное дребезжанье восточных инструментов, русский баян. Горячее дыхание жизни, которой земля жила в это обычное воскресное утро, настойчиво врывалось в низенькую комору.

Алексей, склонясь над матово-чёрным диском репродуктора, слушал, но ему было совершенно безразлично всё, что происходило вокруг. Он вспоминал события последних дней, и гнетущая тяжесть ложилась на сердце, сдавливала его так, что временами казалось — оно совсем переставало биться.

Решив никуда не выходить сегодня со двора, Алексей достал плотницкий инструмент, стал мастерить сундук для сестры. Но как ни старался он заглушить тоску работой, перед его глазами всё время маячило лицо Оксаны и рядом с ним смуглое, довольное лицо Петра.

Таким оно привиделось Алексею сегодня на заре. Ему снилось, что он плыл с Оксаной на лодке. Оксана жарко обнимала его, просила не бросать её одну, потому что она боится Петра. Лодка всё время кренилась и вертелась на месте, а потом из-за борта высунулся Петро. Он стянул Алексея в воду, а Оксана подала руку Петру, и они, смеясь, смотрели, как Алексей захлёбывался, тонул...

Алексей отшвырнул рубанок, сел на топчан. Мысли об Оксане были мучительны и сладки в одно и то же время, и он не мог их отогнать от себя. Он вспоминал вечера, проведённые с Оксаной, её улыбку, лёгкую походку, голос.

Его охватило вдруг непреодолимое желание повидать её, пусть даже издали. Он вскочил, с лихорадочной поспешностью расчесал вьющиеся волосы. Замкнув хату, быстро вышел на улицу.

На скамейках у плетней бабы, в разноцветных полушалках и платках, лузгали жареные семечки, переговариваясь, провожали любопытными взорами широкоплечего чубатого парубка. Шагал он с деланной беспечностью, кланялся встречным, но когда вдали показалась усадьба Рубанюков и празднично разряженная толпа у ворот, самообладание его покинуло. Чувствуя, как отяжелели ноги и что-то гулко застучало в ушах, он круто повернулся и быстро пошёл домой.

Долго сидел он в тяжёлом раздумье. Никогда ещё не изведанное чувство ожесточённости, обидного бессилия овладело им. Он с яростью сорвал с себя пиджак, швырнул на стул.

Слух его вдруг различил в репродукторе фразу, которая заставила его насторожиться. Звук слышался слабо, и Алексей повысил накал. Голос теперь зазвучал громко:

— ...в четыре часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбёжке со своих самолётов наши города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие...

Алексей приник к столу, боясь дохнуть.

— Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, — продолжал всё тот же голос, — Советским правительством дан нашим войскам приказ — отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей родины...

Говорил товарищ Молотов. Дослушав его выступление до конца, Алексей вскочил. Он ещё не совсем ясно понимал, что произошло, но знал, что случилось страшное. Началась война, о которой все говорили, которую ожидали и всё же надеялись, что её не будет.

Алексей выбежал на подворье и увидел около хаты мать. Она только что вернулась с базара и вытряхивала у порога платок.

— Война с немцами, мамо! — крикнул Алексей.

Не задерживаясь и не оглядываясь, он побежал дальше, за ворота, на ходу всовывая дрожащие руки в рукава пиджака. Надо было известить людей о несчастье, поднять тревогу.

На улицах стало ещё многолюднее и оживлённее. В холодок под хаты выползли старухи и деды. Возвращались из соседнего села, с базара, криничане.

В переулке, у колодца с журавлём, не в меру подвыпивший дядько, грозя самому себе пальцем, выказывал явное намерение улечься под водопойным корытом. Раскорячась и отмахиваясь от молодицы, которая тянула его от лужи, он блаженно улыбался.

— Ну, куда ты мостишься? — плачущим голосом кричала жена.

У ворот рубанюковского подворья попрежнему толпились люди. Поглазеть на веселье сбежались со всего села. От двора шли в обнимку парубки, пошатываясь, пели:

Ой, выдно, выдно, хто не жонатый,
Шапку на бакир, пишов гуляты;
Ой, выдно, выдно, хто оженывся,
Скорчывся, зморщывся, тай зажурывся...

Свадьба была в разгаре. Перед хатой вертелись в кругу под гармошку пары. На ветру развевались цветные ленты, мелькали мокрые чубы завзятых танцоров. Василинка и Настя уже несколько раз приносили из колодца воду, кропили истолченный сапогами и ботинками ток. Они выпили хмельной сливянки, щёки их пылали. Обе шустрые и юркие, они успевали всюду: в паре вертелись среди танцующих, наведывались на кухню, помогали по хозяйству молодухам.

В хате заканчивали обедать. Остап Григорьевич подсаживался то к одному, то к другому столу, угощал гостей.

Кузьма Степанович держал руку на плече Катерины Федосеевны. К борту его нового шерстяного пиджака прилепились хлебные крошки. Он чокался с соседями, прочувствованно говорил:

— Нехай нашим деточкам будет, как найлучше, чтоб в паре прожить до конца века.

В кухне молодые бабы, всплёскивая руками и давясь смехом, теснились около Степана Лихолита. Он вырядился невестой, жеманно кланялся, приглашая молодиц к столу.

— Музыки, грайте надобра́нич! [1] — тонким голосом повелевал он, стыдливо оправляя короткую юбку.

Коренастая, полногрудая сноха почтаря Федосья, схватив печную заслонку, выстукивала на ней скалкой, хрипло подпевала:

Ой, заграйте мени,
Замузычтэ мени,
Нэма в мэнэ чоловика,
То позычтэ мени... [2]

Оксана устала от гомона и, позвав Нюську, пошла с ней в сад, под яблони. Нюська расправила на её голове ленты богатого украинского наряда, вытерла платочком пот

---

[1] Надобранич — спокойной ночи (укр.).
[2] Позычить человека — одолжить мужа (укр.).

на лице. Оксана видела, что и Петро выбрался из душной хаты, он стоял среди хлопцев у палисадника и смеялся.

Здесь его и разыскал Алексей.

— Вы ничего не знаете? — крикнул он Петру зло. — Война! Немцы бомбят наши города!

Петро смотрел на него, не сразу осознав смысл сказанного. Потом он увидел, как изменились лица стоящих рядом с ним парней.

— Это что... слухи или... Кто сообщил? — спросил он охрипшим голосом.

— Какие там слухи! Молотов выступал.

Алексей подробно пересказывал слышанную им по радио речь. Из хаты высыпали люди.

По ступенькам крыльца торопливо спустилась Катерина Федосеевна, заспешила к палисаднику. Петро протиснулся сквозь толпу ей навстречу:

— Мамо!

Она закрыла платком лицо и припала к его плечу. Пытаясь как-нибудь её успокоить, Петро усадил на завалинку рядом с собой и уверенным тоном сказал:

— С немцами у нас разговор будет короткий, мамо. И детям своим закажут дорожку в Россию...

Он ещё говорил что-то бодрое, но никакие слова не могли обмануть материнского сердца. Катерина Федосеевна отстранила Петра и беспомощно заплакала.

Прибежала бледная, встревоженная Оксана. Молча обняв Петра, она подняла на него наполненные слезами глаза. Недолгим оказывалось её счастье...

Около ворот почтарь Малынец, свешиваясь с бидарки, рассказывал захлёбывающимся тенорком:

— Аккурат базар в разгаре, когда гудки гудут...

— Правда, на Киев бомбы кидал?

— Кидал, стерва. Народу побил тыщу или две...

— От же сволочуга!

— Сказано, с кобелем дружись, а палки держись...

Люди, взбудораженные событием, долго не расходились, толпились вокруг стариков, в своё время уже повоевавших с иноземными захватчиками.

Петро глазами разыскал в толпе Алексея и, заметив, как тот, перехватив его взгляд, быстро отвернулся, подошёл к нему.

— Что ж, Олекса, — сказал он. — Пойдём, выпьем по маленькой. Когда ещё придётся...

— Доведётся не скоро, — сдержанно ответил Алексей.

— Да ты не злись на меня. Если рассудить, мне на тебя надо сердиться.

— Я сам себе ладу не дам, — чистосердечно, с облегчением признался Алексей.— Ну, да теперь не такое время, чтоб счёты сводить.

— Пойдём в садок, — пригласил Петро. — Кличь Яшу, посидим, поговорим.

— Ну, что ж.

Петро взял его под руку, но, глянув на улицу, остановился — вдоль хат быстро ехал верховой. Он размахивал руками, осаживая коня, кричал что-то встречным.

— Узнаем, что он такое говорит, — задержал Петро Алексея.

Верховой подскакал к воротам, натянул поводья.

— Кончай гульбище! — с ожесточением крикнул он. — Все на митинг, до сельрады!

Стегнув потного коня лозиной, он поехал дальше, широко раскорячив ноги и клонясь на левый бок.

XXII

Из Чистой Криницы отправлялось на фронт человек пятьдесят. Предстояло призываться и Петру.

Узнал он об этом после митинга, от секретаря сельсовета Громака.

Прикинув, что времени для сборов в дорогу осталось немного, Петро заторопился домой.

Сокращая путь, он пошёл низом. На лугу замедлил шаг, с грустью смотрел на золотистую россыпь жёлтых цветов в траве. Им так радовалась Оксана два дня назад!

Тяжёлое чувство раздвоённости испытывал Петро, приближаясь к своему дому. Он очень радовался бы призыву на фронт. Кому же, как не ему, молодому, крепкому парню, итти туда, к границе — крушить вторгшихся иноземцев! Но внезапно расстаться с девушкой, которая только сегодня стала его женой, это хоть кому было бы нелегко...

Василинка заметила его издали...

— Все дома? — спросил Петро.

— Батько в правление пошли. А Сашкò, как забежал куда-то с обеда, до сих пор нету, — быстрой скороговоркой

отвечала Василинка, заглядывая ему в глаза. — Оксана раз десять выходила тебя выглядывать... И мама ждёт-не дождётся...

Слушая её, Петро вдруг подумал о том, как тяжко будет сообщить семье о своём отъезде.

В хате было уже прибрано и подметено. Оксана сидела за столом с Катериной Федосеевной в своём простеньком синем платье. Живо вскочила она Петру навстречу, но, посмотрев на его лицо, встревоженно остановилась.

Петро разыскал кружку, зачерпнул из ведра квасу, неторопливо напился.

— Ну, родные мои, — сказал он, подсаживаясь к столу, — завтра выезжаю.

— Куда? — испуганно спросила мать.

— Куда все едут... На фронт.

По дороге домой Петро предвидел, что не обойдётся без плача и криков. И, заметив, как Василинка замигала ресницами, поспешно сказал:

— Только без слёз. Не нагоняйте и на меня и на себя тоску.

Оксана, громко всхлипнув, выбежала из хаты. Заголосив, Василинка бросилась на кровать, зарылась с головой в подушки.

Мать встретила сообщение внешне спокойно. Она ничего не сказала и ни о чём не расспрашивала. Сжав губы и поправив усталым движением на голове платок, она пошла собирать необходимое в дорогу. Не первый раз ей приходилось это делать. Лишь выйдя в сенцы, она бессильно облокотилась о притолоку.

Вечером, когда собралась вся семья и мать поставила на стол ужин, Петро, не выдержав гнетущей тишины, обратился к отцу:

— Как по-вашему, тато, сколько времени потребуется, чтобы нам до Берлина добраться?

Остап Григорьевич, принимая из рук Василинки миску, глянул на него невесело и осуждающе. Протирая полотенцем ложку, он мрачно ответил:

— Когда до Берлина доберёмся, не знаю, а вот с понедельника приказано окопы рыть возле села.

Петро недоверчиво посмотрел на него через стол.

— Здесь, в Чистой Кринице, окопы? Вы это серьёзно, тато?

— Неужели сюда придёт катюга! — испуганно произнесла Катерина Федосеевна. — Не приведи господи!

— Не придёт, — успокоил Петро. — В панику ударились...

— И чего это люди со страху не выдумают, — поддержала его Оксана.

— Везде, по всем сёлам приказано рыть, — повторил Остап Григорьевич. — Бутенко сам по телефону звонил.

— Наши его с танков ка-а-ак ушпарят! — подал голос Сашко̀. — Ух, какие сегодня на разъезде мы с хлопцами видели!

Остап Григорьевич повернулся к Петру, сдвинув брови, сказал:

— Ты, сынок, про них только в книжках читал. А я их попробовал на своей хребтине. Что, думаешь, они на тебя с кулаками да дрючками кинутся?

— Вспомните моё слово, — снисходительно посмеивался Петро. — Месяц, два, самое большое — три, пришлю вам весточку из Берлина.

Остап Григорьевич с сомнением покрутил головой.

— Ванюшке тоже доведётся воевать, — вздохнула мать. — Он же в гости до нас собирался...

— Уже, наверно, воюет, — сказал Петро.

— У него только и думка сейчас в голове про гостювание,— недовольно пробурчал Остап Григорьевич.— И глупая ты, Катря. Он же подполковник. Ему первому придётся.

Старик тяжело переживал сообщение о войне. У глаз его, под нахмуренными бровями, тугим пучком собрались морщины.

— Как жизнь, было, наладилась добре, — сказал он с протяжным вздохом. — Ты вот говоришь, доберёмся до Берлина, — обратился он к Петру. — Я тебе на это вот что отвечу: если б не знать, что поотбиваем ему печёнки, то сразу бери верёвку и на первом дереве вешайся. А только, сынку, не так оно будет, как ты думаешь. Вроде, запряг кобылу, сел на бричку и, знай, погоняй: «Где тут, мол, люди добрые, этот Берлин?»

— Конечно, война будет жестокая.

— Ещё какая жестокая! Вон в прошлые войны и танков не было и аэропланы только при конце появились, а,

знаешь, сколько людей оккупанты поклали? В прошлую войну, в Польше, когда под Городенком мы воевали, наш генерал рассказывал нам. В чине бригадного был. Так он вот так показал рукой, говорит: «Тут костей наших прадедов, дедов, отцов скрозь полно. Всю землю, говорит, можно укрыть чёрными мундирами нашими. По костям своим идём...»

Сумерничали в этот вечер долго, не зажигая лампы. Петро сидел подле Оксаны, ласково поглаживал её волосы. В открытые настежь двери залетала и вилась с тонюсеньким звоном по хате мошкара. Так же, как и вчера и неделю назад, сверчали в траве кузнечики, пряно пахли ночные фиалки. Петру казалось, что уже много дней прошло с тех пор, как стало известно о войне.

Катерина Федосеевна молча что-то собирала. На вопрос мужа она ответила:

— Побегу до Ганьки. Степана с Фёдором тоже в дорогу собирают.

Уже одетая, она вызвала Оксану в сенцы и, держась за ручку двери, шопотом сказала:

— Час уже поздний, дочко. А Петру рано вставать. Я постелила вам в светлице.

— Добре, мамо. Вы идите себе, — шепнула Оксана.

Петро начал приводить в порядок свои книги. Перелистал и связал бечёвкой выписки о садах и почвах. Передавая их Оксане, он сказал:

— Береги. Вернусь, закончу свою карту.

Он оглядел, запоминая привычные с детства предметы: угловой столик с горкой старых книг, фотографии в дешёвых рамочках на стене, расшитые цветными нитками полотенца, надколотое стенное зеркало с пучками сухих бессмертников за рамой. «Придётся ли ещё увидеть всё это?» — подумал он, и сердце его сжалось.

Оксана будто угадала его мысли. Она сняла с лампы тусклое стекло, проворно вычистила его, убрала нагар с фитиля, и свет вспыхнул ярче, веселее.

— Не журись, Петрусю, — сказала она, прильнув щекой к его щеке. — Вернёшься, так с тобой заживём... Счастливей нас не будет.

Петро посмотрел в её искрящиеся от света глаза, притянул к себе.

— Вернусь, Оксана. А если убьют... погоди, глупенькая, дай сказать. Война есть война...

Он прижал к груди заплакавшую Оксану.

— Тебя не убьют, Петрусь. Я буду так ждать тебя! — горячо прошептала Оксана. — А если погибнешь, до гроба буду тебе верна.

Столько было трогательной уверенности, страстности в её словах, что у Петра навернулись слёзы. Он с благодарностью стиснул её руку.

Оксана, расчёсывая пальцами его густой, непокорный чуб и засматривая в его глаза, спросила:

— Что тебе Лёшка тогда сказал, что ты его за грудки схватил? Меня такой страх взял.

— Пустое. Не расспрашивай об этом. Я это уже давно из головы выкинул.

Оксана задумчиво поглядела на огонёк лампы. Петро вдруг заметил, что по щеке её скатилась слезинка.

— Ты что, Оксана?

— Ничего.

Закинув руки за голову, она долго возилась с косами. Петро чувствовал, что она стыдливо оттягивает ту минуту, которая должна была сблизить их навсегда, и взял её руку.

— Ты рада, что мы вместе? — шопотом спросил он.

— Зачем спрашиваешь?

Оксана погасила свет, нерешительно постояла около постели.

Петро несколько мгновений слышал только стук своего и её сердца.

— Петрусь! — шепнула Оксана, и в это слово она вложила ощущение такой тревоги, счастья и любви, что Петро почувствовал: эта минута останется в его памяти на всю жизнь, блаженная минута прикосновения к той, которую он назвал своей женою.

...На улице глухо бубнили голоса, скрипели двери и калитки, заливались собаки.

Оксана первая услышала, как у ворот остановилась машина, потом хлопнула калитка.

— До нас кто-то, — шепнула она и подошла к окну.

За стеной раздались шаги, в стекло нетерпеливо побарабанили пальцами. Яков Гайсенко спросил:

— Петро, спишь? Бутенко приехал, в сельраду кличет. Одевайся.

Петро соскочил с постели, не зажигая лампы, надел пиджак, брюки и, торопливо обняв Оксану, вышел из хаты.

Он вернулся спустя полчаса.

— Предлагал оставаться, — сказал Петро, — бронь для специалистов есть.

— А ты?

— Тут и старики управятся. Не могу.

Оксана промолчала и лишь мельком посмотрела на него.

XXIII

К полудню отъезжавшие, с дорожными мешками, сундучками, баульчиками, сопутствуемые роднёй и знакомыми, потянулись к сельсовету.

Петро сидел на крыльце, поджидая Степана и Фёдора Лихолитов. Василинка уцепилась за его рукав, вытирала платочком покрасневшие веки, припухший нос.

— Сбегай-ка до Степана, — попросил Петро. — Чего они там канителятся?

Василинка, ступая на пятку и подпрыгивая (утром она порезала палец и обвязала его тряпочкой), заковыляла по улице. Против двора мельника Довбни, заплетая косу, она задержалась, потом побежала быстрее.

У Лихолитов собирали в дорогу шумно и суетливо. Ганна, больше других сохранявшая спокойствие, помогала жене Фёдора Христинье готовить призванным харчи: по два хлеба на каждого, кусок сала, жареную курицу, коржики, соль и сахар.

Фёдор, такой же здоровенный и рукастый, как и Степан, сидел у порога. Багровея от натуги, он натягивал новые башмаки. Подле, съедая отца глазёнками, жались двое ребятишек.

— Тютюну не забудьте покласть, — хрипло покрикивал Фёдор, отирая потное лицо. — Стёпа, на кой тебе гармошка? Ты что, на весилля [1] собрался?

— Дак что ж, если не на весилля? — басил Степан.— Пока доедем, сгодится.

— Сгодится,— беззлобно передразнивала Ганна. — Вон помоги матери сулею налить.

---

[1] Весилля — свадьба (укр.).

— Давай, Ганька, ещё одну паляныцю. Туточка место есть.

— Куда ты, Христя, яички кладёшь? Побьются.

— Ничего. Они крутые.

Старуха-мать, придерживая дрожащими руками четвертной кувшин с самогонкой, разливала её в бутыли и осипшим голосом причитала:

— Сыны мои, соколы, доки ж я вас выпровожатыму? Когда ж я вас зустричатыму? Хто же мене, старую, доглядатеме? До кого ж я прихылюся? Сыны ж мои, сердце мое...

Василинка, поджав ногу, стояла возле печи и тревожно поглядывала по сторонам.

Фёдор, наконец, управился с тесным башмаком, взял на руки девочку.

— Ну, давайте поспешать, уже не рано.

Христинья торопливо завязала мешок, бросилась к мужу.

— Хозяину, сердце мое, куда ж я тебя выряжаю? — бледнея, она прижимала его голову к своей груди. — На кого ж ты бросаешь несчастных деточек? Кто ж их жалеть будет, как ты жалел?

Фёдор гладил головки ребятишек, крепился, чтобы и самому не заплакать.

— Не горюйте, — успокаивал он. — Буду живой, приду. А ты, дочка, хозяйничай тут с бабой и матерью, слушайся их.

— И чего это рёвы все распустили? — ворчала Ганна. — Вернутся. Ничего им не поделается...

Она не очень верила в утешающую силу своих слов. У неё самой подступал к груди крик, перехватывал горло. Потому и выдернула она поспешно из-за рукава платочек, когда Степан подошёл к ней прощаться.

— Ну, Ганя, — помрачнев, сказал Степан. — Будь здорова. Гляди за старой матерью, себя береги. Ещё увидимся.

— Счастливого тебе пути, Степан, — чуть слышно ответила Ганна и вдруг, припав к его плечу, закричала таким дурным голосом, что даже бабка посмотрела на неё неодобрительно.

Забрав сумки, все пошли следом за братьями из хаты. Христинья с сынишкой на руках, Ганна с сумкой мужа,

бабка с бутылью. Сзади ковыляла Василинка. Она не утерпела, чтобы не засмеяться, глядя, как Фёдор, страдальчески морщась, припадал на скованную узким башмаком ногу.

У рубанюковских ворот уже поджидали. На двери хаты висел замок; провожать Петра шли всей семьёй.

Не доходя до сельсовета, Оксана придержала Петра за руку, вытащила из кармана жакетки конверт.

— Что это? — спросил Петро, разглядывая лиловую, аккуратно склеенную бумагу.

— Спрячь. Прочитаешь, как придёшь на фронт.

— Ну, скажи, что тут?

— Ох ты, боже мой! Узнаешь. Спрячь...

На майдане, перед сельсоветом, не доступиться. Люди с отдалённых хуторов большой толпой облепили крылечко с перильцами. Вытягивая головы, вслушивались они в охрипший голос секретаря. Громак вызывал фамилии тех, кому ещё надлежало пройти призывную комиссию.

По ту сторону дороги, густо усеянной клочьями сена, конским помётом, раскинулся школьный сад. Под ветвями каштанов и шелковиц, в тени кирпичной ограды — народу ещё больше. На траве — горы туго набитых мешков, цветастых сундучков, кошёлок. Сизые клубы табачного дыма над головами, базарный гомон.

Остап Григорьевич, нёсший пожитки Петра, облюбовал местечко под старым каштаном, поставил чемоданчик.

— Клади здесь. Сашкò, ты, курячий сын, никуда шоб не бегал...

— Много народу идёт, — сказала Ганна. — А жнива вот уж, через неделю, полторы...

В стороне Фёдор, сидя на корточках, наказывал что-то притихшей Христинье. Василинка и Настя, обняв с двух сторон Оксану, сидели против Петра. Он шутил, стараясь рассмешить заплаканную Василинку.

Среди снующих меж деревьев хлопцев Петро увидел Алексея и окликнул его. Тот подошёл мрачный и злой.

— Чего хмурый, Олекса? — спросил Петро.

— Радоваться нечего. Выдумали чорт-те что...

— Да ты расскажи толком.

— Медицинская комиссия забраковала. Не берут на фронт. Это я прошлый год пальцы себе перебил. Я ж ими работаю.

Петро хотел ответить и запнулся. С майдана повалил в сад народ.

— И сюда прилетел. От су-у-ука...

Долговязый рыжеватый дядько, опасливо поглядывая вверх и расталкивая всех на пути, бодрой рысью трусил к ближайшим кустам.

— Чего вы? Наш летит.

— Держи карман. Он тебе сыпанёт...

Петро выглянул из-под ветвей каштана. Высоко, под рваным молочным облаком, глухо урча, плыл жёлтый, как оса, самолёт. Он сперва пошёл в направлении Сапуновки, но над лесом развернулся и, увеличиваясь в размерах, стал приближаться к селу с обратной стороны.

— Разбегайтесь, люди! — крикнул кто-то диким голосом. — Ложитесь на землю! Сейчас кинет...

— Ох, боже, прямо на нас...

Петро схватил Оксану за руку. Вверху нарастал звенящий свист. Самолёт с угрожающим рёвом нёсся на метавшуюся у сельсовета толпу. Над майданом свист внезапно оборвался, и самолёт, блеснув на солнце металлической частью, взмыл вверх и пошёл на Каменный Брод. Люди продолжали метаться, сталкиваясь друг с другом, забиваясь в канавки, кусты.

— Видел кресты?

— То не кресты.

— Как не кресты? Чёрные.

— От же, стерво, как низко летает...

Ганна ещё не совсем оправилась от пережитого испуга, но уже, смеясь, показывала пальцем на кучку людей у копны скошенной травы.

— Гляньте на бабку... гляньте... ой, лихо...

Петро повернул голову и увидел, как юркая старушонка, показывая исподницу, стала на корточки, пригнув голову и мелко крестясь, втискивалась в гущу ног. Она с неожиданной резкостью оттолкнула рыжеватого дядька, который топтал ей руку, и зарыла голову в траву.

— И старэ хочет жить, — улыбнулась Катерина Федосеевна.

— А Настунька р-раз — и на дерево, — посмеивалась Василинка над подружкой.

— Надо ложиться, где застал, — сказал Остап Гри-

горьевич смущённо, поднимаясь с земли и отряхиваясь.— Тут уж разве прямо попадёт...

Люди стали расходиться по местам, оживлённо обсуждая происшедшее и подшучивая над недавним страхом.

— Напугалась, Оксанка? — спросил Петро, заметив, как у неё мелко тряслись руки.

— В другой раз прилетит, не испугаюсь, — храбрилась она.

Из толпы вынырнул красный, возбуждённый Сашкò. Запыхавшись, он сообщил, что уже грузятся на подводы.

Петро помог Степану вскинуть на плечи мешок, взял свой чемодан. Рядом Фёдор обнимал мать и плачущих детишек. Василинка и Настунька, словно по уговору, заревели в голос. Остап Григорьевич цыкнул на них, подошёл к Петру. Он крепился, но лицо его, с вяло обвисшими усами и потными скулами, было жалким и растерянным.

— Ну, сынок... — подбородок старика дрогнул. — Гляди ж... Воюй и... за мою кровь...

Он трижды, по стариковскому обычаю, поцеловал сына в обе щеки и отвернулся. Катерина Федосеевна прижалась к Петру, быстро зашептала:

— Ты ж куда не надо не лезь там... Встретишь Ванюшку, берегите один другого...

Тяжело переставляя ноги, она первая пошла к подводам, срывая трясущейся рукой пыльные листочки дикой акации.

На подводах и бричках уже сидели и ещё подсаживались отъезжающие. Бабы и ребятишки толпились около новобранцев стараясь наглядеться в последний раз на своих близких.

Петро кинул свой чемоданчик в одну из подвод, где уже устраивались Степан и Фёдор. Повернулся к Оксане.

Она спрятала лицо на его груди, вцепилась пальцами в воротник пиджака.

— Возвращайся скорей, — исступлённо шептали её дрожащие сухие губы.— Хоть какой, а возвращайся...

Передняя подвода глухо стукнула барками и тронулась с места. За ней двинулась вторая, третья. Петро оторвался от Оксаны, уже на ходу вскочил в подводу и сдёрнул с головы кепку. За подводами шли и бежали провожающие.

Последнее, что запечатлелось в памяти Петра и что потом всегда стояло перед его глазами на фронте, были мать, горестно застывшая на пригорке, Оксана и Василинка, прижимающие платочки к глазам.

Подводы, поскрипывая на выбоинах, перевалили через бугор, пошли быстрее. Фёдор расчистил на возу место, удобно, по-домашнему уложил свой мешок.

— Ложись, поспи, Остапович, — предложил он Петру.

— Да, нет, — отказался Петро, — какой же сон сейчас?

Он перебрался к задку подводы, усевшись спиной к лошадям, смотрел на деревья и строения Чистой Криницы. Они удалялись и уменьшались всё быстрее...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Капитан Каладзе просидел в штабе до рассвета, составляя срочные донесения. Когда работа была сделана, Каладзе, выглянув в окно, подумал, что было бы весьма недурно искупаться после бессонной ночи.

По пути он зашёл за лейтенантом Татаринцевым. Вчера Татаринцев вернулся из Львова грустный и расстроенный. Ездил встречать жену, а она не приехала.

В штаб Татаринцев прибыл недавно, но товарищи уже знали, что он женился всего два месяца назад, что жена его Аллочка окончила в Ростове курсы медсестёр и что Татаринцев с нетерпением ждал её приезда.

Каладзе прошёл по тенистой веранде до комнаты Татаринцева, тихонько приоткрыл дверь. Татаринцев спал на диванчике, уткнув голову в подушку. Над его постелью висел портрет светловолосой девушки с милой, несколько лукавой улыбкой.

Каладзе пощекотал высунувшуюся из-под одеяла пятку.

— Вставай, кацо. На речку пойдём.

Татаринцев вскочил, потёр ладонями широкоскулое лицо, быстро оделся.

Горнист уже сыграл побудку. Невысокий, заросший травой берег речонки был полон купающимися. За орешником, росшим вперемежку с кустами шиповника, облитыми бледнорозовыми цветами, мелькали обнажённые тела, слышались плесканье воды, громкий говор и фырканье.

Каладзе и Татаринцев, подыскав удобное местечко, начали раздеваться.

Смуглое лицо Каладзе, с короткими рыжеватыми усиками и большими глазами в густой опушке светлых ресниц, выглядело усталым.

— Ты плавать умеешь? — спросил Каладзе, стягивая гимнастёрку через гладко выбритую голову. Здесь, на свежем воздухе, гимнастёрка казалась тяжёлой, запах табачного дыма, пропитавший её, — неприятным.

— Я ведь на Дону вырос, — ответил Татаринцев.

— На Дону? А почему фамилия у тебя неправильная? Не русская?

— У нас, в низовских станицах, много таких фамилий — Богаевский, Юртуганов... Там же когда-то татары верховодили.

У Татаринцева до черноты загорели лицо и шея, и поэтому сухопарое тело, не тронутое солнцем, казалось слишком белым. Раздеваясь, он сумрачно разглядывал красные черепичные крыши фольварков на противоположном берегу, серебристые шпили монастыря за лесом. Пахло мокрыми водорослями, лениво квакали лягушки.

— Не будь печальным, кацо, приедет твоя Аллочка, — утешал Каладзе.

Он вполголоса затянул песенку, стремительно вскочил и бросился в воду. Татаринцев поёжился от холодных брызг и, минуту помедлив, последовал за ним.

Они выбрались на жёлтую песчаную отмель. Сверкая на солнце синим стеклом прозрачных крылышек, над ними долго кружила стрекоза. Жмуря глаза от наслаждения, Каладзе пригоршнями поливал водой волосатую грудь.

— Получишь отпуск, к нам в Колхиду надо ехать, — сказал он. — У-у, кацо! Раньше не надо было ехать. Раньше болота были. А сейчас лимоны растут, табак растёт, пальма растёт. Чай растёт...

Они прилегли, подставив спины солнцу. Каладзе начал было дремать, но сзади хрустнул сушняк, из-за орешника появился шофёр командира полка Атамась.

— Дозвольте обратиться, товарищ начальник штаба? — проговорил он и, не ожидая ответа, торопливо сообщил: — Срочно до подполковника Рубанюка! И вы, товарищ лейтенант. Усих командиров требуют.

Каладзе вскочил, схватил свою одежду.

— Подполковник разве здесь? Он же в город уехал.

— Вернулись. Дозвольте итти?

...В белом домике штаба Каладзе и Татаринцев застали почти всех штабных работников.

Командир полка молча и нетерпеливо поглядывал на дверь и, как только вошёл Каладзе, встал из-за стола. Высо-

кий и сухощавый, без единой сединки в курчавых волосах, Иван Остапович Рубанюк выглядел намного старше своих лет: так резко обозначились у него складки над переносицей и у плотно сжатых губ.

Он внимательно и строго оглядел собравшихся работников штаба умными серыми глазами.

— Очень тяжёлая весть, товарищи! — сказал он раздельно. — Сегодня на рассвете немцы перешли границу. Война! Мною получен от командира дивизии приказ: полку выдвинуться к реке Сан, поддержать пограничников. Район обороны...

Наметив участки обороны каждому батальону, Рубанюк выпрямился.

— Семьи надо немедленно эвакуировать в тыл. Сопровождать до станции и обеспечить посадку на поезд поручаю... лейтенанту Татаринцеву. Заодно наведёте, товарищ лейтенант, справки о своей жене. Она должна была приехать вчера?

— Вчера, товарищ подполковник.

— Разыскать и доложить.

То, что Иван Остапович вспомнил о тревогах лейтенанта в такую минуту, понравилось всем.

— Всюду отрыть щели, — вновь строгим тоном приказывал Рубанюк. — Всем направиться в роты, к бойцам. Ясно? Выполняйте!

В комнате задвигали стульями. Шофёр Атамась, неизвестно когда и как появившийся здесь, стоял навытяжку, вопросительно смотрел на подполковника.

— Заправь машину, поедешь во Львов, — сказал Рубанюк. — Писать не буду, передашь на словах. Пусть сейчас же уезжают к моим старикам. Вещей лишних не брать!

Атамась откозырял, однако с места не сдвинулся. Неофициальным тоном, каким позволяют себе говорить со своими начальниками только близкие им люди, он сказал:

— Вы ж сьогодня не снидалы, товарищ пидполковнык. То там завтрак стоить у буфети...

— Езжай!

Перекинув через плечо полевую сумку, Рубанюк вышел на террасу штабного домика.

Из палаток, поднятые по тревоге, выбегали и строились красноармейцы. С привычной быстротой заняв своё место в шеренге и подравнявшись, бойцы незаметно поглядывали на командира полка. Столь хорошо начатый воскресный

отдых был внезапно прерван. Из склада торопливо выносили ящики с боевыми патронами и гранатами. Это вселяло тревогу.

Один из батальонов, дислоцировавшийся за местечком Турка, уже должен был, по расчетам Рубанюка, прибыть к району обороны, и командир полка, не задерживаясь, поехал верхом туда.

Повернув из леса на шоссе, он сразу попал в шумный поток шарабанов, повозок, походных кухонь, мотоциклов, машин. Всё мчалось, катилось, ползло в сторону границы, подымая пыль и заглушая далёкий гул самолётов. Бомбардировщики шли очень высоко, невидимые в белесом от зноя небе. По гулу можно было определить, что их много и что идут они волнами.

У развилки дорог Рубанюк выбрался, наконец, из потока машин и дал коню шпоры. Путь лежал через местечко Турка. Вскоре копыта зацокали по торцам мостовой. У открытых лавчонок и мастерских с пёстрыми вывесками сидели старики в длинных выцветших сюртуках, женщины с детишками на руках. Тротуары заполнила разодетая по случаю праздника молодёжь. Было, как обычно, шумно и суетливо в этом пограничном местечке. Но на лицах, которые поворачивались к нему, Рубанюк читал одно и то же — немое тягостное недоумение.

Миновав местечко, он поехал дальше. Через полчаса его встретил у лесной опушки командир второго батальона Яскин и доложил, что роты приводят в порядок ранее вырытые по берегу окопы.

— Как настроение у твоих? — спросил Рубанюк.

— Боевое. Рвутся в дело.

— Дел теперь хватит... Момент какой выбрали, негодяи! А? Кто мог сегодня ожидать этого?

— Что ж. Придется проучить,— сумрачно сказал комбат.— Как самураев и белофиннов учили.

Капитана Яскина Рубанюк знал года четыре, ещё с полковой школы. До армии Яскин работал на одном из ленинградских заводов. Потом вместе с Рубанюком он воевал на Карельском перешейке.

— У немцев на том берегу орудия,— говорил Яскин, шагая рядом. — Пограничники ночью слышали: танки шумели. Сейчас тихо.

— Разведчиков выслал?

— Выслал. Ещё не вернулись.

— Догадываешься, почему немцы на нашем участке притаились? — спросил Рубанюк, испытующе глядя в лицо комбата.

Оно было непроницаемо спокойно и строго: крепкие бледные губы сжаты, рыжеватые брови сдвинулись над переносицей.

— Как раз думаю над этим,— ответил Яскин.— Каверза. Где-нибудь, где послабее, прорвутся, а нас отрежут... По крайней мере, в Польше им расчленять войска здорово удавалось.

— Пожалуй, верно. Иначе сидеть им тихонько незачем.

На лесной поляне командиру полка козырнул часовой. Он стоял около прикрытых сосновыми ветками ящиков с патронами и гранатами. Рубанюк отломал веточку, пожевал. Терпкая, кисловатая хвоя оставила во рту неприятный, но освежающий вкус.

В нескольких шагах от траншей Рубанюк, заслышав голоса, остановился. Тишину леса нарушали глухие удары о землю сапёрных лопаток, тяжёлое дыхание людей.

— Ну, пускай теперь сунется,— сказал за кустарниками чей-то сипловатый голос.— Я его встречу.

— Знаешь, какие крепости около Перемышля,— откликнулся другой. — Там зубами рви, пылинки не оторвёшь! Важно, чтоб мы не пропустили...

Рубанюк по голосу опознал старшину Бабкина, сверхсрочника из Старой Руссы.

— На наших ребят наткнётся, с тем и повернётся,— рассуждал вслух Бабкин.— Разве положит всех? Знаешь, на родной земле умри, а с неё не сходи.

Рубанюк вышел из-за кустов. У свежеотрытых ячеек блестели на солнце влажные пласты суглинистой земли. Бойцы набрасывали на них ветки, траву.

— Ну, как? — спросил Рубанюк у Бабкина.

— Нормально, товарищ командир полка,— откликнулся тот, поспешно смахивая рукавом гимнастёрки пот с лица.

— С нами Мефодий Грива,— добавил боец с озорными глазами. — Этот не пропустит. Ни немца, ни добавки в обед.

— Грива мастак у нас,— подал кто-то из соседнего окопа голос.— Он позавчера и три наряда вне очереди от взводного не пропустил.

Бойцы засмеялись. Рубанюк молча слушал, как они перебрасывались шутками, задирали друг друга. В присут-

ствии командира полка, требовательного и крутого, они в другое время не позволили бы себе такой вольности. Сейчас молодцеватым, даже несколько бесшабашным своим видом они словно хотели сказать командиру: «Что бы там ни случилось, не подведём. Видите, не очень-то напугались».

Рубанюк понял это. Он повернулся к Яскину и негромко, но так, чтобы бойцы слышали его, сказал:

— Таких орлов нахрапом не возьмёшь. А? Как, комбат?

— Орлы!

— Кто бывал в боях? — обратился Рубанюк к бойцам.

Из ячейки поодаль взметнулась одинокая рука.

— Каждому из вас надо крепко запомнить,— сказал Рубанюк, — война не гулянка и не занятия на учебном поле. Не всем нам удастся вернуться живыми домой...

Слова были правдивы, но чрезмерно суровы, и Рубанюк, ощутив это, добавил:

— Но думать не о своей смерти надо. О вражеской! Убьёшь гада — себя сохранишь...

Бойцы слушали с напряжёнными лицами. Рубанюку, как никогда, были близки сейчас эти молодые люди. Ему хотелось по-отцовски, ласково поговорить с каждым, подбодрить, но он лишь коротко напомнил всем о долге защитника родины, о том, что надо держаться, чего бы это ни стоило, что земля, на которой они сейчас стоят, полита горячей кровью отцов, не раз отважно сражавшихся с врагами.

Потом он повернулся к Яскину и громко приказал:

— Людям пищу доставлять сюда, в окопы...

II

Вечером в полку услышали далёкую канонаду. Гул, то усиливаясь, то затихая, доносился с северо-востока; вначале он был столь слабым и расплывчатым, что его приняли за далёкую грозу. Но к ночи уже явственно загромыхали орудия южнее, со стороны Сможе.

Рубанюк вышел из блиндажа, наспех отрытого под двумя соснами. С минуту он постоял, прислушиваясь и мысленно восстанавливая в памяти силы и средства своей обороны. Слева стояли пограничники с пушками и большим количеством пулемётов. Справа, по берегу, занимал оборону другой полк дивизии. Если командование успеет

подбросить противотанковую артиллерию, можно будет выдержать первый натиск противника.

Своими соображениями он поделился с начальником штаба, вышедшим вслед за ним из блиндажа.

— Слева здорово грохает,— сказал Каладзе, прислушиваясь.

— И слева и справа. Как бы круговую оборону не пришлось держать.

— Ну, что ж... Подготовим круговую.

— Давай такую команду, капитан.

. . . .

В полночь Рубанюка вызвали в штаб дивизии. Атамась ещё не вернулся из Львова с машиной, поэтому Рубанюк выехал на парной линейке. Он поторапливал ездового, но попал в город, где размещался штаб, лишь на рассвете.

Улицы были зловеще пусты. Линейка, миновав сады с кирпичными и чугунными оградами, свернула в центр города. На мостовой, у развороченных строений, лежали поваленные деревья, телеграфные столбы с обрывками проводов. Под ногами встречных патрулей хрустело битое стекло.

Столь печально и безобразно выглядели эти разрушения, что Рубанюк невольно отвернулся. Он подумал о других городах, разделивших сейчас судьбу этого прежде чистенького и весёлого городка, вспомнил Львов. Перед ним возник двухлетний сынишка. Только вчера Рубанюк собирался провести с ним весь выходной день, показать ему цирк...

Ездовой вдруг с силой потянул вожжи. Путь преградили две огромные воронки на мостовой. Вокруг всё было усыпано комьями земли, вывороченными камнями. Осколки бомбы полоснули по фасаду каменного дома, увитого виноградом; стены его, с разваленным углом и пустыми переплётами окон, были испятнаны и закопчены.

В арке ворот показался немолодой красноармеец в каске, с винтовкой в руках. Он приблизился и низким, окающим голосом сказал:

— Товарищ подполковник, в объезд надо. Там вон ещё штучка лежит. Не разорвалась.

— Сильно бомбит? — спросил ездовой.

— Всю ночь кидал, — возбуждённо ответил красноармеец. — Недавно ещё три прилетало.

Он опасливо поглядывал на небо и, как только линейка тронулась, скрылся в воротах.

Рубанюк пошёл к штабу, оставив лошадей у серых, мшистых стен замка. По просторному двору, с пышными цветочными клумбами и круглым бассейном, время от времени торопливо пробегали командиры. Возле счетверённых зенитных установок бодрствовали пулемётчики.

Дежурный лейтенант указал Рубанюку комнату, в которой комдив приказал собрать всех командиров штаба.

— Вторая дверь налево. Торопитесь, тут член Военного Совета армии, а он не любит, когда опаздывают.

Рубанюк поправил перед трюмо гимнастёрку, снаряжение и направился в зал. Кинув беглый взгляд на собравшихся, он сразу по лицам определил, что произошло что-то крайне неприятное. Расспросить он не успел, так как в зале появились командир дивизии Осадчий и бригадный комиссар Ильиных. Комдив, седеющий полковник, с глубоким шрамом через всю правую щёку, прошёл к столу, усталым жестом провёл ладонью по бритой голове. Не приглашая садиться, он обратился к командирам:

— Вы люди военные. Поэтому буду краток. Два полка, которые обязаны держать оборону, полки Баюченко и Сомова, отходят. Отходят в результате внезапного удара, под давлением превосходящих сил противника...

Он обвёл зал взглядом человека крайне удручённого, но голос его попрежнему был твёрд и сух.

— Положение критическое, но не безнадёжное,— раздельно сказал он. — Скоро отступающие будут здесь. Их надо остановить! Любыми средствами!..

Его взгляд остановился на Рубанюке.

— У тебя как, Рубанюк? — спросил он.

— Заняли оборону, товарищ полковник!

— На вас я надеюсь.

— Будем держаться, товарищ полковник!

Осадчий, выжидательно посмотрел на члена Военного Совета. Бригадный комиссар поднялся. Волевое бледное лицо его, с густыми чёрными бровями и выдающимся энергичным подбородком, было сдержанно и спокойно.

— Не исключено,— произнёс он неторопливо, подчёркивая каждое слово, — что гитлеровцы, развивая удар из района Перемышля, попытаются нас отрезать. Будем драться!

Ильиных провёл ребром ладони по карте, лежавшей перед ним на столе.

— Мы не должны скрывать,— продолжал Ильиных,— ни от себя, ни от бойцов, что положение весьма серьёзно. Враг очень силён! Нужны огромные усилия, исключительное напряжение нашей воли, сил, средств, чтобы разгромить такого врага...

Ильиных, задумчиво поглаживая ладонью щёку, сделал несколько медленных, тяжёлых шагов от стола к окну. В напряжённой тишине было чётко слышно, как поскрипывают плитки рассохшегося паркета. Член Военного Совета подошёл к окну, опёрся о него пальцами. Наклонившись вперёд своим несколько грузным, но ладным корпусом, он продолжал:

— Удар, нанесённый нам вчера на рассвете, готовился долго и коварно. Фашистская Германия не объявляла нам войны. Так она, без объявления войны, оккупировала многие европейские страны. Вы знаете, какими методами действуют нацисты. Паника и растерянность в рядах обороняющихся — вот что нужно Гитлеру. Авантюристический, разбойничий приём! Но вы видите на примере полков Баюченко и Сомова, что этот приём принёс кое-какой успех врагу... Организованность, непоколебимая дисциплина, воля к победе — вот чем обязаны ответить мы, большевики! Весь советский народ поднимается на смертный правый поединок с подлой фашистской агрессией. И в первых рядах пойдём мы, коммунисты, — солдаты великого Сталина...

Ильиных предупредил о строгой ответственности штаба за железную дисциплину в дивизии, предложил немедленно выслать в полки Баюченко и Сомова штабных командиров для наведения порядка.

После совещания Осадчий пригласил Рубанюка к себе. Поглядывая в открытое окно на командиров, рассаживающихся по машинам, он сказал:

— Я тебя вызвал, собственно, вот для чего. Тебе надо быть готовым ударить противнику во фланг. Положение в полках Баюченко и Сомова усложняет эту задачу, но не снимает её. Давай-ка к карте!

Комдив указал Рубанюку направление удара, обсудил с ним подробности контратаки.

— Наведём порядок в остальных полках и тебе поможем,— сказал он, энергично пожимая на прощанье руку

Рубанюка. — Постарайся быть у себя побыстрее. И помни: я на тебя крепко надеюсь.

— Будет сделано всё, что в человеческих силах,— коротко ответил Рубанюк.

Сообщение об отходе соседних частей очень взволновало его, и он торопил ездового.

«Как же могли так осрамиться Баюченко и Сомов?» — раздумывал Рубанюк с тревогой. Из памяти его никак не могло изгладиться, каким удручённым был комдив, когда сообщал об отходе двух полков.

Только вчера Рубанюк, читая военные записки Энгельса, записал в своей тетрадке пришедшую ему в голову мысль: «Боязнь врага подавляет твою волю и усиливает противника твоей слабостью. Следовательно, поддаваясь чувству страха, ты воюешь сам против себя...»

Рубанюк с нетерпением поглядывал на часы. Он должен скорее увидеть своих бойцов! Солдаты узнают, что полк будет наступать противнику во фланг. Это ободрит их, укрепит уверенность в своих силах.

Однако добраться до Турки было не так просто. Как и накануне, в сторону границы двигался поток бойцов, машин, повозок. Навстречу пробивался порожняк, брёл угоняемый скот, нескончаемой вереницей шли беженцы, попадались первые раненые. Повсюду на шоссе виднелись следы бомбёжки. Горели, распространяя удушливый запах жжёной резины и краски, автомашины, валялись трупы лошадей и коров.

Раза три Рубанюку и ездовому приходилось прятаться в придорожных кустарниках. Но самолеты налетали очень часто, и Рубанюк сердито сказал ездовому:

— Погоняй. Уж если прямо на нас спикирует, тогда будем спасаться.

Кое-как добравшись до моста, линейка безнадёжно застряла между повозок, и Рубанюк пошёл пешком. Часа через два он, наконец, достиг леса, где раньше размещался штаб полка.

Здесь недавно прошёл небольшой дождь, и, когда снова выглянуло солнце, всё заискрилось: липы старого помещичьего сада, цветы на клумбах, гравий аллей.

Первым попался Рубанюку на глаза интендант Глуховский. Интендант стоял около склада и следил за тем, как на подводы грузили ящики. Заметив командира полка, он радостно его приветствовал.

— Перебрасываем поближе боеприпасы,— доложил Глуховский.

Рубанюк, приказав подседлать коня, пошёл в свой рабочий кабинет за биноклем. У двери он столкнулся с шофёром Атамасем. Распахнув дверь, шофёр со смущённо-виноватой улыбкой сказал:

— Трошки беспорядку у вас наробылы...

Рубанюк шагнул через порог и увидел: вся комната была усеяна битым стеклом, штукатуркой. Из деревянного пола, пробитого пулемётной очередью, торчали смолистые щепы.

— И сюда залетели, сволочи!

— З самого ранку в гости навидалысь...

— Говори скорей, что во Львове? Уехали мои?

— Так що побачыть мени их не удалось, товарищ пидполковнык.

— Как это? — спросил Рубанюк, темнея в лице.

— Я видразу, як приихав, пишов на квартиру, а их вже немае. Выихали. Одни кажуть, що на вокзал, а де хто каже, що до вас з хлопчыком пишлы.

— Ну, а на вокзале... Ты был?

— А як же! — с обидой сказал Атамась.— Уси эшелоны облазыв. Там дитворы, баб... этих самых женщин,— поправился он.— Стерва, и по вагонам бье з самолетов. Не разбирается, детишки там или не детишки.

— А соседям Александра Семёновна ничего не оставляла? — допытывался Рубанюк.

— Ключи вот от квартиры. Они с мальчиком, это соседка рассказывала, цельный день вас выглядалы. А потом взялы вещички и пишлы. Там, у городи, таке робыться. Бомбыть, спасу нету. По подвалах люды сыдять.

Атамась достал из кармана и протянул ключи.

— Та вы не турбуйтесь, товарищ пидполковнык,— успокаивающе сказал он, видя, как помрачнело лицо Рубанюка.— Александра Семёновна — женщина геройская. Воны не пропадуть...

III

Полк второй день находился в обороне, не видя противника и не истратив ни одного патрона. Приказа из дивизии о наступлении пока не было, и Рубанюк в ожидании его ещё и ещё раз продумывал, наедине и с командирами батальо-

нов, возможные направления удара по гитлеровцам. Бойцы успели прорыть между стрелковыми ячейками ходы сообщения.

Война шла где-то стороной...

— Так воевать хоть тыщу лет соглашаюсь. Побей меня пирожком,— острил полковой голкипер Кандыба, принимая от повара котелок с жирными, ароматными щами.

Старшина Бабкин раздобыл две корзины черешен, и третья рота обедала в приподнятом настроении, похваливая Бабкина: «Наш старшина из печёного яйца живого цыплёнка высидит».

Первый номер пулемёта Головков и его неразлучный дружок Павел Шумилов пристроились в тени ольхи, доедая из котелка кашу. Сбоку лежал на траве Терешкин. Выплёвывая черешневые косточки и сыто жмуря глаза, он говорил:

— Ребята, просидим мы тут в лесочке, а Берлин без нас заберут.

— Гляди, как бы не забрали,— откликнулся Шумилов, выгребая из котелка остатки каши.— Не слыхал разве, что старшина говорил? Танки их уже под Львовом.

— Ну, так что ж? — возразил Терешкин.— Пускай хоть и за Львовом. Дальше зайдут, дальше удирать им же придётся.

— Далеко не зайдут,— авторитетно сказал Головков.— А будут нахалом переть, мы им концы скоро наведём.

— Щэ таких не було, щоб з России с цилыми башками вертались, яки ось так пруться,— поддержал его Грива.

— Мы тебя, Мефодий, до Гитлера командируем,— живо повернулся к нему Терешкин.— Ты ему лекцию сделай про историю и географию. Он же в России не бывал...

Однако беспечность, с какой бойцы, сидя в обороне, переговаривались меж собой, была показной. Их всё больше начинало волновать и то, что полк не воюет, и тяжёлые вести о продвижении врага. Бойцы с жадностью прислушивались к разговорам командиров, но и командиры толком не знали, что происходит на фронте.

С юго-востока и особенно с севера гул канонады всё приближался. Перед вечером командир батальона Лукьянович донёс по телефону, что разведка установила сосредоточение танков и пехоты противника против его участка. Гитлеровцы готовились к атаке.

— Твоё решение? — коротко осведомился Рубанюк. Он оживился, почувствовав тот прилив энергии, который охватывал его, когда ему предстояло действовать.— Хочешь упредить? Одобряю. Атакуй первым. Сейчас доложу хозяину.

Он собирался вызвать к проводу Осадчего, но в эту минуту к блиндажу подкатил мотоцикл из штаба дивизии. Связной передал Рубанюку пакет. Комдив приказывал полку немедленно отходить на Борислав. Снаряды, которые нельзя вывезти,— взорвать!

Рубанюк вертел в руках клочок бумажки, строки расплывались перед его глазами. Ему приказывали оставить без боя рубеж, который он со своими солдатами так старательно готовил для отпора врагу! Без боя, без единого выстрела!

— Что там от комдива? — полюбопытствовал Каладзе.

— Требуют отходить.

— Что-о?! Почему отходить?

Каладзе, бледнея, уставился на бумагу, потом нетерпеливо взял её из рук Рубанюка.

— Значит, спины фашистам показывать! — задыхаясь от волнения, крикнул он. — Что это? Кто из бойцов будет выполнять?

Забыв о присутствии связных, Каладзе с таким бурным негодованием выражал свои чувства, что Рубанюку пришлось прикрикнуть на него:

— Слушайте, капитан! Вы что, вздумали дискуссию разводить? — Рубанюк поднялся. Голос его зазвучал глухо и устало, когда он добавил: — Приказ есть приказ. Обсуждать его никто вам не разрешил.

И тотчас же, поняв, что он, командир полка, не имеет права поддаваться никаким личным настроениям и чувствам, он резко повернулся и уже строгим, официальным тоном сказал:

— Немедленно передать приказ комдива батальонам!

IV

Прикрывать отход полка Рубанюк приказал батальону Лукьяновича. С наступлением сумерек первый батальон, тщательно соблюдая тишину, выступил к местечку Турка.

К полуночи Каладзе, который возглавлял отходящие подразделения, донёс о том, что голова походной колонны

достигла шоссе и продолжает движение. В конце донесения указывались потери от бомбёжки: шесть убитых, восемь раненых, повреждена пушка.

На багровом от дальнего зарева небе смутно вырисовывались верхушки деревьев. Где-то недалеко часто рвались снаряды.

Перед въездом на шоссе Рубанюк задержался, пропуская мимо себя арьергард. Потом он перевёл коня на рысь и, держась обочины, вёрст через пять настиг хвост колонны.

Небосвод затянуло низкими тучами, в непроницаемой тьме трудно было разглядеть что-либо, но Рубанюк сразу понял, что полк не двигался.

На небольшой высоте медленно шёл с захлебывающимся урчанием бомбардировщик. Чей-то злой, охрипший голос крикнул:

— Кто там курит?

— Дай ему по кумполу,— добродушно посоветовали в ответ.

— Смотри, как бы самому не дали, — откликнулся курящий, но цыгарку прикрыл.

Бомбардировщик, отлетев немного, видимо, развернулся; рокот его моторов опять стал приближаться.

— Почему не двигаетесь? — крикнул Рубанюк, подъезжая к стоявшему в стороне командиру и натягивая поводья.

— Говорят, мост разбомбило.

— Какой мост? — рассердился Рубанюк.— Впереди никакого моста. Кто это отвечает?

— Младший лейтенант Румянцев. Это вы, товарищ подполковник?

Впереди вдруг послышались беспорядочные винтовочные выстрелы. Рубанюк, не ответив Румянцеву, поскакал на звуки стрельбы.

Выяснить, кто поднял стрельбу, ему не удалось, так как стреляли где-то далеко впереди.

Чтобы расчистить путь, пришлось оттащить с дороги в кювет две грузовые машины, которые столкнулись в темноте. Колонна двинулась.

В Турку полк вошёл с рассветом. На окраине горели нефтяные склады. Тяжёлый чёрный дым лежал пластом над городом. От взрывов жалобно дребезжали в окнах перекрещенные полосками бумаги стёкла, раскачивались и звенели провода.

Между пылающими домами по улочкам метались жители с пожитками в руках. Они путались в клубках проволоки, спотыкались о груды битого кирпича, теряли и испуганно окликали друг друга.

На повороте одной из улиц Рубанюк увидел знакомого часовщика. Старый еврей стоял на тротуаре подле своей развороченной бомбой мастерской и смотрел на нескончаемый поток людей.

Взгляд его вдруг задержался на Рубанюке. Старик узнал своего заказчика:

— Пан подполковник, пан подполковник, цо то буде?

В эту минуту через три дома с треском рухнули стропила горящего здания, и толпа шарахнулась в сторону, смяла старика. Рубанюк, сколько ни оглядывался, уже не мог разыскать его в толпе.

Уже за городом в потоке беженцев Рубанюк заметил девочку в розовом вязаном джемпере. Её держал за руку смуглый мужчина в мягкой шляпе и чёрной жилетке поверх белой полотняной сорочки. Девочка поминутно оглядывалась и осипшим от слёз и крика голосом повторяла:

— Мама... хочу до мамы...

Рубанюк круто свернул к ним, спросил мужчину:

— Отец?

— Так, пан комиссар,— закивал головой тот и снял шляпу.

— Где же её мать?

— Поховалы вчера, пан комиссар... убили её...

Девочка умолкла. Широко раскрытыми глазами смотрела она на Рубанюка. Отец неумело поправил ей чулок, и вдруг треугольный кадык его, выпирающий над воротом рубашки, дрогнул.

— Коновод! — позвал Рубанюк.— Посадить ребёнка с отцом на повозку...

— Бардзе дзенькую, пан, бардзе дзенькую,— закивал головой мужчина и, подхватив девочку на руки, поспешил за коноводом.

V

Километрах в пяти от Борислава Рубанюк и Каладзе остановились на опушке придорожного леска и развернули карту.

Капитан большую часть пути шагал пешком с бойцами. На усы и на брови его лёг слой ржавой пыли; вытираясь,

он размазал её полосами по влажным щекам, и лицо его от этого приняло почему-то обиженный вид.

— Я так думаю, товарищ подполковник,— сказал он,— будем в Бориславе окопы рыть.

— Не иначе.

— Там можно держаться. Горы есть, леса есть...

Каладзе отлично знал этот район и с увлечением излагал свой план обороны.

Однако в Бориславе Рубанюк получил приказание из штаба дивизии — итти форсированным маршем на Дрогобыч и занять оборону на его северо-западной окраине.

Каладзе узнал об этом от Рубанюка на втором привале после Турки. Ощипывая дрожащими пальцами ветку боярышника, он сказал:

— До Дрогобыча двенадцать километров... Отойдём, а дальше отступать не будем. Пускай даже приказ будет... Три приказа пускай будет. Это... вредительство... А что, неправда? Не было у нас вредителей? Почему не воюем?

Он распалялся всё больше и, как это бывает в минуты гнева с добродушными, покладистыми людьми, совершенно утратил самообладание, ничего не слушал и выкрикивал высоким, рвущимся от злости тенорком:

— Почему не воюем? Почему не наступаем? Что это, до самого Киева нас будут гнать? Не хочу больше отступать. Патроны есть, снаряды есть, пушки есть... Люди какие!.. Орлы! Почему не бьём фашиста?

Рубанюк хотел было резко одёрнуть Каладзе, но вдруг ощутил, что не сможет этого сделать. То, что разгневало Каладзе, вызывало протест и в его душе. Он и сам не мог подыскать убедительного объяснения событиям последних дней — быстрому продвижению оккупантов на восток.

У него, как, впрочем, и у большинства командиров, до сих пор было твёрдое убеждение, что любой противник, предпринявший войну с Советской страной, будет разбит на своей же земле. Поэтому мучительно тяжело, невыразимо стыдно было ему оттого, что в первые же дни войны гитлеровские орды так быстро начали продвигаться в глубь страны.

Но терять самообладание, как Каладзе, Рубанюк не имел права. Ему вспомнились слова преподавателя академии, старого генерала. «Офицер всегда должен обладать присутствием духа,— говорил генерал,— ибо его состояние немедленно передаётся подчинённым».

Рубанюк опустил руку на плечо Каладзе, вокруг глаз его собрались светлые морщинки.

— Ты рассуждаешь,— произнёс он,— как безусый новобранец. А ведь ты старый, опытный командир... Ну, на какого чорта, скажи, нас заставят отступать, если в этом не будет надобности? Противник сейчас пользуется внезапностью... Сам же хорошо понимаешь...

— Понимаю,— буркнул Каладзе.

Вспышка гнева у него была минутной. Он достал из сумки карту, что-то прикидывал, высчитывал. Полк мог, совершая по пять километров в час, засветло достичь Дрогобыча.

Но Рубанюк на следующем привале решил ещё раз поговорить с начальником штаба.

Бойцы обедали. Рубанюк, не любивший изменять своим привычкам в любой, самой сложной обстановке, подошёл к походной кухне.

— Чем кормите?

Повар быстро напялил заткнутый за пояс колпак, зачерпнул со дна.

— Отведайте, товарищ подполковник.

— И так вижу, что в котле у тебя густо.

Рубанюк подсел к обедающим красноармейцам. Он всегда проверял пищу из котелков. Бойцам это нравилось.

Поев борща и сделав замечание повару о том, что лук хорош, когда его правильно пережаривают и кладут в меру, Рубанюк с усмешкой спросил:

— Напугался фрицев, что ли? Хуже стал варить.

— Мы насчет нервов крепкие, товарищ подполковник,— спокойно сказал повар.

— Вот молодец, если так!

Начальника штаба Рубанюк разыскал около повозки связистов. Каладзе сидел, уткнув подбородок в ладони.

— Так, говоришь, нервы пошаливают? — опускаясь на траву, сказал Рубанюк.— Повар Савушкин — и тот понимает, что без хороших нервов на войне доброй каши не получишь...

— Это и я понимаю,— неохотно откликнулся Каладзе.

— Видимо, нет, раз такой скандал учинил из-за приказа.

— А вам нравится, что мы отступаем, товарищ подполковник? — сухо спросил Каладзе.

— Речь не об этом. Ты сказал: хоть три приказа будет, не хочу отступать. Так ведь сказал? То-то! Не геройство это.

Рубанюк говорил спокойно, как бы размышлял вслух. Он сам старался разобраться во всём. Каладзе слушал его, опустив глаза.

— Если я приказа не признаю,— продолжал Рубанюк,— может, в самые трудные моменты, какие мы переживаем, ты, другой не признают, то что же получится? Ты говоришь: хоть три приказа... Одного достаточно... Значит, так нужно.

Рубанюк, искоса поглядывая на начальника штаба, видел, что убедить Каладзе в его неправоте не так-то легко. Рыжеватые густые брови капитана упрямо сдвинулись над переносицей, чуть подрагивали.

— Помнишь, каким оружием в старину пользовались? — продолжал Рубанюк. — Лук и стрела! Немудрёное оружие, а с ним и на охоту и в битвы ходили. Прежде чем поразить цель, какой-нибудь этакий первобытный стрелок хорошенько прицелится. Потом начинает оттягивать тетиву со стрелой. Оттягивает и сам целится... А когда убедится, что придал своей стреле нужную силу, пускает её вперёд... Не кажется тебе, Каладзе, что командование оттягивает нас, как стрелок тетиву, чтобы затем вперёд послать?.. А ты... Хочу сейчас! Хоть и слабый удар будет, а вот хочу, и точка!

— Думаете, никто не заметил, как вы сами к приказу об отступлении отнеслись? — спросил Каладзе. — Чуть не до слёз обидно было. Ведь так?

— Ну, что ж... А потом рассудил, что чувства надо в кулак зажать. Крепко, вот так.

Рубанюк заметил, что на шоссе сбились в кучу артиллерийские упряжки и обозные повозки. Создалась пробка. Поднявшись, Рубанюк не спеша зашагал туда. Широкоплечий и высокий, с ладно пригнанным походным снаряжением на запылённой, но аккуратно выутюженной гимнастёрке, он являл образец такого спокойствия и уверенности, что Каладзе втайне залюбовался им.

«А ведь он жену и ребёнка потерял... — подумал капитан, глядя ему вслед. — Самых любимых людей потерял...»

...Вскоре Рубанюк поехал с командирами батальонов вперёд на рекогносцировку местности.

В лесу перед Дрогобычем он, встав с линейки, долго разминал затёкшие ноги. Его манила яркозелёная трава на полянке, под деревьями было прохладно, и Рубанюк только сейчас почувствовал, какой страшной усталостью отравлено всё его тело и как ему хочется спать. Трое суток он совершенно не смыкал глаз. Окружающие предметы расплывались перед ним, казались невесомыми и нереальными.

Связисты, прибывшие из дивизии, тянули к командному пункту провод, Каладзе горячо доказывал что-то комбату Лукьяновичу, но всё это доходило до сознания Рубанюка, как сквозь сон.

Вывел его из этого состояния зычный голос сержанта-связиста. Он докладывал, что связь установлена и командир дивизии вызывает к проводу.

Полковник Осадчий осведомился о местонахождении полка. Он требовал удержаться у Дрогобыча во что бы то ни стало и сообщил, что на подходе свежие части. Их перебрасывают к Дрогобычу автомашинами.

Рубанюк передал командирам содержание разговора с Осадчим и, повеселев, с обычной энергией и тщательностью стал изучать местность, отдавать приказания. У него появилась твёрдая уверенность, что здесь, на этом, очень удобном и выгодном для обороны рубеже, прекратится, наконец, тягостное отступление.

Он отдал приказ занять оборону, отпустил Каладзе и комбатов, а сам решил немного отдохнуть.

...Ему приснилась маленькая беженка в розовом джемпере. Девочка цепко держалась руками за его портупею и сердито требовала, чтобы её маму вытащили из глубокого оврага. Рубанюк наклонился над пропастью и увидел изуродованную, окровавленную жену — Шуру. Она протягивала к нему руки, плача, пыталась выбраться, но земля под ней осыпалась, и Шура с отчаянием хваталась за края оврага. Рубанюк протянул ей руку, но в этот момент с ослепительным блеском разорвалась рядом бомба, и его отшвырнуло в сторону. «Ну, вот и убит», — с безразличием подумал он о себе, и ему стало легко от сознания, что можно лежать спокойно, не шевелясь. Но девочка в джемпере тормошила его, трясла за плечо.

— Товарищ подполковник!

Перед Рубанюком стояли Атамась и боец, державший в поводу тёмногнедого подседланного коня. По запылён-

ному, багровому от жары лицу бойца стекал пот. Конь был тоже заморен и тяжело водил взмыленными боками.

— От начальника штаба, товарищ подполковник! — доложил боец, протягивая пакет.— Приказано как можно скорей доставить... Аллюр два креста...

Рубанюк вскрыл конверт. Каладзе сообщал: офицер связи, прилетевший из штаба фронта, передал новое приказание — полку вернуться к Сану и не отходить ни на шаг. За невыполнение приказа — расстрел всего командования полка. От себя Каладзе приписал, что, по его мнению, подобное распоряжение — нелепость, так как в Турку уже вошли танки противника.

Рубанюк несколько минут сидел молча, разглядывая неровные строчки, очевидно, наспех и взволнованно написанные знакомым ему почерком Каладзе. Что же делается? Как разобраться в том, что происходит?

Рубанюк приказал связать его по телефону с Осадчим.

Связист долго и терпеливо вызывал «Вишню», переругивался с кем-то на контрольной и, наконец, доложил, что линия оборвана.

Ожидать, пока устранят повреждение, было некогда. Рубанюк вырвал из записной книжки листок, размашисто написал: «Продолжайте движение в прежнем направлении. Рубанюк».

Всё же на душе у него было тревожно. Спустя полчаса связь наладили, и комдив тотчас же вызвал Рубанюка к проводу. Он спрашивал о состоянии полка, торопил с организацией обороны.

Рубанюк сообщил о распоряжении офицера связи.

Он выслушал ответ Осадчего, и лицо его изменилось.

— Каладзе докладывает, что офицер этот из штаба фронта, — повторил он. — Прибыл самолётом.

Командиры штаба, связные, телефонисты, находившиеся на командном пункте, притихли.

— Есть задержать и доставить к вам, товарищ полковник! — громко сказал Рубанюк и положил трубку.

Приказав Атамасю немедленно заводить машину, он ещё раз пробежал глазами записку Каладзе.

— Ухо придётся востро держать, товарищи, — сказал Рубанюк командирам. — Осадчий говорит, одного диверсанта уже поймали... Регулировал движение, сукин сын... В форме нашего лейтенанта.

VI

Разыскать самозванного офицера связи не удалось. Каладзе, узнав от Рубанюка о разговоре с комдивом, сперва оторопел, потом схватился руками за голову.

— Я у него документы спрашивал,— оправдываясь, сказал он. — Печать есть, подписи есть. Полчаса назад здесь был. Туда-сюда ходил, командовал. — Он сжал в бессильной ярости кулаки. — Где его теперь найдёшь?..

К обеденному времени бойцы входили в лес.

Рубанюк и комбат Яскин стояли на опушке. Бойцы шагали мимо с изнурёнными, запылёнными лицами. Горячий запах потных тел, кожаного снаряжения, оружейного масла стлался меж деревьями.

— Пятнадцать минут отдыха, — разрешил Рубанюк. — Потом всем рыть окопы!

Роты подходили одна за другой, растекались по лесу и наполняли его хрустом валёжника, побрякиванием котелков.

В последнем ряду третьей роты, сутулясь, шёл старшина Бабкин. Он тащил на плечах тело станкового пулемёта. Сбоку, вне строя, опираясь на палку и сильно прихрамывая, ковылял пулемётчик Головков.

Рубанюк подозвал его.

— Натёр, что ли? — спросил он, показав глазами на ногу.

— Осколком царапнуло, товарищ подполковник, — смущённо ответил Головков. — Там около нас одна разорвалась...

Он с досадой посмотрел на свой разорванный сапог и поспешно добавил:

— Пустяковая, товарищ подполковник. К вечеру, как на собаке, заживёт. Без сапога вот остался...

Позже, когда Рубанюк обходил батальоны, ему бросилось в глаза оживление в расположении третьей роты. Под деревом стоял объёмистый бочонок с квасом. Бабкин, деловито засучив рукав, отпускал бойцам в кружки и фляги пенившуюся влагу. Старшина подмечал, как тот или иной боец орудовал лопаткой; мера щедрости старшины определялась ретивостью стрелка в рытье окопов.

— Хоть раз, та вскачки, — отходя от бочонка с полным до краёв котелком и довольно подмигивая товарищам, похвалился Грива.

Квас был добыт в Бориславе не без его участия, да и около траншей управлялся он за двоих.

К утру полк основательно зарылся в землю, по скатам высоток протянулись заграждения.

Рубанюк вышел из блиндажа, как только зарозовели верхушки деревьев. Он немного поспал и чувствовал себя бодро.

У блиндажа сидел на перевёрнутом ящике Татаринцев. Он вскочил, отшвырнул недокуренную папиросу. Лицо его заметно осунулось и было озабоченно.

— Прибыл, товарищ командир полка! — доложил он.— Задание выполнил. Семьи погружены в эшелон.

— Хорошо. Свою жену разыскали?

— Так точно. О вашей супруге тоже справлялся, товарищ подполковник.

— Ну? — Рубанюк встрепенулся.

— Она с сыном выехала в Киев. Вместе с женой полковника Осадчего. Адъютант комдива говорил. Только он... — Татаринцев замялся.

— Ну, что? Говорите.

— Адъютант рассказывал, что два эшелона разбомбило. Может, ваши проскочили. Эшелонов много ушло.

По лицу Рубанюка пробежала тень. В мозгу его с ослепительной ясностью возник вчерашний сон.

Татаринцев не уходил.

— Что у вас ещё?

— Просьба, товарищ подполковник.

— Говорите.

— Позвольте Татаринцевой при полку остаться. Она курсы медсестёр окончила. Пригодится. Очень просит оставить её...

— Хорошо.

— Благодарю, товарищ подполковник. Разрешите Татаринцевой явиться и доложить?

— Разрешаю.

Заложив руки за спину, Рубанюк медленно ходил около блиндажа. Его мучила тревога за жену и сынишку. «Может, обойдётся всё благополучно, — утешал он себя. — Шура энергичная, смелая... Доберётся до Киева, а там к старикам, в Чистую Криницу. Переждёт».

Татаринцев вернулся с женой минут через десять. За несколько шагов она оправила складки на гимнастёрке и неумело козырнула.

— Товарищ подполковник, — певучим грудным голосом бойко произнесла она. — Медсестра Алла Татаринцева прибыла в... доверенную часть...

Она пыталась сказать ещё что-то по-уставному и, засмеявшись, безнадёжно махнула рукой.

Вздёрнутый носик, мягкие ямочки на подбородке и на смуглых щеках, пухлые губы делали её похожей на девочку-подростка. Серые, с зелёными крапинками, глаза её смотрели то на Рубанюка, то на стоящего поодаль Татаринцева.

— Забыла, как по форме надо докладывать, товарищ подполковник, — откровенно призналась она. — Попадёт мне теперь?

— Ну, с формой ладно, — сказал Рубанюк. — Раненых сумеете лечить?

— Буду стараться.

— Вы откуда родом?

— Ростовчанка.

— Можете итти отдыхать.

По выражению лица Татаринцевой было заметно, что ей ещё хочется поговорить, но Рубанюк подчёркнуто сухо козырнул ей и ушёл в блиндаж.

День обещал быть очень тихим. Ни одного облачка не было на голубом небе, мёртвая тишина стояла над лесом и горами.

Но уже к девяти часам издалека донёсся странный, нарастающий гул.

Первым на командном пункте услышал его Атамась, кончавший чистить у блиндажа автомат. Он поднялся с плащ-палатки, оглядел небо. Нет, самолётов не было. Атамась поворачивал голову во все стороны, вслушивался. Звук моторов доносился откуда-то снизу, из-за лощины, отделяющей лес от шоссе. Атамасю почудилось даже, что он слышит, как подрагивает земля.

Не выпуская из рук автомата, Атамась вскочил в блиндаж.

— Товарищ пидполковник, — торопливо сказал он. — Выйдите, послухайте. Чи не танки?

Рубанюк и Каладзе вышли. Гул сперва несколько притих, потом раздался сильнее и отчётливее. Теперь уже было ясно — шли танки. Но почему с востока?

— Вероятно, наши,— высказал предположение Каладзе.

К рокоту моторов прибавились пулеметные очереди, редкие пушечные выстрелы.

— Что-то непохоже, чтоб наши, — сказал Рубанюк. — Свяжись-ка быстренько с дивизией!

Каладзе спустился в землянку. Начальник штаба дивизии уже находился на проводе, вызывая командный пункт их полка.

— Что у вас слышно, «Ландыш»? — встревоженно спрашивал он.

— Танки, —ответил Каладзе, — идут. Но чьи, откуда, не знаем.

— Приготовьте всё, чтобы встретить! — приказал начальник штаба. — От Перемышля прорвались... Дай-ка к проводу хозяина...

Гул танков и орудийной стрельбы приближался.

VII

Поезд, в котором Петро и его земляки ехали на фронт, двигался необычайно медленно, с бесчисленными остановками.

Командир, сопровождающий мобилизованных, бегал на каждой станции к железнодорожному начальству, ругался, просил не задерживать, но это не помогало. К фронту пропускали, в первую очередь, воинские эшелоны.

Петро занял со Степаном и Фёдором четырёхместное купе пассажирского вагона. Четвёртым соседом оказался словоохотливый и непоседливый паренёк откуда-то из Балахны.

— Митрофан Брусникин, — представился он, здороваясь с каждым за ручку. — Имя не так чтоб красивое, зато фамилия аппетитная.

На вид он был нескладен: курнос, чуть рябоват, со свисающей верхней губой, но большие зеленоватые глаза его светились таким добрым и хитровато-умным блеском, что неправильные черты его лица как-то не замечались.

Брусникин помог уложить вещички, задвинул дверь в коридор.

Ему хватило пяти минут, чтобы рассказать о себе: работал на сплаве леса для бумажной фабрики, приехал в Богодаровку навестить замужнюю сестру, тут его война и захватила.

Он вытряхнул свой пиджачок, повесил его и после этого всё время пропадал на площадке вагона, с непостижимой быстротой завязывая знакомства и громко перекликаясь с кондукторами, смазчиками, со всеми, кто попадался ему на глаза.

Степан забрался на верхнюю полку и почти всю дорогу спал. Петро с Фёдором устроились за откидным столиком и глядели в окно. Поезд беспрестанно обгоняли замаскированные ветвями эшелоны с красноармейцами, танками, орудиями, тракторами, автомашинами, лошадьми. Конские головы тоскливо глядели из теплушек, едкий запах конюшен доносился из открытых дверей товарных вагонов.

— Я вот гляжу, — сказал Фёдор, — сколько всякого орудия идёт, народу! Да ни в жизнь ему нас не одолеть! Глянь, какие вон штучки везут... Зря не сидели...

Петро быстро повернулся к нему. Его обрадовало, что эти слова произнёс тот самый Фёдор, который так побаивался немцев. «Им же, — говорил он уныло, — вся капитализма, какая есть, подсобляет. Задавят они нас...»

И, стремясь укрепить в своём товарище чувство уверенности, столь необходимое человеку, едущему на фронт, Петро оживлённо заговорил:

— Ты, Фёдор, вот ещё о чём поразмысли... Разве могла бы раньше Россия, скажем, в ту войну с немцами, дать армии столько танкистов, лётчиков? Артиллеристов к таким вон штучкам? Шофёров? Это же инженеры, техники! Сотни тысяч! Понял, как дело повернулось? Не те уж мы, которых бить можно было... Теперь голыми руками нас не возьмёшь. И танками нас не испугаешь, сами научились делать.

На вокзалах и полустанках было многолюдно и оживлённо. На перронах толпились новобранцы с вещами, девушки с букетами полевых цветов. Они приветственно махали руками едущим в сторону фронта.

— Бейте гадов, скорее возвращайтесь!

— В понедельник ждите, — доносился весёлый голос Брусникина. — Приеду свататься. Вон за ту толстоногую... у-ух, красуня!..

Одна из девушек была похожа на Оксану. Петро высунулся из окна и так пристально поглядел на неё, что она смутилась и спряталась за спины подружек.

Петро вспомнил о письме Оксаны, достал его. Ему очень хотелось его прочитать. Но Оксана разрешила сделать это

только на фронте, и Петро, колеблясь, долго и нерешительно вертел конверт в руках. «Нет, раз обещал — до фронта не буду», — решил он и, расстегнув пиджак, спрятал конверт во внутренний карман. Ему было приятно теперь не только от сознания, что у него хранится маленькая память о любимой, но и от того, что он не обманул её доверия...

...Перед Киевом, у Дарницы, поезд задержали в лесу. Со стороны станции слышались взрывы, доносился удушливый запах гари.

В сумерки поезд тронулся. Он двигался медленно, словно ощупью.

Фёдор, привстав, разглядывал покорёженные огнём цистерны и рельсы, скелеты вагонов. Красноармейцы, закопчённые и злые, растягивали тлеющие обломки платформ, засыпали воронки, чинили провода.

— Как же он откупится, подлюга?! — шептал Фёдор. Он вцепился пальцами в раму окна, лицо его было перекошено от ярости. — Это ж его внуки и правнуки своим горбом отстраивать будут...

— Не следует расстраиваться, уважаемый товарищ Фёдор, — произнёс с верхней полки Брусникин. — На войне всегда так бывает.

По его голосу можно было догадаться, что разъярён Брусникин не меньше других. Но, словно боясь утратить усвоенный тон весельчака и балагура, он тут же, без всякой связи с происходившим, громко добавил:

— Баня закрыта по случаю нету дров.

...Днепровский мост и Киев проехали ночью. Над городом стояла глухая тишина. Чёрная, без единого огонька, ночь окутывала здания и улицы. Петро не отходил от окна, пока не промелькнули последние строения пригорода; только тогда он лёг спать.

Разбудил его зычный голос Брусникина. Со ступенек вагона он кричал кому-то:

— А ну, отойди, землячок, в сторонку. Я отсюда погляжу, что за местность.

Петро выглянул в окно. Поезд стоял. Над тополями полуразрушенного полустанка уже высоко поднялось солнце.

Петро вышел на перрон, нацедил около водонапорной башни холодной воды в котелок, умылся.

Сразу же за полустанком начинались озимые посевы. Так хорошо было в этот ранний утренний час в степи, что

Петру не захотелось возвращаться в душный вагон. Он спустился с насыпи и присел на траве.

Чуть слышно шелестели согретые солнцем колосья пшеницы. На гребне откоса, вперемежку с шалфеем, алели цветы мака-самосейки, белела ромашка. Беззаботно кружились над пёстрым разнотравьем мохнатые шмели. Лишь две огромные воронки на пологом склоне откоса напоминали о том, что близко война. Комья горелого суглинка, вывороченные страшным ударом бомбы, обрушились на траву, пригнули и изломали пшеницу. В памяти Петра промелькнули багровые клубы дыма над Дарницей, покорёженное железо, чадящая пшеница в разбитых вагонах. Ему вдруг нестерпимо долгим показался путь до фронта. Уже третьи сутки он был в дороге, и неведомо, сколько ещё понадобится томиться вот так, на положении пассажиров, когда всё существо его требовало действий.

Степан застал Петра сидящим в глубокой задумчивости.

— Снидать иди, — позвал он. — Хотя... давай тут... Поезд не скоро тронется.

— Скорей бы драться! — сказал Петро.

Степан принёс в котелках горячего супу, Фёдор достал из мешка домашние харчи.

— Наши давно, наверно, в степи, — сказал Степан, нарезая на бумажку ломтиками розовое сало.

Он обвёл глазами пожелтевшую пшеницу, вздохнул:

— Трактористам запарка будет с косовицей. Считай, что никого почти не осталось.

— Покрутится Олекса в этом году...

К полустанку, гудя, подошёл длинный состав. Он был так велик, что хвост его остался за рощицей. Из вагонов на перрон высыпали женщины, ребятишки.

— Беженцы, — сказал Петро и отложил ложку.

Спустя несколько минут к ним нерешительно приблизился парнишка с осунувшимся бледным лицом.

— Чисто ваш Сашко́, — сказал Фёдор Петру. — Только худее.

— Дядя, у вас не осталось супчику? — спросил парнишка.

— А где же твоя посуда? — откликнулся Петро.

— У меня нету посуды.

— Накормим, сынок, — быстро сказал Фёдор. — Ты сам откуда?

— Из Каменец-Подольска.

— Тебя как зовут?

— Стёпой.

— Неужели из Каменец-Подольска бегут? — переспросил Петро.

— Бегут, — сказал Стёпа. — Он же всё жгёт, детишек убивает...

— Ну, садись, Степан, — усадил его Петро. — Этот дядька — тёзка твой. Тоже Стёпа. Бери вон сало, яички. Ты один или с матерью?

— Один... маму и сестричку убили. Засыпало кирпичом. Они в подвале сидели.

Стёпа жалобно всхлипнул.

— Ешь, ешь, Степан, — ласково сказал Петро. — Ты с кем едешь?

— Один.

Петро незаметно разглядывал его худенькое личико, мягкий хохолок надо лбом.

— Вот что, Степан, — произнёс он, и лицо его вдруг посветлело. — Ты подзаправляйся покрепче. Мы тебе харчишек ещё и на дорогу дадим. А потом поедешь ко мне в село, к моей жене; будете с ней хозяйничать, пока я вернусь. Договорились? Она у меня хорошая, добрая.

— Поеду, — не колеблясь, согласился Степан.

— Там ещё один такой орёл есть, как ты. Сашкòм зовут. Вместе на Днепр ходить будете. Дорогу ты найдёшь сам? Чистая Криница, запомни. Доедешь поездом до Богодаровки, а там всякий подскажет.

— Найду, — солидно ответил Стёпа. — Я географию уже проходил...

Петро, по-детски радуясь пришедшей ему в голову мысли, сел писать письмо Оксане и родителям. Фёдор со Степаном собрали в мешочек еды для мальчика. Потом все вместе проводили Стёпу до вагона.

К вечеру следующего дня поезд, пройдя от Киева двести километров, приближался к Виннице. Километров в восемнадцати, перед небольшим, забитым эшелонами разъездом, остановились далеко за семафором.

Петро вышел размять ноги.

— Пойдём со мной, раненых поглядим, — позвал Брусникин.

— Где?

— Там, впереди, санитарная летучка стоит.

— Что на чужую беду глядеть, — сказал Петро. — Им и без нас тошно.

— Пойдём. Может, земляки есть. Обрадуются.

Петро отказался. Закурив, он вернулся назад. У железнодорожной будки стояла чернобровая молодица с грудным ребёнком на руках.

— Не найдётся попить, хозяюшка? — спросил Петро, останавливаясь.

— Сейчас вынесу, — проговорила приятным низким голосом молодица и проворно побежала к будке.

Вернулась она с большой кружкой прозрачной родниковой воды.

— Пейте здорови, — пожелала она, покачивая ребёнка и легонько похлопывая его рукой.

Красивые миндалевидные глаза её под низко опущенной на брови кружевной повязкой смотрели с приветливым участием. Петро жадно выпил холодную воду, поблагодарил.

— Хорошие места здесь у вас, — сказал он. — И вода чудесная.

Молодица слушала его рассеянно и всё время тревожно поглядывала на небо.

— Так летают, стервы, так летают, — пожаловалась она плачущим голосом, — повирыте, дытыну боюсь з рук выпустыть.

— Они с таким расчётом и летают, — сказал Петро. — Хотят людей напугать, чтобы руки у всех опускались.

— Вчера вон около того кусточка, — показала молодица, — смазчика бомбой разнесло. И шматочков не собрали...

Петро постоял ещё несколько минут и вернулся к своему вагону.

В купе было тесно и накурено. Степан, доотказа растягивая меха, играл «Страдания». В проходе сбились слушатели.

— Про Будённого сыграй, — заказывал из-за стенки басовитый голос.

Оттуда слышались свирепые удары костей по столу — резались в «козла».

— А ну, цытьте! Слухайте!

Фёдор, не оборачиваясь, резко махнул рукой.

— Летят... Ще один... Да низко...

Все кинулись из вагона к выходу. Петро, сложив покинутый на скамейке баян, спустился со ступенек последним. Вражеские самолёты, вытягиваясь в цепочку, разворачивались для бомбёжки. От состава бежали в поле люди.

— Сюда! — крикнул из-под вагона Фёдор и, схватив Петра за руку, притянул его к себе.

Под вагоном уже было несколько человек. Они присели, скорчившись, и напряжённо прислушивались к гудению самолётов.

Бомбардировщик с рёвом пронёсся над поездом, и сейчас же воздух качнуло, — три взрыва, один за другим, прогрохотали в стороне.

— Запалил эшелон! — крикнул кто-то. — Гляньте, как пламя схватывается.

— По санитарному достал.

Петро выглянул. Впереди, над тесно сдвинутыми составами, хлестало синеватое пламя.

Больно ударившись головой о балку, Петро выскочил на обочину насыпи.

— Куда! Летают же... — донёсся до его слуха чей-то голос.

Но испуганный, трусливый крик только подстегнул его. Держась рукой за ушибленное место, Петро побежал к горящим составам.

Ещё издали он увидел, что горящая жидкость из разворочённой цистерны перебросилась на соседние вагоны, и два из них, с красными санитарными крестами, уже были схвачены огнём.

Бомбардировщики продолжали кружить над разъездом. Где-то в стороне беспорядочно били зенитные пулемёты.

Петро проворно вскочил в ближний вагон и столкнулся в тамбуре с девушкой в белом халате. Девушка помогала раненому с забинтованной головой выбраться из вагона.

— Там лежачие! — крикнула она Петру, махнув рукой в сторону коридора. — Тяжело раненые... Помогите.

Петро не успел ещё сообразить, что надо делать, как она вернулась и потащила его за собой в конец вагона. В открытом купе лежало трое раненых.

Сестра освободила прикреплённые к стене носилки, кивком головы приказала Петру взять их. Три пары широко раскрытых глаз молча следили за их торопливыми движениями.

Петро понёс, неловко раскачиваясь и оступаясь. Раненый глухо застонал.

— Сейчас, сейчас, голубчик, — проговорила сестра. — Потерпи минуточку...

— Они ещё летают? — спросил раненый, вслушиваясь в гул моторов.

У выхода из вагона Петро увидел Брусникина, ещё какого-то красноармейца.

— Принимайте! — крикнул Петро.

Он не помнил, сколько времени пробыл в горящем вагоне, наполненном стонами, нетерпеливыми мольбами изувеченных, беспомощных людей. Как в тумане, перед ним мелькали багровые от жары лица сестры, Фёдора, Брусникина.

Он хотел было помочь нести под деревья грузного, всхлипывающего от боли бойца, — но не успел. Нарастающий вой бомбы прижал всех к земле. Петра швырнуло в сторону, больно ударило по ноге. Над головами людей свистнули осколки, зашумели падающие ветки деревьев, щебень.

Петра оглушило, и он, как сквозь вату, услышал дикий, нечеловеческий вопль. В нескольких шагах корчился, царапая землю пальцами, боец, которого он собирался нести. Осколком бомбы ему оторвало ногу выше колена.

VIII

К ночи поезд с мобилизованными прибыл на станцию Винница. Молоденький лейтенант по фамилии Людников переговорил с сопровождающим командиром, построил новобранцев и сделал перекличку.

До военного городка шли строем. Слева неясно темнели то сады, то городские постройки.

Остаток ночи ушёл на получение немудрёного солдатского имущества: обмундирования, котелков, плащ-палаток.

Фёдор, угостив лейтенанта табачком, разговорился с ним и выведал, что новобранцев приказано отправить в запасный полк, километров за десять от города. Там они и будут обучаться.

Переодевались в прохладном, гулком помещении казармы. Петро сидел рядом со Степаном, неуверенными движениями заматывая на ноге обмотку. Управившись, он притопнул неуклюжим башмаком по цементному полу и засмеялся:

— Чем не бравый солдат?

Вокруг него были такие же, как он, ещё не нюхавшие пороха люди. С любопытством наблюдал Петро, как изме-

нялись на его глазах вчерашние хлеборобы, слесари, трактористы, учителя. Мятые гимнастёрки и шаровары сидели на них неуклюже. Но каждый, надев форму, невольно подражал в выправке щеголеватому старшине или тщательно подтянутому лейтенанту.

Утром, встретив лейтенанта, Петро спросил:

— Где бы можно было газетку почитать?

Лейтенант строго посмотрел на него:

— Как спрашиваете? Почему не по-уставному? Почему пряжка на боку?

Петро оглядел себя, развёл руками:

— За два часа ещё не отшлифовался. Подтянусь.

— На читку газет будет дана команда.

— А без команды никак нельзя?

— Вон там, за столовой — читальня.

Лейтенант обиженно отвернул детски пухлое, ещё безусое лицо. Его искренне огорчали люди, не имеющие воинской выправки.

Петро наискось пересёк двор, разыскал читальню. Он открыл дверь и едва не вскрикнул от удивления, увидев там своего друга Курбасова.

— Мишка! — крикнул Петро.

Курбасов удивлённо поднял глаза.

— Петька, чорт!

— Ну, и встреча!

Михаил, бросив недочитанный журнал, увлёк Петра во двор.

— Ты в запасный? Это же здорово! Вместе будем. Здорово, а?

Они присели на штабелях дров, оживлённо разговаривая.

Михаил находился в военном городке два дня, и его уже начинало угнетать вынужденное безделье. По двору бродили новобранцы; в город их не отпускали.

Заметив лейтенанта, который у ворот распекал за что-то дневального, Михаил сказал:

— Надо будет с ним поговорить. Треба нам с тобой податься к одной бабушке. На вареники с вишнями. Каши ещё успеем наглотаться.

— Что за бабушка такая?

— Бабушка и внучка. А внучке семнадцать волшебных лет... Ты уже женился?

— Да.

— Поспешил... Сам посмотришь... Пойду к лейтенанту пропуск в город добывать. Дело нелёгкое.

Петро видел, как Михаил молодцевато подошёл к лейтенанту. О чём он говорил с Людниковым, Петро не слышал, но вернулся Михаил с пропуском.

Он уверенно повёл Петра глухими задворками, огородами и садами. Густо усеянная зрелой вишней светлозелёная листва щекотала лицо, крупные дымчатые сливы клонили ветви книзу, дразнили своей доступностью.

Петро тяжело вздохнул. Михаил, угадав мысли друга, сказал:

— Сидеть бы тебе сейчас в таком вот плодоягодном раю, заниматься черенками и саженцами, а?

— Теперь уже не скоро придётся...

Они выбрались, наконец, на широкую чистую улицу с беленькими домиками и крашеными заборами. Во дворе одного из них мелькнула и исчезла, быстро взбежав по ступенькам крылечка, статная девушка в яркокрасном сарафане и с толстыми чёрными косами.

— Ба-абушка, Миша пришёл! — донёсся из открытого окошка её испуганный голос.

— Ну, держись! — подмигнул Михаил. — Прямое попадание в сердце обеспечено. Две пробоины в своём я уже насчитал. После двух встреч...

Он открыл калитку и пропустил Петра вперёд. Тщательно расчищенные дорожки, кувшины на перилах крыльца, жёлтые шляпки подсолнухов у свежепобелённых стен летней кухни, цветник перед домом — всё это сияло такими густыми, сочными красками, будто солнце всю свою щедрость, всю животворную силу отдало одному этому уголку.

Но и дальше, за плетнём, увитым хмелем и повиликой, всё было залито ясным, прозрачным светом: фруктовые сады, тополи, красные, зелёные, серебристые крыши домиков.

— Ну, как, Михаил, моя Украина! Ты всё Клязьму похваливал.

На крыльцо, вытирая передником лоб, вышла приземистая, полная старушка.

— Пришёл, озорник? — довольным тоном сказала она. — Ну, заходите в хату. А это дружок? Пожалуйста. Любка, иди, что спряталась?

Из-за спины её выглянула девушка, лукаво улыбаясь одними глазами, чёрными и блестящими.

— Что, Любаша, прячешься? — крикнул Михаил, поднимаясь на крылечко.

— Я не прячусь.

— А почему убежала?

— Бабушке сказать.

— Посмотри, какого орла привёл.

Бабушка вдруг вспомнила, что на кухне у неё жарится что-то, и поспешно скрылась.

— Она вчера только о вас и говорила, — сказала, смущённо краснея, Любаша. — Пирожки вы забыли. Бабка чуть не плакала. Так досадно нам было.

Любаша проводила друзей в комнату. К её и бабушкиному удовольствию, Михаил распоряжался, как дома: заказал к вареникам холодной сметаны, сам отобрал курицу в борщ. Предложение Любаши нагреть воды и помыть голову оба одобрили без колебания.

Управившись по хозяйству, бабушка надела чистое платье, повязалась накрахмаленным платочком.

— Когда фашиста прогоним, отдадите за меня Любашу, Анна Афанасьевна? — спросил её Михаил.

— Скорей гоните вы его, басурмана.

— Тогда отдадите? — не отставал Михаил.

Петру по душе пришлась жизнерадостная, общительная старуха.

— А что, Анна Афанасьевна, если сюда придут враги? — спросил он. — Останетесь или уедете?

— Не придут они сюда, — пренебрежительно ответила она. — Ни в жизнь он не переборет. Наш тоже воюет, ещё с финской, Серёженька...

Перед вечером она вместе с Любашей вышла за ворота проводить гостей.

— Вы ж, сыночки, не забывайте нас, — дрогнувшим голосом сказала она. — Если что не так, извиняйте...

Любаша провожала их почти до самого военного городка. Обратно она побежала, не оглядываясь и не обращая внимания на то, что косы её расплелись и рассыпались по спине.

Перед тем как войти в ворота, Михаил сказал:

— Знаешь, Петро, как тяжело на душе. Неужели таким вот придётся под вражеским сапогом жить?

— Старуха никогда не покорится.

— Конечно! А Любаша... Она ведь совсем молодая, жизни не видела...

Петро промолчал. Вспомнились ему мать с отцом, Оксана. Не скоро он их увидит, не скоро обнимет.

Возле казармы его ожидал расстроенный, взволнованный Фёдор.

— Куда ты запропастился на весь божий день? — накинулся он на Петра. — Мы уже вещички на машины положили. Через час выезжать.

— Куда?

— Да в лес. Нас с тобой в одну роту определили. А Степан уже уехал. Поклон тебе низкий передавал. Его в танкисты забрали.

— Ну и добре, — оживившись, ответил Петро. — Скорей на передовую попадём.

IX

Петра зачислили в пулемётное отделение. Спустя день туда же назначили и Михаила Курбасова.

Друзьям помог остаться вместе не кто иной, как беспокойный лейтенант Людников. Ему поручили командовать ротой, укомплектованной новым пополнением. Вскоре после прибытия полка в лес он увидел Петра и Михаила, с жаром споривших у разобранного «максима».

— Знакомая штука? — коротко спросил он, показав рукой на пулемёт.

— В академии стрелял, — ответил Петро, поднимаясь с земли и отряхиваясь. — Не мазал.

— Подтверждаю, — сказал Михаил. — Петро Остапович здорово пулемёт знает, — добавил он, изобразив на лице почтительность.

Лейтенант мельком посмотрел на них и перевёл взгляд на пулемёт.

— Проверим... Стреляете автоматически. После скольких выстрелов будете менять в кожухе охлаждающую жидкость?

Петро наморщил лоб, подумал:

— После тысячи.

— После тысячи? — вмешался Михаил. — По уставу после двух тысяч. И то вода не закипит.

Людников печально покачал головой. Привычным движением он вставил замок пулемёта на место и сказал со вздохом:

— Доверь вам сейчас оружие. Не тыщу и не две, а всего-навсего пятьсот. И по уставу, и практически. Вижу, оба здорово знаете...

— Подучимся, будем знать, — не смущаясь, сказал Петро. — Очень хочется стать пулемётчиком.

— Вы, видать, люди образованные, — задумчиво сказал Людников. — Сумеете...

— Высшее образование, — скромно сообщил Михаил.— Сумеем.

— Я и говорю: сумеете писарями служить. При штабе спокойнее.

Петро не понял, смеётся над ними лейтенант или говорит серьёзно.

— Таких, как мы, миллионы идут в армию, — сказал он, вспыхнув. — Так что же, всех в писаря? Нет, это не пройдёт.

— У него брат подполковник, — сказал Михаил ни к селу ни к городу, кивнув на Петра.

— Это ни при чём, — ответил Людников, вытирая о траву пальцы, испачканные смазкой.

Однако на Петра смотрел он теперь более благосклонно и, подумав немного, вслух решил:

— Ладно, доложу командиру батальона.

Обещание он выполнил. На вечерней поверке было объявлено, что красноармейцы Петр Рубанюк и Михаил Курбасов назначаются в пулемётное отделение.

В полку день и ночь шла напряжённая учёба. Километрах в двух от землянок, на истоптанном учебном поле, практиковались в рытье окопов и ходов сообщения, по нескольку раз в день штурмовали опушку соснового леса, учились маскироваться, стрелять, ползать по-пластунски.

Через неделю, глядя на Петра, трудно было подумать, что у него ещё недавно были пышные кудри, нежная, по-юношески свежая кожа на щеках. Он остригся, заострившееся лицо его огрубело, словно солнце и ветры дубили его долгие годы. Михаил, встречаясь с ним, критически оглядывал его выгоревшую гимнастёрку с залубеневшими пятнами пота, красные от пыли и усталости глаза и насмешливо вскрикивал:

— Ну, и вояка!

— А ты?.. На себя посмотри, — беззлобно откликался Петро.

— И я такой же, — охотно соглашался Михаил и весело разглядывал свои покоробленные, непомерно большие ботинки, коленки и локти с густо налипшей окопной землёй.

Они вскоре привыкли и к своему новому виду и к тяжёлому солдатскому труду. Однако настроение у друзей начинало резко ухудшаться. Сообщения по радио становились всё тревожнее: после ожесточённых боёв советские войска оставили Вильно, Брест, Белосток, Ковно.

В помощники Петру дали Брусникина и узбека Мамеда Тахтасимова.

Несмотря на то, что и по жизненному опыту и по характеру парни были разные, сдружились они быстро.

Первое время Брусникин подшучивал над тем, как Мамед, завидев вражеские самолёты, начинал испуганно вертеть головой, норовил соскользнуть в окоп.

— Чего это, Мамед, глаза у тебя квадратные сделались? — спрашивал он добродушно. — Не бойсь, туда, где Брусникин, немцы кидать побоятся. У меня слово такое есть.

Мамед смущённо отмалчивался, старался держаться спокойнее, но боязнь его перед самолётами не проходила.

Однажды за ужином Брусникин, который не выносил молчания, сказал, явно задирая Тахтасимова:

— А хорошо бы, Мамед, сесть в поезд и — домой? Там ни самолётов, ни окопов... Верно?..

Тахтасимов вспыхнул:

— Стыдно так говорить! Надо защищать родину, воевать надо, а ты что говоришь? К матери на печку захотелось?

Он скосил на Петра блестящие глаза, ища одобрения, и, встретив весёлый, смеющийся взгляд Рубанюка, тоже засмеялся. К Петру он питал очень большое уважение и невольно подражал ему во всём, даже в мелочах.

Это уважение начало проявляться у Мамеда с того дня, как ему стало известно, что Петро закончил Московскую сельскохозяйственную академию. До войны Тахтасимов работал в одном из украинских совхозов на поливном огороде, и заветной мечтой его было стать агрономом.

И Тахтасимов и Брусникин охотно признавали за Петром первенство не только потому, что он был образованнее их. Как бы ни уставал Петро после тяжёлого учебного дня, он в короткие минуты досуга шёл к артиллеристам или миномётчикам, наведывался к связистам. Его ин-

тересовало всё: как заряжать и стрелять из орудия и миномёта, как действует проволочная связь и радиоустановки.

— Ты какой-то ненасытный, — удивлялся Брусникин.

Тахтасимов неизменно вступался за Петра и с жаром нападал на Брусникина.

— А ты что? — гневно кричал он. — Патронную коробку знаешь, и больше ничего тебе не надо? Петя в бою будет, как профессор.

Впрочем, споры были редкими. Все трое привыкли друг к другу и жили дружно.

Однажды лейтенант Людников наведался вечером к ним в землянку. Перед уходом он сказал:

— Живёте по-товарищески, уважительно. Без этого на фронте никак нельзя. Особенно пулемётчикам и разведчикам.

— Почему на фронт нас не посылают? — спросил Петро. — Так и будем всё время в фанерных фашистов пулять?

— Пошлют, — сказал Людников, сделав неопределённый жест рукой. — Ещё навоюетесь... фронт близко...

Лейтенант словно напророчил. В ту же ночь Петра разбудил Тахтасимов.

— Встань, послушай, Петя, — произнёс он дрожащим голосом.

Приглушённые звуки орудийных выстрелов, близкие разрывы сразу согнали с Петра сон. Он вскочил.

— Буди Митрофана! — распорядился он. — Это не учебные стрельбы.

Через несколько минут полк подняли по тревоге. Из землянок выскакивали красноармейцы.

Невдалеке полыхнули багровые зарницы, гулко разорвались, одна за другой, три фугаски. В расположении второго батальона зычный голос кричал: «В ружьё-о-о!»

Полк быстро погрузили на автомашины и ещё до восхода солнца перебросили за двадцать километров — к большому селу около шоссейной дороги.

X

Роте Людникова приказали занять оборону в полукилометре от небольшого хутора.

Петро расположился на высотке с каменистым грунтом, поросшей кустами терновника. Предстояло отрыть пулемёт-

ный окоп и ходы сообщения, подготовить запасные позиции.

Всё выглядело будничным, как на учении. Впереди и слева окапывались стрелки, в рост ходили командиры, связисты разматывали свои катушки, копошились вдали сапёры.

Близость фронта угадывалась по глухой артиллерийской канонаде, которая доносилась с запада.

Каждый раз, когда звуки боя усиливались, Петро напряжённо вглядывался в сторону белеющего за садами далёкого села, руки его, исцарапанные, с водянистыми мозолями на ладонях, начинали действовать энергичнее, быстрее. «Сколько вот так русский человек земли в разные века выгреб, защищаясь от чужеземцев! — думал он, поплёвывая на ладони. — Сколько каналов, дорог можно было нарыть, фруктовых садов насажать...»

Вскоре окоп был готов. Его старательно замаскировали ветвями, дёрном. Оставив у пулемёта Брусникина, Петро с Мамедом пошли рыть запасный окоп.

— Посмотри, Петя, — встревоженно сказал Мамед. — Как горит!..

Петро обернулся. Чёрные клубы дыма медленно поднимались над селом, расползались по небу. Потом в нескольких местах блеснул огонь. Пока они орудовали лопатками, пожар разбушевался. Сквозь серую мглу дыма солнце просвечивало зловещим багровым диском. Огненные смерчи вздымались вверх, словно хотели оторваться от строений.

Когда Петро и Мамед вернулись к пулемёту, Брусникин сидел в окопчике растерянный, вцепившись в ручки «максима».

— Идут, — сиплым от волнения голосом проговорил он.

— Чего паникуешь? — сердито прикрикнул на него Петро.

— Сам глянь. Вишь, пылюга поднимается...

Мутные облака пыли переваливались через гребень и ползли, пластаясь по степи.

— Это скот гонят, — сказал Мамед, отличавшийся очень хорошим зрением.

Петро покосился на растерянного, бледного Брусникина и насмешливо спросил:

— Глаза квадратные, оказывается, и у тебя сделались?

Он взял ручные гранаты, аккуратно разложил их в нише окопа.

Через несколько минут уже легко можно было разглядеть гурты скота, бредущие по жнивью, прямо на огневые позиции батальона.

Орудийная канонада приблизилась. Над горизонтом появился грязный ватный комочек, потом правее и чуть выше — ещё один. Разрывы снарядов, сносимые ветром, медленно таяли, исчезали, но всё гуще появлялись новые.

— Бросают люди село, — сказал Брусникин. — Видите, вон с узелками бегут...

Он уже подавил в себе чувство растерянности, но с лица его не сходило выражение озабоченности и настороженности.

В воздухе стояла густая мгла от дыма и пыли. Разноголосо, тревожно мычали быки, телята, коровы.

Перед траншеями стрелков скот, подгоняемый бичами, свернул влево и устремился к шоссейной дороге.

Вдруг частые яркие огоньки блеснули сразу в нескольких местах скрытого за пылью гребня. Донеслись резкие хлопки выстрелов.

— Танки, — догадался Петро.

Невдалеке разорвался снаряд. Петро пригнул голову. Десятки раз он мысленно давал себе слово никогда не кланяться пулям и снарядам. Но этот снаряд, казалось, летел прямо на окоп.

Сзади и справа, из-за рощицы, открыли частый огонь батареи. Совсем рядом, из-за кустов, била одинокая пушка.

Вражеские танки продолжали двигаться. Уже можно было разглядеть серые, неуклюжие, покачивающиеся на ухабах коробки.

Петро приподнялся над бруствером. К гордости своей он ощутил, что ни противной слабости в ногах, ни тошноты, которые он испытывал в дороге во время первых бомбёжек, уже не было. «Обстрелялся», — мысленно решил он, и ему даже захотелось выказать перед товарищами своё спокойствие. Страх, присущий каждому человеку, пришёл спустя несколько минут, но сейчас Петро казался себе храбрым парнем, рядом с которым никому не должно быть страшно.

Он оглянулся. Рябоватое лицо Брусникина было перекошено от напряжения. Мамед стоял рядом с ним и быстро водил глазами по полю.

— Сейчас и мы дадим им жизни, хлопцы! — крикнул Петро высоким и, как ему показалось, весёлым голосом.

Из-за щитка пулемёта он увидел немецких автоматчиков. Они бежали за танками, прижимая автоматы к животам и непрерывно стреляя.

Петро хорошо усвоил, что должен делать наводчик. По свистку командира отделения надо открыть огонь и отрезать пехоту от танков. Он прикидывал, на каком рубеже его пули начнут класть бегущих в полный рост фашистов. Вон бурый клин земли, вспаханной под майские пары. За ним чащоба оранжевых доцветающих подсолнухов, потом яркозелёная кукуруза, снова пахота. До кромки её около двухсот метров. Сюда он направит огонь из пулемёта.

Два или три танка подорвались на минах и остановились. Несколько других с ходу перевалили через траншеи и, маневрируя, ринулись на огневые позиции батарей. Автоматчики были теперь близко. От бешеной пальбы автоматов, частых разрывов снарядов стоял звон в ушах.

Петро заметил, что несколько бойцов, не переставая стрелять, начали отходить. Одного — Петро видел это очень ясно — подмял под себя тяжёлый танк. В открытом башенном люке этого танка стоял солдат с флажком.

Уверенность начала оставлять Петра. В сознании его с ужасающей быстротой возникла мысль о том, что весь этот раздирающий барабанные перепонки металлический скрежет, грохот клокочет для того, чтобы раздавить, уничтожить его.

«Прорвутся, сволочи...» — обжигала мысль.

Смерть глядела ему прямо в глаза... Ни мать, ни Оксана, ни Василинка не знали об этом! Для них он был просто «на войне».

И вместе с этой мыслью с такой силой пришло желание уцелеть, что Петро невольно оглянулся назад, на лес, который манил своей тишиной и безопасностью. Но сейчас же, преодолевая минутную слабость, до боли в кистях сжал ручку пулемёта.

Свисток донёсся до его слуха в то мгновение, когда он уже сам решил открыть огонь. Он приник к прицелу, подвёл мушку под ноги скученно бежавших гитлеровцев. Давая выход скопившейся ярости, Петро с силой нажал спусковой рычаг. Пулемёт затрясся всем своим металлическим телом и внезапно умолк.

Огонь с фланга оказался для вражеских солдат неожиданным. Двое упало, остальные после секундного замешательства побежали вперёд ещё быстрее.

— Бей, Петя! — крикнул Мамед, лихорадочно придвигая к пулемёту коробку с патронами.

Петро изо всех сил жал спусковой рычаг, но пулемёт молчал. Сердце Петра заколотилось так, что стало больно вискам. Пулемёт отказал в самый ответственный момент.

— Стреляй! Чего перестал? — хрипло закричал Брусникин.

Петро покачал рукоятку, попытался продёрнуть ленту. Это не удалось. Сжав зубы, он принялся копаться в коробке: откинул замок, осмотрел его. Всё было исправно. Петро торопливо вставил замок на место, захлопнул крышку. Пулемёт, дав несколько встрелов, снова умолк.

У Петра похолодели щёки. Возиться с пулемётом больше не было времени. Он схватил винтовку и присоединился к беспорядочно стрелявшим Брусникину и Мамеду.

Впереди вдруг ярко, как костёр из сухого сосняка, запылал один танк, и тотчас же метрах в двухстах за ним с грохотом взорвался другой.

Но автоматчики продолжали наседать. Петро заметил, что несколько солдат, прячась в складках местности и воронках, окружали его пулемётный расчёт. Долговязый, с короткими усиками, верзила подобрался было совсем близко. Он залёг за холмиком взрытой снарядом земли и неотрывно следил за пулемётным расчётом. Расстояние позволяло ему швырнуть гранату, но он не делал этого, видимо, считая уже пулемётчиков пленными.

Петро нащупал гранаты, сложенные в нише окопа. Позже он никак не мог объяснить себе, почему он сам не метнул гранату. Его как бы сковал взгляд долговязого верзилы, подобравшегося так близко.

Правее, где расположился Михаил Курбасов, пулемёт стрелял попрежнему. Фашисты, обходя его, накапливались перед высоткой, откуда вёлся слабый ружейный огонь.

«Подвёл. Всех подвёл: и товарищей, и Людникова, — злясь на себя, думал Петро. — Они прорвутся здесь... в тыл батальона... Слова хорошие говорил, хвастал... А сейчас, в нужную минуту, зашился».

Разгорячённый мозг подсказал пугающую и в то же время окрылившую мысль. Он искупит свою вину перед товарищами героическим подвигом. Воображению Петра ярко представилось, как он выскочит из щели и кинется врукопашную на автоматчиков.

Он почти физически ощутил, как вонзается штык его

винтовки в грудь притаившегося за бугорком верзилы. Петро скрипнул зубами и схватился рукой за бруствер, намереваясь выпрыгнуть.

Но в ту же минуту вражеские солдаты поднялись и начали беспорядочно отступать.

— Наши! Танки! — ликующе закричал Мамед.

Петро обернулся. По гребню сползали танки. И почти одновременно из-за леса показались бомбардировщики с красными звёздами на плоскостях.

XI

Грозный, стремительно приближающийся гул машин наполнил всё существо Петра торжествующим, мстительно-злорадным чувством. Он схватил винтовку и одним махом выскочил за бруствер.

Долговязый верзила бежал к своим танкам. Он на мгновение задержался, швырнул в Петра гранату. Когда граната разорвалась далеко в стороне, Петро выстрелил. Солдат споткнулся. Опираясь обвисшими руками о землю, он проковылял ещё три-четыре шага и ткнулся головой в смятую гусеницами неубранную озимь.

Петро побежал вперёд. Только сейчас он подумал о том, что бежит один среди рвущихся мин и снарядов. Но он был так твёрдо уверен, что его не убьют, что бежал не пригибаясь, с мальчишеским азартом что-то выкрикивая.

Его швырнула на землю воздушная волна взрыва. Мина упала шагах в пятнадцати. Петро почувствовал, что по его подбородку словно хлестнуло раскалённым прутом. Он выронил винтовку и схватился рукой за лицо. На пальцах осталась кровь. Тоненькая яркая струйка поползла по гимнастёрке.

Не отнимая руки от раны, он добрался до ближайшей стрелковой ячейки. На дне её лежал убитый красноармеец. С трудом можно было узнать в нём гармониста второй роты. Петро присел на корточки и нащупал у себя в кармане индивидуальный пакет.

Впереди разгорался танковый бой. Нарастая, покатились крики «ура», переливчатым эхом откликнулось многоголосое «а-а-а-а», и пехота пошла в контратаку.

Сидеть в окопе Петро не мог. Он поспешно сунул в карман надорванный бинт и, проверив патроны в винтовке, хотел выбраться наружу.

Сверху посыпались комки земли, показалась голова Мамеда.

— Петя, живой? — крикнул он и скатился к Петру. — Смотри, щека пухнет. Давай буду вести в медсанбат.

— Потом, — отмахнулся Петро. — Перевяжи!

— Я видел, ты упал, — говорил Мамед. — Думал, конец... убили. Потом, гляжу... полез. Прогнали фашистов, а?

Он был возбуждён и радостен, как все люди, которые только что одержали победу.

Грохот боя откатывался к западу. На поле догорали танки. Бойцы несли раненых, старшина провёл двух пленных танкистов.

Петро с Тахтасимовым вернулись к пулемёту. Не торопясь, они разобрали его, и тогда выяснилось, что причиной осечек были слишком густая смазка и пыль, которая набилась в замок.

— Давай, Митрофан, почистим, — сказал Мамед. — Петя пускай отдыхать будет.

Петро отвёл его руку, глухо сказал:

— Сам сделаю.

Он был твёрдо убежден, что теперь товарищи уже не доверяют его знаниям, осуждают его и если разговаривают с ним, как прежде, так только потому, что он ранен.

Избегая встречаться с ними глазами, он тщательно вычистил пулемёт, смазал, дал для проверки очередь. Пулемёт работал безотказно.

— Стреляете? — произнёс над окопом насмешливый голос Людникова. — Почему же в бою не стреляли?

— Наводчик Рубанюк ранен, товарищ лейтенант, — поспешно доложил Тахтасимов. — Он врукопашную с фашистами дрался.

Петро с усилием поднялся и вытянулся по-уставному. Рану его под бинтом нестерпимо жгло, кружилась голова, но он и вида не показал, что ему плохо.

— Красноармеец Рубанюк ранен по собственной неосторожности, — раздельно доложил он. — Пулемёт молчал потому, что он не был проверен наводчиком перед атакой противника.

Людников долго и пытливо смотрел ему в глаза. Он не мог взыскивать строго с этих неопытных, растерявшихся в первом бою людей. Но вот-вот повторится атака, и, удручённый своей неудачей, к тому же раненый, наводчик будет плохим солдатом.

— Пулемёт передать помощнику, — сухо приказал он.— Отправляйтесь на медпункт.

У Петра затряслись губы. Больше всего он опасался, чтобы дело не приняло такой оборот.

— Разрешите остаться здесь, товарищ командир роты, — негромко произнёс он.

— Как это «остаться»? — раскричался Людников. — Посмотрите на свою физиономию. Что у нас тут... госпиталь? Марш на медпункт!

— Разрешите вернуться после перевязки, — настойчиво повторил Петро.

Он поднял глаза на лейтенанта, и тот понял: Рубанюк всё равно вернётся, несмотря ни на какие запреты. Людников на финском фронте поступил точно так же, когда его не выпускали из госпиталя.

— Дойдёте сами? — смягчаясь, спросил он.

— Дойду.

— Ну, смотрите, как там разрешат. Если ранение несерьёзное, можете вернуться...

Словно стыдясь своей уступчивости, он вдруг снова обрушился на Петра.

— Вы что это, кино решили показывать своим помощникам? — сварливо спросил он.

— Какое кино?

— Почему покинули пулемёт и побежали? Танки идут, команда не подана, а вы... Геройство нечего показывать. Это не геройство. Мальчишество. Вот и всё.

— Не выдержал, — стал оправдываться Петро.

— Ладно. «Не выдержал»....

Просёлочная дорога была размолота сотнями колёс и гусениц. Жирная пыль толстым покровом укрыла свернувшиеся под полуденным солнцем чёрные листья подсолнухов, хлеба, придорожное разнотравье.

Солнце пекло, и Петру тяжело было итти. Бинт, наложенный неумелыми руками, присох к ране и при каждом движении причинял острую боль.

Шагах в трёхстах от ротных тылов Петра догнал Михаил Курбасов.

— Раненый, раненый, а не угонишься, — сказал он, запыхавшись. — Я кричал, свистел, никакого внимания.

— Оглох немного.

Михаил сочувственно оглядел его.

— Куда тебе угодило?

— В подбородок.

— Очень больно?

— Сейчас ноет, а сначала было терпимо.

— У нас ездового убило. Осколком прямо в живот... Ты сейчас в госпиталь?

— Нет, на медпункт.

— Вернёшься?

— А как же!

Михаил несколько шагов прошёл молча. Его расчёт расстрелял около десятка вражеских автоматчиков, ему очень хотелось сказать об этом, но он сдержался.

— Ну, возвращайся, мы ещё дадим гансам жару, — сказал он, отставая. — Не задерживайся.

Отойдя немного, Петро оглянулся. Там, за пригорком, остался полк, близкие ребята, Людников. Возможно, через несколько минут они опять примут бой. При мысли, что его не будет с ними, Петру стало тоскливо. Теперь для него это был не просто полк, который насчитывал столько-то рот, штыков, пушек, пулемётов, походных кухонь. Полк стал ему родным домом, второй семьёй, и первый бой сблизил его с ним, как этого не могли бы сделать годы.

«Но как оскандалился! — с горечью раздумывал Петро. — И на чём! Смазку забыл проверить». Петру было невыносимо стыдно при мысли, что он хоть в ничтожной степени ослабил общие усилия. «Надо скорее вернуться», — подумал он и прибавил шагу.

Петро обгоняли двуколки с тяжело ранеными. Колхозные подводы везли навстречу ящики с патронами и снарядами. Гудя, пронеслась машина командира полка.

Во все стороны, насколько обнимал глаз, раскинулись жёлтые, зелёные, чёрные квадраты полей, белые пятнышки хуторских хат. На горизонте, у подошвы двух курганов, Петру померещилась сверкающая лента воды. Она блестела серебром, переливалась, манила к себе. Петро угадал, что это знойное текучее марево, но ещё долго виделись ему залитые вешней водой курганы, колеблющиеся отражения деревьев.

Он подошёл к небольшому мостику, перекинутому через русло высохшей речонки. Навстречу двигались повозки. На трёх задних дребезжали прикрытые дерюжками тёмно-зелёные бутылки. Петро скользнул глазами по лицу усатого пожилого возчика, который ехал последним. Надвинув на лоб мятую, потерявшую первоначальную форму артилле-

рийскую фуражку, ездовой деловито помахивал прутиком над спинами шустрых кобылёнок.

— Чего везёшь, землячок? — окликнул его Петро. — Может, дашь попить?

Усач натянул вожжи, остановился.

— Моего кваску если хлебнёшь, сынок, копыта набок откинешь, — словоохотливо сказал он.

— А что ж в бутылках?

— Горючка. Для танков, — добродушно сказал возчик. — Могарыч германцу.

Он порылся у своих сапог, извлёк флягу с налипшей на неё соломенной шелухой.

— Попей, сынок. Родниковая, — ласково сказал он. — Прямо богородицыны слёзки, а не водичка.

Петро жадно приник пылающими губами к алюминиевому горлышку.

— В голову тебя гвоздануло? Ну, ещё проживёшь этак годков сто...

— Спасибо, папаша, — поблагодарил Петро, через силу оторвав от себя флягу. — Сам откуда?

— А вон за леском моя родина, — показал кнутом возчик. — Будешь в Большой Грушевке, захаживай. Ковальчика Петра спроси.

— Петра? Тёзки, значит.

— Ну, стало быть, тёзки. Прощай пока.

Петро сделал несколько шагов и остановился. Перед глазами у него пошли тёмные круги. Он потерял немало крови, да и сейчас она пропитала бинт и просачивалась наружу.

Он медленно сошёл в сторонку от дороги, присел на копне сена. Потянуло заснуть, но Петро пересилил себя, полез в карман за кисетом.

Запах сена напомнил ему Приднепровье, родную хату, вызвал в памяти Чистую Криницу. Подумав об Оксане, Петро вдруг поспешно ощупал рукой карман. Он до сих пор так и не читал её письма.

Петро положил кисет на колени, достал конверт.

Протёршийся на сгибах листок бумаги был исписан круглым торопливым почерком:

«Любимый мой, родненький Петрусь. Тебе будет тяжело на войне. Не горюй. Знай, что всегда с тобою в беде твоя Оксана. Она любит тебя больше всего на свете, больше, чем себя.

Клянусь ждать тебя с любовью и верностью. Если придёт грусть, вспомни это.

Твоя молодая жёнушка».

Петру почудился запах мяты. Он приблизил письмо к губам. Нет, просто память вызвала к жизни то, что когда-то промелькнуло и запечатлелось. В прохладной, чистой хате, где провели Петро и Оксана последние минуты перед отъездом, так хорошо пахло любистком и мятой.

Петро весь остаток дороги разглядывал затуманенными глазами наивные васильки на уголке письма, косые фиолетовые строчки. Перед тем как войти в село, он огляделся и крепко прижал письмо к запылённой гимнастёрке.

...На медпункте у Петра извлекли из подбородка два небольших осколка и перевязали рану. Через полтора часа он был уже в роте.

А спустя ещё десять минут противник, перегруппировав свои силы, начал новую атаку.

XII

За день полк выдержал ещё два яростных натиска. К вечеру вражеские солдаты, окончательно измотанные, отошли на исходный рубеж и активности больше не проявляли.

Тяжёлые потери были и в роте Людникова: из строя выбыло больше половины личного состава. Людникову в последней атаке задело осколком предплечье. Быстро перебинтовав рану, он продолжал ходить по своим взводам и осипший, но попрежнему настойчивый и требовательный, сводил остатки своих людей в боеспособные подразделения.

В сумерках он наведался к пулемётчикам. Тахтасимов и Брусникин сидели на бруствере, свесив в окопчик ноги, и грызли размоченные в воде сухари.

— Сидите, сидите, — поспешно и приветливо сказал Людников, заметив, что они хотят подняться.

Ему было известно во всех подробностях, как они вели себя в бою. По ним непрерывно бил миномёт. Потом стреляла прямой наводкой вражеская пушка. Расчёт трижды менял огневые позиции. Когда пулемёт всё же был разбит, пулемётчики, сидевшие в это время в укрытии, вместе со всеми пошли в контратаку.

Всё это Людников знал и, как только противника отбросили, прислал связного передать, что действиями расчёта доволен.

Но он также знал, что в напряжённой обстановке строгое следование командира уставу действует на бойцов успокаивающе.

Людников опустился на землю рядом с бойцами и сказал нравоучительно Брусникину:

— В атаке вы слишком мешкаете. Потому вас и царапнуло. Живости нет.

— В другой раз не подкачаю, товарищ лейтенант, — пообещал Брусникин, краснея.

Ему было неловко за свой недавний страх, и он тщетно старался скрыть смущение.

Людников оглянулся.

— А Рубанюк где?

— Спит, товарищ лейтенант. Вон там, под кустиком, — показал Тахтасимов. — Прикажете разбудить?

— Не надо... Смелый он хлопец.

— Очень смелый, товарищ лейтенант.

— Горячий только зря.

Людников посидел ещё немного, наслаждаясь коротким отдыхом, затем ушёл к патронному пункту.

Около полуночи полк отвели во второй эшелон. Сменила его кадровая дивизия, с боями отходившая от Збруча. Дивизия, сдерживая врага, прошла не один десяток километров, была обескровлена, но каждый боец её дрался за четверых.

Рота Людникова расположилась в садах Большой Грушевки, откуда только что выехал дальше в тыл медсанбат.

Петра, который немного поспал, назначили дневалить. В темноте он ощупью нарвал в каску вишен и, прислонившись к дереву, глядел в сторону передовых позиций.

Чёрный полог небоската на западе беспрерывно рвали багровые зарницы орудийных выстрелов. Трепетало марево ракет. Месяц нырял в оранжевое облачко и снова выплывал на чистые просторы тёмносинего неба.

Где-то за мостиком скрипели колёса повозок, из глубины сада доносился негромкий говор. Петро с наслаждением вдыхал домашний запах ржаного хлеба...

Гитлеровцы пошли в наступление на рассвете. Свежие танковые части и мотопехота, поддержанные авиацией, за три часа кровопролитных боёв прорвали оборону и разрезали силы оборонявшихся на несколько изолированных частей, лишив их связи и управления.

Командование всеми подразделениями, которые оказались под угрозой окружения, принял на себя командир дивизии. Он отдал приказание отходить в направлении станции Христиновка, ведя арьергардные бои одним полком.

Просёлочной дорогой, которая шла на северо-восток вдоль леса, можно было, сделав небольшой крюк, выйти к Гайсину.

На эту дорогу и устремились отступающие части и поток беженцев из Большой Грушевки и окрестных хуторов.

В повозках с впряжёнными коровами и молодыми бычками, сверх домашнего скарба — сундуков, цыбарок и узлов — сидели, испуганно тараща глаза, ребятишки, древние старухи. Вдоль узкой дороги, растекаясь по зреющей озими и подминая её копытами, брели отары овец, коровы.

Петро шагал с Брусникиным и Мамедом в хвосте роты. Вскоре к ним присоединился Михаил Курбасов. Свой пулемёт, — один из двух, уцелевших в роте, — он поставил на повозку старшины.

Петро притронулся рукой к плечу Михаила и кивнул на степь. Он давно уже приметил пожилого, одетого в добротный тёмный костюм человека, бредущего в густых хлебах недалеко от дороги. Рослая пшеница была человеку по грудь, но он продолжал шагать, скинув картуз и поминутно отирая рукавом лысую макушку. Время от времени он останавливался, срывал колосья, мял их в руке и снова брёл дальше. Дойдя до вспаханной земли, человек свернул на дорогу.

Он встретился с настороженными взглядами бойцов и, будто очнувшись, быстро проговорил:

— Бачыте, що ворогу оставляем? Это ж участок моей бригады. По сто пудов с гектара думка была взять. И взяли б.

Ему очень хотелось, чтобы оценили труд и достижения его бригады. Видя, что бойцы слушают его сочувственно, он оживился и торопливо рассказывал о том, как хорошо было наладились дела. Возле пшеничного клина он задержался, осторожно сорвал несколько колосьев.

— Вот, — показал он. — Если в хлеборобстве понимаете, товарищи красные бойцы. Сортовая! На семена засеянная.

Бригадир с грустью смотрел на колоски, широко раскрытая ладонь его одеревянела. На лице его, лоснящемся от пота, резко проступили скулы, вырисовались морщины под глазами.

— Эх, товарищи! — сказал он, вздохнув. — Не будет он ею пользоваться!..

Торопливо, как бы боясь передумать, он пошарил в кармане, вытащил спички. Опустившись на корточки, сгрёб оброненные по дороге пучки соломы и поджёг. Горящие пучки он растыкал в нескольких местах и, услышав, как начала потрескивать пшеница, побежал, низко нахлобучив картуз на голову и не оглядываясь.

Впереди клубился подпалённый кем-то участок озимой ржи. Рожь была ещё зеленоватая и загоралась неохотно. От подвод отделились люди, они раздували огонь в тлеющей соломе и с радостно-ожесточёнными лицами совали горящие пучки в хлеба.

В трёх-четырёх шагах от Михаила шла, поскрипывая щегольскими полуботинками, красивая полная молодица с небольшим узелком в руке. Пыль оседала на её новой накрахмаленной косынке, на густых бровях и ресницах. Но даже и сейчас она выглядела аккуратной и опрятной, и, глядя на неё, легко было представить её хату — чистую и прохладную, со свежесмазанным, усеянным травой полом, со сверкающими белизной занавесками на окнах.

Молодица, держа в зубах былинку и покусывая её, молча смотрела на горящую степь.

— Что же это налегке, тётенька? — спросил её Михаил.

Молодица быстро оглянулась, сверкнула на него из-под платка глазами.

— Без вещичек почему, тётенька? — повторил Михаил.

— Не знала, что у меня такой племянничек есть, — насмешливо отозвалась она.

— Чем плохой? — поправляя пилотку, игриво спросил Михаил.

— Герой... Поперёд старых дедов отступает.

Михаил с Петром переглянулись.

— Сердитая, — смущённо сказал Михаил.

— На сердитых воду возят. А на мне не повезёшь.

Молодица строго уставилась на него светлыми глазами.

— Вы что ж одна? Вдовая? — поинтересовался Петро.

— И мой, как вы! Где-нибудь драпака чешет.

— Тоже герой, значит?

Молодица не ответила и, замедлив шаг, отстала. Голубоватая косынка её мелькала некоторое время среди подвод, потом исчезла в облаках пыли.

Далёкий порывистый гул самолёта заставил всех поднять головы.

— Костыль распроклятый летит, — сказал незнакомый боец, с ботинками, привязанными к вещевому мешку.

— Почему костыль? — спросил Мамед. Он впервые видел горбатый «хеншель».

— Лучше б сорок других прилетело, — зло сказал красноармеец. — Отбомбились бы и ушли. Этот так вот прилетит, выключит моторы, и вроде ты голый. А потом покличет бомбардировщика...

Предсказание сбылось. Разведчик покрутился над дорогой и скрылся за лесом, а минут через десять послышался тяжёлый гул.

Петро оглянулся. Резко выделяясь на фоне белых облаков, приближался «юнкерс». На тёмных его плоскостях смутно были видны чёрно-жёлтые кресты. Кренясь, «юнкерс» пошёл прямо на просёлок.

Толпа засуетилась, с подвод посыпались в придорожные канавы детишки и женщины. Всхрапывающие кони понесли вскачь две-три брички по ржи и подсолнухам в сторону от дороги.

Яркими огненными брызгами полыхнуло из самолёта. Над дорогой тонко засвистели пули. Забавляясь, лётчик выстрачивал короткими очередями по мечущимся людям: тр-р... тр-р... трр-трр... тр-тр-тр... тррррр... тр... тр...

Петро, как сквозь туман, видел рухнувшую на обочине дороги лошадь, сумасшедшие от страха глаза женщины, на руках которой побагровел от крика ребёнок. Рядом стреляли Михаил и Мамед Тахтасимов. Глухо затакали ручные и зенитные пулемёты.

Самолёт вдруг пошёл креном, выровнялся и резко начал падать, оставляя за собой хвост грязного дыма. Он ещё раз попытался набрать высоту, задрал нос и тогда уже с лёту врезался метрах в двухстах от дороги в кукурузу.

— Туда, хлопцы! — крикнул Михаил. — Лётчик, наверно, жив.

От дороги к месту падения самолёта, опережая друг друга, устремились бойцы, ребятишки, женщины.

Петро с Михаилом добежали, когда невдалеке от горящего самолёта уже плотно сбилась толпа. Рослый сержант одной рукой держал лётчика за расшитый галунами мун-

дир, в другой у него поблёскивал отобранный у лётчика пистолет.

— Стрелять хотел, — обращаясь к толпе, взволнованно пояснил он и вдруг широко размахнулся и огрел лётчика по затылку.

Белокурая прядь волос лётчика мотнулась, но он сейчас же выпрямился и озлобленно посмотрел на толпу.

— Ты детишек зачем расстреливаешь? — крикнул сержант. — Подлю-юга! Бандит!

Петро, протискиваясь вперёд, услышал, как лётчик, презрительно глядя на сержанта, сказал:

— Никс стрелять... тетишек...

— Никс? — разъярился сержант. — Гитлеровская морда! Что ж ты, конфеты кидал?

В круг людей прорвалась женщина. Петро узнал молодайку с узелком. Она подошла вплотную к лётчику, в упор разглядывая его выхоленное лицо с выпуклыми светлыми глазами.

— Ты ему ещё цыгарочку поднеси, — сердито крикнула она сержанту. — Разговоры завёл...

И прежде чем сержант успел ответить, она рывком потянула фашистского лётчика к себе и сильной рукой швырнула его к толпе.

— Бейте его, бабы! — крикнула она высоким рвущимся голосом.

— Эй, тётка! Самосуд устраиваешь? — крикнул рослый сержант и загородил лётчика. — Он нам живой пригодится. Такой «язык» с неба свалился, а ты...

...В километре от леса поток беженцев и воинских частей повернул обратно. Переполох подняли мчащиеся навстречу на своих повозках обозники какого-то полка. Они сообщили, что дорога на Гайсин отрезана танковым десантом противника.

XIII

Последний раз Петро разговаривал с Людниковым в полдень на выгоне за хутором.

Вражеские бронемашины прорвались со стороны Большой Грушевки, пронеслись окраиной хутора и свернули к вербам, отрезая советским подразделениям выход на дорогу.

Людникову удалось собрать десятка три бойцов из своей и других рот. Он отозвал Петра и торопливо сказал:

— За огородами, вон там, где конопли, два наших пулемёта. Патроны есть. Кройте туда к пулемётчикам. В случае чего, прорвёмся к лесу. А я соберу по хутору бойцов.

Петро крикнул Брусникина и Мамеда, и все вместе они побежали мимо картофельных посадок и конопли.

За стогом сена расположилось несколько бойцов. Петро сразу обратил внимание на то, что оружие их свалено в кучу.

— Вы что, в санаторий приехали? — крикнул он. — Разбери винтовки.

— А ты что за пень вылупился? — огрызнулся высокий боец с грязной, запылённой повязкой на левом глазу. — Ишь, строгий какой!

Петро пристально посмотрел на него, сдвинул брови и тихо, но твёрдо приказал:

— Сейчас же разобрать оружие! Тахтасимов, проверить пулемёты!

— Над нами поставили одного такого начальника, чего орёшь? — неохотно поднимаясь, сказал красноармеец. — Вон, возьми его за рубль двадцать...

Красноармеец кивнул в сторону подсолнухов. Оттуда, шелестя листьями, вынырнул Михаил. В подоле его гимнастёрки лежали крупные желтоватые огурцы, головки лука.

— Сейчас подзаправимся, — широко улыбаясь Петру, сказал он. — Огурчики.

— Не время, Мишка, — недовольно прервал его Петро. — Накроют нас здесь фрицы, будут тогда всем огурчики.

У него сбилась повязка, показалась кровь. Поморщившись, он поправил повязку и сказал:

— Без драки мы отсюда не выберемся. Так и Людников полагает. А у нас оружие вон в каком виде...

Михаил молча раздал огурцы и начал возиться у пулемёта.

В лесу, совсем недалеко, разгоралась ружейная перестрелка, и бойцы зашевелились энергичнее: приготовили гранаты, помогли установить пулемёты.

...Собрав на хуторе бойцов, Людников приказал им накапливаться на окраине и присел на завалинке, чтобы перевязать руку.

Близкое гудение моторов заставило его вскочить. Из-за угловой хаты вынесся танк. Тотчас же в башенном люке показалась голова танкиста. Сняв наушники, он огляделся и заметил Людникова.

— Русс, поди сюда! — поманил он его пальцем.

Людников с лихорадочной поспешностью схватился за пистолет.

Выстрелить он не успел. В конце улицы показались мотоциклисты. Машины приближались с бешеной скоростью, и Людников, перемахнув через низенький плетень, побежал огородами, прячась в подсолнухах и за кустами бузины.

Когда бойцы, находившиеся возле пулемёта, заметили немецкий танк, красноармеец с повязкой, блестя одним глазом, сдавленно сказал:

— Ну, труба нам, ребята. Давайте сматываться, покудова они нас не обнаружили.

Но из головы Петра не выходило, что в хуторе остался с бойцами Людников. Петро подумал о том, что Людников ни за что не оставил бы товарищей и поддержал бы их всем, чем мог.

— Отползайте в лес, — негромко приказал он красноармейцам. — Мы придержим гадов.

— Да скорее уходите, — добавил Михаил. — Винтовки не забудьте.

Он довольно спокойно выкатил пулемёт на тропинку и залёг.

Бойцы начали отползать гуськом меж грядками, волоча за собой оружие и патронные коробки. Мамед и Брусникин остались около второго пулемёта.

В эту минуту показались мотоциклисты. Они с треском неслись по хутору.

— Чесанём их — и ходу! — почему-то шопотом сказал Михаил.

За выгоном захлопали сперва редкие, затем участившиеся выстрелы. Осторожно высунув голову, Петро в створе двух сараев увидел бегущих к садам бойцов. Они пригибались, стреляли, снова бежали.

— А ну, жми, Мишка, — сказал Петро.

Михаил дал длинную очередь. Рядом короткими очередями бил Мамед.

— Есть два! — возбуждённо крикнул Брусникин.

Вражеские солдаты рассыпались и залегли под плетнями. Несколько автоматных очередей сухо защёлкали у крайней хаты. Чиркнув по головке подсолнуха, низко дзенькнула пуля.

Минуты через две фашисты осмелели. Прячась за деревьями в кукурузной поросли, спешенные мотоциклисты стали просачиваться на огороды.

— Давайте уходить, — сказал Петро. — Живее!

Прихватив с собой замки от пулемётов, они ползком выбрались к стогам сена и, скрываясь за ними, побежали в лес. Вдогонку им свистели пули, и, когда они уже достигли опушки, Брусникин вдруг завопил не своим голосом. Ему раздробило пулей бедро.

— Потом перевяжем, — склоняясь над ним, сказал Петро. — Итти не сможешь? Добьют...

Брусникин стих, но потом застонал ещё громче. Кровь хлестала безостановочно, и Петро с Мамедом, сложив руки скамеечкой, понесли его.

Отойдя немного, они бережно положили Брусникина на мшистую землю. Петро осторожно отодрал от его дрожащего тела мокрую, быстро черневшую сорочку.

— Разрывная, — тихо сказал Михаил.

— Да, не повезло. Ни иоду, ни бинтов.

— Там... в сумке... полотенце есть, — бессильно произнёс Брусникин.

Его перевязали чистым полотенцем и понесли дальше. Шли молча, углубляясь в лес, и никто из четверых не знал, кому будет суждено из него выбраться.

XIV

После всего, что было пережито за последние сутки Петром и его товарищами, лесная тишина казалась им странной и подозрительной. Они настороженно оглядывались по сторонам, разговаривали мало и негромко. Брусникина несли поочерёдно, смастерив носилки из плащ-палатки и двух палок.

Незадолго до сумерек товарищи присели у густого, повитого паутиной орешника.

Михаил поднял кверху горящие ладони, потряс ими, сгоняя кровь, затем вытянул их по швам и сказал, подражая Людникову:

— Комендантом укрепрайона назначаю Рубанюка.

— А сам на какую должность хочешь пристроиться? — спросил Петро без улыбки.

— Начальника продсклада. У кого что в сумках или карманах завалялось, немедленно сдать на хранение. И в первую очередь табачок...

Запасы оказались жалкими: несколько сухарей, две банки мясных консервов, семь кусочков запыленного сахара. Сейчас, когда можно было снять башмаки, раскинуть ноги и прижать воспалённые ступни к прохладной траве, о еде никто и не думал. Но спустя некоторое время голод дал себя чувствовать, — требовательный, сосущий голод крепко поработавших молодых парней.

— Ещё не раз вспомним роту, — мечтательно произнёс Михаил. — Каши сколько хочешь, вечером чаёк, впереди тебя боевое охранение.

— Да-а, тут подтягивай ремни, — откликнулся Петро.

Михаил повертел в руках консервные банки, сунул одну из них обратно в вещевой мешок, а другую, откупорив плоским штыком, поставил перед Брусникиным.

— Получай спецпаёк, — сказал он, стараясь придать своему голосу беспечность и весёлость. — Чтобы всё слопал.

— У нас поговорка старый есть, — сказал, подсаживаясь к Брусникину, Мамед. — У кого борода нет, то каждый из своего борода по один волос даёт, и у него она будет. Кушай, друг...

Он судорожно глотнул слюну и, смутившись, негромко прокашлялся.

— В груди жжёт, — пожаловался Брусникин Петру, когда тот склонился над ним. — Пить хочется... А есть не хочется...

Он видел, что товарищи голодны, ему и самому хотелось есть, и он жалел, что не может сесть вместе со всеми в кружок. Тогда бы банку разделили на четыре равные порции, и он свою ел бы со спокойной совестью.

— Мы сейчас чаю горячего для тебя сообразим, — пообещал Петро. — Мамед, бери котелок, пойдём.

— Где вы воду возьмёте? — усомнился Михаил. — Водопровод в этом зелеограде ещё не работает.

— Всё будет. Пошли, Мамед!

Минут через двадцать они действительно вернулись с полными котелками мутной воды. Развели костёр. Мамед искусно прикрыл его ветками и сидел перед ним на корточках, пока не закипела вода.

— На чайном фронте прорыв ликвидирован,— глубокомысленно отметил Михаил, — а вот с куревом плоховато...

— Дня на два хватит? — встревоженно спросил Мамед, ярый курильщик.

Михаил, прикинув на-глаз содержимое кисета, неуверенно сказал:

— Хватит, если выкуривать три цыгарки в сутки... каждую на всех.

— Не будем же мы в лесу век торчать, — сказал после долгой паузы Петро. — Может, завтра пробьёмся к своим.

Предположения его не сбылись. Весь следующий день они шли, стараясь подвигаться на восток, а в сумерки, к своему ужасу, убедились, что попали на старое место.

Михаил узнал выкинутые им накануне старые, истлевшие стельки из соломы, на примятой траве валялась обёртка махорочной пачки.

— Вот это здорово! — сказал озадаченно Петро. — Так мы блуждать будем, пока к фашистам в лапы не попадём...

Товарищи посоветовались и решили, что Петро с Михаилом на рассвете пойдут в разведку к хутору, а заодно попытаются раздобыть и еды.

Спали в эту ночь плохо. У Брусникина резко повысилась температура. Он дышал тяжело, прерывисто. Остатки продовольствия были съедены ещё утром, голод мучил всех.

Михаил долго ворочался на своём ложе из сосновых веток, потом окликнул:

— Петро, а Петро!

— А?

— Где ежа достать?

— На кой он тебе?

— Говорят, в солдатском брюхе и ёж перепреет.

Друзья рассмеялись. Петру вспомнились студенческие годы. Чаще всего они приходили в общежитие ночью, проголодавшиеся, но весёлые и озорные, долго не давали друг другу уснуть.

— Михайло!

— Ну?

— А курицу мы с тобой тогда у Любаши не доели.

— Я от пирога с гусиной печёнкой отказался. Не лезло!

— Теперь, небось, полезло бы?!

Брусникин заскрежетал во сне зубами, и друзья притихли.

Петро лежал на спине с открытыми глазами и смотрел на яркую звёздную россыпь. Ни канонады, ни гула самолётов не было слышно, и он подумал о том, что линия фронта снова отодвинулась на восток. Горят новые сёла и города, по дорогам бредут новые толпы беженцев.

Петро закрыл лицо руками. Он вспомнил первого убитого им фашиста с горячечно блестящими глазами, ещё двух, заколотых в атаке; остальные, расстрелянные им из пулемёта, все казались одинаковыми...

Сонное перешёптывание деревьев, похожее на мелкий беспрестанный дождик, его усыпило, и он заснул.

Перед зарёй его разбудил треск суховершника под чьими-то ногами. Кто-то пробирался ощупью, время от времени останавливаясь и замирая.

— Мишка, слышишь? — шопотом спросил Петро.

— Может, лошадь? Или волк?

Петро на всякий случай вытащил из-под головы гранату. Еле заметный в темноте человек подошёл совсем близко.

— Кто тут есть? — спросил он, наконец, негромко, но решительно.

— Люди, — откликнулся Михаил. — Ты кто такой?

Пришедший оказался красноармейцем. Как он рассказал, вместе с ним шёл из окружения тяжело раненный лейтенант. В полночь состояние лейтенанта ухудшилось, он начал бредить, просить пить. Красноармеец оставил его и отправился разыскивать воду.

— Как же ты нашёл нас в потёмках? — спросил Петро.

— Мы ещё с вечера слышали: здесь кто-то есть, да лейтенант приказал молчать.

Петро силился разглядеть пришедшего, потом сказал:

— Если не врёшь про лейтенанта, поможем. Тебя как зовут?

— Павел Шумилов.

— А лейтенанта?

— Татаринцев.

— Тяжёл он, говоришь?

— Дюже плох. У него осколком грудь разодрана.

Спустя полчаса лейтенанта перенесли и положили рядом с Брусникиным. Он был без памяти, ругался, на короткий миг затихал и снова начинал метаться.

Мамед помог Шумилову нарвать свежей, мягкой травы. Прохладное ложе несколько успокоило Татаринцева, и он забылся.

— Ему бы доктора, — сказал Шумилов. — Жена у него фельдшерица. Пока мы в окружение не попали, они вместе были.

Петро послал Мамеда за водой к небольшой яме, которую они вдвоём отрыли накануне в болотистой низине, и начал собирать сушняк для костра.

Лейтенант вдруг позвал кого-то глухим, дребезжащим голосом. Петро подошёл и наклонился.

— Кто? — глядя на него раскрытыми глазами, произнёс Татаринцев.

— Что-нибудь нужно, товарищ лейтенант?

Петро спросил участливо и мягко, но Татаринцев испуганно отстранился и застонал от резкого движения. Потом опять произнёс хрипло, не спуская с Петра глаз:

— Кто? Ты кто?

— Я Рубанюк. Красноармеец.

— Брехня!

Татаринцев сказал это беззлобно, с хитроватой улыбкой, которая показывала — он понимает, что это шутка. Веки его медленно опустились, не до конца прикрыв глубоко запавшие глаза.

— Рубанюк, — шепнул он.

— Я.

— Вы не обманывайте... Я подполковника Рубанюка хорошо знаю...

«Да ведь он, наверно, в полку у брата был, — мелькнула у Петра догадка. — Значит, Иван где-то здесь, недалеко, воюет...»

— Командира полка вашего не Иваном Остаповичем звали? — спросил Петро нетерпеливо.

Татаринцев не ответил: он впал в забытье. Петро бесшумно отгонял веткой осу, которая носилась с тонким жужжанием над рукой лейтенанта, и внимательно разглядывал его лицо. Искажённое страданием, с крапинками пота на широких монгольских скулах, оно всё же оставалось привлекательным.

«Не выживет», — подумал Петро, заметив, как полуприкрытые глаза лейтенанта временами тускнели.

Татаринцев вдруг тяжело задышал, заворочался и рванул рукой ворот гимнастёрки. Петро заметил у него под

сорочкой что-то красное. Показалось, что это пропитанная кровью перевязка. Петро хотел было отвернуть ворот сорочки, но Татаринцев резко отвёл его руку и застонал.

— Лежите, лежите, товарищ лейтенант, — поспешил успокоить его Петро. — Вам вредно шевелиться.

Татаринцев поднялся, хотел сесть, но сил у него для этого нехватило. Он упал на спину и громко, по-детски всхлипывая, заплакал.

Петро положил ему руку на лоб. Татаринцев перекатывал голову на сумке, которая заменяла ему подушку.

— Не могу... больше... хочу... итти...

— Лежите, товарищ лейтенант. Утром доставим вас, начнут лечить.

Татаринцев скрипнул челюстями, прикусил верхнюю губу так, что кровь проступила под зубами.

— Не могу лежать, — с глухой злобой повторил он. — Мне... итти надо...

Он отвернулся, но сейчас же снова устремил на Петра наполненные слезами глаза.

— Наши далеко сейчас... ушли?

— Да нет, не очень. Хорошо держат фрица.

— Жарко у нас было... Навряд кто остался... На высоте сто двадцать семь... накрыл нас... головы поднять нельзя... Ну, и его положили там... сотни две.

Ему было трудно говорить. Он лизнул пересохшие губы и попросил пить.

— Сейчас хлопцы принесут. Пошли по воду.

Петро подождал, пока Татаринцев передохнул, и повторил свой вопрос:

— Командиром полка у вас не Рубанюк был? Иван Остапович?

— Рубанюк. А вы знали его?

— Ну, как же! Это брат родной.

Татаринцев посмотрел на Петра широко раскрытыми глазами и судорожно глотнул воздух. Еле слышно прошептал:

— Погиб он... На моих глазах...

— Ванюшка!

Петро побледнел. А Татаринцев, забыв о том, что перед ним брат Рубанюка, продолжал медленно и тихо:

— Немцы бросили танки... Окружили... Подполковник сам нас в атаку повёл... Я пробрался, а тут они... опять навалились...

По лицу Татаринцева словно бродили отсветы пережитого боя: оно всё время менялось, голос его переходил в полушопот.

— Отполз я... прилёг в ямочку. Гляжу, подполковник упал... Танк через него гусеницами... потом и в меня осколком...

Он умолк, а через две минуты заговорил твёрже и отчётливее:

— Наш полк добре дрался. Где трудней, туда комдив рубанюковцев. А когда его убили... не знаю, кто стал командовать. В меня самого... осколок...

Где-то очень высоко горело жаркое июльское солнце. Макушки тополей, грачи, снующие под синим небом, были освещены, а внизу, в мягко темневшей глубине леса, кривые стволы ясеней, груш-дичков, вязов шелестели листвой дремотно и печально. Солнечный луч никогда не пробивался сюда.

Зубы Петра невольно выстукивали всё чаще и чаще. Сделав усилие, Петро попытался свернуть цыгарку, но руки его тряслись. Он никак не мог насыпать на бумажку махорки, крупинки её падали на колени, на босые ступни ног.

— У меня всё горит внутри, — сказал Татаринцев, шевеля пальцами правой руки. — Умру...

Он строго глянул на Петра ясными, похорошевшими глазами.

— Слушай... полковое знамя... я успел отбить... Фашисты хотели взять... не дал им... Тут, со мной. Достань. Я не могу двигаться...

Петро осторожно расстегнул гимнастёрку раненого. Материя, пропитанная засохшими сгустками крови, коробилась под пальцами и была горячей от тела.

— Найди наш полк... Скажи: Татаринцев нёс, сколько жизнь позволила... Вернуть знамя... надо.

Он тяжело перевёл дыхание, лицо его покрылось испариной.

— Увидишь жену... Аллочку... она в полку, расскажи всё... вот... Рубанюк...

Татаринцев вновь впал в забытье. Петро развернул шёлковое полотнище; подумав, вынул складной ножик и осторожно отпорол бахрому. Снова сложив знамя, он спрятал его под сорочкой. Потом застегнул гимнастёрку и только тогда позвал вернувшегося с водой Мамеда.

В полдень Татаринцев, не приходя в сознание, умер.

XV

Петро переживал своё горе мужественно и внешне ничем не показывал, как тяжело у него на душе. Стараясь забыться, смягчить острую боль, которую причиняли ему мысли о брате, он придумывал себе работу: тщательно вычистил оружие, собрал большой ворох суховершника, потом взял сапёрную лопатку и принялся рыть могилу Татаринцеву.

Однако что бы Петро ни делал, мысли его неотступно были около Ивана. Только теперь он понял, как сильно любил брата. Долгая разлука не притупила этого чувства. Всё, что было связано с Иваном, возникало сейчас в памяти Петра с такой отчётливостью, словно это было только вчера.

...Петру едва исполнилось шесть лет, а Иван уже состоял в комсомольском отряде. По району бродили небольшие кулацкие банды; они терроризировали местных коммунистов и комсомольцев, уводили в леса советских активистов и жестоко с ними расправлялись. Иван появлялся дома редко. Он приходил запылённый и усталый, с карабином за плечами и с полными карманами патронов. «Ой, смотри, Ванюшка... — испуганно говорила каждый раз мать. — Убьют они тебя...» «Не убьют, — уверенно и бесстрашно откликался Иван. — А и убьют, то за людей голову положу, за правду».

Петро во все глаза смотрел на брата, с уважением ощупывал его боевые доспехи. А когда Иван замечал, наконец, устремлённый на него восхищённый взгляд Петяшки и подмигивал ему, тот смелел и начинал донимать его вопросами: зачем люди делаются бандитами, убивают ли они маленьких, есть ли у них такие винтовки, как у Ванюшки? А однажды, после разговора брата с отцом, Петро спросил: «А что такое людская правда?» Иван переглянулся с отцом и матерью, долго смотрел на своего пытливого братишку с улыбкой. Но ответил серьёзно, как взрослому: «Это, Петяшка, большое слово — правда... Подрастёшь, тебе всё понятно станет. За правду и Ленин и Сталин шли в тюрьму, в ссылку... Добивались, чтоб не только графам Тышкевичам жилось добре, а всем людям... За правду эту человеческую и батько наш с белополяками да немчуками бился...» Иван ласково потрепал братишку по плечу, а маленький Петро настойчиво допытывался про графов, белополяков...

...И ещё вспомнилось Петру... Он уже был секретарём комсомольской ячейки, когда Иван, отслужив срочную службу, приехал из армии домой на побывку. Деятельностью Петра в селе он остался доволен, а на прощанье всё же сказал: «Гляди, Петро, всегда помни, чем наша семья государству своему обязана. При другом строе так бы и не выбились мы из нужды. Крепко держись партии большевистской! Это верная мать для таких, как наша семья...»

Петро вспоминал ещё многое. И о том, как Иван поддерживал своими письмами семью, когда ей в начале становления колхозов приходилось туговато, и о том, как радовались в семье, когда Иван получил своё первое командирское звание...

Долбя лопаткой слежавшиеся пласты лесного перегноя, Петро думал о том, что никто из семьи не узнает даже, где погребено тело Ивана, никогда не придут на его могилу отец или мать...

Отдавшись горестным думам, Петро не заметил, как солнце стало клониться к западу и в лесу стало прохладнее, темнее.

Петро вернулся к орешнику, лёг ничком на траву. Скоро должны были вернуться из хутора товарищи, и Петру хотелось собраться с мыслями, взять себя в руки.

Незадолго перед вечером Тахтасимов первый увидел подходившего Михаила. За плечами у Курбасова был увесистый мешок.

— Почему один? Где Шумилов? — спросил Мамед, помогая товарищу спустить на землю ношу.

— Осторожней. Здесь бутыль с молоком. Получил для нашего санбата.

— Шумилов почему не вернулся?

— Идёт сзади. С ним ещё двое.

Михаил только сейчас заметил, что Петро чем-то подавлен и молчалив.

— Ты что такой грустный, Петя? — спросил он.

— Лейтенант помер, — шопотом ответил за Петра Мамед.

— Помер?

Михаил вопросительно посмотрел на Петра. Тот встретился с ним взглядом и вдруг, замигав ресницами, закрыл рукой лицо.

— Ты что? — встревожился Михаил. — Что стряслось, Петя?

— Брат... Убит...

Петро даже стал заикаться. Михаил стоял растерянно, не зная, как утешить друга.

— Что в хуторе? — с усилием выжимая слова, спросил Петро.

— Полно фрицев. Гайсин и Христиновку сдали. В общем, — дело табак.

Михаил развязал мешок, бережно извлёк из него четвертную бутыль с молоком. В мешке, кроме того, были два объёмистых куска свиного сала, буханки пшеничного хлеба, варёная молодая кукуруза, лук, огурцы. Отдельно, в полотняном мешочке, — самосад.

— Шумилов ещё несёт кое-что, — сообщил Михаил. — Прямо-таки подвезло. Нацисты приказали для своих раненых собрать. По всем дворам солдаты шарят. Ну... удалось хитростью отнять.

Михаил покосился в сторону, где лежало тело Татаринцева, и, понизив голос, сказал:

— Харчи — это полдела. Колхозники обещают определить Брусникина к надёжной старухе.

— Рискованно, — высказал опасение Петро. — Фрицы кругом.

— Тут еще опаснее. Все-таки уход будет, фельдшер в хуторе какой-то есть, отставной.

К ним вместе с Шумиловым приближались усатый селянин и сухощавый пожилой мужчина в костюме городского покроя. В селянине Петро с первого взгляда узнал возчика, который поил его водой по пути на медпункт.

— Узнаёшь, отец? — спросил он.

— Извиняйте, щось запамятовал.

— Водой поил. В гости приглашал, мол, спроси в Большой Грушевке Петра Ковальчика.

— Было... было... Теперь помню.

Крестьянин снял свою измятую артиллерийскую фуражку, вытер платочком стриженую потную голову и оправдывающимся тоном сказал:

— Такая коловерть пошла. Разве всех упомнишь? Я вон с родного села сиганул, аж у троюродного брата на хуторе очутился...

Пока бойцы вертели цыгарки и с наслаждением закуривали, он оглядывал их лесное пристанище.

— А это что за человек? — шопотом спросил Петро Михаила, показав глазами на второго мужчину.

— Потом объясню... Беженец польский, если не врёт.

Петро глубоко затянулся горьковатым дымком, выпустил рыжее облачко.

— Так в хуторе неважные дела? — спросил он.

Ковальчик безнадёжно махнул рукой:

— Як у нас говорят: «Ворог в хату влиз, повна хата слиз». Чёрные списки в первый же день начали писать. За сочувствие советской власти и красным армейцам.

— Ну, а вы к нам пришли. Раненого соглашаетесь приютить. Повесят?

— Узнают, шкуру спустят, — согласился Ковальчик.

— И не страшно?

Ковальчик помолчал, потом ответил:

— Как тебе сказать, дорогой человек? Умирать никому не охота. Но только, как говорят, страх по пятам за неправдой ходит. А какая уж тут, рассуди, неправда — своих людей вызволять?

Ответ Петру понравился. Они поговорили ещё немного, потом Ковальчик собрался уходить. Он ещё раз подтвердил своё обещание притти с родственником завтра к вечеру за раненым.

Михаил и Мамед принялись раскладывать на траве еду. Петро пристально оглядел горожанина, приблизился к нему.

— Вы кто такой? — настороженно спросил он, щупая глазами его заросшее щетиной лицо с крупными морщинами.

— Я работник с Дрогобыча. Якуб Домбровецкий.

— Поляк?

— Поляк.

— Как вы попали в лес?

— Пошукуе своих товажушив. Уцекалисьмы ее пшед фашистами. Проше пана...

Глаза пришедшего, выразительные, голубые, смотрели на Петра не мигая.

— Вы не врач, случайно?

Поляк перевёл взгляд на Брусникина, с сожалением покачал головой.

— Я гурник [1]... Работник...

---

[1] Гурник — шахтёр, рабочий.

Нужно было немедленно принимать решение о том, как поступить. Петро ещё раз придирчиво оглядел поляка, задержал взгляд на его новой, почти не запылённой куртке; так опрятно не могли выглядеть люди, идущие тяжкими дорогами отступления. «Заброшен фашистами», — решил Петро.

— Документы есть? — резко спросил он.

— Нет.

Поляк вдруг понял, что ему не верят, и с лёгкой обидой в голосе сказал:

— Вы мне не вежите? Я гурник. Я ненавидзе гитлеровцув [1]...

Он замолк, затем вдруг вспыхнул, изменился в лице. Мешая русские слова и польские, он взволнованно заговорил:

— Я прошэм се, жебы мне взели до Червоней Армии. Не пржыймуе. До моей ойчизны пржишли фашисты. Як я повинен постомпиць? Ежели россияне нам не помогом, то Гитлер позостане в Польсце господажем. Тылько и зачел се для нас дзень, кеды вы пржышли зе всходу. А тераз ноц, ноц [2]...

— Ладно, пусть садится с нами кушать, — сказал Михаил. — Потом разберёмся...

Домбровецкий учтиво поклонился:

— Бардзо дзенькую... Сердечне...

Он неторопливо отрезал себе ломоть сала, наложил на хлеб, сверху прикрыл ещё одним ломтиком хлеба и начал есть.

Темнота густела, из глубины леса потянул холодок. Крупные морщины на лице Домбровецкого в полусумраке стушевались, он словно помолодел.

— Почему в Дрогобыче не остались? — спросил Михаил.

Он сидел на корточках и ковырял травинкой в зубах.

— У гитлеровцув?

---

[1] Вы мне не верите? Я шахтёр, я ненавижу гитлеровцев.

[2] Я в Красную Армию просил меня взять. Не принимают. На мою родину пришли фашисты. Как я должен поступить? Если русские не помогут, Гитлер останется хозяином в Польше. Только и начался для нас день, когда вы пришли с востока. А сейчас ночь, ночь...

Домбровецкий отложил в сторону недоеденный хлеб и повернулся всем телом к парням:

— Россияне нас нигды не называли овцами, годнемы тылько корыта в хлеве. И не называе, я вем. А цо гитлеровцы о нас пишем? [1]

Он провёл пальцем по лбу, голос его стал неожиданно жёстким и отчётливым:

— Пастеж не допусти до того, жебы его бараны хцели се зрувняцьсе з ним. Пише о тэм их поэта Еже Гервег. В своей Немчызне они недопуще для полякув, чехув, не для еднего словянина жодней воли. Поляк не повинен мець земи, не повинен мець право глосу, для него есть тылько праця невольника. Для чего я повинен быть невольником? Хце быть чловеком! [2]

— И что же вы собираетесь дальше делать? — спросил Петро Домбровецкого.

— Покы я жые, бенде вальчыць з фашистами. Мне повинне пшыймоваць до Червоней Армии. Я былем жолнежем и умем тшымаць карабин.

— Он говорит: был солдатом, — перевёл Петро товарищам, — умеет держать винтовку и добьётся, чтобы его приняли в Красную Армию.

Разговаривали в эту ночь долго, а перед тем, как укладываться спать, Петро отвёл Михаила в сторону и шопотом сказал:

— По-моему, можно ему верить. Пробьёмся к своим, будет видно. Оправдает себя — возьмут его в армию. Душа у него рабочая, не может так человек прикидываться.

— Я тоже думаю, Петька, пускай пробивается с нами...

Это влекущее и ободряющее «пробиться к своим» безраздельно владело сердцами бойцов, и все мысли их неизменно возвращались к одному — поскорее устроить в надёжном месте Брусникина и двинуться на восток.

---

[1] Русские нас никогда не называли баранами, достойными только корыта в хлеве. И не назовут, я знаю. А как гитлеровцы пишут о нас?

[2] Пастух не потерпит, если его бараны захотят равняться с ним. Это пишет поэт Георг Гервег. В своей Германии они не потерпят для поляков, чехов, для любого славянина никакой свободы. Поляк не должен владеть землёй, не может голосовать. Для него есть только рабский труд. Почему я должен быть рабом? Я хочу быть человеком!

XVI

Подполковник Рубанюк не погиб, как думал Татаринцев.

В бою под Марьяновкой противник трижды бросал танки на высоту 127, обороняемую полком Рубанюка. Две машины прорвались к наблюдательному пункту, связь с батальонами нарушилась. Моторизованные части врага вели бои уже далеко в тылу. Советские войска отходили по всему фронту.

В это время лейтенант Татаринцев находился недалеко от командного пункта полка. Он видел, как вражеский танк ринулся к окопчику, где стоял подполковник Рубанюк, видел, что бойцы дрогнули и отходят к лесу.

Татаринцев подумал о том, что в руки гитлеровцев попадут штабные документы. Он бросился к командному пункту. До блиндажа оставалось десятка три шагов, когда за песчаным бугром он заметил каски трёх неприятельских солдат. Татаринцев метнул в их сторону гранату.

Тут его ранило осколком. Всё же Татаринцев добежал до блиндажа.

Здесь, как он сразу понял, была горячая схватка. На ступеньках валялся труп немецкого ефрейтора. В углу тяжело стонал умирающий от раны помощник начальника штаба старший лейтенант Попов. Часовой у знамени и связист были убиты.

У Татаринцева хлестала кровь, но забинтовать рану было некогда. Он торопливо сжёг все бумаги, какие успел собрать, снял с древка полотнище полкового знамени, спрятал его под гимнастёрку. У него кружилась голова, но движения его были чёткими и уверенными. Теперь им целиком овладело сознание того, что у него нет более важной цели, чем спасти полковую святыню — боевое знамя. Он видел приближающихся солдат, мелькающие в пыли и дыму бронемашины и пополз к лесу...

Подполковник Рубанюк спасся тем, что во-время заметил вражеский танк и отскочил от его гусениц в окоп.

Гитлеровцы готовились к новой атаке против обескровленного, понёсшего большие потери полка, когда на полковом наблюдательном пункте появился член Военного Совета армии Ильиных.

Капитан Каладзе, чёрный от пыли, в грязных потоках пота, который струился по его лицу, наблюдал за лесочком

справа. Было ясно видно, как на опушке сгружались с машин новые подкрепления противника.

— Вы что, капитан, в театре находитесь? — раздался сзади него резкий иронический голос.

Каладзе оглянулся и встретился взглядом с глазами бригадного комиссара. Ильиных смотрел на него с таким гневом, что Каладзе машинально поправил каску, скользнул пальцами по поясному ремню и застыл в положении «смирно».

— Почему не прикажете артиллерии накрыть огнём? — Ильиных кивнул в сторону опушки.— Где командир полка?

— Товарищ бригадный комиссар, — начал объяснять Каладзе, — чем накрывать будем? Снарядов почти нет. Двое суток воюем. Три танковые атаки отбили.

— Что это у вас за выражение «почти»? Соедините меня с артиллеристами.

Каладзе бросился выполнять приказание. Ильиных взялся за трубку, но в последний миг передумал, вернул её Каладзе.

— Пока вы ещё не отстранены за бездеятельность, командуйте.

Он стоял в рост, наблюдая за противником в бинокль, а когда с бугра застрочил станковый пулемёт, сошёл в окопчик.

Было жарко. Серебрились взгорки, заросшие полынью и молочаем, зеленели картофельные посадки, и утоптанная просёлочная дорога, уползавшая за перевал к недалёкому селу, блестела на солнце.

Село гитлеровцы захватили несколько часов назад и успели расставить на его восточной окраине батареи, отрыть окопы. Бурая пелена дыма и пыли укрывала горизонт, движущимся чёрным пунктиром тянулись вдали самолёты.

Каладзе, поминутно оглядываясь на бригадного комиссара, передал командиру артиллерии приказ произвести огневой налёт на опушку. Выслушав ответ, он рассвирепел:

— Почему ты мне докладываешь — мало снарядов? Без тебя знаем... Что? Какое мне дело? Вот давай огонь, потом разговаривать будем.

Он покосился на Ильиных. Лицо члена Военного Совета сохраняло такое невозмутимое хладнокровие, словно он был на учебных манёврах, а не в самом пекле боя. И Каладзе притих.

Ильиных посмотрел на первые разрывы снарядов и подозвал связного. Он собирался итти на командный пункт.

В эту минуту появился подполковник Рубанюк. Он искренне обрадовался члену Военного Совета, поданную ему руку сжал крепко, обеими ладонями.

— Круто, товарищ комиссар, — сказал он, снимая каску и ероша пальцами липкие волосы.

— Вижу.

— Как бы не опоздать с отходом. У них чертовски большие резервы.

— Отходить — дело нехитрое, — проговорил Ильиных. Посмотрев Рубанюку прямо в глаза, он добавил: — Отходить нельзя. Ни сегодня, ни завтра. Вы будете задерживать противника, пока нам не удастся восстановить здесь положение. Таково решение командира дивизии и командующего армией.

Последние слова его заглушили разрывы. Фашисты, не обнаружив, видимо, батарей, которые мешали им накапливаться, начали бить по площади. Так или иначе, атака их была сорвана. У всех, кто находился на энпе, поднялось настроение.

Но и этот маленький успех и установившаяся вскоре на всём участке странная тишина были весьма ненадёжны.

— Подготовьте себя к любым неожиданностям, — сказал Ильиных, старательно разминая пальцами тугую папиросу.

— Ясно! — коротко произнёс Рубанюк. — Бой в окружении... Ясно, — ещё раз повторил он самому себе.

Полку выпадало очень трудное задание.

Людей и боеприпасов было мало, а главное, страх перед окружением, который одинаково владел бойцами и командирами, мог повлечь за собой тяжёлые последствия.

Но именно потому, что задача предстояла небывало сложная, Рубанюк почувствовал в себе тот азарт, вдохновение, которые позволяют быстрее соображать, острее видеть.

— Окружение — вещь неприятная, что и говорить, — прикуривая от спички Каладзе и близко глядя ему в глаза, сказал Ильиных. — Но учтите, капитан, ещё в старом наставлении для офицеров говорится, что храбрые люди никогда не могут быть отрезаны.

Он обращался к одному Каладзе, но его внимательно слушали и Рубанюк, и телефонисты, и связные.

Ильиных это чувствовал. Медленно расставляя слова, будто читая какую-то ему одному видимую книгу, он продолжал:

— Куда бы неприятель ни ткнулся, туда и ты поворачивай свои клыки. Бросайся на него и грызи. Если он был силён, предпринимая окружение, он ослабеет. Заходя во фланги, в тыл, он дробит свои силы. А если он вообще только пугает, то он пропал, коль скоро ты не растеряешься и пойдёшь на него в атаку.

Все эти прописные солдатские истины были известны Рубанюку ещё до военной академии.

Однако слушал он бригадного комиссара с напряжённым вниманием. Ему предстояло первому в дивизии, а может быть и во всей армии, противопоставить надменным, самоуверенным фашистам не только огромную волю к сопротивлению. Он призван был показать мастерство, которому учился в тихих аудиториях академии. Именно он, Рубанюк!

— А вообще я вам вот что скажу, друзья, — прервал его размышления член Военного Совета, — с вашими орлами, при ваших командирах не об отступлении, а о наступлении надо помышлять.

Рубанюк удивлённо взглянул на него и потёр пальцами лоб. Нет, член Военного Совета не иронизировал и вообще был далёк от шуток. Но если он считает, что полк Рубанюка в состоянии наступать...

Лицо Рубанюка вдруг просияло. Он понял, что все его мысли, желания сформулированы в кратких словах бригадного комиссара: «Не об отступлении помышлять...»

— Я прошу подбросить мне снарядов и патронов, — сказал Рубанюк.

— Хорошо.

— И побольше ручных гранат.

— Правильно!

Рубанюк достал из планшета и развернул карту.

— Мы будем наступать, товарищ бригадный комиссар, — сказал он твёрдо. Рисуя на карте указательным пальцем прямую линию к селу, он повторил: — Да, наступать! Сегодня ночью.

XVII

Замысел Рубанюка, изложенный им члену Военного Совета, был дерзок и прост.

В селе Марьяновка скопились штабы, техника противника. Враги успокоены своим численным превосходством, первыми успехами своего наступления, огромной массой танков и самолётов, имеющихся в их распоряжении. В представлении самоуверенных гитлеровских офицеров, растоптавших Европу, русские озабочены лишь тем, чтобы не попасть в клещи немецких гренадёров.

Рубанюк решил ударить по вражескому гарнизону, когда это будет представляться противнику менее всего вероятным. Он отберёт сотню бывалых, смелых бойцов, лучших командиров и, скрытно подойдя ночью к селу, атакует! Разумеется, фашисты, опомнившись, бросят на уничтожение дерзкого полка свои наступающие части, но это, в конечном итоге, будет стоить им времени и сил, задержит их продвижение.

Ильиных выслушал соображения Рубанюка очень внимательно, долго смотрел на карту, что-то прикидывал.

— Ничего не могу возразить, — сказал он. — Действуй! Командиру дивизии и командующему сейчас же передам своё мнение...

Позже Рубанюк изложил свой план Каладзе и пришедшему на командный пункт комбату Лукьяновичу.

— Надо бить противника в невыгодных для него условиях, — говорил он оживлённо, поблескивая серыми, глубоко запавшими от недосыпания глазами. — Если уж обороняться, то обороняться активно.

Лукьянович ерошил растопыренной, измазанной в земле и глине пятернёй светлый чуб и жмурил жёлтые глаза.

— Если мне доверите людей вести, товарищ подполковник,— сказал он,— могу обещать... Мой батальон сделает.

— Я имел в виду именно тебя. Но пойдёт не батальон, а пошлём охотников. Добровольцев. Дело серьёзное.

— Разведку сейчас надо подготовить, — вслух подумал Каладзе. — Тоже надо добровольцев.

Спустя полчаса один из штабных командиров прибежал с тревожной вестью. Старший лейтенант Попов несколько минут назад скончался от раны. Он успел лишь рассказать, что Татаринцев во время атаки гитлеровцев уничтожил штабные документы и забрал с собой полковое знамя.

— Но куда он ушёл, никто не знает, — закончил свой доклад штабной командир. — Знамени также нет. Попов говорил, что Татаринцев ранен.

— Вы даёте себе отчёт, о чём докладываете? — поднимаясь и бледнея, произнёс Рубанюк. — Как это знамени нет?!

— Татаринцева искали. Нигде не нашли.

— Да вы понимаете?! Вам известно, что полк расформируют, а мы с вами все в трибунал угодим?

Волнуясь и нервничая, Рубанюк выпытывал подробности о Татаринцеве, о часовых, находившихся при знамени, потом умолк и задумался.

— Срочно свяжитесь с дивизией, — приказал, наконец, он. — Сообщите о знамени. Татаринцев, возможно, решил пробиваться с ним в дивизию. И ещё и ещё раз ищите его среди раненых и убитых.

Фашисты, как обычно, прекратили с наступлением темноты боевые действия. Выставленные наблюдатели и дозорные доносили, что в расположении противника слышен визг убиваемых свиней, пьяные выкрики.

— Они праздник справляют, — сказал Атамась, — а мы им хмельного! Щоб спалось крепче...

Он принёс в блиндаж наполненные котелки и поставил их перед Рубанюком на опрокинутый ящик.

Рубанюк ощупью разыскал ложку, неохотно поел немного гречневой каши и принялся за чай.

— Э, ни, товарищ пидполковнык! — запротестовал Атамась. — До завтрашнего обеда ничого бильше не буде. А вы не хочете исты...

— Потом, — отмахнулся Рубанюк. — Сейчас в батальон пойдём.

— Там у них весело. Каждому хочется гансов пощупать.

— Весело? — Рубанюк оживился. — Я знал, что народ повеселеет.

Он перебросил через плечо автомат и пошёл к выходу. В нескольких шагах от блиндажа лицом к лицу столкнулся с Татаринцевой.

«Сейчас слёзы будут...» — подумал он, останавливаясь и опуская руку в карман за папиросами.

— Товарищ подполковник, — взволнованным голосом спросила она, — что с Татаринцевым случилось? Он ранен, это я знаю. Но где же он?

— Разыскивают, товарищ Татаринцева. Возможно, в штабе дивизии.

— Он попал к фашистам?

В голосе Аллы послышались слёзы.

— Не думаю.

Закуривая, Рубанюк чиркнул спичкой. В ночном сумраке на мгновение мелькнуло и растаяло лицо Аллы. Щёки её ввалились, под глазами чернели глубокие тени.

— Извините, — сказал Рубанюк. — Я тороплюсь.

— Простите, что задержала.

— О Татаринцеве всё выяснится. Вы где приютились?

— В санроте.

— Это хорошо. Под огонь не суйтесь.

Атамась прошёл следом за ним несколько десятков шагов молча, потом одобрительно сказал:

— А оця Аллочка боевая дивчина.

— Что?

— Храбра, кажу, жинка у Татаринцева. Сегодня, хлопцы рассказывали, не меньше чем десяток раненых вынесла. Из самого пекла.

— Да?

— Ага. Будто кто её заворожил. Кругом свистит, рвётся, а ей хоть бы що...

Разыскали расположение третьей роты. Здесь был намечен исходный пункт для выступления. В темноте двигались неясные фигуры бойцов, рядом с Лукьяновичем стоял старшина Бабкин. Бойцы складывали на траве ручные гранаты, снаряженные диски для пулемётов.

Рубанюк осведомился у комбата, вернулась ли разведка, и, узнав, что ещё не вернулась, подошёл к бойцам.

Как это всегда бывает на фронте, они разговаривали обо всём, кроме предстоящего дела. Говорили о воздушных налётах на Москву, об эвакуации из столицы детей и женщин, о введении в городах продовольственных карточек.

Спустя короткое время подошли бойцы, отобранные Каладзе из других батальонов. Рубанюк вместе с Лукьяновичем придирчиво осмотрел вооружение каждого, проверил, знают ли солдаты свою задачу.

Лукьянович приказал бойцам отдыхать, а сам с двумя пулемётчиками собрался пройти лощиной к Марьяновке и наметить исходный рубеж для атаки.

Рубанюк пошёл с комбатом.

Стояла по-летнему душная, безветреная ночь. В чёрном небе искрились крупные звёзды. В хлебах слышались таинственные шорохи. Было хорошо и мирно в эту полуночную пору, и лишь удушливый трупный запах, то слабый, то густо наплывавший откуда-то с низины, напоминал о войне.

Подошли они к селу метров на двести. За пологой равниной смутно темнели сады и клуни, явственно доносился издали тревожный собачий брех, раздавались одиночные выстрелы.

— Добрая позиция, — прошептал Лукьянович, внимательно оглядываясь.

— Всё-таки здесь ползком придётся, — тоже шопотом ответил Рубанюк.

Они полежали на пригорке и той же дорогой направились обратно. Разведка уже вернулась. Ни боевого охранения, ни патрулей около села они не обнаружили, лишь у отдельных дворов и сараев ходили часовые.

— Ну, давай, Лукьянович, — сказал Рубанюк. — Веди.

Бойцы исчезли в темноте.

Впервые с той минуты, как возникла мысль о вылазке, Рубанюка охватило беспокойство. В конце концов, исход налёта зависел от многих случайностей. Если бы у него были хоть одни сутки на подготовку! Он более тщательно ознакомился бы с расположением улиц, отдельных строений, разбил бы село на секторы, указал место сбора...

— Шуму орлы много наделают, — угадывая тревожные мысли командира полка, сказал Каладзе. — Нам, товарищ подполковник, самим надо подготовиться. Разрешите, посмотрю новые огневые позиции, окопы?

Капитан нервничал не меньше Рубанюка. Ему хотелось побыть одному, и он ушёл.

Рубанюк выкурил последнюю папиросу, далеко швырнул пустую коробку. И в ту же секунду со стороны Марьяновки дружно защёлкали выстрелы, начали рваться гранаты, затакали пулемёты.

Атамась бесшумно приблизился к подполковнику.

— Ну, дают зараз хлопцы жару, — с завистью сказал он. — Наверно, в подштанниках удирают гансы...

Минут через десять прибежал Каладзе. В селе, гулко отдаваясь эхом в перелесках, била уже артиллерия, рвались мины. Высоко в небе взметнулись ракеты: белые, красные. Медленно растекаясь по горизонту, забушевало пламя пожара.

Каладзе встал на взгорок, лицом к селу. В глазах его трепетали рдяные отблески.

— Плохо, Иван Остапович, — прошептал он. — Обратно наши пойдут — всё видно будет... Нарочно зажгли...

Стрельба, артиллерийские разрывы в Марьяновке всё ещё продолжались, когда невдалеке, на озарённом огнём небосклоне вырисовались силуэты возвращавшихся бойцов. Рубанюк узнал низкорослого крепыша пулемётчика Головкова и красноармейца Терешкина.

Заметив командира полка и начальника штаба, Терешкин остановился.

— Порядочек, товарищ подполковник, — сказал он возбуждённо. — С трофеями.

Он небрежно швырнул на траву несколько автоматов, отёр лоб. По его тону и радостному выражению лиц обоих красноармейцев Рубанюк понял, что всё благополучно, однако ему хотелось поскорее узнать подробности операции.

— Где комбат? — спросил он нетерпеливо.

— Они сзади идут. Там троих офицеров заграбастали. Прямо с перинки стащили... У нас кой-что ещё имеется...

Терешкин замялся, потом полез в карман и, достав бутылку, протянул Рубанюку.

— Коньячку прихватили. Одна — вам, другая нам с Головковым. Вам ещё трубку принёс, товарищ подполковник.

От трубки Рубанюк решительно отказался. Бутылку с коньяком повертел в руках. Коньяк, судя по ярлыку, был дорогой, французской марки. Рубанюк вернул бутылку Терешкину и строго сказал:

— Сегодня и глотка не разрешаю. Увижу кого пьяным, спуску не дам.

— Да вы возьмите, — смущённо предлагал Терешкин. — Этого добра целую машину перебили.

— Там в баклажках и спирт был,— сказали из темноты.

Лукьянович появился спустя несколько минут. Он обстоятельно доложил о результатах вылазки. Гарнизон был захвачен врасплох и потерял, по приблизительным подсчётам, не менее двухсот человек убитыми и ранеными. Удалось взять две тридцатисемимиллиметровые пушки и десяток пулемётов с патронами.

— Потери есть?

— Четверо убитых. Восемь ранено.

— Где убитые?

— Всех с собой забрали.

— А пленные?

— Трёх гусей привёл. Один обер-лейтенант. Пьяный в дымину.

— Мы ему вытрезвитель устроим,— пообещал Каладзе.

— Но как дрались! — восхищённо сказал Лукьянович. — Ещё никогда так ребята не дрались. Львы!

Рубанюк осмотрел трофейное оружие. Затем пошёл проведать раненых. Среди них оказался старшина Бабкин. Осколком гранаты ему искромсало мякоть ноги повыше колена.

Татаринцева уже его перевязала и помогала полковому врачу перевязывать другого бойца.

Бабкин лежал на траве без одного сапога.

— Больно, старшина? — с участием спросил Рубанюк.

— Больно, это чорт с ним... — хрипло ответил Бабкин. — Досадно, товарищ подполковник... от своей же гранаты... Куда я теперь?

— Ничего страшного, — ободряюще сказала Алла, продолжая работать. — Кость не задета, через месяц будет совсем здоров.

— Месяц! — угрожающе произнёс Бабкин.

— Да, не меньше, — строго подтвердил полковой врач.

В расположении второго батальона стали рваться снаряды, где-то со стороны села доносилось рычанье танков.

— Разворошили гадючье гнездо. Теперь жди в гости,— сказал какой-то боец, проходивший мимо.

За час до рассвета нарочный вручил Рубанюку пакет от командира дивизии. Осадчий сообщал, что в дивизии ни Татаринцева, ни знамени не обнаружили, и в строгих тонах предупреждал Рубанюка о последствиях. Далее он требовал, во изменение предыдущего приказа, немедленно отходить всему полку.

«Отходит всё хозяйство, — приписал в конце полковник, — так что не копайся. И прими все меры к розыску знамени!»

Рубанюк несколько минут сидел неподвижно с распечатанным конвертом в руках. До сих пор у него была хоть маленькая надежда на то, что Татаринцев проберётся в дивизию или разыщет полк. Теперь он уже не мог надеяться ни на что. Дивизия отойдёт, Татаринцев, если он жив и затерялся в лесу во время атаки противника, останется в тылу врага.

— Ну, что ж... — вслух сказал Рубанюк. — Моя вина. Не уберёг — держи ответ.

— Что вы? — переспросил Атамась.

— Вызови капитана Каладзе.

Времени, удобного для отхода, оставалось совсем немного. Рубанюк, сообщив начальнику штаба о приказе, распорядился оставить для прикрытия батальон Яскина.

Каладзе помрачнел.

— Потеряем батальон, товарищ подполковник. Это смертники, а не прикрытие.

— Но и уходить, как стадо баранов, тоже нельзя, — возразил Рубанюк. — Ты что — хочешь поставить под удар весь полк?

— Я не хочу. Зачем такое говорить? Надо нацистам хитрость сделать. Обманывать надо.

Он несколько минут раздумывал, потом предложил свой план. Нужно ложное прикрытие: фугасами и минами имитировать артиллерию, оставить лишние кухни на видном месте, разбросать патроны и тлеющие костры.

— Поднимется такая стрельба, — оживляясь и щёлкнув сухими, тонкими пальцами, сказал он.— Будто свежие силы прибыли... А нас уже нету... Мы на десять километров уйдём.

Эта мысль пришлась Рубанюку по душе.

— Действуй! — приказал он. — На войне без риска не обойдёшься.

Хитрость удалась. Полк до рассвета скрылся за перелеском. Но ещё долго слышалось, как сзади, в брошенных окопах, тяжело грохотали фугасы, то там, то здесь вспыхивала беспорядочная ружейная трескотня.

Фашисты методично били по окопам крупнокалиберными снарядами, и Рубанюк, отправивший свою машину раньше и ехавший сзади верхом, говорил Каладзе:

— Слышишь, капитан! Это твоих рук дело. Дальнобойную подключили.

Каладзе жмурился, довольный собой.

XVIII

Чуть в стороне от пыльного шляха — утопающее в садах село. Небольшая церковь на взгорье, затенённая вербами и камышами речушка.

Полк втягивался в крайнюю улицу, когда из штаба дивизии примчался офицер связи и передал Рубанюку при-

каз. Осадчий требовал занять оборону по западной окраине села.

Пока в саду крестьянской усадьбы, которая стояла на отшибе, отрывали блиндаж, Рубанюк расположился в хате и прежде всего решил смыть с себя дорожную пыль, сменить бельё.

Хозяйка, пожилая длиннорукая женщина с малиновым румянцем на щеках и угрюмым взглядом, согрела в печи чугун воды, приготовила чистый рушник.

Рубанюк приказал принести в сад воду и корыто. Он снял с себя гимнастёрку с чёрным от пота и грязи подворотничком, подставил волосатую грудь ветерку. Ступни ног, сжатые сапогами, нестерпимо горели, и Рубанюк думал о том, с каким наслаждением он сейчас разуется, походит босыми ногами по прохладной траве.

Атамась принёс ведро. Ставя его на землю, он сообщил:

— Там жинка Татаринцева заявилась до вас. Аллочка. Що ий сказать?

— Пускай подождёт. А впрочем... Ладно, зови, позже помоюсь.

Рубанюк, оглядев свою землисто-серую сорочку, снова натянул гимнастёрку и присел на завалинке.

Алла вошла в сад лёгкой, быстрой походкой. Она уже успела выкупаться. На бровях её и завитках волос поблескивали капельки. Защитная гимнастёрка, тщательно вычищенная, плотно облегала её высокую грудь, сильные плечи.

Заметив, что подполковник сидит с расстёгнутым воротом, без ремней, она чуть приподняла брови:

— Извините. Немножко не во-время. Ну, да я на минутку... По приказанию командира санроты...

Алла остановилась перед Рубанюком.

— Мы ничего не можем поделать с Бабкиным, товарищ подполковник, — сказала она, сердито поблескивая глазами.

— Что такое?

— Он ни с чем не считается. Сегодня самовольно ушёл из санроты.

— Ушёл? Он же серьёзно ранен?

— Ходить может, поэтому ничего и признавать не желает. Только перевязала его, он встал и пошёл. «До свидания, — говорит, — сестрица. Лечите других, какие нежные». Я ему вслед: «Вернитесь, товарищ Бабкин!» — а он на меня ещё накричал.

— Накричал? Плохо.

— Грубиян. Но главное, ему надо лежать не меньше двух недель.

Губы Рубанюка тронула улыбка, глаза хитро сощурились.

— Значит, ходить может, раз ускользнул от вас?

— Ему нельзя ходить.

— Хорошо, я разберусь. Если надо, вернём его вам.

Рубанюк опустил палец в ведро и вытер его платком.

— У вас вода стынет, — сказала Алла, тоже опустив палец в ведро. — Вы голову мыть будете? Давайте полью.

Не ожидая ответа, она расстегнула рукава, засучила их и взялась за кружку.

— Зачем же вам? — спросил Рубанюк. — Сейчас вестовой придёт.

— Да вы не стесняйтесь. Сбрасывайте гимнастёрку. Мне до войны приходилось в больнице мужчин мыть... Больных, конечно, — добавила Алла с усмешкой.

— Больных — другое дело.

— Сорочку тоже скиньте. Господи, какая она у вас... белоснежная! Сегодня же постираю. Если фашисты не помешают.

Разговаривая, она помогла Рубанюку снять гимнастёрку. Потом проворно намылила ему голову.

— А ну, полей-ка, милок, — приказала она Атамасю, пришедшему из хаты и молча взирающему на её старания.

«Не нравятся мне эти ухаживания, — думал тем временем Рубанюк, зажмурив глаза от мыльной пены. — Бойцы ещё что-нибудь подумают...»

Но когда после мытья Атамась доложил о том, что готов завтрак, пришлось пригласить и Аллу.

— Оставайтесь с нами завтракать, Татаринцева, — сказал Рубанюк. — Там у нас, помнится, вареники с творогом.

— С вишнями, — подсказал Атамась. — И яичница с салом.

— Это я люблю, — простодушно призналась Алла.

К завтраку пришёл и капитан Каладзе. Он перед этим побывал в батальонах, которые рыли за селом окопы, и проголодался.

— Что-то спокойно сегодня, — сказал Рубанюк. — Даже самолётов не слышно.

— Так сьогодни ж воскресенье, — напомнил Атамась.— По праздникам они не летают.

Стол, накрытый свежей полотняной скатертью под деревьями, был уставлен мисками с обильным угощением. Когда Рубанюк, чисто выбритый и свежий, собирался сесть за стол, Атамась хлебосольным жестом выставил бутылку коньяку.

— Это откуда? — удивился Рубанюк.

— Молочко от скаженной телычки, — с довольным выражением лица ответил Атамась. — Писля баньки воно не заважыть.

Каладзе расстегнул ворот гимнастёрки. Он выпил и, не давая никому говорить, рассказывал о своём колхозе, о Тбилиси. Потом на полуслове замолчал.

— Разрешите итти, товарищ подполковник? Хочу позицию боевого охранения посмотреть.

— Хорошо.

— Что с пленными сделаем?

— Отправь в дивизию.

Алла попыталась встать, но, сделав первый шаг, опустилась на скамейку и засмеялась:

— У меня голова кружится... Вы не будете сердиться, Остап Иванович?.. Фу-у... всё перепуталось... Иван Остапович!

— Больше не пейте.

— Ерунда! Я в Ростове, знаете, сколько могла выпить? Вам нравится улица Энгельса? Садовая? А театр Горького? Жалко, что мы с вами там не встретились, в Ростове.

— Почему жалко?

Она ничего не ответила, только рассмеялась, закинув голову.

— Идите отдыхайте, Татаринцева, — сказал он. — Такой спокойный день едва ли ещё будет.

Рубанюк поехал во второй батальон. Он прибыл туда как раз в тот момент, когда комбату Яскину докладывали о появлении на большаке, за табачными колхозными посадками, вражеской разведки.

XIX

Войска оккупантов двигались по равнинам правобережной Украины всё дальше на восток.

Иван Остапович Рубанюк, оставаясь один, подолгу просиживал над картой Винницкой и Киевской областей, с тя-

жёлым чувством разглядывал всё новые населённые пункты, захваченные фашистами.

Советские войска дрались самоотверженно, выдерживая ещё невиданное в истории войн напряжение. Но группы генерал-фельдмаршала Клейста, дивизии 11-й и 17-й немецких армий, посаженные на автомашины, тягачи, вездеходы, мотоциклы, упорно пробивались к Днепру.

Правда, ожидаемого оперативного успеха исход сражения под Винницею гитлеровцам не дал. Хотя город и был ими захвачен, группе Шведлера, которая пыталась с севера замкнуть левую «клешню» клещей, этого сделать не удалось. Советские части в полном порядке, под прикрытием сильных арьергардов, отошли на северо-восток.

Рубанюк знал, что не удалось и 49-му горно-стрелковому корпусу с ходу захватить мост через реку Буг в районе Брацлава. Здесь неоднократные атаки противника натыкались на стойкое сопротивление красноармейцев, засевших в домах и кустарнике на северной окраине Брацлава.

Быстроподвижная бригада гитлеровцев, ворвавшаяся в Липовец, попала под такой артиллерийский огонь, что в панике, оправдывая своё название, бежала обратно до Счастлива, понеся огромные потери.

Однако ни самоотверженность, ни беспримерная стойкость советских бойцов и командиров не могли сдержать яростного натиска численно превосходящего, отлично оснащённого новейшей боевой техникой врага.

Двадцать первого июля 1-я горно-стрелковая дивизия немцев ворвалась в Немиров и вышла на большое шоссе Винница — Немиров. В этот же день головной отряд 97-й легко-пехотной дивизии занял Ободне, а 125-я пехотная дивизия передовыми частями достигла селения Клишов.

В течение последующей недели противнику удалось взять Гайсин, Гранов, Липовец, ещё через два дня с налёта захватить станцию Христиновка, на которой под парами стояло несколько эшелонов с фуражом и около сотни вагонов и цистерн.

Всё чернее, всё гуще становились тучи, нависшие над Украиной. Трудно было разобраться: июльские ли грозы затмили солнце над шляхами и просёлками Винничины и Киевщины, чёрные ли дымы бомбовых и артиллерийских разрывов и пожарищ застлали прозрачную небесную синеву над благодатным краем...

Уже к Балте и Бершади, южнее Буга, подходили головные отряды 11-й армии немцев. Севернее двигалась 17-я армия, к Ново-Архангельску приближались танки 48-го корпуса, через Богуслав на Корсунь рвался 3-й танковый корпус.

Уже в семидесяти километрах от Киева подвижные части 6-й армии, перейдя рубеж Тетерев — Коростень, накапливались для нового прыжка.

Рубанюку принесли найденный у убитого фашистского офицера секретный приказ.

Командующий 49-м горно-стрелковым корпусом Кюблер писал в приказе своим командирам:

«...Противник сейчас отходит главным образом через Умань и севернее её к востоку на Кировоград и далее на Кременчуг к Днепру.

Наша задача — отрезать противнику пути отхода на Кременчуг. В случае удачи (а в этом не приходится сомневаться) отрезанные войска противника будут охвачены с востока, и тогда самое лучшее, на что они могут рассчитывать, — это быть прижатыми к нижнему течению Днепра, где нет переправ...»

В этот же день, 29 июля, в полк Рубанюка, который дрался под Голованевкой, прибыли командующий армией и член Военного Совета Ильиных.

Ильиных, против обыкновения, даже не счёл нужным протянуть Рубанюку руку и сухо спросил:

— Вы что же, товарищ подполковник, не докладываете? Когда вернёте полку знамя?

Рубанюк стоял молча, вытянув руки по швам. Он давно ждал этого разговора.

— Имейте в виду, — продолжал Ильиных, — Военный Совет будет вынужден ставить вопрос очень серьёзно. Вы в армии не первый год и прекрасно понимаете, что̀ грозит полку и в первую очередь вам лично. Подождём немного; если знамени не будет, суда вам не миновать. Пока же командующий решил ещё раз проверить боеспособность вашего полка.

Рубанюку сообщили, что командиру дивизии отдан приказ передать полк в непосредственное ведение штаба армии и ему предстоит выполнять специальные задания.

Командующий очень торопился: его эмка стояла с невыключенным мотором.

Тем не менее он подробно расспросил о налёте на Марьяновку, с живейшим интересом слушал, как дерзко дрались в уличном бою красноармейцы.

— Это нам сейчас и нужно, — сказал он. — Налетать неожиданно. Наводить панику. Потом быстро уходить.

Командующий повернулся к члену Военного Совета:

— Как, Степан Игнатьич, может быть, другой полк с этим лучше справится?

Ильиных искоса посмотрел на Рубанюка. У командира полка даже скулы побелели от обиды.

— Пускай уж он, — ответил Ильиных. — Всё-таки под Туркой и Марьяновкой полк показал себя хорошо.

— Посадим ваших людей на машины, — сказал командующий, — будете, как летучие голландцы: сейчас здесь, а завтра уже за тридцать или сорок километров. Надеюсь, вы понимаете, что задача перед вами ставится почётная и опасная?

Рубанюк молча кивнул.

— Ну, что ж, — сказал командующий, поднимаясь с видимой неохотой, — поехали, Степан Игнатьич?

Когда немного отъехали, член Военного Совета сказал командующему:

— Рубанюк своё сделает. Очень самолюбивый командир.

— Хороший командир. Смелый и честный. Зря ты, Степан Игнатьич, на него так насел за знамя. Он и так переживает.

— Ничего. Не обидится. Мы с ним друзья. А знамя пусть хоть из-под земли добудет! Сейчас как-то и к награде представлять неудобно. А надо бы.

В эту же ночь в распоряжение Рубанюка прибыли из дивизии несколько десятков грузовиков и два броневичка.

В течение двух часов Каладзе с комбатами распределяли бойцов по группам. Укрыв машины в лесу, они тренировали красноармейцев.

Рубанюк находился тут же. Его очень тревожили дороги. После нескольких ливней с грозами просёлки раскисли, на колёса наворачивались глыбы чернозёма, машины буксовали.

— Сядем мы со своим транспортом, — сказал он Каладзе, беспокойно поглядывая на небо. К рассвету оно снова затянулось дождевыми тучами.

— Цепями обмотаем, будем ездить.

— Такая езда на руку только фрицам.

До вечера всё же несколько подсохло. А ночью из штарма приказали перебазироваться в лес, к селу Коржево.

Полк подняли по тревоге. Рубанюк, поднеся к глазам ручные часы со светящимся циферблатом, смотрел на минутную стрелку. Через полчаса Каладзе доложил о готовности. Рубанюк, уже давно недосыпавший и поэтому несколько раздражённый, буркнул:

— Долго копаются. Пятнадцати минут достаточно.

— Потом будет и пятнадцать, — откликнулся Каладзе. — Опыт надо.

Машины шли в полной темноте, строго соблюдая светомаскировку. В километре от села, в густых посадках, колонну всё же пришлось рассредоточить и замаскировать. Над дорогой назойливо кружил самолёт.

Вокруг Рубанюка и Каладзе собрались командиры батальонов.

— Как дальше обстановка для нас сложится, неизвестно, — сказал Рубанюк. — Людям поспать и поесть нужно. Давай, Каладзе, такую команду.

Атамась, не мешкая, быстро появился с едой для своего командира.

— Кто со мной ужинать? — спросил Рубанюк. — Могу предложить рыбные консервы, лучок есть.

— Скромно командир полка у нас питается, — сказал Яскин. — Фашистское офицерьё деликатесы лопает — французские, голландские, норвежские...

— Пускай лопают, — сказал Рубанюк. — Им это нехорошо отрыгнётся. А мы своё, честное... Так прошу, товарищи командиры, — повторил он.

— А мы свои харчишки притащим, — сказал за всех Лукьянович. — В компании аппетит лучше играет.

Каладзе вскрыл финским ножом банки, нарезал хлеба. Попробовав рыбу, он пренебрежительно отозвался:

— Нет, кацо, это вата, а не рыба... Я бы вот мариновал... С перцем...

Ели, перекидываясь скупыми фразами.

От проходившей мимо группки бойцов отделилась невысокая фигура, остановилась в нескольких шагах. Потом женский голос грубовато спросил:

— Эй вы, под машиной! Поесть чего-нибудь нету? Проголодались, как собаки.

Это была Татаринцева. Яскин подозвал её и предложил коробку консервов, хлеб. Взяв и даже не посмотрев, кто угощает, она направилась обратно к бойцам и крикнула в темноту:

— А ну, ребята, кто тут есть хотел? Давай нож! Вот чёрт, сапога своего не найду.

— Где же ты его посеяла? — спросил мальчишеский ломкий голос.

— Выдали сорок второй размер. Начали бомбить, побежала, он где-то остался.

— Возьми мой, — пробасили в темноте. — У меня сорок пятый.

Лицо Рубанюка залила краска. Татаринцева была единственной женщиной в полку. В её нарочито грубом голосе, панибратском отношении к бойцам можно было усмотреть лишь единственное желание — не выделяться среди них, казаться «свойской».

— Как же это получается? — сказал Рубанюк, обращаясь к командирам. — Беспризорничает у нас жена Татаринцева? Неудобно, есть просит.

Он встал и окликнул Татаринцеву, разговаривавшую со своими спутниками.

Алла подошла. Узнав командира полка, она смутилась:

— Это вы, товарищ подполковник?

— Почему бойцы голодны? Ведь выдали каждому на руки.

— Говорят, давно поели, товарищ подполковник. Ребята молодые, здоровые.

— А вы?

— Я сыта, спасибо. Для ребят просила. Ну, я пойду, товарищ подполковник.

Спустя полчаса Рубанюка разыскал офицер связи из штаба армии. Он достал карту, осветил её карманным фонариком и вкратце познакомил Рубанюка с обстановкой.

Главные силы противника двигались в направлении Терновки, которая была захвачена накануне. Контратака результатов не дала. Из Краснополка гитлеровцев удалось выбить, однако пленные показали, что с утра будет предпринято новое наступление не только на Краснополк, но и из Ладыженки на Голованевку.

Штаб армии приказывал Рубанюку достичь дорожного перекрёстка западнее Коржева и задерживать головной отряд гитлеровцев до последней возможности.

...Свою группу Рубанюк выбросил из леса к перекрёстку дорог с такой стремительностью, что фашисты не успели даже развернуть походную колонну для отражения атаки. С ходу налетев на головной вражеский отряд, полк разгромил его полностью. При неожиданном появлении красноармейцев гитлеровцы ринулись назад, начали разбегаться по полю. Лишь немногим офицерам и солдатам удалось ускользнуть.

Полк оседлал перекрёсток и окопался. Около десяти часов передовые части 1-й горно-стрелковой дивизии противника безуспешно пытались очистить дорогу. К вечеру, перебросив сюда силы с других участков, они предприняли атаку при поддержке танков и самолётов, но полк уже ушёл в леса.

Подвижная группа Рубанюка появлялась в самых неожиданных для врага местах. Ей довелось драться под Шукай-Вода и Рыжевкой, ликвидировать прорыв около Люшневатой, держать переправу у Покатилова.

Однако захватчики теснили советские части к Умани, настойчиво стараясь окружить и уничтожить их.

Тридцать первого июля полк Рубанюка, понёсший немалые потери, был отведен за Умань и после короткой передышки направлен к Кировограду.

Советское командование отводило силы к Днепру, готовя здесь оборону левобережной Украины.

XX

Татаринцева похоронили на светлой, весёлой полянке, под тремя соснами. Лёгкий ветерок доносил сюда из чащи сладкий запах опавших листьев, чуть заметно шевелил ветви клёна. Долго сидели у свежего земляного холмика. Домбровецкий молча обтёсывал из дерева немецким штыком незамысловатый памятник с пятиконечной звездой наверху.

Настроение у всех было подавленное, особенно потому, что состояние здоровья Брусникина вызывало большие опасения. Он метался в жару, вены на его шее вздулись. Все надежды теперь были на крестьянина из Большой Грушевки, который обещал устроить Брусникина в безопасное место.

Крестьянин пришёл незадолго до наступления сумерек. Он спросил о здоровье Брусникина.

— Спасать надо. Плох, — тихо сказал Петро.

— За мною остановки нету. Место ему у бабки приготовлено. За племянника сойдёт. У ней племяш на дорожных работах где-то. Вот покурю с вами, да можно и в дорогу.

— На фрицев не напоретесь?

— Думка такая, что вроде не должны. Лугом пойдём, оттуда огородами.

Сопровождать Брусникина вызвались Михаил и Мамед.

Перед уходом Ковальчик отвёл Петра в сторону и шопотом сказал:

— До вас дуже одна баба просится. Чтоб с вами вместе до наших пробиваться. Сам я ей на это не рискнул ничего сказать, дай, думаю, хлопцев поспрошу...

— Что за баба?

— С нашего села женщина. Из Большой Грушевки. Нельзя ей с фашистами оставаться. Она депутаткой была, всё время в активе ходила. Большое уважение было ей от своего села.

Петро пообещал посоветоваться с товарищами.

— Но вообще-то, — сказал он, — ей бы не следовало с нами связываться. Путь нам предстоит нелёгкий.

— Она не боязливая, — заверил Ковальчик. — Одному, это хоть кому, итти несподручно, а в компании она обузой не будет.

Михаил отнёсся к ходатайству Ковальчика доброжелательно.

— Пускай идёт! Бельишко постирает, сварит чего нужно... Да и веселее будет.

Вернуться из села надо было ещё затемно, Ковальчик торопил, и поэтому задерживаться не стали.

Петро проводил друзей до опушки. Прикоснувшись губами к влажному, пылавшему лбу Брусникина, он пошёл обратно.

Спал он в эту ночь тревожно. Сквозь дремоту мерещились нарастающий гул танков, стоны товарищей. Петро просыпался, испуганно нащупывал под гимнастёркой полотнище знамени, слушал, как хрипит и бормочет во сне Шумилов, снова забывался.

К утру у него затекла нога, сдавленная сапогом. Он встал, прошёл несколько шагов, прихрамывая.

В лесу стоял разноголосый птичий гомон. Сквозь освежённые росой ветви пробивались багряные лучи. Высоко над верхушками деревьев резвились горлицы. Трепещущие

их крылья казались вылитыми из червонного золота, и Петро, подняв голову, долго смотрел на птиц.

Внезапно возникшая мысль смутила его покой. Он подумал о том, что всё, чем так сказочно богат и невыразимо красив этот тихий лес, стало добычей врага: тёмная резьба листьев, шуршащая под ногами рыжая хвоя, тёплый ароматный воздух между бронзовыми стволами, скромные цветы у полуистлевших пней.

Петро шагнул по росистой траве, обессиленно опустился на землю. Ему и его друзьям довелось ходить по родной земле озираясь, говорить шопотом, опасаться тёмного куста, человечьего голоса!

В тот момент, как Петро думал об этом, в отдалении послышался хруст суховершника. Звуки доносились не с той стороны, откуда должны были вернуться Михаил и Мамед.

Петро торопливо разбудил спящих:

— Не копайтесь!

Он схватил винтовку, приготовил гранату.

Однако тревога оказалась напрасной. Ещё издали Петро узнал голос Михаила, затем услыхал возглас Тахтасимова.

Вместе с ними подошла женщина. Лицо её показалось Петру знакомым, и он старался вспомнить, где раньше её видел.

— Хлебнули мы, — сказал Михаил устало. — Дважды думали, — каюк нашему Митрофану. Садились, пережидали. К утру только добрались до села.

— А потом заблудились, — добавил Мамед.

Михаил сел на землю, стянул сапог; покачивая головой, осмотрел растёртые пальцы ног. Потом кивнул в сторону женщины:

— Узнаёшь? Помнишь, стервятник грохнулся? Она хотела лётчика растерзать.

Женщина смотрела на Петра с насмешливо-выжидательной улыбкой. Это она шла в потоке беженцев, с узелком в руке, покрытая чистым накрахмаленным платочком. Она и теперь была всё такая же аккуратная и свежая, точно сейчас только вышла из хаты и позади не было страшной дороги отступления.

— Как же, помню! Сердитая, — с улыбкой сказал Петро.

— Сердитые собаки бывают, — ответила женщина. — С чего это взяли, что я такая?

— Ух, строгая! — втягивая голову в плечи, сказал Мамед. — Глазом посмотрит — твой глаз закрываться хочет...

Петро расспросил Михаила о том, как удалось устроить Брусникина, посоветовал ему и Мамеду поспать с тем, чтобы к вечеру можно было двинуться в сторону Умани. Сам он с Шумиловым пошёл по воду, а Домбровецкому велел собрать хворост для костра.

Через двадцать минут они вернулись с полными котелками чистой пресной воды.

Женщина сидела на пне, задумавшись. Петро сказал ей:

— Кухарить теперь и тебе придётся. Как величать?

— Наталья.

— Не боишься с нами итти? Ведь наше дело военное.

— У каждого теперь дело военное.

Наталья подняла на него чистые, как родниковая вода, глаза и произнесла с лёгким упреком:

— А с кем мне быть? С фашистами погаными?

— Что верно, то верно. Земляк твой говорил, что ты депутатом была?

— Была. Да это ни при чём.

Наталья шевельнула бровями и решительно поднялась:

— Ну, показывай хозяйство, чашки-ложки. Там харчей трошки принесли. Итти, видать, нам не близко. Дуже наши герои поспешают уматывать.

Она скинула косынку, проворными движениями поправила косу, закрученную на затылке, и снова повязалась. Не спрашивая Петра больше ни о чём, разобрала скудные продуктовые запасы, навела порядок около треноги с подвешенным котелком, помогла уложить дорожные мешки.

— Надо бы договориться на тот случай, если кто отстанет, — сказала она Петру.

— А ты не отставай. Справок тебе в лесу никто никаких не даст.

— Я не про себя. У Мишки вон нога растёртая. Надо помалу итти.

— Ничего с ногой не случится, — откликнулся Михаил. — Я тряпочкой перевязал, довезёт...

Перед уходом все подошли к могиле Татаринцева, постояли у неё несколько минут в глубоком молчании.

— Вернёмся, мы ему хороший памятник здесь поставим, — сказал Петро. — Он его заслужил.

Михаил сломал большую ветку боярышника и бережно положил её на холмик.

— Пошли, — произнёс Петро и, вскинув мешок за плечи, шагнул по узенькой лесной тропинке.

XXI

За четверо суток они, блуждая по незнакомой местности, успели сделать не больше тридцати километров.

В первое время Наталья на привалах домовито расстилала плащ-палатку, крупно нарезала ломти пшеничного хлеба, потчевала свиным, в розовых прожилках, салом, молодым луком и чесноком.

Потом продукты, принесённые из села, истощились.

На третий день каждому досталось лишь по небольшому куску чёрствого хлеба.

— Ничего, — утешала Наталья, — картошки на огородах много. Будем позычать [1]...

Но утешение было слабым. Бродить по огородам становилось всё рискованнее: на дорогах шныряли немецкие мотоциклисты и автомашины.

На одном из привалов, когда выяснилось, что в сумке не осталось уже ничего, Павел Шумилов тоскливо произнёс:

— Всё теперь у фрицев. Так они всю страну нашу захватят... Куда мы подадимся?

Загорелое, поросшее светлыми волосами лицо его было мрачно, светлые глаза под лохматыми рыжими бровями глядели на всех зло.

— Павлушка скоро предложит в плен сдаваться, — сказал Михаил, враждебно разглядывая Шумилова. — Хайль, Гитлер! Так, Павка?

— В плен не в плен, а силы у них больше, чем у нас, — ответил Шумилов и вызывающе оглядел товарищей.

Петро с минуту смотрел на него пристально и удивлённо. Потом спокойно спросил:

— В чём это ты, Павел, такую силу у них усмотрел? Что не мы, а они сейчас наступают? Так я тебе вот что скажу. Был у нас в селе такой дед Ступак. Единоличник. Старый, но хитрый, стервец двужильный. Если точнее назвать — кулачок. На эксплоатации сирот выезжал... В селе уже артель организовалась, а Ступак только в самую силу

---

[1] Позычать — занимать (укр.).

вошёл. И племенной скот у него, и наилучшие семена. Под видом культурного хозяина держался. А над артелью посмеивался. Артель, и впрямь, не сразу силу свою развернула. Она только потом миллионером стала. А Ступак? Как он ни хватался за свой единоличный участок, как ни изворачивался, покатился вниз. Хитростью да обманом только и держался... Вот тебе диалектика, Павел... Фашистов судорога схватывает, они знают, что не у них, а у нас будущее. Потому и бросились нам на горло. И по зубам они ещё получат. А ты: «Всю страну захватят!..» Это же фрицы так говорят, а ты, как попугай, за ними.

Шумилов сидел насупившись, но по его лицу Петро заметил, что ему неловко перед товарищами.

«Этот скоро сдаст. Жидкий...» — подумал Петро с тревогой.

Однажды решили устроить ночёвку на берегу небольшой реки, в глухих зарослях белотала и камышей. Уснули все скоро, но среди ночи Петро, проснувшись, долго ворочался с боку на бок, слушал взбудораженное кваканье лягушек, стон выпи. С реки тянуло прохладой, тоненько звенели комары.

Петро думал об Оксане. Сколько таких вот, напоённых тёплыми запахами, летних ночей он мог бы провести с ней, если бы не война! Над Днепром, когда медленно меркнут вечерние краски и вспыхивают на тёмной воде цветные огоньки бакенов, можно было просиживать, плечом к плечу, часами, не замечая времени.

Петро, охваченный острой тоской, встал и, осторожно ступая через спящих, начал спускаться к реке.

С краю, положив под щёку ладонь и накрывшись платочком, спала Наталья. Она застонала во сне и, будто почувствовав чьё-то присутствие, поправила юбку и повернулась на другой бок.

Утром, когда Наталья умывшись в реке, поднималась по песчаному, осыпающемуся под её босыми ногами берегу, Петро столкнулся с ней на тропке и остановился.

— Трудно без хаты, Наталка? — спросил он.

— Разве только одной мне трудно? — сказала она просто.

— За мужем скучаешь?

— Брось ты эти балачки! — вдруг оборвала она его сухо, и в серых глазах её, быстро взглянувших на него, показались слёзы.

Короткий этот разговор вызвал у Натальи какое-то неприязненное чувство против Петра. Она некоторое время сторонилась его, держась ближе к Михаилу и Тахтасимову. Но потом снова подобрела, заставила Петра снять порванную на локте гимнастёрку и зашила её.

Есть было нечего. Мужчины страдали не только от голода, но и от отсутствия табака.

До вечера шли, медленно переставляя ноги, глухим просёлком, мимо жёлтой уже пшеницы, подсолнухов, кукурузы.

— Вон к тем молодайкам надо подкатиться, — показал Михаил рукой.

Возле маленького хуторка, затерявшегося между перелесками, на огороде работали две женщины. Петро передал Михаилу свою винтовку и направился к ним. Минут через двадцать он вернулся злой и расстроенный.

— Дела наши незавидные, ребята, — сказал он. — Если бабы не врут, немцы уже за Днепром. Комендантов кругом понаставили, полицию. Бабы даже хлеб отказались вынесть. Боятся.

— От вредные какие люди, — пробурчала Наталья. — Брешут... Хоть бы и полиция... Куска хлеба им жалко.

Она быстрым движением поправила на голове платок, намереваясь итти к хуторянам, но в этот момент из-за крайних хат вынеслись два мотоциклиста и с треском помчались по пыльной дороге к бугру с двумя ветряками.

Петро огляделся по сторонам. Верстах в трёх синел по горизонту лес, к нему вела колея, заросшая молочаем, полынью, диким горошком.

— Вон туда нам нужно подаваться, — сказал он. — Спокойнее. А главное, немцы не скоро там появятся.

Предположения его оказались правильными. Лес был глухой, высокий; остаток дня они шли чуть приметной, неезженной дорогой, не встретив ни души. Передохнули и, как только забрезжил рассвет, двинулись дальше.

Через полтора километра Шумилов наткнулся на винтовку, брошенную под молодыми дубками. В её запылённом магазине было три нерасстрелянных патрона, и Петро, повертев её в руках, зло сказал:

— Попался бы мне этот вояка...

— Он, небось, уже давно у фрицев в плену, — откликнулся Михаил.

Молча перебинтовав ногу, он пошёл дальше босой, перекинув через плечо сапоги, связанные за ушки.

Они продолжали свой путь хмурые, раздражённые. Мамед попробовал свернуть цыгарку из сухих листьев, затянулся. Сплюнув, он бросил самокрутку в кусты.

Через час они вышли на поляну, в глубине которой стояла крытая свежей соломой хата с выкрашенными синькой ставнями. За плетнём сверкали росой кусты крыжовника и смородины, виднелись золотые шляпки поздних подсолнухов. В углу двора стоял колодец, в просветах между деревьями желтели два ряда ульев.

Час был ранний. В тени ещё стояла прохлада. Понизу клубился туман.

— Значит, с медком позавтракаем, — Михаил оживился и шагнул к двору.

— Поперед батька в пекло не суйся, — сказал Петро, придержав его за рукав. — Надо разузнать, что к чему. О мёде потом...

Он поправил на плече винтовочный ремень и, оставив товарищей скрытыми за густой листвой, вошёл во двор. У порога, около отшлифованного ногами камня, валялись старые грабли, поблескивало лезвие прислонённой к крылечку косы.

Во дворе никого не было, и Петро уже взялся за щеколду, но в этот момент послышался чей-то натужный кашель и стук молотка.

Петро обогнул угол. Высокий, костлявый старик в домотканных шароварах и такой же сорочке, стянутой на морщинистой шее бечёвкой, сидел на земле, широко раскинув ноги с босыми ступнями кофейного цвета, сколачивая какой-то ящик.

— Доброго ранку, диду! — поздоровался Петро.

Дед медленно повернул голову, уставился равнодушным взглядом на его небритое почерневшее лицо и, ничего не ответив, снова принялся стучать молотком.

— Вы глухой, диду? — повысил голос Петро. — Здравствуйте, говорю.

— Ну, здравствуй, — нехотя ответил старик. — Та що з того?

— Вы ось що скажите. Немцев близко нету?

Старик вколотил в сосновую планку последний шип, прижмурив левый глаз, оглядел в вытянутой руке свою работу и только после этого поднялся, став вдруг на две головы выше Петра. По его безучастному лицу было видно, что он и не собирается отвечать.

— Вам що, диду, уши позакладало, що вы мовчыте? — начиная злиться, громко произнёс Петро.

— Иды соби с богом, хлопче, — с открытой угрозой в голосе произнёс старик и принялся собирать раскиданный по траве инструмент. — Хочешь до германца в плен, шукай, наверно, найдёшь...

Он закашлялся и, когда кашель прошёл, закричал так, что глаза его наполнились слезами:

— Вы ридну Украину продаете, с-сукины сыны! Вы дитей и батькив своих продаете! Ступай геть звидциля, не мотайся по-пид ногами, чуешь?

Не дав Петру промолвить ни слова, он направился к хате, бросив инструмент под крылечко.

— Эге, диду! — сказал Петро, идя следом. — Я вижу, вы меня за дезертира приняли...

Старик упрямо молчал, но Петро, не смущаясь его злым видом, принялся рассказывать, кто он и куда идёт. Старик смотрел на него недоверчиво, исподлобья.

— Тут вчера трое таких же вот молодых барбосов зашло, — сказал он хмуро. — Медку, хлеба попросили, а потом признались: так, мол, и так, войско наше конченное, Москву не сегодня, так на неделе заберут. Пойдём до германцев, нехай и нас заберут...

Лицо старика стало багровым от гнева.

— Ну, а тут их не было ещё? — допытывался Петро.

Старик стоял с поднятой кверху бородой и глядел на кучевые облака.

— Бог миловал. Не було. А дальше не знаю... Ты правду говоришь? К своим идёшь?

— А зачем мне неправду говорить?

Старик раздобрился, пригласил Петра в хату, вынес из чулана большую миску с сотовым мёдом. Петро отодвинул ложку, сказал:

— Я, диду, не один. Со мной ещё пятеро. За мёд спасибо, а только нам бы немножко харчей и дорогу на Умань узнать. Это и вся наша просьба.

— С харчами дело плоховато, — замялся лесник. — Пару хлебин дам, медку можно глечик, а больше, извиняйте, нету...

Он пошёл в чулан, вынес две большие, испеченные на капустных листьях ковриги хлеба.

— Это дочка приносит. Она в Велико-Спасовке, с му-

жем своим там. Як шо денёк можете переждать, Гаврюшка, внук мой, завтра щэ прынэсэ.

— Не терпится скорей до своих добраться. Да и опасно... Не застукали бы нас тут.

— Места у нас таки есть, ниякый чорт не найдэ. А завтра прикажу Гаврюшке, на дорогу вин вас выведэ.

Петро, обдумав предложение деда, решил, что с проводником будет вернее.

Старик надел соломенную шляпу, прихватил костыль и повёл Петра за хату. Вскоре он выбрался к поросшей молодым дубняком и орешником лощине. Здесь, действительно, было так тихо, что Петро уже без опаски привёл сюда товарищей. Перекусив и разостлав палатки, тотчас же залегли спать.

К утру похолодало. Петро начал натягивать на себя край палатки, под которой спал вместе с Михаилом. Осторожный хруст валежника заставил его вскочить.

В нескольких шагах маячил в предутреннем сумраке силуэт человека. Вглядевшись, Петро узнал старика.

— Вы что? — хриплым со сна голосом тревожно спросил он.

— Вставайте, хлопцы, — негромко сказал лесник. — Прийдэться ховать вас у другому мисци.

— Что такое?

— Германцы с пулемётами та с собаками в лису... Як бы не було биды...

Петро растолкал Михаила, тот — остальных. Через минуту собрались.

— Голоса не подавайте, держитесь за мной, — сказал дед и пошёл, щупая землю костылём.

Он пробирался уверенно, ныряя под ветви, взбираясь по буграм, усыпанным скользкой хвоей. В двух местах пришлось переходить через лесные речушки.

В лесу, ронявшем с ветвей капельки росы, было так хорошо, что Петру казалось странным и это бегство, и учащённое дыхание товарищей, и тревожный шелест листьев под ногами.

В небольшой лощинке Наталья поскользнулась и чуть не упала. Петро успел поддержать её за локоть, но Наталья оттолкнула его руку и, прибавив шагу, пошла впереди рядом со стариком.

Вскоре они подошли к узкому, заросшему древним мхом оврагу.

— Туточки пережидайте, — сказал старик. — Тем же манером, когда надо, выведу. Або мальчонку пришлю.

Задерживаться он не стал и, раздвигая костылём ветви, бесшумно исчез.

В овраге пахло гнилью, сыростью и было так глухо, что, казалось, никакой звук сюда не достигнет.

Однако не прошло и часа, как Мамед, настороженно вытянув голову, спросил:

— Слышите?

Издалека, приглушённый расстоянием и деревьями, донёсся собачий лай, затем, одна за другой, прозвучали автоматные очереди.

— Чем мы не зайцы? — пошутил Михаил.

Увидев, что Мамед проверяет свою гранату, он последовал его примеру.

Домбровецкий подошёл к Петру. Твёрдо глядя ему в глаза, он сказал:

— Дуже прошу дать какое-нибудь оружие...

Петро достал и протянул ему пистолет.

Собачий лай то приближался, то удалялся. Прозвучало ещё несколько очередей и одиночных выстрелов, и всё смолкло.

Ждали старика с вестями, но он не являлся. Не пришёл никто и позже, хотя по солнцу можно было определить, что время подходит к полудню.

— Рискнём! — сказал Михаил. — Что здесь торчать?

— А и правда! — поддержала его Наталья. — Может, дед и до завтра не вернётся.

Петро посмотрел на Михаила, обвёл взглядом остальных. Ему и самому надоело ждать.

— Пошли!

С дороги, по которой так уверенно и быстро вёл их старик, они сбились сразу. Бродили долго, наощупь. Даже здесь, под деревьями, было душно и жарко, пот слепил глаза.

— А ну, постойте, — сказала Наталья, останавливаясь. — Чуете, горелым пахнет?..

Сейчас, когда она это сказала, все ощутили запах гари.

Убавив шаг, они пошли на запах, который с каждой минутой становился всё более едким и тяжёлым.

Неожиданно, как и вчера, расступились деревья. Показалась поляна.

Хаты лесника не было. Закопчённые глиняные стены с торчащим дымоходом, чёрные от пламени кусты вокруг

пожарища, покорёженные подсолнухи — всё это мало походило на тот весёлый, цветущий уголок, которому они так обрадовались вчера.

Ещё дымились остатки стропил, тлело что-то внутри хаты. Половина ульев была опрокинута.

Все мрачно смотрели на руины.

— Деда увели, наверно, — сказал Михаил. — Самим теперь придётся дорогу искать.

Он сказал то, что было в мыслях у каждого, но на него посмотрели с недовольством. Беда, разразившаяся над старым лесником, была слишком велика, чтобы можно было сейчас говорить о себе.

XXII

Налёт гитлеровского карательного отряда на хату лесника очень затруднил положение Петра и его спутников. Они лишились надёжного, знающего здешние места проводника. Стало также очевидным, что оккупанты прочёсывают свои тылы. Теперь пробираться к линии фронта будет ещё тяжелее и опаснее.

Михаил опустился на траву.

— Будем держаться восточного направления, — сказал он, напряжённо улыбаясь. — Удастся ружьишком побаловаться около фрицев, — побалуемся. Когда-нибудь доберёмся.

— Они тебя побалуют, — хмуро и строго сказал Шумилов. — Поймают, увидят, что с оружием, вздёрнут на осине... и не пикнешь.

— А ты, Мамед, что скажешь на это? — спросил Михаил Тахтасимова.

Тот угрюмо глядел, как Домбровецкий прикреплял куском телефонного провода оторвавшуюся от ботинка подмётку.

— Покурить бы! — сказал, не поворачивая головы, Мамед.

Петро нащупал на дне кармана заветный кулёчек с махоркой. Ему самому хотелось затянуться пахучим, бодрящим дымком. «Подожду, ещё придёт час, когда нужней будет», — подумал он, глотая вязкую слюну.

— Погляжу я на вас, хлопцы, — сказала Наталья громко, — кислые вы. Ей-богу, мне, бабе, и то за вас стыдно.

Петро оглянулся. Наталья, держась пальцами за кончики своего платка, смотрела на Петра вызывающе.

— А что, неправда? — пренебрежительно усмехнулась она. — Павлушка уже винтовки своей стал бояться.

— Правильно, Наталья, — похвалил Петро. — Правильная самокритика!

— Вы гляньте! Откуда он, бесёнок, вылупился? — воскликнула вдруг Наталья, глянув вверх.

С огромного, многолетнего дуба, стоявшего поодаль, молча спускался вихрастый паренёк. Он добрался до нижнего сука, на мгновение повис и, поболтав ногами, спрыгнул на землю.

— Ты откуда такой прикомандировался? — спросил его Петро.

Паренёк подтянул штанишки, взглянул на Петра снизу вверх голубыми глазами.

— С дуба.

— Чего ты на дуб забрался?

— От германцев. Я и от деда туда прячусь, когда надо.

— Значит, ты Андрюшка и есть.

— Гаврюшка, а не Андрюшка.

Паренёк доверчиво, без тени смущения, смотрел на незнакомого дядьку в красноармейской пилотке. На худеньких щеках паренька засохли грязные следы слёз, руки были испещрены многочисленными царапинами.

Его обступили. Наталья с нескрываемым восхищением ласково воскликнула:

— Глянь, какой шустрый, чертёнок!

Гаврюшка даже не удостоил её взглядом. Он пытливо осматривал винтовку Петра, пятиконечные звёзды на пилотках:

— Вы и есть те самые красные армейцы? Это вас дедка велел проводить на Умань? Да?

Петро присел на корточки. Вихрастый чубик, бледные, по-детски пухлые губы... Когда меньшой братишка Сашко̀ разговаривал со взрослыми, у него губы оттопыривались точно так же.

— А ты чего плакал, оголец? — спросил Михаил, садясь рядом.

— Я не оголец, а Гаврюшка, — терпеливо поправил паренёк. — Дедкину хату спалили, потому и плакал.

Он всхлипнул коротко, без слёз.

— И ты видел, как они палили?

— Ага.

Гаврюшка, шмыгая носом и проглатывая слова, торопливо начал выкладывать:

— Они пришли, а дедка до вас ходил... Потом они его спросили, а он ругался... Он серди-и-и-тый, наш дедка... Тогда один ка-а-а-ак ударит его, а дедка — его... Тогда дедку схватили, а один хату запалил...

— А ты сидел на дубе и плакал?

— Ага. Дедку было жалко... И хату... Дедку они с собой повели... Он ругался... А они смеялись...

— Ну, а дорогу на Умань знаешь, Гаврюша?

— Ага. Я вас доведу, только... чтоб солдат этих, германских, побить. Вы их не боитесь? Нет?

Петро кинул многозначительный взгляд в сторону Шумилова:

— Как, Павел, боимся? Разъясни ребёнку.

— Ладно, ладно, — угрюмо буркнул Шумилов. — Давайте не терять времени...

Гаврюшка шагал впереди с такой уверенностью, что все, глядя на его вихрастый затылок и мелькающие крепкие ноги, одобрительно переглядывались. Михаил хромал позади, опираясь на вырезанную для него Домбровецким палку, и время от времени молил:

— Скажите, пусть так не летит... Отстану!

Солнце палило нещадно, пробиваясь сквозь сплетение ветвей. Спустя часа полтора Гаврюшка, миновав оставшееся слева село, вывел их к просеке и остановился. Он подождал, пока подошли Михаил и Наталья.

— Вот так, — видимо, подражая деду, степенно принялся объяснять мальчик. — Пойдёте прямо, верстов три, потом будет большая сосна. Она одна там. От сосны возьмёте направо и никуда не свертайте, пока не выйдете на сошу... Та соша и идёт на Умань.

Он попрощался со всеми за руку, отошёл несколько шагов и пустился бежать вприпрыжку.

Сосну разыскали часа через полтора. Петро предложил, не задерживаясь, двигаться дальше, но Наталья зароптала.

— Рад, что сам здоров, как бугай, — накинулась она на Петра. — Ты на Мишку погляди! Из последних сил выбился... Пошагай, как он, на одной ноге, узнаешь...

Михаил и в самом деле выбился из сил. Он молча лежал на траве, недвижно уставившись в небо и тяжело дыша.

Когда стемнело, Шумилов улёгся рядом с Мамедом и долго ворочался, вздыхая. Перед рассветом Наталья, проснувшись раньше всех, увидела, что место, где он лежал, было пусто.

Она растолкала Петра.

— Вставай, Павел ушёл...

— Винтовку оставил? — с неожиданным спокойствием осведомился Петро.

— Сейчас погляжу... Это не его?

— Моя, — откликнулся Мамед.

— Моя со мной, не галдите, — сказал из темноты негромко Шумилов. Он подошёл ближе и произнёс ещё тише: — Разговаривают где-то недалеко. Я уже час слушаю. И моторы гудели.

Он осторожно, стараясь не производить шума, сел.

— Вот послухайте...

Молча сидели несколько минут. Но в лесу были слышны лишь посвистыванье пташек, шорох в верхушках деревьев.

— Трусоват ты, Павел, — сказал беззлобно Михаил.

— Ну, что я, стану выдумывать? — обиделся Шумилов.

Позже, когда рассвело и они двинулись дальше, Шумилов, шагая рядом с Петром, сказал грустно:

— Ты вот зря серчаешь на меня. Знаешь, как жить хочется!

— А мне, думаешь, жить не хочется? Мишке, Мамеду, не хочется? Только вопрос, как жить. Под сапогом у фашиста? Какое же это житьё?

Внезапно совсем близко впереди два голоса с сильным немецким акцентом крикнули:

— Русс, останавлифайся!

— Бросай финтовку! Шнель! Быстро!

Автоматная очередь полоснула в тишине и эхом отдалась в деревьях.

— Ложись! — крикнул Петро, срывая с плеча винтовку. — Засада... Отползай...

Он успел заметить, как Домбровецкий, шедший впереди, выхватил пистолет и, не целясь, выстрелил несколько раз в чащу. Тахтасимов, отбежав к кустам, палил в том же направлении.

— Отползай! — крикнул Петро Михаилу и пригнул голову от близкого выстрела Шумилова.

Тотчас же сзади, шагах в тридцати, затрещало несколько автоматов. Наталья кинулась в сторону и скрылась в кустарнике.

Шумилов, лежа рядом с Петром, быстро перезарядил винтовку. Он бил в чащу раз за разом.

Домбровецкий вдруг странно дёрнулся и, ломая кусты боярышника, упал.

— Беги,— крикнул Петру Шумилов, не поворачивая головы.— Я их задержу...

По выстрелам и отрывистым злым возгласам Петро заключил, что гитлеровцев немало. Мамед и Михаил уже отползли в чащу. Домбровецкий не шевелился.

— Давай в лес, Шумилов! — приказал Петро.

Броском он достиг кустов, затем, петляя и сгоряча натыкаясь на ветки, побежал в глубину леса. Его подстёгивали резкие окрики сзади, частые разрозненные выстрелы.

У яблони-дичка он заметил Наталью, вытиравшую на щеке кровь.

XXIII

Село Белозерье прижалось к лесу. У жёлто-зелёного ельника, сразу же за неглубоким оврагом, густо поросшим травой и белыми цветками, отсвечивали на закате медным блеском окна хаток.

Петро с Натальей пришли в Белозерье перед вечером. Прежде чем войти в село, они постояли у крайних от леса тополей с чёрными грачиными гнёздами.

На большом ровном выгоне с криком гонялись друг за другом мальчишки, в овраге паслись рыжие телята. Ни телефонных проводов, ни серых или пятнистых закамуфлированных машин, на которых ездили фашисты, видно не было.

— Кажется, на ночлег мы тут устроимся,— сказал Петро.

— Должны бы....

Позади осталось много исхоженных дорог и тропинок Киевщины, десятки сёл, лесов и деревушек. В Вишнеполе, подле Умани, Петро раздобыл у сапожника-инвалида поношенные штаны и пиджак, переоделся. Его не оставляла мысль о том, что где-то в лесах есть партизаны и он их разыщет. Держать при себе оружие было опасно, однако Петро, отдав сапожнику свою винтовку, подобрал на дороге

совершенно исправный пистолет и носил его под рубахой, за поясом. Давно не бритый, почерневший, он казался пожилым крестьянином, обременённым какими-то хозяйственными заботами.

Время от времени, прячась даже от Натальи, Петро извлекал из-под сорочки знамя, разворачивал. Это знамя, спасённое от врага, было для Петра символом советской власти, свободы, непоколебимости и стойкости. Оно словно вело его через все испытания и опасности к своей родине, к своей армии. Шёлк его, без бахромы, споротой Петром ещё раньше, потускнел, пропитался пòтом, и Петро раздумывал о том, что теперь не каждый догадается, какую святыню хранит на груди бородатый крестьянин.

Он снова бережно складывал полотнище и, спрятав его, шёл к своей спутнице.

Наталья похудела, тоненькие бороздки прорезали её лоб, под глазами легли коричневые тени, но она была всё такая же бодрая, чистая. Она ухитрялась и в трудных условиях скитаний тщательно следить за собой.

Постояв минут пятнадцать и окончательно убедившись, что оккупантов в селе нет, Петро ещё раз сказал:

— Здесь сегодня и заночуем, Наталка.

К оврагу ковыляла, помахивая хворостиной, старуха. Она остановилась, приложив руку к глазам, посмотрела на Петра и Наталью и похромала дальше. Длинная косая тень прыгала за ней по зелёной мураве.

Когда бабка, найдя свою телушку, погнала её домой, Петро подошёл. Бабка оказалась бойкой и словоохотливой. Петро узнал у неё, что гитлеровцы в селе стоять опасаются, а наезжают почти каждый день.

— Ну, а людей не трогают? — спросил Петро.— Не забирают, не казнят?

— Пока бог миловал. Не казнят... А курей, считай, сынок, что их не осталось в селе. Увидят курку, кидаются на неё пять-шесть барбосов... Пока не поймают, покою им, гыцелям, нету...

Старуха, забыв о тёлке, подперла ладонью сморщенную, как дубовая кора, щёку:

— Такие они ненаедливые, весь продукт забирают, жрут, скажи, как никогда не ели. Тьфу, прости господи! Тесто в деже подходит, солдата с ружьём становят. Как испечётся хлеб, оставят одну хлебину, остальное, ну, чисто забирают...

Все эти повадки фашистских захватчиков были Петру давно известны по рассказам жителей, и он, не дослушав, спросил:

— Переночевать у вас, бабуня, не найдётся где? Я не один. С жинкой. Идём в Смелу, до её родителей...

— Невестку мою спросить надо. Мы с ней живём. Сынок мой, Павлушка, на войну ещё спервоначалу забран... Спросим Харитину, места, славу богу, хватит. Хата большая.

Петро подозвал Наталью. Они пошли следом за бабкой.

Харитина, темнобровая, черноокая молодица, маленькая и щупленькая, как подросток, доила корову. Проходя к дому с подойником, она недружелюбно покосилась на чужих людей, сидевших на завалинке, и не промолвила ни слова.

В открытое окно было слышно, как она ответила свекрови:

— Староста приказал без его дозволения никого не пускать. Вы что, мамо, не знаете?

Наталья пошла в хату, что-то ей сказала. И снова Харитина ответила коротко и неприветливо:

— Если кто нарвётся, вас заберут, и нам тут не оставаться.

Женщины разговаривали приглушёнными голосами ещё о чём-то, Петро уже собрался итти пытать счастье в соседний двор, но Наталья высунулась из окна и позвала его в хату.

— Пустить переночевать не жалко,— мельком взглянув на него, повторила Харитина.— А если наскочат, как тогда?

— Ночью они не припрутся,— вставила бабка.

— А до света мы дальше пойдём,— заверил Петро.

Наталья решительно развязала платок, принялась помогать по хозяйству. Спустя короткое время она уже сдружилась с Харитиной. Тайком от Петра Наталья призналась хозяйке, что она не жена Петру, что идут они не в Смелу, а к фронту, мечтая пробиться к своим. Узнав, что муж Натальи тоже находится в Красной Армии, Харитина подобрела.

Петро сидел около дверей на лавке, разглядывал расписанную цветочками и петушками печь, рушники из сурового домотканного полотна. Всё напоминало родную хату, и Петро с волнением подумал о том, что Чистая Криница сейчас совсем недалеко.

— Далеко от вас до Днепра? — спросил он хозяйку.

— Считали двадцать, а сейчас двадцать пять, — ответила старуха.

— Как это?

— Приезжал землемер, пять вёрст накинул, чтоб он сказился...

Петро молча прикидывал в уме, потом снова спросил:

— А довелось, хозяюшка, видеть — не проходили через ваше село молодые ребята? Один — узбек, чернявый... другой — белобрысый, нога у него натёрта... Хромал, словом...

— И-и! Сколько тут народу прошло, разве всех упомнишь! И татар, и грузин... А один шёл, как его... азербажанец. В плен их гнали. А он идёт и песню спивает. Ну, чисто, как по-мёртвому. Стою, слухаю, тело терпнет от страха.

— Много народу прошло? — спросил Петро.

— Тыщи. И в плен гнали, и такие, как от вы, с окружения.

Петро метнул взгляд на Наталью.

— Почему думаете, что мы из окружения?

Наталья лепила у стола вареники с творогом. Почесав тылом ладони переносицу, она сказала с усмешкой:

— Ей доверять можно. У неё самой муж в Червоной Армии.

Петро укоризненно покачал головой и машинально потрогал полотнище знамени на груди.

После ужина старуха постлала постель в чистой половине хаты на двоих. Наталья пошушукалась с Харитиной и, внеся в кухню свежей соломы, застелила её сверху рядном и бросила подушку.

— Что ж ты, милая? — удивилась старуха.— Или поругались?

— Нехай один поспит,— ответила Наталья.— Он вдвоём не любит.

Она блеснула на Петра глазами и легонько вытолкнула его из кухни.

Чуть свет старуха подняла всех. Поблагодарив хозяев и взяв на дорогу узелок с харчами, Наталья и Петро тронулись в путь.

Харитина вышла проводить их на край села. Она объяснила, как надо итти, чтобы миновать населённые пункты.

Утро разгуливалось ясное, тёплое. Алый и золотистый

свет переливался на востоке. Только крупная роса на листьях придорожной кукурузы была холодной.

Перезрелый, склонившийся хлеб никто не убирал, и лишь кое-где на жнивье стояли маленькие, жалкие кресты. Пустая, безлюдная степь в горячую пору жнив рождала тоску, едкую горечь.

— Хорошо было б на партизан наткнуться! — вслух мечтал Петро.

— На кого-нибудь наткнёмся. На партизан либо на фрицев.

Справа от них синела в утренней дымке каёмка леса, и думалось,— там обязательно должны быть свои, может быть — Михаил, Тахтасимов, Шумилов.

К востоку часто шли на большой высоте вражеские бомбардировщики, резво вились вокруг них истребители. Гул их был особенно зловещ в это сверкающее, радостное утро, но Петро утешал себя тем, что до фронта остаётся итти всё меньше.

Около полудня послышались далёкие раскаты. Петро обрадованно сказал:

— Чуешь, Наталка? Это же дальнобойная...

Он пошёл медленнее, напряжённо вслушиваясь. Горьким было его разочарование, когда где-то за лесом уже явственно прогрохотал гром и мигнула из тёмной тучи молния.

В воздухе парило. Возбуждённо заливались перепела: «Пи-ить-пить! Пи-ить-пить!»

— Гроза будет,— сказала Наталья.— Давай искать какую ни на есть крышу.

Небо, ясноголубое на западе и на юге, всё больше затягивало с севера чёрной тучей. Петро заметил в конце бахчи сторожевой курень.

Решили переждать непогоду в нём.

Едва они успели укрыться под толстый, надёжный накат из подсолнечных бодыльев и травы, как зашуршали первые крупные капли. Снова, теперь уже над головой, покатился по степи звучными перекатами гром, пустился ливень. Меж плетями дынь и арбузов потекли мутные, испещрённые пузырьками ручейки.

— Укладывайся спать, Петро,— сказала Наталья.— Это не на час и не на два.

Она сгребла сухую траву. Опустив на глаза платочек, легла и сладко зевнула.

Дождь затих было, а затем пустился ещё сильнее.

Петру не спалось.

— Разве думал я когда-нибудь,— сказал он,— что мне доведётся вот так лежать в чужом курене, с чужой женой? Ты спишь, Наталка?

Наталья долго молчала, потом с глухой тоской сказала:

— Я б ничего не хотела, лишь бы жить, как жила до войны... Считай, что пропал мой бабий век. Пять лет прожила с человеком ладно, честно. Это не пять месяцев. А теперь?.. Навряд ли и встретимся с ним. Я знаю, как жить сиротой, вот так и вдовой...

Она надвинула платок ниже на лицо, замолчала.

Дождь перестал только перед вечером. Медленно блекли в сине-багровых полосах очертания свинцовых облаков. На межи склонились мокрые хлеба и подсолнухи.

Наталья проснулась, выглянула из куреня.

— Придётся до утра переждать,— пробормотала она сонным, тёплым голосом.

Она закинула руки за голову и впервые за всё время сказала с обидой:

— Есть же бабы, живут дома, при своём хозяйстве...

— А ты не завидуй, Наталка,— сказал Петро.— Кончится война, никто глаза тебе колоть не будет, что согласилась совесть свою выменять на спокойное житьё.

Она ничего не ответила. Петро закрыл глаза. В памяти его возникли слова оксаниной прощальной записки. Он вспоминал о ней теперь всё чаще, всегда, как только подступала тоска: «Знай, что всегда с тобою в беде твоя Оксана... Она любит тебя больше всего на свете, больше, чем себя...» Петро задерживался на этой фразе, ещё и ещё раз повторял её. Потом мысленно, останавливаясь на каждом слове, он читал дальше: «Клянусь ждать тебя с любовью и верностью...»

Вдумываясь в смысл этой клятвы, Петро каждый раз испытывал всё более сильное чувство благодарности и любви к Оксане. И сейчас он ещё раз мысленно твердил себе, что никогда никто не сможет разлучить его с Оксаной, какое бы расстояние их ни разделяло.

Наталья прервала его размышления коротким негромким смешком.

— Ты чего? — спросил Петро.

— Так, ничего... Подумала об чём-то.

— О чём?

— Глупые думки... Ну, всё равно, скажу...

Наталья доверчиво придвинулась к Петру. Приподняв платок, она, насмешливо поблескивая в мягком полусумраке глазами, проговорила:

— Мало кто поверит нам, Петро, что идём вот сколько уже вместе, спим, мужем, женой назвались — и до греха себя не допустили...

«Это не тоска, а молодая бабья кровь заговорила», — подумал Петро и чуть отодвинулся от жарких, пахнущих дождём и мятой натальиных губ. Но Наталья, не заметив его движения, положила ладонь ему на плечо.

— Почему не поверят? — спросил Петро.

— У нас в селе молодая баба одна есть, Олька. Муж у неё бригадиром. Хороший, уважительный был. За Олькой этой он лучше родной матери ходил. Взяли его на войну, так, поверишь, она через два дня начала до трактористов в поле бегать... Это как, красиво? А разве одна такая, как Олька? Вот и нет теперь к нам доверия, через таких...

— Ну, а муж твой тебе верит? — спросил Петро.

— Меня мой знает,— быстро, с гордостью ответила Наталья.— Ему если бы кто и натрепал про меня, он бы его разодрал. Вот так, одной ногой наступил бы...

Ей, видимо, были приятны воспоминания о муже, и она оживилась.

— Мы с Василём почти два с половиной года гуляли, пока поженились,— продолжала она мечтательно.— Поверишь или нет,— поцеловал он меня первый раз через год после того, как узнали один другого. Потому, что любил, уважение у него большое было.

— Мы с Оксаной три года ждали друг друга,— сказал Петро. — Поженились, а на следующий день пришлось расстаться.

— Ты веришь ей? Будет она блюсти себя?

— Верю!

— Если Оксана тебя любит, верь ей,— горячо сказала Наталья.— Да никогда она не дозволит никому и притронуться. Ей ничего не надо, только бы ты с нею был. По себе знаю... Мой Василь, мы ещё неженатыми были, год на курсах учился. За меня сватались хлопцы и красивей его, и похозяйновитей, словом, хорошие женихи. Всем отказала. Они вроде мне и не хлопцы...

— Ну, а если мужа не встретишь? — сказал, помолчав минуту, Петро.

— Если он живой останется, найдём один другого, а если нету его, такая моя судьба. Буду одна доживать.

Наталья убрала руку с плеча Петра.

— Хорошая ты!—сказал Петро.—У меня Оксана такая. Вот прогоним врага, кончится война, вам с моей женой обязательно познакомиться надо. Вы будете друзьями, я вижу.

Волнуемые общим чувством тоски по дому, Петро и Наталья ещё долго разговаривали о близких людях.

XXIV

Ранним утром они покинули курень и вышли на дорогу. В колеях блестела вода. Вдоль просёлка тихо журчали мутные, с грязной пеной, ручьи. Воздух был чист и прозрачен. Дышалось легко, как после купанья.

Часа через полтора Наталья увидела на опушке перелеска вражеских солдат. Испуганно присев за высокие стволы подсолнухов, она потянула за собой и Петра.

Должно быть, это была какая-то тыловая часть. Мимо кустов, на которых было развешано сохнущее на солнце обмундирование и бельё, бродили раздетые до пояса немцы. Дымили в кустарнике походные кухни, ржали лошади.

Петро и Наталья, пригибаясь, пробежали по рядам подсолнухов к дальнему участку кукурузы.

— Мы, как сурки. Есть и... нету,— тяжело дыша и улыбаясь, шопотом сказал Петро.— Нехай попробуют по полю погоняться...

Он нащупал под взмокшей сорочкой пистолет и осторожно высунул голову. Невдалеке переливался золотом большой клин некошеной пшеницы. Петро кивком позвал Наталью за собой.

Пробираться дальше было всё труднее. С приближением к фронту чаще попадались гитлеровские солдаты, мотоциклисты, машины. Вскоре явственно послышалось глухое ворчанье орудийной канонады. В небе завязывались воздушные бои.

Петро не представлял себе, как им удастся перейти линию фронта, которая вдобавок проходила как раз по берегу Днепра. Временами ему казалось, что это будет совсем невозможно, но он не показывал своих сомнений, шутил, смеялся.

Однажды, стремясь пробраться сквозь заросли молодого дубняка к густому хвойному лесу, они неожиданно наткнулись на разбитый вездеход. Тяжёлая, неуклюжая

машина, судя по всему, недавно подорвалась на мине. Под левой гусеницей, застрявшей на обочине дороги, зияла воронка. Вокруг валялись глыбы сухой земли.

Борт машины был снесён взрывной волной, и Петро, разглядывая машину, издали заметил рассыпанные буханки хлеба, консервные банки.

— Ловко напоролись,— с весёлым злорадством сказал он.— Пока суд да дело, мы с тобой, Наталка, харчишек раздобыли...

Он огляделся по сторонам и побежал зарослями к вездеходу. Уже в нескольких шагах от машины Петро заметил на земле трупы двух гитлеровских солдат. Они лежали рядом, на положенной кем-то подстилке. У одного из них была размозжена голова. Другой лежал с неестественно подогнутой рукой; на мертвенно-жёлтых пальцах его блестела засохшая кровь.

С омерзением обходя трупы, Петро не заметил дремавшего около машины часового. Здоровенный, с густыми палевыми веснушками на красных упитанных щеках, он встал из-за машины так неожиданно, что Петро даже не успел выхватить пистолет.

Фашист броском настиг Петра, схватил его за ворот пиджака и легко швырнул на землю. Петро, падая, ударился теменем о что-то тупое и твёрдое. Он хотел подняться, но солдат ткнул его в бок рукояткой автомата и наступил тяжёлым кованым башмаком на ноги.

И вдруг чьи-то пальцы цепко обхватили шею солдата и рывком запрокинули его голову назад. Не ожидая нападения сзади, гитлеровец потерял равновесие и рухнул вместе с вцепившейся в него Натальей. Он успел дать короткую очередь из автомата, но Наталья вырвала у него оружие. Глухо мыча и отворачивая голову от сильных по-мужски пальцев Натальи, солдат сучил ногами.

Петро вскочил с земли и, преодолевая острую боль в затылке, кинулся на помощь к Наталье. Вытащив пистолет, он выстрелил в часового.

Топот заставил их обернуться. Прыжками к машине приближался, размахивая парабеллумом, унтер-офицер. Сзади бежало около десятка солдат с автоматами.

— Ложись! — хрипло крикнул Петро Наталье и укрылся за корпусом машины. У него в обойме осталось лишь несколько патронов.

Уже слышно было частое дыхание гитлеровцев, звяканье

чего-то металлического, и неожиданно, заглушая всё, пронзительно-резкий, испуганный голос выкрикнул:

— Цурюк! Партизанен... Русс!

В ту же минуту Петро услыхал сзади себя разрозненные выстрелы, свист пуль.

Фашисты, взбудораженно крича и обгоняя друг друга, повернули обратно и рассыпались по кустам.

Петро оглянулся. Два парня били с колена по бегущим гитлеровцам, в двадцати-тридцати шагах за ними подбегало ещё несколько, а дальше, у самого леса, стояло десятка полтора вооружённых людей.

Низенький партизан с длинным лицом и бельмом на глазу подскочил к Петру и свирепо уставился на него:

— Что за человек?

— Не теряй время, Егор! — окликнули его сзади.— Хлеб не будем брать, там что-то другое есть...

Парень с бельмом, которого назвали Егором, только сейчас заметил поднимавшуюся с земли, смертельно напуганную Наталью.

— Ступайте вон туда, к лесу,— крикнул он.— Потом разберёмся.

Оккупанты каждую минуту могли вернуться. Партизаны, зорко наблюдая за кустарником, спешно нагружались консервными банками, бумажными пакетами.

Петро, ещё не опомнившись от всего происшедшего, побрёл к лесу, не разбирая дороги, не замечая, что потерял кепку.

— Дай, кровь тебе вытру,— встревоженно сказала Наталья, догоняя его.— Глянь, как он тебя, холера, украсил...

В лесу их настиг Егор.

— Ну, как, шарики стали на место? Это они ещё мало тебе накостыляли. Всю операцию нам сорвал...

— Какую? — спросил Петро.

— Машину мы с утра поджидали. Тихо хотели, а ты как с цепи сорвался. Откуда это ты со своей бабой вынырнул? Га, бородач?

Петро покосился и сказал сдержанно:

— Старшему вашему доложу. А тебе знать не обязательно. Понял? Есть у вас начальник?

— Ишь, ты, — обиделся Егор. — Секреты держит. Скажи, пожалуйста...

Он недовольно бурчал ещё что-то, но когда Петро, корчась от боли, остановился, Егор взял его под руки и сказал Наталье с грубоватой озабоченностью:

— А ну, бабка, цепляйся за него с другого боку. Видишь, отмолотили как твоего напарника! Как бы гансы вдогонку не кинулись...

Штаб партизан расположился в густой чаще леса. Командир отряда, сидя на траве, беседовал с вернувшимися партизанами. Ему было не более тридцати лет, но густая, видимо, недавно отпущенная бородка, резко очерченные складки на переносице, усталое выражение тёмнокарих глаз старили его.

Егор подошёл вместе с Петром и кратко доложил о встрече с неизвестными людьми. Выслушав его, командир повернулся к Петру и добродушно спросил:

— Как же это, землячок, ты додумался один на один с немцами воевать? Если б случайно не подоспели ребята, вряд ли дышать тебе воздухом.

Петро коротко, опуская подробности, рассказал о своих странствованиях, о желании перебраться через линию фронта. О знамени он промолчал.

— Стало быть, пулемётчик? — теребя бородку, переспросил командир.

— Да, на войне стал пулемётчиком.

— Коммунист?

— Член партии с тысяча девятьсот тридцать восьмого года.

— Партбилет уничтожил?

— Нет, зачем уничтожил. При себе.

— Покажи.

Петро сделал движение, но замялся в нерешительности. Документы он наглухо зашил в сорочке. Достать их можно было лишь скинув её и показав спрятанное на груди знамя.

— Партбилет я предъявлю,— сказал он,— а только мне надо знать,— вы тоже коммунист?

— Коммунист.

— Председатель райисполкома,— подсказал Егор.

— Тогда пообещайте, что поможете пробиться к частям Красной Армии,— сказал Петро.— А партбилет я покажу. Далеко спрятан...

Командир отряда достал коробку папирос. Угостив Петра, он твёрдо сказал:

— Останешься у нас. Здесь работы для пулемётчика не меньше, чем в армии.

— Я не могу остаться.

Брови командира поднялись.

— Заставим в партийном порядке.

— Разрешите наедине сказать, почему не могу остаться?..

— У него секреты,— усмехнулся Егор, но, следуя кивку командира, неохотно поднялся и ушёл.

Петро рассказал о смерти Татаринцева, о знамени, которое он взял на сохранение.

— За то, что сохранили святыню полка, молодцы! — одобрил командир.— Мы его вручим красноармейской части. Связь у нас с тем берегом скоро будет.

— Нет, я его сам должен доставить,— решительно возразил Петро.— Я такую клятву над могилой дал.

Он упорно стоял на своём, и командир, сделав еще несколько попыток уговорить его, недовольно махнул рукой:

— Вижу, упрямый у твоего батька сын! Перебраться через Днепр поможем, а ты пока хлопцев подучи. Пулемёты у нас уже есть.

Остаток августа Петро пробыл в отряде. Он охотно учил молодых парней пулемётному делу, сам дважды участвовал с «максимом» в разведке.

Наталья приняла на себя обязанности кухарки. Дальше ей некуда и незачем было итти. Она была среди своих людей, не пожелавших покориться оккупантам.

— Их и буду держаться! — сказала она Петру.

Как-то поздно вечером Петра позвал к себе командир отряда. Пряча улыбку в бороду, он спросил:

— Говорят, передумал, землячок? Остаёшься?

— Вы же знаете... Должен итти.

— Тогда готовься. С тобой ещё один человек пойдёт. Иди, отдыхай, переправа будет. Тяжёлая переправа, предупреждаю... Завтра ночью.

* * *

В ночь на 5 сентября Петро и Егор, которому поручили доставить важные материалы советскому командованию, добрались к густым зарослям над Днепром.

До полуночи с обеих сторон реки били орудия, миномёты. Около правого берега от ракет было светло, как днём.

— Ты добре плаваешь? — шопотом спросил Петро.

— А ты не бубни, лежи тишком,— так же шопотом ответил Егор и с иронией в голосе добавил: — Вырос на Днепре и чтоб плавать не умел? Чудак ты, парень. Ты ещё так умеешь ли,— вопрос.

— Я тоже на Днепре вырос.

— Ну, и радуйся.

Егор ворочал головой по сторонам, напряжённо вслушивался в плеск воды, в шорох камышей и осоки.

Петро лежал молча. Он думал о том, что за короткое время успел привязаться к партизанам. Командир на прощанье ничего не сказал ему, только крепко пожал руку. Петро понял, что командир завидовал ему. Наталья пошла проводить до первого поста часовых. Она всплакнула, крепко поцеловала Петра в губы и долго потом смотрела ему вслед.

Погрузившись в воспоминания, Петро не сразу откликнулся на сердитый шопот Егора:

— Давай тихонько... Не шелести...

Егор, осторожно раздвигая заросли, пополз на четвереньках к яру.

Уже около самой воды Петро увидел лодку и незнакомого деда с вёслами. Он молча влез за Егором в лодку.

Канонада смолкла, только через одинаковые интервалы времени били пулемёты с вражеской стороны. Когда выстрелы прекратились, слышно было, как плескалась вода по бортам и жалобно попискивали потревоженные рыбалки.

До середины реки они доплыли быстро, и Петро даже подумал о том, каким нетрудным и простым делом оказалось пересечь последний рубеж, который отделял его от заветной цели.

Но потом лодку начало сносить сильным течением, болтать из стороны в сторону, и Петро с Егором по очереди садились на вёсла помогать деду.

Ослепительно яркий свет ракеты, вспыхнувший над ними внезапно, заставил пригнуться всех троих. Ракета висела прямо над лодкой, заливая голубоватым, дрожащим светом реку, и у Петра появилось такое ощущение, словно чьи-то незримые руки связали его и сотни глаз смотрят из темноты на его беспомощное состояние.

— Сейчас дадут жару! — громко и зло сказал Егор, косясь на ракету.

— Не доплыть нам, раз увидели...— откликнулся старик.

Петро взглянул на него. Это был совсем старенький рыбак, с глубоко запавшими глазами и тонкими сухими губами, еле заметными в дремучей поросли рыжевато белой бороды.

Дед поплевал на ладони, приналёг на вёсла, обдавая парней холодными брызгами и опасливо поглядывая на ракету.

В небе взвился ещё один светящийся шар, чуть подальше — другой. И одновременно с берега зачастил крупнокалиберный пулемёт.

Гитлеровцы стреляли по лодке. С левого берега ответили сперва ружейным огнём, затем в пальбу ввязались пушки.

Петро с бьющимся сердцем, боясь оглянуться назад, смотрел прямо перед собой, силясь разглядеть за чёрными валунами колышущейся воды очертания берега.

— Греби дюжей! — выкрикнул Егор.— Стервы! Пустят на дно.

— А ты не лайся,— строго осадил его дед.— Нельзя лаяться, раз при смерти мы.

Петро услыхал приближающийся резкий свист, и почти тотчас же его сильно ударило в спину, жгучей болью пронзило правую ногу.

Мина угодила в нос лодки. Тотчас же в чёлн хлынула вода. Петро успел заметить, как старик, медленно склонившись над бортом, мягко погрузился в речную волну.

— Сигай! — крикнул Егор и первым вывалился за борт.

Петро прыгнул. Прохладная вода освежила его и уменьшила боль. Как в густом чёрном тумане, видел он то исчезавшую, то появлявшуюся над гребнями волн голову Егора и старался держаться ближе около него.

Доплыл он до берега почти в беспамятстве. ,

— Он кровью истёк. Гляньте, холодный,— произнёс чей-то хриплый голос.

— В ногу попало... Не видишь, что со штаниной?

— Кличьте санинструктора! Да живей шевелись! — приказывал властный голос.

Петро с трудом поднял веки и сдул воду с губ.

— Позовите... командира...

Кто-то, дыша в его лицо табачным перегаром, склонился.

— Есть командир. Я.

Петро вглядывался.

Перед глазами все двоилось, плыло, колебалось. Петро помнил, что надо, обязательно надо сказать о спрятанном на груди знамени, о полке Рубанюка. Что будет, если он умрёт, а командир не поймёт, что это боевое знамя?!.

Петро напряг все силы, пытаясь заговорить, но губы его чуть шевельнулись. Густой клубящийся мрак застелил его глаза...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

В Чистой Кринице за первые две недели войны почти не осталось молодых мужчин. Тоскливо и тревожно было в пустых хатах, молодёжь не гомонила уже по вечерам на дубках, под плетнями. По селу бродили зловещие слухи — о переодетых в красноармейскую и милицейскую форму фашистах, которые шныряют по всей округе и тайком составляют чёрные списки советских активистов, о парашютистах, якобы пойманных во ржи, за Долгуновской балкой.

В селе, по указанию районных властей, был создан из мужчин непризывного возраста истребительный батальон. Командовать им поручили почтарю Малынцу, и тот, весьма этим польщённый, с рвением взялся за дело. Он нацепил на себя ремень с портупеей, парусиновую сумку военного образца. Тоненький, бабий голос его приобрел властность.

В число «истребителей» записался было и Остап Григорьевич Рубанюк. Но тут как раз начали созревать фрукты, и он всё время пропадал в саду, наведываясь в село лишь за харчами.

После того как Петро уехал на фронт, Остап Григорьевич с каждым днём становился всё сумрачнее и озабоченнее.

Однажды ранним летним вечером пришла проведать Рубанюков Пелагея Девятко. С тех пор, как свадьба Оксаны и Петра породнила её с Катериной Федосеевной, она частенько забегала к сватам. Семья ужинала на дворе, рассевшись у порога на низеньких скамеечках. Медленно меркли на западе облака, пламенели оконца хаты.

— Вечерять, сваха, садитесь с нами,— пригласила Катерина Федосеевна. — Василина, дай стул.

Пелагея Исидоровна поблагодарила, но отказалась и присела на завалинке чуть в сторонке, чтобы не мешать людям.

— Огурцов, сваха, много солите нынешний год? — вяло спросила она, положив на колени большие рабочие ладони.

— Две кадки всего,— откликнулась Катерина Федосеевна.— У нас и семья-то...

— Как бы всё добро не довелось кидать,— сказал Остап Григорьевич, нахмурившись.— Чего насаливать, если всем селом, может, придётся эвакуироваться.

— Неужели, сват, придётся? — тревожно спросила Пелагея Исидоровна.

— Слыхали, как гады с народом обращаются?

— Не приведи господи!..

Минуты две был слышен стук деревянных ложек о миску, аппетитное чавканье Сашка́. Потом Пелагея Исидоровна опять повторила:

— Не дай и не приведи боже на чужой хлеб переходить... Может, бог милует, обойдётся? Бабе Харитыне видение было... Вроде чёрный петух бился с красным. И красный должен добить чёрного через сорок пять дней и сорок пять ночей...

По лицу Пелагеи Исидоровны было видно, что она глубоко верит бабкиному предсказанию. Но Остап Григорьевич так насмешливо шевельнул бровями и поджал губы, что Пелагея Исидоровна растерялась и поспешила перевести разговор на другое:

— Оксана наша мудрует. Не хвалилась вам? Одно заладила — отпустите на войну.

— Не на войну, — мягко возразила Катерина Федосеевна. — В лазарет, милосердною сестрой.

— А хотя бы и в лазарет, сваха? Я ей не дозволяю. Тут она при матери, при батьке. Нехай дожидается своего...

— А я такой думки: пускай едет, — с неожиданной решительностью отозвался Остап Григорьевич. — Её дело молодое. Науки докторские проходила, соблюдает себя. Уважительная. При лазарете такие нужны.

— Ой, лышенько! — воскликнула Пелагея Исидоровна. — Что вы, сват, толкуете? Подастся на чужие люди, одна... Приедет ваш Петро, что мы ему скажем?

Закуривая после ужина, Остап Григорьевич задумчиво, как бы про себя, сказал:

— Не только Оксану, а и Василину, Настю вашу, если, упаси бог, вражина перейдёт Днепр, отправлять надо подальше. Гансы до дивчат охочие. Это я по прошлому знаю... — И, снова нахмурившись, добавил: — Да и не одним дивчатам, а и нам, старым, не пристало оставаться...

Это решение окрепло у Остапа Григорьевича ещё больше, когда неожиданно приехала на следующий день жена Ивана — Шура с ребёнком.

Добралась она до Чистой Криницы на попутной подводе, изголодавшаяся, оборванная, измученная.

Остап Григорьевич сперва даже разочаровался, увидав старшую невестку. Втайне он представлял её важной, дородной: как-никак, жена подполковника! Ему до сих пор помнилась супруга полкового командира Фельштинского, которую он мельком видел под Бродами в пятнадцатом году. Носила полковничиха длинное шёлковое платье, шляпу с чёрными перьями, перчатки почти до локтей.

Александра Семёновна, двадцатишестилетняя женщина, удивила Остапа Григорьевича своей внешней простотой. Маленькая и худенькая, в простеньком красном сарафане в белую крапинку, который она достала из узелка, она походила на девушку-подростка. Даже каштановые волосы, заплетённые в тугие косички, с бантом, были уложены на затылке так, как это обычно делают ученицы старшего класса. Лишь печально-серьёзные светлокарие глаза невестки да неглубокие морщины у губ и в уголках возле глаз несколько старили её.

Александра Семёновна до глубокой ночи проговорила со стариками об Иване, о пережитом во время эвакуации. Слушая её рассказы о горящих эшелонах с женщинами и детьми, о лютой расправе над семьями командиров, которые не успели уйти и попали в руки фашистов, Катерина Федосеевна не раз всплакнула, а Остап Григорьевич молча думал: «Вывезу своих, не дам издеваться над ними».

Перед тем как ложиться спать, он сказал:

— Может, и не дойдёт до нас беда, а мешочки в дорогу готовь, стара...

Назавтра Александра Семёновна поднялась до света, одновременно со свекровью, по-бабьи повязалась платком и принялась помогать по хозяйству.

Она убирала, чистила картошку, стирала так ловко и умело, так охотно бралась за любую, даже грязную ра-

боту, что Катерина Федосеевна сказала мужу в обед с нескрываемым восхищением:

— Ну, за такой жинкой Иван бедовать никогда не будет. Глянь, вроде она весь свой век около селянской работы. А сама же учительша.

— Я уже поглядел, — ласково и весело отозвался Остап Григорьевич. — Не крутихвостка. Иван знал, кого брал.

Но особенную радость старикам и Василинке доставил двухлетний Витька. С серыми отцовскими глазёнками и курчавыми волосами, непоседливый, он принёс с собой в хату столько шума, смеха, сколько и троим ребятишкам было бы не под силу учинить. Он мигом ознакомился со двором, забрался в скотный сарай, с восторженным визгом кинулся к цыплячьему выводку. Василинка, хохоча, водворила его в хату, а через несколько минут его светловолосая головка мелькала уже в соседнем дворе, подле поросят.

Домашние хлопоты несколько отвлекли Александру Семёновну от тяжёлых воспоминаний. Но по вечерам её охватывала тоска по мужу, и она не знала, куда себя девать.

Вскоре она близко сдружилась с Оксаной, и ей стало легче. Оксана приходила каждый вечер, и они вдвоём часами просиживали в палисаднике или над Днепром.

Однако вынужденное безделье стало для Оксаны невыносимым. Мысль о фронте, о работе в госпитале всё более овладевала ею. Оксана съездила в Богодаровку, в военкомат, побывала в здравотделе и добилась того, что в Чистой Кринице открыли краткосрочные курсы медсестёр. На курсы вместе с Оксаной стала ходить и Александра Семёновна.

Как-то днём складывали в стога сено за Холодным озером.

На лугу были одни бабы и дивчата. Оксана, вдвоём с женой бригадира Горбаня, белобрысой Варварой, вершила уже первый стог, когда подошла с вилами на плече Нюська. С преднамеренной холодностью оглядела она красную кофточку и коротенькую чёрную юбку, не закрывавшую поцарапанных осокой колен Оксаны, и колко проговорила:

— Как приехала невестка, так ты и зачванилась? Старые подружки стали тебе неинтересными?

— Не дури. Ты же знаешь, почему не захожу.

— Из-за Олексы?

— Ты же знаешь.

— Напрасно. Он из головы выкинул тебя.

— Если б так, я чаще заходила б.

Оксана посмотрела на подругу и улыбнулась. Нюська уже примирительно сказала:

— До дому вместе пойдём. Добре?

Вечером, побывав у Нюськи, Оксана поняла, что Алексей не выкинул из головы мысли о ней. Он входил и выходил из комнаты, делая вид, что присутствие Оксаны его ни в какой степени не занимает. Он даже ни разу не заговорил с ней, и именно это-то больше всего и насторожило её.

И действительно, когда Оксана, спохватившись, что темнеет, собралась домой, Алексей догнал её за воротами и пошёл рядом.

— Как живёшь? — спросил он, заметно волнуясь.

— Живу, как и все.

— От Петра писем нету?

— Что ты! Он только недавно уехал.

Алексей прошёл ещё немного и сразу охрипшим голосом спросил:

— Если не вернётся Петро, пойдёшь за меня? Я тебя ничем попрекать не буду.

— Где твоя совесть, Олекса? — не замедляя шагу, с гневным удивлением спросила Оксана.

— А чего я такого сказал?

— Заладил одно, даже слушать не хочется. Петро на фронте, так ты этим думаешь воспользоваться? И не совестно?

— Я уже про совесть давно забыл, — с мрачной улыбкой произнёс Алексей. — С тех пор, как из партии выгнали. А когда Петро приехал, совсем наглым стал. — Он притронулся к рукаву Оксаны и с искренней грустью в голосе добавил: — Ты меня таким сделала.

— Ничего я тебе никогда не обещала. Люблю и буду любить Петра.

Она ускорила шаг. Чувствуя, что Алексей не отстаёт, остановилась и подала ему руку.

— Ну, будь здоров. Мне спешить надо, а тебе тоже зря времени тратить не следует.

После этого разговора Алексей больше её не затрагивал, но каждый раз при виде его Оксана ощущала на себе его пристальные взгляды, и потому стала избегать встречи с ним даже на людях.

II

В конце первой недели июля в Чистую Криницу приехал секретарь райкома Бутенко. Полдня он пробыл в сельсовете и колхозном правлении, а перед вечером пошёл к Рубанюкам.

По двору лениво бродила наседка с цыплятами, хрюкал где-то в лопухах кабанчик. На кольях садовой ограды сушилось бельё. Рыжая кошка, вперив хищные немигающие глаза в охорашивавшихся воробьёв, замерла, чуть приподняв дрожащую лапку.

Бутенко поднялся по ступенькам крыльца и в сенцах встретил Катерину Федосеевну. Она поздоровалась и извиняющимся тоном сказала:

— Я вас в кухню приглашу, Игнат Семёнович. Мальчик у нас захворал. Невесткин.

— Чем захворал?

— Не определили доктора. Горит весь...

Бутенко зашёл в кухню, сел у стола. Катерина Федосеевна смела фартуком хлебные крошки и присела напротив.

— Может, молочка холодного с погреба принести? — предложила она, сочувственно глядя в усталое лицо гостя.

Бутенко очень изменился с тех пор, как Катерина Федосеевна видела его последний раз, перед свадьбой Петра. Нос его заострился, щёки ввалились, потемнели. Разговаривая, он отвечал через силу.

— А вы не прихворнули часом? — участливо спросила Катерина Федосеевна.

— Нет. Просто не спал... Вот уже четвёртые сутки.

— Я вам постелю в садочке. Пока старый придёт, поспите.

— Если лягу, до утра не добудитесь. А мне к вечеру в Сапуновку надо. Вот молока выпью с удовольствием.

— А старый вам дуже нужен? Я Сашка́ пошлю.

— Пошлите.

Остап Григорьевич пришёл и принёс решето с крупной пунцовой черешней. Бутенко крепко спал за столом, уронив голову на руки. Но проснулся он быстро.

— Пойдём по саду пройдёмся, — сказал он Остапу Григорьевичу.

Около старой яблони Бутенко спросил тихо и значительно:

— Выступление товарища Сталина третьего июля слышал?

— Слыхать не слыхал — радио у нас сейчас нету. А в газетке читал. Как же!

— Думал над тем, что сказано?

Остап Григорьевич сдвинул мохнатые, густые брови и ответил не сразу. То, что сам секретарь райкома не посчитался со временем и приехал потолковать об этом, обязывало ко многому.

Остап Григорьевич застегнул зачем-то верхнюю пуговицу пиджака, скользнул пальцами по усам да так и застыл с поднятой рукой у сжатых губ.

— Скот угонять надо, — сказал Бутенко, — жечь, уничтожать всё добро надо. И о себе самих давай разговор вести.

— Аккурат и я хотел говорить об этом, — вставил Остап Григорьевич.

Катерина Федосеевна несколько раз пробегала по двору, поглядывая через тын в садок: Бутенко и Остап Григорьевич всё сидели под яблоней, курили.

От наблюдательной Катерины Федосеевны не утаилось, что разговор между секретарём райкома и её стариком был очень бурным. Бутенко горячо уговаривал Остапа Григорьевича в чём-то, тот отказывался, решительно и энергично отмахивался руками, а потом, как показалось Катерине Федосеевне, даже заплакал.

Это было настолько необычно и непонятно, что Катерина Федосеевна уже не могла заниматься домашними делами. Она без видимой надобности шла к погребу, к сараям — прислушивалась, но Бутенко и Остап Григорьевич вели беседу так тихо, что понять ничего нельзя было.

Проводив Бутенко, старик зашёл проведать внучонка, потом пристроился у лампочки и стал сшивать дратвой василинкин башмак. По нахмуренному, озабоченному лицу мужа Катерина Федосеевна видела, что мысли его поглощены чем-то посторонним.

Позже, когда старик укладывался спать, она не утерпела и спросила:

— Чего приезжал Бутенко?

— О садах толковали...

Катерина Федосеевна мельком взглянула на его лицо. Если уж и ей Остап не доверяет тайны, значит дело идёт о чём-то очень важном. А Катерина Федосеевна по много-

летнему опыту знала, что свои секреты муж умеет хранить, как никто другой.

Она подавила вздох и молча пошла стелить постели.

Однако спать в эту ночь криничанам пришлось недолго. После полуночи улицы и площадь наполнились фырчанием автомашин, громкими голосами. В селе располагалась воинская часть.

К утру в перелеске над Днепром белели армейские палатки, дымились походные кухни. Связисты тянули к школе телефонные провода, в больничном дворе выстроились санитарные машины.

На квартире у Девятко остановился капитан Жаворонков. Он был словоохотлив, весел, шустр; энергия переполняла его так, что он, казалось, никак не успевал растрачивать её, а поэтому постоянно подыскивал себе какое-нибудь дело или хотя бы собеседника. Когда он оставался один, то пел либо насвистывал, а то вдруг начнёт притоптывать сапогами, выбьет чечётку, и, глядь, уже нет в комнате капитана. Он быстро шагает по улице, здороваясь со встречными, охотно заговаривая с теми, кто чем-либо привлёк его внимание.

Заявился он к Девятко с шумом, с прибаутками, подмигнул Настуньке, крепко тряхнул руку Пелагеи Исидоровны. Удовлетворённо оглядел отведённую ему чистую половину хаты.

— Ну, а теперь, Александр Иванович, — сказал он, — скидай свою гимнастёрку, никто тебя, беднягу, не вымоет.

Настунька, повинуясь молчаливому кивку матери, принесла ему чугунок тёплой воды. Жаворонков с искренним удивлением развёл руками.

— Это мне, курносая, столько-то? Как кутёнку? Ты ведёрко тащи, да похолодней. Я, вишь, какой? Крупный.

Он тщательно мылил шею, плечи, волосатую грудь с вытатуированным изображением якоря. Заметив, что Настунька, сливая воду, смущённо отворачивается, он передразнил её, показал язык и, проворно одевшись, ушёл в штаб.

Его, видимо, любили товарищи. Вечером в чистой хате долго гомонили мужские голоса, слышался дружный смех.

Проводив товарищей до ворот, капитан столкнулся в сенцах с Оксаной. Она шла в свою комнатушку.

Жаворонков предупредительно распахнул перед ней дверь и шутливо произнёс:

— Э! Не знал, что ещё и такая дочка есть у моих хозяев!

Он переступил порог и протянул ей руку:

— Жаворонков, Александр Иванович. Бывший моряк. Двадцать шесть лет. Холост... А вас как зовут?

— Оксана.

— Чудесно!.. Не ручаюсь за себя. Влюблюсь!

Оксана промолчала. Она хотела ответить резкостью, но лицо капитана было таким добродушно-весёлым, что нельзя было обидеться.

— Идите спать, товарищ начальник, — сказала она с улыбкой.

— Что вы! Мне говорить хочется.

— Ну, говорите.

— Нет, пожалуй, спать надо. Вставать в четыре...

В семье Девятко быстро привыкли к своему беспокойному, но обходительному квартиранту. Особенно сдружился с капитаном Кузьма Степанович. Жаворонков щедро оделял его новыми газетами, журналами, подолгу беседовал о фронтовых и международных делах.

Потом у капитана установили полевой радиоприёмник, и Жаворонков выкраивал время по утрам, чтобы дать возможность Кузьме Степановичу послушать сводку Информбюро и другие интересные передачи.

Тринадцатого июля, в полдень, капитан выскочил в кухню, где семья Девятко собиралась обедать.

— Важное будут передавать, — воскликнул он. — Идите слушать...

Кузьма Степанович, Оксана, Настунька сгрудились около радиоприёмника, даже Пелагея Исидоровна выглядывала из двери.

По радио передавали текст соглашения с Великобританией о совместных действиях против гитлеровской Германии.

Когда диктор умолк, Жаворонков одобряюще щёлкнул пальцами:

— Поняли? А? Будем дуть фашиста и в хвост и в гриву. Мы — в гриву, англичане — в хвост.

Но Кузьма Степанович восторга не выказал.

— Когда тебя возом придавят, как говорится, — произнёс он флегматично, — ты и меня родным батьком назовёшь...

Поднимаясь и пряча в футляр свои очки, он пояснил:

— Не верю я больше никаким буржуазиям. Раз они не нашего роду, — обманут. Это их теперь припёрло, за нас и хватаются.

Он с охотой остался бы потолковать с капитаном по этому волнующему его вопросу, но торопился в степь.

Хлеба выдались небывалые, особенно озимка. А убирать было некому, да и в обрез осталось горючего для тракторов. На поля выходили школьники, старики. С дальних участков горбаневской бригады домой не возвращались по нескольку дней, работали почти круглые сутки, и всё же не управлялись.

Туда и поехал Кузьма Степанович, запрягши в одноколку старенького маштака. В бригаду он добрался только часам к шести.

Ещё издали Кузьма Степанович с тревогой увидел, что оба комбайна стояли около будки тракториста, люди не работали. Он свернул и поехал напрямик, по стерне, к комбайнам.

Около одного в унылой позе застыл полевод Тягнибеда. Он наблюдал, как Алексей, лёжа на спине и на половину скрывшись под трактором, что-то чинил.

— До Рождества будем косить,— сказал Тягнибеда подошедшему с кнутом в руках председателю. — Пять минут работаем, полдня вот так... Это ж не комбайнеры, а... — Он не договорил и презрительно махнул рукой.

Алексей вылез из-под машины, вытирая паклей руки, и пробурчал:

— В мастерскую надо волокти... Сваривать...

Он уничтожающе смерил взглядом двух пареньков, виновато наблюдавших за механиком.

Впрочем, придираться к пятнадцатилетним подросткам Гришке Кабанцу и Мишке Тягнибеде, племяннику полевода, было бы несправедливо. Посадили их на машины взамен призванных в армию опытных трактористов после пятидневного обучения.

— А другой комбайн? — спросил Кузьма Степанович.

— Тот сейчас пустим, — пообещал Алексей. — Там дела на пять минут.

— Может, Лёша, и этот как-нибудь?.. Помаленьку...

Кузьма Степанович так просяще посмотрел на него, что Алексей только вздохнул и начал что-то обмозговывать. Час спустя работали уже оба комбайна.

III

На следующий день правление колхоза получило приказ угонять скот на Богодаровку и дальше — на Харьков.

Распоряжение это настолько встревожило криничан, что Кузьме Степановичу стоило больших трудов вернуть обратно в поле людей, кинувшихся по домам.

Тревожные и зловещие слухи расползались по селу. Оперативные сводки с каждым днём становились всё более тяжёлыми.

Ещё 1 августа Информбюро сообщало о житомирском направлении, а 2-го появились белоцерковское и коростеньское направления, спустя несколько дней — уманьское. На южном направлении нашими войсками были оставлены города Кировоград и Первомайск. Пал Смоленск.

Капитан Жаворонков почти не появлялся. За селом в сторону Богодаровки и над Днепром усиленно рыли окопы, рубили из брёвен дзоты.

Целыми днями пропадала и Оксана. Она работала в степи, бегала на свои курсы, успевала помогать Рубанюкам ухаживать за больным мальчиком.

Мать несколько раз подмечала, как Оксана о чём-то шушукается с квартирантом, но значения этому не придавала: знала, что дочь лишнего себе не позволит.

Однажды Жаворонков забежал домой за табаком. Оксана проскользнула следом за ним, и через несколько минут они вместе вышли на кухню, к матери.

Пелагея Исидоровна вынимала из печи хлеб. Она повернула на скрип двери раскрасневшееся лицо.

— Ну, мама, — начала неуверенно Оксана, — что я вам скажу... Забирают меня в медсанбат.

— Куда? — не поняла мать.

— В лазарет. Операционной сестрой.

— К нам, мамаша, в часть, — пояснил Жаворонков. — Уже и приказ написан.

Пелагея Исидоровна, осознав, наконец, смысл услышанного, молча всплеснула руками и, закрыв лицо фартуком, заплакала.

— Радоваться, а не лить слёзы надо, — сказал Жаворонков. — У нас она, знаете, какую работу делать будет?

— Теперь уже, мама, назад не попятишься, — сказала Оксана. — Сама просилась, вы не обижайтесь...

Оксана приготовила много веских и убедительных доводов, но мать примирилась с её решением быстрее, чем можно было ожидать. Уже и ей было ясно, что в Чистой Кринице оставаться дочери нельзя; враги захватили Днепропетровск, кто-то говорил, что несколько фашистских разведчиков на мотоциклах появлялись в Богодаровке.

Кузьма Степанович, узнав, что Оксана идёт в армию, опечалился, но сказал твёрдо:

— Правильно, дочка. Как сердце подсказывает, так и делай.

Поздно вечером забежала Нюська. Яков Гайсенко вёз на автомашине в Харьков какие-то ящики из района и согласился взять Нюську; она решила уехать к родной тётке.

— Там в школу лётчиц поступлю, а не удастся — так на завод, — сообщила Нюська.

Она была уже одета в дорогу и очень торопилась. Всплакнув, подруги крепко обнялись, и Оксана, предупредив мать, что заночует у Рубанюков, побежала проводить Нюську.

Ночью донеслись глухие звуки артиллерийской канонады.

Пелагея Исидоровна, выходившая к корове, постояла на крыльце, прижав руки к груди, и послушала. Гул то затихал, то усиливался. Она перекрестилась и, чувствуя, как у неё немеют руки и ноги, побрела в хату будить мужа.

В хате у Рубанюков уснули в эту ночь поздно. Остап Григорьевич улёгся было, но внучонок раскапризничался, и плач его тревожил старика. Накинув на плечи пиджак, он пошёл на чистую половину.

Кризис у ребёнка миновал благополучно. Но Александра Семёновна так извелась за время болезни сынишки, что на неё было жалко глядеть.

— Иди, Саша, поспи, — ласково сказал ей Остап Григорьевич. — Мы со старой побудем около хлопчика.

— Пойдём, родненькая, — предложила Оксана. — Постелим на воздухе около окон. Всё услышим.

В саду, под навесом вишнёвых ветвей, пахло мятой, любистком. Оксана устроила из сухой травы и ряден отличное ложе, взбила подушки и заставила невестку спать.

Сама она забылась не скоро. Её волновали последние вести с фронтов. На людях она держалась бодро; как могла, утешала тех, кто падал духом. А когда ей приходилось оставаться наедине со своими мыслями, тревога охва-

тывала её. «Неужели прахом пойдёт всё, чего добивались, о чём мечтали? — думала она. — Не может быть, чтобы не устояла армия... Теперь каждому из нас за троих работать надо...» Думы её перенеслись на предстоящую работу в медсанбате. Ей становилось страшно при мысли, что она не справится. «Это же за ранеными ходить, а не за больными,— размышляла она.— Кровь, раны... руки опуститься могут... Нет, нет, выдержу... должна...» — убеждала себя Оксана. «А вдруг удастся встретиться где-то с Петром, — подумала она. — Петро одобрил бы, что я решила уехать...»

Задремала Оксана, когда запели первые петухи.

Внезапно она проснулась, как от толчка. Тревожно приподнялась, прислушалась. Погромыхивал вдали гром, шелестели по-осеннему листья. Александра Семёновна крепко спала, по-детски подложив под щёку руку. Но странное предчувствие чего-то тяжёлого и непоправимого заставило беспокойно заколотиться сердце Оксаны.

В тот момент, когда она собиралась встать, в соседнем дворе кто-то настойчиво забарабанил в окно. Оксана вскочила и, путаясь босыми ногами в траве, обжигая их крапивой, побежала к ограде.

Она узнала голос полевода Тягнибеды. Он громко разговаривал с хозяином соседской хаты. Оксана окликнула:

— Дядько Митрофан! Это вы?

— А кто спрашивает? Ты, Василина?

— Оксана.

— Свёкор твой спит? Буди, нехай идут разбирают всё в колхозе и в кооперации. Германцы в Богодаровке.

Оксану словно обожгло. Замирая от страха, она бросилась обратно к хате. Руки её дрожали, лицо горело. Она слышала, как на дальнем краю села гомонили люди, ревела скотина.

Остап Григорьевич уже стоял на пороге в исподнем белье.

— В Богодаровке горит, — показал он рукой на алеющее с северо-запада небо.

— Немцы в Богодаровке, тато! — пугаясь своих слов, со стоном вымолвила Оксана и прислонилась к косяку двери.

Потом она бежала в предрассветной мгле домой и в каждом дворе видела полуодетых людей, всматривавшихся в сторону Богодаровки или метавшихся с узлами по подворью.

Допевали петухи, гасли последние звёзды. По шляху шли и ехали мимо села отступавшие части, беженцы.

Заплаканная Настунька встретила Оксану около ворот.

— Жаворонков только что прибегал, — скороговоркой выпалила она. — Передавал, чтоб сейчас же была в медсанбате. Они уезжают. Немцы в Богодаровке...

И Настунька, повиснув у сестры на шее, заревела во весь голос, причитая по-старушечьи.

— А тато? Вы с матерью как?.. Едете? — тяжело дыша, спрашивала Оксана.

— Мы поздней поедем.

Отца дома не было. Мать помогла собрать в узелок оксанины вещички и, накинув на голову платок, побежала проводить её до больницы.

Ветер гнал по улице пыль, смешанную с соломой. Заглушая канонаду, гремел на северо-западе долгими неровными раскатами гром. Около усадьбы МТС Оксана остановилась, поражённая зрелищем, которое представилось ей. Люди разбивали кувалдами и молотками тракторы, культиваторы, железные бочки — всё, что попадалось им под руки. Алексей, зло поблескивая глазами, крушил ломом мотор у трактора.

— Поездите на нём, бандюги!..

Он был так поглощён своим занятием, что не замечал ни застывшей у ограды с узелком в руках Оксаны, ни подъехавшего на бричке секретаря райкома Бутенко.

Оксана ухватила мать за руку и побежала дальше. Из больничного двора выезжали нагруженные доверху автомашины.

— Ни с отцом, ни со свёкрами не попрощалась, — с горестным вздохом сказала Оксана.

— Кто же знал, доню... — ответила мать дрожащим голосом. — Ты глянь, что по селу делается...

Оксану посадили к себе в машину медсёстры. Мать подала ей узелок и, всхлипывая, не сводя с неё глаз, беззвучно шевелила губами.

Из распахнутых дверей кооперативной лавки, давя и расталкивая встречных, выбирались люди, навьюченные мешками, ящиками, связками обуви, ременной сбруи. Долговязый дед Кабанец и его две снохи волокли большую бочку, то ли с вином, то ли с маслом.

Кабанец, приноровившись, откатил свою добычу в сторонку; оставив возле неё невесток, ринулся обратно к магазину

Почтарь Малынец, видимо, хватил лишку. Пьяно покачиваясь и пуская слюни, он угощал всех папиросами:

— Подходи! Бесплатная угощения... Германец не угостит...

Мимо проехал на своей бричке Бутенко.

— Начальство наше драпает! — крикнул кто-то пьяным голосом вдогонку.

Бутенко обернулся, потом сказал что-то вознице. Бричка круто завернула и подкатила к толпе. Бутенко неторопливо слез, подошёл к группе стариков, которые стояли в сторонке.

— Доброго здоровья, — сказал он громко.

Деды вразнобой откликнулись и выжидательно уставились на него.

— Вы меня не первый день знаете? — спросил Бутенко опять громко.

— Как же!

— Знаем, Игнат Семёнович.

— Так вот, попрошу передать тому дураку, что кричал о начальстве. Вместе строили колхоз? Вместе и фашиста бить будем.

Старики, переглядываясь, молчали. Кто-то смущённо проговорил:

— Дурошлёп — он всегда дурошлёп, Игнат Семёнович.

— Ну, так вот. Не пановать врагам на украинской земле! Это я вам говорю не от себя, — от партии говорю. А пока прощайте, товарищи. Запомните мои слова.

Бутенко, провожаемый молчаливыми взглядами, пошёл к бричке.

Остап Григорьевич в это утро долго стоял на пороге своей хаты, прислушивался к глухим голосам на шляху, к скрипу колёс, гулу машин и думал: «Что же она за сила такая прёт, что сдержать не могут? Пропадёт всё прахом... Фруктов сколько вчера насобирали! Всё сгниёт».

Катерина Федосеевна вышла на крыльцо в одной нижней сорочке, кое-как надев поверх неё юбку. Прерывающимся голосом она сказала:

— Чего же ты молчишь, старый? Узлы вязать?

Остап Григорьевич покосился на её пожелтевшее от страха лицо, ещё раз бросил взгляд на зарево пожара, рдеющее над Богодаровкой.

— Дети и невестка нехай собираются, — приказал он

и, подумав, спохватился: — Постой... Куда же она с хворым мальчиком поедет? Одну Василину собирай.

Толком он и сам не знал сейчас, что нужно делать. Он лишь твёрдо помнил, что ему Бутенко приказал остаться в селе и ждать распоряжений. Василину он отправит, время ещё есть, а жена никуда без него с места не тронется. Проживёт как-нибудь около них и невестка с мальчиком.

Раздумывая над всем этим, Остап Григорьевич вдруг вспомнил, что накануне он наказал садоводческой бригаде быть в саду ещё до света: с уборкой плодов не управлялись.

Он зашёл в хату, надел потёртый будничный пиджак, старые сапоги и вышел во двор.

— Через час-два буду, — кинул он жене.

— Ты что это выдумал, старый? — возмутилась Катерина Федосеевна, заметив, что он берёт вёсла. — В такое время?!

— Сказано, на час, не больше, — миролюбиво отозвался Остап Григорьевич.

— Да кто сейчас про твой сад будет думать? Может, германцы уже там, — гневно кричала обычно добродушная и покорная Катерина Федосеевна. — Сдурел на старости! Не слышишь, как гвалтуется село?!

Но старик уже шагал мимо скотного двора к Днепру.

Над рекой стоял, не рассеиваясь, прозрачно лиловый туман. Было по-осеннему свежо и сыро. Покачивались, плыли по воде редкие опавшие листья, поблескивая, как рыбёшка, своей белоснежной изнанкой. Где-то вдали, за зубчатой каймой сосен-великанов, клубились тёмные тучи, изредка рокотал гром. Но когда Остап Григорьевич, разыскав у покинутого парома лодку, переправился на остров и закрепил у коряги свой чёлн, показалось солнце. Оно появилось как-то необычно: не из-за горизонта, а из груды тёмносиних облаков, и сразу зажгло их, превратило в огненно-рыжие.

Остап Григорьевич, сокращая путь, зашагал по росистой блёклой траве, мимо мокрых кустов крыжовника и малины. Роса уже не просыхала там, где на землю ложились расплывчатые тени листвы. Но в траве ещё горели золотые соцветия запоздалых одуванчиков, красные головки занесённого ветрами лугового клевера, белели лепестки редеющей ромашки.

Остап Григорьевич неторопливо прошёлся по саду, оки-

нул взором груды сложенных с вечера фруктов. Ещё с прошлого года он подумывал об устройстве большой сушилки и переработочного пункта. Остап Григорьевич однажды видел их в колхозе «Сич», на Запорожье, и с тех пор эта мысль не выходила у него из головы.

Вдыхая спиртной запах увядающих листьев, Остап Григорьевич шагал дальше. Он был один среди своих любимых яблонь. Они низко, почти касаясь земли, клонили к ногам старого садовода ветви, отягощённые янтарными шарами плодов, и созревшие яблоки с шорохом падали на землю, будто деревья роняли крупные, редкие слёзы.

Остап Григорьевич поправил три-четыре подпорки, хозяйственно отбросил к куче откатившееся яблоко и вдруг как-то особенно ясно ощутил, что все его труды, заботы уже никому не нужны. Примириться с этим было так тяжко, что старик остановился и беспомощно оглянулся. Да, никто уже не пришёл сегодня, в саду стояла непривычная, кладбищенская тишина.

Остап Григорьевич обессиленно присел на ящик. Из кустов, потягиваясь, выполз пёс Полкан, виляя хвостом, подошёл и положил ему на ногу свою голову. На старой груше сидели, зябко нахохлившись, воробьи. Два или три безостановочно и молчаливо прыгали с ветки на ветку. «Греются», — машинально подумал Остап Григорьевич. И от того, что здесь, в саду, шла своя обычная жизнь, он ещё острее осознал, как грозна беда, ещё тяжелее и горше казалось ему великое несчастье, постигшее его село, всю огромную родную страну. Всё, что было так дорого и близко ему в этом саду: залитые молочным цветеньем яблони, молодые ростки винограда, посаженного в прошлом году, песни женщин, убирающих плоды, — всё это, казалось, безвозвратно ушло, и вскоре, может быть, даже он сам уже не сможет притти сюда, как приходил десять лет изо дня в день и один и с сынами...

Мысль о сыновьях, сражающихся на фронте, приободрила старика. «А разве только молодые да здоровые поднялись против вражины? — раздумывал Остап Григорьевич. — Разве ты, старый, забыл, как патрон вкладывается в русскую трёхлинейку?» Он вспомнил свой разговор с секретарём райкома Бутенко. Не зря партийный руководитель приходил к нему советоваться и приказал ждать; работа, мол, найдётся не только в партизанском отряде... «Нет, не навсегда красноармейцы отходят!»

Остап Григорьевич поднялся с места и, разыскав пустой мешок, начал наполнять его самыми лучшими, отборными яблоками.

Распогодилось. Над садом глубоко синело небо, медленно плыли высоко вверху, как обрывки пряжи, паутинки. Полкан проводил старика до конца сада и отстал, провожая взглядом и помахивая хвостом...

...Оксана уже на выезде из села заметила у дороги, около колхозных посадок, Остапа Григорьевича. Он стоял с обнажённой головой у мешков с яблоками и предлагал их уходившим бойцам:

— Берите, хлопцы, берите!

Машины задержались в общем потоке, и Оксана, привстав, крикнула:

— Тато! Остап Григорьевич!

Старик быстро повёл глазами, увидел её и, суетясь, взялся за один из мешков, намереваясь поднести его к машине. В эту минуту машина тронулась, и Остап Григорьевич, уронив яблоки, закивал Оксане лысой головой.

IV

Подполковник Рубанюк стоял на берегу и смотрел на взбудораженный грозой Днепр.

Иссиня-зелёная ширь клокотала, тяжело вздымались мутные пенистые гребни, обрушивались, вновь закипали, желтели от ярости.

Рубанюка тяготили промокшие гимнастёрка и фуражка. В сырых сапогах хлюпала грязь.

По скрипящему настилу понтонного моста ползли автомашины, грохотали колёса фургонов, гулко стучали копыта лошадей.

Полк переправлялся на левый берег.

Где-то за Днепром снова загремел далёкий, невнятный гром. Рваная сизая туча задевала тёмным крылом водную даль. На горизонте мерцала тонкая зеркально-блестящая полоса.

Взгляд Рубанюка привлекло что-то тёмное, продолговатое, плывшее в нескольких саженях от берега. Рубанюк спустился с пригорка, подошёл к воде. Течением несло труп старика. Мёртвое тело медленно, словно нехотя, повернуло к нему изуродованное лицо с окровавленной бородой...

Сотни обезображенных, исковерканных войной человеческих тел, которые Рубанюку довелось видеть, не вызывали в нём такого чувства, как этот сиротливо-одинокий труп. Может быть, старик ещё вчера мирно сторожил бахчу или рыбачил с внуком под тенью верб... Может быть, такой же участи подвергнется старый батько...

С изумительной чёткостью в памяти Рубанюка предстали вдруг Чистая Криница с тёплым, сухим запахом сосен в прибрежных перелесках, росистые степи, родной двор над Днепром, плетни, утопавшие в крапиве и полыни, босоногий Петяшка, старый отец.

Там сейчас, вероятно, нашла приют и жена с Витькой. Вместе со стариками она переживает тревожные вести с фронта.

Атамась в мокрой, прилипшей к телу гимнастёрке и забрызганных грязью сапогах подошёл к Рубанюку.

— Ну, товарищ пидполковнык, — сообщил он, заговорщицки подмаргивая. — Квартирку я найшов для вас в сели. Дви молодухы, Татьяна и Маша. Там и сметанка будет, и постель пуховая...

Рубанюк посмотрел на него отсутствующим взглядом и рассеянно произнёс:

— Скажи кому-нибудь, пусть деда похоронят. Видишь? Надо могилку вырыть...

Не оглядываясь на подплывший к берегу труп, он, сутулясь, зашагал к мосту.

На левом берегу он опять стоял, молча наблюдая бесконечный поток людей, машин, повозок. Сюда, на переправу, устремились со своим скарбом какие-то предприятия, институты. Люди поглядывали на небо, торопились скорее миновать опасную зону и, выбравшись на левый берег, медленно и устало брели разъезженной лесной дорогой.

Морячок в бушлате и бескозырке, с забинтованной рукой на перевязи, широко расставив ноги, ехал верхом на неведомо где добытом коне. Он с выражением явного превосходства поглядывал на пехотинцев, шагающих по грязи.

— Эй, землячок! — окликнул он усатого, пожилого бойца. — Скат спустил...

Усач посмотрел на свою распустившуюся обмотку. Не найдя, чем ответить на ядовитую шутку, он проводил мо-

рячка обиженным взглядом и, под смешок товарищей, смущённо стал перематывать обмотку.

В сторонке, кое-как замаскированные ветвями, стояли новёхонькие тяжёлые орудия, такие же новые гусеничные тракторы. Их надо было переправить на правый берег, к фронту. Седой полковник, с эмблемами артиллериста на петлицах и с орденом Ленина на груди, ругался невдалеке с комендантом переправы.

— Пойми, голова! — горячился полковник. — Не могу я искать другой переправы.

— Не выдержит, товарищ полковник, — сумрачно отвечал комендант. — И не требуйте. У вас вон какие громадины. Под расстрел не хочу итти.

— Выдержит. По одному — выдержит. Мне — срочно,— то просяще, то грозно произносил полковник, вытирая платком лоб.

— Тогда повремените. Пропущу полк, посмотрим...

Полковник отошёл, стал в двух шагах от Рубанюка, нетерпеливо вертя в руках бинокль.

— Хорошие пушечки везёте, — сказал ему Рубанюк.

Полковник оглянулся, устало махнул рукой:

— Везу вот. А с чем воевать буду? Ни одного метра провода...

Он подошёл к своим тракторам, скользя сапогами по грязи и гневно бормоча что-то.

Рубанюк услышал негромкий девичий смех. Две зенитчицы, подстелив плащ-палатки и свесив ноги в окопчик, ели хлеб с маслом и о чём-то болтали. На бруствере лежали букетики цветов. Девушки были очень молоды, жизнерадостны. Они пересмеивались, но потом, заметив невдалеке хмурого подполковника, заговорили шопотом. Рубанюк, не желая им мешать, пошёл к полковому обозу, который сбился около дороги.

Уже при выходе из села, где предстояло разместиться штабу полка, его встретил немолодой, с седеющими вислыми усами батальонный комиссар. Он сверкал новеньким обмундированием: ремни его поскрипывали при каждом движении, пунцовые звёзды на рукавах гимнастёрки казались чрезмерно яркими.

«На войну, как на парад, собрался, — подумал Рубанюк с неприязнью. — Нюхнёт пороху, не тот будет».

— Прибыл, товарищ Рубанюк, к тебе в полк, — сказал политработник. — Комиссаром. Так что вместе воевать

придётся. Путрев, — назвал он свою фамилию, протягивая руку.

— Вместе, так вместе, — сдержанно ответил Рубанюк.

— Вижу, ты на мой новенький костюмчик косишься? Забрал из дому. Зачем добру пропадать? Мне ведь повезло: в Киеве был, с семьёй повидался...

— Ну, как там? — невольно оживляясь, спросил Рубанюк.

— Настроение боевое. Жизнь течёт нормально. Бомбит, правда, частенько.

Они шли широкой улицей села, запруженной повозками, машинами, походными кухнями. Ветер гнал с неба обрывки туч, шелестел в листьях садов. Около заборов и плетней стояли нерассёдланные лошади, детвора оживлённо сновала между красноармейцами, молодицы, шлёпая босыми ногами, переходили через улицу к колодцу. Набрав воды, они шли, раскачиваясь, ловко перекладывая коромысла с плеча на плечо.

— Кадровый? — спросил Рубанюк, сбоку разглядывая невысокую фигуру Путрева.

— И да, и нет. Призван в тридцать девятом. По мобилизации ЦК. С партийной работы.

— Учился?

— Какая учёба! Полуторамесячные курсы. Потом поход в Западную Украину, финская.

— Побывал на финской?

— Прихватил. После ранения — в политотделе дивизии. Вот и все мои военные академии.

На углу улицы, перед площадью, расположились бойцы из батальона Лукьяновича. За палисадником слышался приглушённый смех. По разговорам можно было догадаться, что бойцы делят на пайки хлеб и сахар.

Красноармеец Терешкин хрипловатым голосом рассуждал:

— К старости у человека в характере все недостатки наружу вылезают. Смолоду вредный или, скажем, жадноватый был, — в летах ещё вредней станет, ещё скупей.

— А вот это ты, Терешкин, брешешь, — откликнулся кто-то.

— Кобель брешет.

— Ни в жизнь не сохранится к старости характер. Натура человеческая, она всё время меняется.

— Ничего не меняется.

— А ты слушай. Вся организма меняется. Как пройдёт двадцать лет, так и кровь совсем другая, и клетки, и кожа.

— Ишь ты! — воскликнул басовитый голос. — Это к старости наш Грива ещё порядочным может стать...

— У Гривы одна туловища заменится. А желудок ему менять никакого расчёта нету. Как же он добавку переваривать будет?

— Мели, Емеля... — беззлобно отозвался Грива.

— Серчаешь? — спросил Терешкин.

— Чего мне серчать?

— Тогда дай табачку свернуть. Я тебе после войны на две завёртки отдам.

— До чужбячку вредно привыкать, а то в старости на даровинку только жить и будешь. Некрасиво...

Путрев слушал словесную перепалку красноармейцев с интересом и одобрением. Люди, судя по всему, были, несмотря на трудный переход, бодры, жизнерадостны, значит, в солдатскую жизнь втянулись и не тяготятся ею.

— В полку крепкие хлопцы, — словно читая мысли комиссара, сказал Рубанюк. — От границы идут. Почти всё время с боями.

— Хорошо старик Державин написал, — ответил Путрев. — Помнишь?

О, Росс!..
По мышцам ты — неутомимый,
По духу ты — непобедимый,
По сердцу — прост, по чувству — добр,
Ты в счастьи тих, в несчастьи бодр...

— Ну, что ж, комиссар. Определяйся на квартиру, разместим людей, потом потолкуем. А если не устал, пройдёмся по батальонам, посмотришь народ и себя покажешь.

— Конечно, пройдёмся.

— Воздух! — крикнул зычный голос откуда-то из-за плетня.

Высоко в небе, вырисовываясь на одиноком розоватом облаке, плыл вражеский разведчик. Открыли огонь зенитки; далеко позади самолёта повисли серые комочки разрывов.

— Эх, стрелки! — безнадёжно махнув рукой, сказал Рубанюк. — Снаряды зря переводят.

— Научатся, подполковник, — ответил Путрев.

V

На левом берегу Днепра спешно производились оборонительные работы. Рубанюк готовил свой участок в двух километрах от села. День и ночь он пропадал там.

Линия фронта приближалась с северо-запада. Ходили тревожные слухи о том, что противник прорвался к Голосеевскому лесу, под Киевом. А здесь было тихо, на полях убирали хлеб, стрекотали молотилки и комбайны.

Рубанюк стоял на квартире в семье председателя колхоза. Хозяин ушёл на фронт месяц назад, всем заправляла его жена — остроязыкая, живая Татьяна с бойкими карими глазами и тяжёлыми косами, небрежно закрученными на затылке. По хозяйству ей помогала сестра председателя, Марьяна, в противоположность своей невестке неразговорчивая, застенчивая. Набожная и суеверная старуха — мать Татьяны и восьмилетняя Санька хозяйничали дома, когда молодицы уходили в степь или на огороды.

Санька при первом появлении Рубанюка укрылась на печи, потом осмелела и с любопытством наблюдала за каждым его движением. Она пробралась вслед за Атамасем в комнату, где приготовили для подполковника постель и стол для работы. Подражая матери, она скрестила руки на груди и поминутно вздыхала.

Рубанюк наблюдал за ней с улыбкой, а после того, как Санька вздохнула особенно протяжно и вызывающе, подхватил её на руки и, смеясь, сказал:

— Девка хорошая, а зубов уже нет. Верно, с конфетами съела? Любишь конфеты?

Санька дернула вихрастой головой, причмокнула:

— А ось дайте пальця в рот. Тоди побачыте, чы е зубы, чы немае...

— Ого!

— А за таки разговоры я вас ночью задушу.

— Вылыта маты, — посмеивался Атамась. — Та тоже за словом у карман не полизе.

Атамась обжился в семействе председателя с непостижимой быстротой. На обеденном столе Рубанюка в изобилии появились наваристые борщи со свининой, блинцы или вареники со сметаной. В сытности и разнообразии меню нетрудно было разгадать вкусы хозяйственного шофёра.

Однажды Рубанюк вернулся с совещания в штабе дивизии около полуночи. Голова его трещала от усталости и табачного дыма.

Не заходя в хату, он открыл калитку в сад, медленно зашагал мимо крыжовника и малины. Чья-то фигура вдруг испуганно метнулась в кусты.

— Кто здесь? — резко окликнул Рубанюк и расстегнул кобуру пистолета.

— Це вы, товарищ пидполковнык? — смущённо проговорил Атамась, выходя на тропинку.

— Чего ты сюда забрался?

— Та трошки заговорылись...

К тёмному кусту за спиной Атамася жался ещё кто-то. Рубанюк узнал полногрудую застенчивую Марьяну и, ничего не сказав, повернул к хате.

Скрипнула садовая калитка. Татьяна крикнула в темноту негромко, но повелительно:

— Машка! Марш до дому. Ишь, моду взяла...

В створе калитки смутно белела сорочка молодой хозяйки. Рубанюк в нерешительности замедлил шаг. Но Татьяна заметила его и стремительно побежала к хате.

«Ещё, чего доброго, меня заподозрит», — подумал Рубанюк с усмешкой. Он подождал Атамася и строго сказал:

— Муж этой Марьяны на фронте, наверно, а ты шашни с ней затеял...

— Так вона ещё барышня, товарищ пидполковнык, — шопотом оправдывался Атамась. — Мы с ней про пчёл говорили... У них же своя пасека.

— Что-то, голубок, в каждом селе ты интерес к пчёлам да садкам проявляешь...

Рубанюк вошёл в хату, не зажигая света, выпил приготовленное ему молоко со свежеиспечённым хлебом и лёг в постель.

В приоткрытую дверь было слышно, как тихонько вернулась Марьяна. Татьяна начала ей сердито выговаривать. Потом обе женщины приглушённо засмеялись.

— Тчш! Чоловик спит, а воны разгомонились, — урезонивала их старуха.

Рубанюку не спалось. Он достал папиросы, закурил. Понизив голос, Татьяна со смехом рассказывала:

— ...Митрохвана вчера нашего тоже на войну забрали. И в финскую сидел дома, и в германскую надулся, як сыч... Вроде его и не касается. Провожали его вчера, я закрылась

платком, вроде плачу, а у самой ни слезинки, только смех. Нехай повоюет!

Татьяна ещё долго вспоминала вслух о муже, о родственниках, ушедших на фронт, и Рубанюк под убаюкивающее перешёптывание женщин, наконец, заснул.

Разбудил его Каладзе. За окном чуть светало, шумно свиристели воробьи.

Озабоченный и расстроенный вид начальника штаба мигом поднял Рубанюка с постели.

— Нехорошие новости, товарищ подполковник, — сказал Каладзе хмуро.

— Что стряслось?

— Десант выбросили перед утром. Парашютистов.

— Где?

— За Глиняной балкой. В лесу.

Рубанюк начал торопливо одеваться. Он машинально сложил в полевую сумку все бумажки. Мысль его работала лихорадочно. Нужно было прежде всего выяснить численность и боевые средства десантников, принять меры к их окружению.

— Кто доложил о десанте? — спросил он, выходя из хаты. — Какие приказания ты дал?

— Многие красноармейцы видели. Бабы с поля в село побежали, боятся. Комиссар тоже знает.

— Какие приказания успел отдать?

— Поднял батальон по тревоге.

— Комиссар дома? Зайдём к нему.

На улице, несмотря на ранний час, было многолюдно: бабы бегали от двора к двору, собирались группами, возбуждённо разговаривали.

Путрев умывался у порога.

С комиссаром у Рубанюка установились очень хорошие отношения. В первые же дни он убедился, что Путрев решителен и энергичен, работает с настоящим огоньком, не вылезает из красноармейских землянок и вообще быстро снискал себе в полку большое уважение.

Рубанюк удивился, увидев, как он неторопливо черпал воду из ведра.

— О десанте знаешь, Василь Петрович? — спросил Рубанюк, недоумевающе приподняв брови.

— Знаю. Только что ходил, разведывал. Прошу в хату.

Он пропустил командира и начальника штаба вперёд и положил перед ними пачку фашистских листовок.

— Вот это и есть ваши парашютисты, — с иронией сказал он, обращаясь к Каладзе.

Капитан побагровел так, что у него стала розовой каёмка подворотничка. Он повертел листовки в руках и, смущаясь всё больше, сказал:

— Бойцы многие заявили. Сами видели парашютистов.

Путрев покачал головой. Глядя прищуренными глазами на кончики своих пальцев, он раздельно проговорил:

— Это вот и плохо, товарищ начштаба. Бойцам сейчас и окружение и парашютисты могут показаться в чём угодно. Враг на это рассчитывает. Но ведь ты руководитель? Какая-то баба испугалась листовок, она ведь их никогда не видела. А начштаба не разобрался и поднял батальон по тревоге. Позор! — Стараясь замять неловкость, Путрев предложил: — Давайте-ка лучше позавтракаем. У меня рыбка свежая жарится.

— О десантах нам всё же призадуматься следует, — сказал Рубанюк. — Сегодня листовки, а завтра головорезов сбросят. Место у нас такое, надо всего ждать.

— Мои мысли, — поддержал Путрев. — Если подготовим бойцов и самих себя, воздушный десант — детская игрушка.

После завтрака направились в дальний батальон. Шли накатанной дорогой вдоль Днепра. Синий и спокойный Днепр просвечивал сквозь деревья и постройки, ветерок доносил пресный запах реки.

Перед участком второй роты Рубанюк ещё издали узнал Аллу Татаринцеву. С тех пор, как из дивизии и штаба армии поступили сообщения о том, что ни лейтенанта Татаринцева, ни полкового знамени нигде обнаружить не удалось, Рубанюк видел Аллу всего два раза. Сперва она очень тосковала, ходила заплаканная и угрюмая, но теперь, судя по всему, к ней вернулись её жизнерадостность и прежняя непоседливость.

Татаринцева остановилась в нескольких шагах и звонко крикнула:

— К вам можно будет как-нибудь зайти, товарищ подполковник?

— Конечно, можно!

Пройдя немного, Путрев сказал:

— Кажется, погуливает сестрица?

— Разве? Не заметил.

— Возможно, сплетничают.

— Она у нас в полку мужа потеряла, — холодно ответил Рубанюк. Его покоробило, что о Татаринцевой отзываются недружелюбно.

Батальон Лукьяновича находился на занятиях. Бойцы перебегали, учились бою в траншеях. Рубанюк знал, что в батальоне все, включая и комбата, смотрели на занятия, как на несерьёзную затею, мечтали о настоящих боях. Поэтому он был особенно требователен и придирчив.

Выслушав рапорт Лукьяновича, он повёл комиссара смотреть учения третьей роты. Два взвода он после недружной, вялой атаки вернул на исходный рубеж и строго отчитал командира роты.

Шагах в пятнадцати от места, где стояли командир и комиссар полка, расположился условный орудийный расчёт. Путрев с видимым удовольствием прислушивался к громким командам, которые раздавались из кустарника, к искусному подражанию летящему снаряду.

— Эти весело занимаются, — обратил он внимание Рубанюка. — С чувством.

Рубанюк ещё раз проверил атаку взводов и разрешил перерыв.

— Перекури-ить! — откликнулись в кустах, и в тот же момент там запиликала губная гармошка.

Путрев одобрительно поглядывал в сторону бойкого орудийного расчёта, потом предложил Рубанюку:

— Пойдём, подполковник, потолкуем с народом. Нравятся мне они. Настоящие солдаты.

— Что ж? Пойдём.

Гармошка смолкла. Из-за кустов поднялся сержант Кандыба. Он лихо отрапортовал.

— Кто командир орудийного расчёта? — улыбнувшись, спросил Путрев.

— Я, сержант Кандыба.

— А свистел кто?

— Тоже я.

— Кому же ты подавал команду?

— Самому себе, товарищ батальонный комиссар.

— И на гармошке сам себя развлекаешь?

— Больше некому. Сам.

Судя по его озорному взгляду, Кандыба понимал, что им довольны, и не преминул этим воспользоваться.

— Разрешите? — сказал он, протягивая пальцы к раскрытой Путревым коробке папирос.— Давно «Чапаевскими» не баловался...

— Кури, кури, пожалуйста.

В полдень, когда командир с комиссаром, побывав и в других ротах, возвращались в село, Путрев вспомнил Кандыбу.

— Знаешь, Иван Остапович,— сказал он, обращаясь к Рубанюку,— сидеть в обороне или муштрой заниматься во время войны, как вот мы,— дело кислое. А настоящий солдат этого не боится. Ему всюду фронт. И, заметь, в удобный момент набедокурит, но в бою за него не бойся. Никогда не подведёт.

— У меня есть хлопцы степенные, солидные,— возразил Рубанюк,— я бы сказал даже, застенчивые. А как дойдёт до схватки, дерутся так, что Кандыба им в подмётки не годится.

— Конечно, и такие есть,— согласился Путрев.— Главное, наш боец знает, во имя чего переносит беды и опасности.

Разговор иссяк, и командиры молча разошлись на перекрёстке улиц.

Относительное спокойствие продолжалось недолго. Через несколько дней над Днепром снова появились вражеские самолёты. Они с тяжёлым рёвом шли куда-то в дальние тылы, а по ночам вешали над переправами ослепительные шары и неистово бомбили всё живое, сбившееся около реки.

Село жило встревоженно, суматошно.

Рубанюк шёл однажды по лощине с полкового склада. Невдалеке от села он увидел двух ребят. Мальчишки были очень озабочены, и Рубанюк задержался.

— Вы что, мальцы, тут делаете? — спросил он русого черноглазого паренька.

— Да вот лазили по кустам, — бойко ответил тот. — Надо нам задержать какого-нибудь неизвестного, их тут много шляется.

— Может, он шпион или парашютист, — вставил его приятель.

— В школу ходите?

— А как же! — ответил первый.

— Отметки хорошие?

— Гришка — круглый отличник,— кивнув на товарища, сообщил другой.

— А ты?

— У меня два «поса». Посредственно.

— Плохо, брат. Как же это ты?

— Вы видели, дядько, какой воздушный бой был? — блестя глазёнками, перебил Гриша.— Это что! Они втроём на нашего одного насели.

— А вы у тётки Таньки квартируете? — спросил второй.

— Ишь ты! Может, это военная тайна?

— Ну да, тайна! Тётка Танька нам двоюродная сестра.

Разговорившись, мальчишки проводили Рубанюка в самое село и отстали только после того, как он вошёл в свой двор.

Дома были старуха с Санькой. Судя по всему, старуха давно поджидала его и, как только он скинул полевую сумку, вошла в комнату.

— А что я хотела спросить, сынок? — начала она, вытирая уголком тёмного платка сухие землистые губы.

— Спрашивайте, бабушка.

— Правда, что у него на головах золотые венцы?

— У кого это?

— У ерманца.

— Золотые? Ни разу не видел,—усмехнулся Рубанюк.

Старуха глядела на него напряжённо и благоговейно, и он в свою очередь спросил:

— Да кто это такие басни рассказывает?

— Ох, сынок, не басни,— испуганно покачав головой, прошептала старуха.— Божий человек заходил, откровения святого Иоанна Богослова читал. Там всё написано. И что через пять месяцев война закончится.

Рубанюк впервые подумал о том, что в сознании таких вот старых людей война выглядит по-другому.

Он побарабанил пальцами по столу и спросил:

— А есть у вас эти самые откровения Иоанна Богослова? Давайте поглядим.

— Есть, есть, сыночек,— засуетилась старуха.— Не ходи под ногами! — прикрикнула она на Саньку.— Сейчас принесу.

Рубанюк переложил засушенный меж страницами стебелёк бессмертника и начал медленно листать ветхие, пахнувшие воском и ладаном страницы.

— Вот тут читайте,— ткнула по памяти скрюченным пальцем старуха. — Тут и божий странник читал.

Она скрестила на груди руки и, подперев ладонью подбородок, приготовилась слушать.

Рубанюк пробежал глазами место, подсказанное ею, потом прочитал вслух:

— «...Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба, и дан был ей ключ от кладезя бездны...»

— Читай, читай,— просила старуха,— там, дальше...

— «...Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы...»

Старуха всхлипнула, вытерла пальцем глаза и снова застыла.

— «...В те дни, — читал дальше Рубанюк, — люди будут искать смерти, но не найдут ея; пожелают умереть, но смерть убежит от них...»

— Убежит! — эхом откликнулась старуха.

— «...По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну; и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ея, как лица человеческие...»

Рубанюк и сам заинтересовался туманным, иносказательным языком древнего писания. Он искоса посмотрел на свою пригорюнившуюся слушательницу, перевернул закапанную воском страницу.

— «...На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ея, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну; у ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ея были жала; власть же ея была — вредить людям пять месяцев...»

— Значит, бабушка, через три месяца по домам? — отрываясь от библии и посмеиваясь, спросил Рубанюк.— Два месяца уже воюем.

Старуха подняла на него глаза:

— Пошли, господь бог! Читай... Истинная правда, от самого господа нашего...

— «...Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серые; головы у коней, как головы у львов, а изо рта их выходил огонь, дым и сера...»

— А не такие, скажи, скорпионы ползают по людям, кости им трощат? — придирчиво сказала старуха, заметив

улыбку на лице Рубанюка.— Вы вот, молодые, в бога не веруете, а тут всё оно, как есть, написано.

— И как же этот «человек божий» объяснял вам библию? — спросил уже серьёзно Рубанюк.

— Разъяснял, сынок, разъяснял. За пять месяцев времени, говорит, скорпионы эти, с золотыми венцами, всё попалят и людей подавят, и останется земля чёрная. И расти уже ничего на ней не будет. А сделать, говорит, ничего нельзя. Сам господь-бог указывает.

— Жалко, бабушка, что этого вашего странника в милицию не забрали. Лазутчик он какой-нибудь вражеский, не иначе.

— Ох, что ты, сынок! Он же и крестится по-нашему, и всех святителей знает.

— Вот, вот. Поклоны бьёт, а тем временем вражеской агитацией занимается. Фашистам что важно, бабушка? Чтобы их боялись, верили в их непобедимость. А нас этими басенками не запугаешь. И с этой саранчой, или как она там в писании называется, мы разделаемся, это я вам твёрдо обещаю.

Он ещё долго говорил со старухой, и она ушла к себе на кухню, явно изменив мнение о рассуждениях «божьего человека».

Вернувшись через несколько минут в комнату, она положила перед Рубанюком пирожки, только что вынутые из печи, и сказала, вздыхая:

— А я было горевать начала, когда человека этого забрали. Когда-то старостой церковным он в нашем селе был.

— Так и есть! Я сразу догадался, какого поля ягодку оккупанты себе в помощники вербуют.

VI

Несколькими днями позже, проходя мимо санроты, Рубанюк увидел Аллу Татаринцеву с лейтенантом Румянцевым. Молоденький командир взвода, щегольски перетянутый ремнями, пытался обнять её. Алла увёртывалась, старалась сделать сердитое лицо, однако нетрудно было заметить, что ей игра с лейтенантом доставляет удовольствие.

В памяти Рубанюка всплыла вскользь брошенная Путревым фраза: «Погуливает сестрица». Он прошёл мимо, даже не повернув головы в сторону Аллы и Румянцева, но

на душе у него остался неприятный осадок. Он почувствовал себя так, словно в легкомысленном поведении молодой женщины был повинен он сам, Рубанюк.

Ему вспомнилась та Татаринцева, которая впервые появилась в полку, смущённо одёргивающая непривычную для неё гимнастёрку, неловко козыряющая. «Сейчас держится развязно, — раздумывал Рубанюк. — Не сами ли мы виноваты? Всё время среди мужчин. Ухаживания, вольности... А ведь это жена нашего боевого товарища. Может быть, погибшего...»

Рубанюк вспоминал Татаринцева часто. Это был опытный командир и прекрасный товарищ, заботливый семьянин, очень гордившийся своей женой. И если Алла смогла так быстро забыть о нём и утешиться, значит, она пустая и несерьёзная женщина, пятнающая достоинство боевой подруги советского командира.

Рубанюк невольно представил на месте Татаринцевой свою жену Александру Семёновну. Нет, о его жене никогда бы никто не осмелился сказать оскорбительного «погуливает!»

«При первом удобном случае побеседую с Татаринцевой», — решил Рубанюк, подходя к своему дому.

Его встретил Путрев. Он только сейчас приехал из политотдела армии, запылённый и усталый.

— Мост у Канева вчера наши взорвали, — тихо, почти шопотом сказал он. — Здорово жмут, гады! Как бы не потеряли Днепропетровск... Там держит оборону одно лишь училище.

Путрев рассказал о том, сколько техники, машин, имущества осталось на правом берегу.

— В районе Подвысокое, под Уманью, знаешь, сколько наших дивизий захлопнули? — мрачно сказал он. — Гитлер специальный нагрудный знак по этому поводу своим бандитам учредил: «Сломанная ветка».

Рубанюк молча слушал Путрева. Сейчас ничего не могло быть страшнее, чем переход врагов через Днепр. А они, видимо, накапливали для этого все свои силы.

— Ночью к нам прибывает пополнение, — сообщил в заключение Путрев. — Скоро и наш час пробьёт.

— Раз дают пополнение, значит, так.

Вскоре, однако, стало известно, что маршевые роты, предназначенные для полка, были в пути задержаны и направлены куда-то в район Бубновской слободки.

Рубанюк побывал на рассвете в батальонах, затем обошёл передний край обороны полка, который тянулся над самым берегом, и задержался там на весь день.

В село возвращался он перед вечером. В воздухе носилась мошкара, солнце садилось в оранжево-розовые тучи. Его лучи позолотили и мошкару, и снующих над рекой резвых стрижей.

Рубанюк свернул к реке, намереваясь искупаться, и вдруг услышал в кустах женские голоса. Разговаривали Татаринцева и ещё какая-то девушка, чей тихий, приятно сочный голос был Рубанюку незнаком.

— Ты ещё пойдёшь в воду? — спросила Татаринцева.

— Нет, обсохну и буду одеваться. Через час на дежурство.

Девушка помолчала, потом с нескрываемым восхищением сказала:

— Очень ты ладно сложена, Алка. С тебя рисовать можно, или в музей изящных искусств.

Татаринцева засмеялась:

— Что толку-то? Всё равно, это никому не нужно.

— А разве тебе не приятно знать, что хороша?

Татаринцева громко зевнула, стала одеваться. Потом поднялась и лениво проговорила:

— Я сама себе противной стала... Пока в бою, около раненых, ничего. А останусь наедине — тоска, пустота в душе страшная. Никогда ещё у меня так не было.

— Ты о Грише своём тоскуешь..

— Его очень жалко. Такого человека уже не встретишь. Он меня по-настоящему понимал.

— Потому, что любил.

Татаринцева тихонько насвистывала какую-то грустную мелодию, потом, оборвав её, спросила:

— Ты Румянцева знаешь? Лейтенанта?

— Нет. А что?

— Так. Некоторые считают, раз мужа у меня нет, я всё себе позволю. И пристают.

— Ко мне вот не пристают. Я живо отважу.

— Не умею я грубо. Всё же ребятам скучно, я их понимаю.

— Ну, сказала! Если не мил, пусть он волком воет или соловьём заливается...

Рубанюк испытывал неловкость от того, что стал невольным слушателем интимного разговора женщин, однако

обнаружить себя теперь было уже неудобно, и он продолжал сидеть не шевелясь, пока женщины не оделись и не пошли к селу.

Спутница Татаринцевой была в форме сержанта (видимо, из зенитного подразделения, — решил Рубанюк, провожая их взглядом).

Он подошёл к реке, смочил лицо. Вытершись платком, зашагал узенькой тропинкой, протоптанной мимо конопли и заросшего дерезой рва.

Уже совсем смеркалось. Под плетнями сидели дивчата, красноармейцы грызли подсолнухи, смеялись. Рубанюк, различив голос Атамася, хотел позвать его. Тот подбежал сам.

— Никто не искал? — спросил Рубанюк.

— Никто, товарищ пидполковнык. Капитан Каладзе, правда, ещё в обед заходил, но ничего не передавал. И медсестра прибегала.

— Ладно. Можешь быть свободен.

Рубанюк отошёл несколько шагов и столкнулся с Татаринцевой.

— Я к вам уже два раза приходила, товарищ подполковник,— сказала она, останавливаясь.— Целый день вас нет ни в штабе, ни дома.

— Что-нибудь срочное у вас?

— Нет. Я так... Просто хотела видеть.

Татаринцева пошла рядом, стараясь попасть в такт его шагам. Рубанюк искоса поглядел на её бледное в лунном свете лицо.

— Зайдёмте-ка ко мне,— сказал он.— Вы мне тоже нужны.

Он зажёг лампу, пригласил Аллу сесть.

— Вы как попали на курсы медсестёр, Татаринцева? — спросил он. — Действительно медицина вас увлекает?

— Нет, не поэтому.

Алла смущённо улыбнулась.

— Я ведь танцами больше увлекалась, тряпками. После школы кассиршей в «Интурист» пошла. Знали в Ростове такую гостиницу?

— Нет.

— Мне нравилось, что там шумно, красиво, иностранцы, музыка... В общем свистело в голове! Потом подруги на курсы сестёр начали записываться, я тоже. Если бы они на стенографию пошли, и я бы за ними. Самостоятельная девушка, верно?

— Всё же какую-то цель в жизни каждый человек должен избрать. Ведь так?

— А я уже избрала.

— Какую?

— Кончится война, уеду на Сахалин.

— Что там делать?

— Всё равно. Лишь бы подальше.

— Непонятное желание.

— Очень понятное. Там даже такие, как я, неприкаянные, нужны. Людей мало...

Алла надела его фуражку и кокетливо спросила:

— Хорошо?

Рубанюк промолчал. Он пристально смотрел на Татаринцеву, обдумывая то, что собирался ей сказать давно.

Алла сняла фуражку и, положив её на место, отвернулась.

— Можно быть с вами откровенным? — спросил Рубанюк. — Я затрону некоторые интимные вопросы.

— Говорите.

— Вы не оберегаете ни своего достоинства, ни чести мужа,— сказал Рубанюк.— Вы даёте повод думать и говорить о вас оскорбительно.

Алла посмотрела на него удивлённо:

— Чем?

— Дело даже не в кокетстве вашем. Хотя, простите за резкость, женщина, потерявшая мужа, могла бы вести себя несколько иначе.

— Но, товарищ подполковник...

— Нет, сперва выслушайте меня, потом возразите, если не согласны со мной. Вы не видите ничего предосудительного в лёгких интрижках, в развязном обращении с мужчинами. Вы извините меня, но мне неприятно не только за вас, но и за Татаринцева.

Алла несколько раз пыталась вставить слово, но Рубанюк продолжал:

— Ведь вы же любите мужа!

Волнуясь, он встал, прошёлся по комнате.

— Вы вспомнили «Интурист», его заграничных клиентов. Они когда-то прельщали ваше воображение элегантными фраками, внешним лоском... Но поймите, Алла: это убогие... как бы точнее выразиться... морально убогие люди. У них ничего святого нет, ни в любви, ни в браке. Внешняя корректность, шик! Женщина для них — это вещь.

Насколько морально выше, чище отношения между женщинами и мужчинами у нас! И осквернять их минутными увлечениями просто недостойно нас. Такие мимолётные чувства соседствуют с моральной нечистоплотностью.

Рубанюк достал папиросу, начал чиркать зажигалкой. Она не зажигалась, и Алла, воспользовавшись паузой, сказала:

— Я ни в чём не виновата, товарищ подполковник... Я знаю, вы видели, как я с Румянцевым дурачилась... Так он мальчишка... Весёлый, хороший паренёк.

— Возможно. Но весёлых, хороших у нас немало. Дурачиться, шутить — это одно. Но ведь о вас у наших командиров нелестное мнение создалось.

— Что сделано — жалеть не велено, — сказала, нахмурившись, Татаринцева. — А за лекцию спасибо...

Она поправила волосы, одёрнула гимнастёрку.

— Я знал, что вы обидитесь, — сказал примирительно Рубанюк.— Но я старше вас. Ну, и... опытнее, что ли... Помните: самообладание, самодисциплина — не рабство. В любви они нужны так же, как во всём, где надо беречь силы.

Он встал и протянул руку.

— Мне бы очень хотелось, Алла, чтобы Григорий, когда вернётся, гордился вами...

Татаринцева задумчиво глядела на лампу, потом, не прощаясь, медленно пошла к двери. У порога она задержалась. Ресницы её дрожали.

— ...Значит, я... — произнесла она чуть слышно. — Если и вы обо мне так думаете, значит не имею права на уважение. Но вы когда-нибудь поймёте...

Она хотела сказать ещё что-то, но только махнула рукой и с излишней тщательностью прикрыла за собой дверь.

VII

Полк Рубанюка находился на старом месте всю вторую половину августа. Но после получения 3 сентября известия о взятии гитлеровскими ордами Днепропетровска Рубанюк понял, что усидеть ему на хорошо подготовленном для обороны рубеже не удастся. Штаб дивизии с частью сил уже перебрался километров за сорок выше по Днепру, в село Малые Лепетихи.

Зарядили беспрерывные дожди. С северо-запада безостановочно ползли тяжёлые низкие тучи, щедро поливая хаты и жнивьё, вконец портя и без того раскисшие дороги.

Как только хоть слегка развёдривалось, немедленно появлялись вражеские бомбардировщики. Они бомбили переправу, дороги, ближайшие железнодорожные станции.

После первого же налёта бабка перекочевала с Санькой в погреб.

— Старэ, як малэ,— подсмеивалась Татьяна.— Меня и калачом в погреб не заманишь...

Но когда от бомб сгорели колхозная птицеферма и две ближайшие к ней хаты, Татьяна немедленно обосновалась там же, где бабка, и боялась на шаг отойти от двора.

В селе появились бойцы, отставшие от своих частей. Они шли в одиночку и группами, без винтовок, с сапогами, приторoченными к вещевым мешкам или перекинутыми через плечо.

Рубанюк приказал выставить патрули и задерживать каждого, кто шёл без командира.

Приказ о передислоцировании полка пришёл ночью 4 сентября. Рубанюк оставил за себя комиссара и на рассвете поехал на машине к новому месту расположения, в село Северные Каиры.

Ещё накануне лил дождь, а с восходом солнца подул ветер, тучи разметало, и просёлок быстро подсох. Атамась вел машину уверенно, дерзко виляя между обозными телегами и группами забрызганных грязью красноармейцев.

К полудню добрались до Малой Лепетихи. Рубанюк без особого труда разыскал штаб дивизии. Начальник штаба, немолодой заикающийся подполковник, рассказал, что оккупанты уже несколько дней назад захватили сёла Саблуновка и Золотая балка на правом берегу и обстреливают из орудий всё, что находится в поле их зрения на левой стороне Днепра.

Уточнив по карте свой участок, Рубанюк не стал задерживаться и поехал в Северные Каиры.

Уже на полпути он убедился в правильности того, о чём рассказывал начштаба. По обе стороны дороги стояли разбитые снарядами хаты и сараи, лежали поваленные плетни, зияли многочисленные воронки. Женщины занимались своими делами, за бойцами бежали ребятишки, и Атамась, покрутив головой, заметил:

— От люды у нас живучие! Как будто с малолетства привыкли под снарядами жить. Спали ему хату, всё одно со своего двора не пойдёт.

В полукилометре от Северных Каир Рубанюк внезапно услышал нарастающий свист, и тотчас же шагах в сорока позади грохнул взрыв. Машину качнуло воздушной волной.

— На хвост соли! — задорно проговорил Атамась, не оглядываясь, и прибавил газу.

Ещё несколько снарядов разорвалось невдалеке, но машина уже влетела в село. Рубанюк, не желая рисковать, приказал укрыть её меж строениями.

Через час он, сверяясь с картами, осмотрел местность, намеченную для обороны. Участок был тяжёлый и совершенно неподготовленный. Лишь за селом сапёры спешно сооружали примитивный деревянный мост к плавням: там Рубанюк должен был расположить один из батальонов.

Перед вечером Рубанюк вернулся в село. Он велел остановиться возле крайней хаты с наглухо закрытыми зелёными ставнями и ярким цветником в полисадничке.

— Тут и переночуем, если хозяева есть,— сказал Рубанюк.

— Це мы одним моментом разнюхаем,— откликнулся Атамась, проворно вылезая из машины.

Наискось, через дорогу, Рубанюк заметил толпу и направился к ней.

В середине стояло около десятка заросших, худых парней в разномастной одежде.

— Что за люди? — громко спросил Рубанюк.

— Из окружения,— ответил, оборачиваясь, розовоскулый артиллерист в замызганной, разорванной подмышкой шинели.

Перед подполковником почтительно расступились.

— Откуда? — властным тоном повторил Рубанюк, обращаясь к одному из тех, кто стоял в кругу: он был постарше возрастом и в упор глядел на подполковника светлоголубыми глазами.

— С правого берега.

— С того свету,— ухмыляясь, добавил его товарищ в мятой, не по голове маленькой кепочке.

— Красноармейцы?

— Красноармейцы.

— Что ж это вырядились так, словно старцы с паперти? Командиры есть среди вас? — пристально посмотрев на них, спросил Рубанюк.

— Есть. Лейтенант Малукалов,— откликнулся невысокий измождённый человек с грязной повязкой на глазу. Он чуть выдвинулся вперёд.

— Где попали в окружение?

— Кто где. Я из плена. Под Бродами бежал.

Лицо лейтенанта было иссиня-жёлтым.

— Когда через Днепр перебрались?

— Сегодня. Рыбаки подсобили. А то бы снова попались,— ответил за лейтенанта голубоглазый охрипшим, простуженным голосом. Потом заискивающе добавил: — Вы нас до себя в часть возьмите, товарищ начальник.

— А вот разберёмся, проверим, как это вы оружие побросали,— холодно сказал Рубанюк.— Там видно будет. Вам дай винтовки, опять покидаете.

Он, раздумывая, оглядел красноармейцев, потом по-командирски властно приказал:

— Лейтенант Малукалов. Назначаетесь старшим. Завтра явитесь ко мне, получите указания. Понятно?

— Понятно, товарищ подполковник.

— Расположитесь до утра вон в той клуне.

Рубанюк повернулся и пошёл к машине, провожаемый молчаливыми взглядами.

Атамась успел уже переговорить с хозяйкой хаты. Он помог её сыну, бойкому подростку, открыть ставни в чистой половине, приготовил подполковнику воды для умывания.

В хате были в беспорядке свалены на полу мешки с зерном, помидоры, пахло коноплёй.

Рубанюк распахнул окно, примостился около него и стал изучать карту с беглыми карандашными пометками.

Возле машины Атамась словоохотливо объяснял хозяйскому сыну, как действует мотор:

— Ось дывысь. Колы ты зразу нальёшь соби в глотку пивлитры, то захлебнёшься. А выпый по стаканчику, то як раз буде добре... Так воно з машыною. Газувать треба помаленьку.

Через несколько минут он уже вертелся около хозяйки, гремевшей у печи чугунами и ухватами.

Полк прибыл в Северные Каиры к рассвету. На выгоне, около церковной ограды, лежали и сидели красноармейцы, в переулках задымили походные кухни.

Рубанюк созвал командиров и коротко разъяснил им задачу. Батальон Лукьяновича отправлялся в плавни,

остальные два батальона должны были готовиться к обороне на окраине села и вдоль большака. С полудня на рытьё окопов вышли дивчата и подростки.

Для своего командного пункта Рубанюк приказал отрыть блиндаж в саду, с краю села. Тут же поместился и комиссар. Посоветовавшись с ним о вышедших из окружения красноармейцах, Рубанюк приказал Каладзе тщательно допросить их, подозрительных отправить в особый отдел для дальнейшей проверки, а остальных зачислить в строй.

Через два дня приехал член Военного Совета Ильиных. Рубанюк только что вернулся из плавней; скинув сапог, он перематывал намокшую портянку. При появлении Ильиных он заторопился.

— Аккуратненько, аккуратненько, подполковник. Не спеши,— сказал Ильиных.

Он сел на табуретку и принялся тщательно мять пальцами папиросу.

— Обжился на новом месте?

— Не так, как на старом, но окопы и минные поля подготовлены.

— Видел. Я ведь к тебе по особому делу.

Рубанюк справился, наконец, с сапогом.

— Ты садись, закуривай, — предложил Ильиных. — Знамя твоё полковое отыскалось.

— Знамя?

Рубанюк с недоверием посмотрел на Ильиных. Лицо члена Военного Совета было серьёзно. Да и не мог Ильиных шутить по такому поводу! Но как отыскалось знамя? Значит, Татаринцев жив?

— Уверен был, товарищ член Военного Совета, что сохранится знамя,— радостно сказал он.— Но где нашлось?

Ильиных внимательно смотрел на взволнованное. сияющее лицо Рубанюка.

— Братья есть у тебя?

— Два.

— Большие?

— Один ещё мальчонка, другой взрослый, Тимирязевскую академию закончил.

— Его не Петром зовут?

— Правильно, Петром.

— Судьбу его не знаешь?

— Нет. Из дому ничего не получал.

— Ну, так я тебе расскажу. Ты не делай таких глаз, сейчас всё уразумеешь.

Ильиных глубоко затянулся. Понимая состояние Рубанюка, он поспешил пояснить:

— Жив, жив твой брат. Только в госпиталь его отправили. С ногой что-то.

— А откуда знаете, товарищ бригадный комиссар?

— Сейчас, не волнуйся... Вышел из окружения. Это он вынес твоё знамя. Оно у нас, в штарме. Татарцев, что ли, передал ему.

— Татаринцев, мой штабной командир

— Вот. Татаринцев этот умер там же, в окружении, а знамя поручил твоему брату.

Более подробно о том, как Петро перебрался через линию фронта и каково сейчас его состояние, Ильиных не мог сказать; знал лишь, что подобрали его пограничники. Они же и разыскали по настоянию Петра штаб армии.

В блиндаж вошёл Путрев.

— Знамя наше вынесли! — сообщил ему Рубанюк радостно.

Ильиных поднялся. Перед тем как оставить блиндаж, он сказал:

— Брата твоего, Иван Остапович, Военный Совет решил к награде представить. Полагаю, возражать не станешь? Реляцию для Москвы уже подготовили.

Рубанюк проводил его до машины, потом вернулся.

— Надо будет Татаринцевой сообщить о смерти мужа, — сказал он комиссару.

Путрев отсоветовал:

— Придёт еще время разбираться, кто уцелел, кто погиб. Женщина успокоилась, живёт надеждой, ну, и пускай.

Но Алла узнала обо всём сама. В этот же день, поздно вечером, она стремительно вошла в блиндаж. Не здороваясь, коротко спросила:

— Верно всё о Татаринцеве, товарищ подполковник?

Рубанюк переглянулся с Путревым и нетвёрдо спросил:

— Что именно?

— Гришу похоронили? Ведь я всё знаю. Зачем скрываете?

— Да, Алла,— печально произнёс Рубанюк.— Но умер ваш муж героем.

Губы Татаринцевой дрогнули. Ничего не сказав и не глядя на командиров, она вышла из блиндажа.

VIII

Восьмого сентября гитлеровцы начали усиленный артиллерийский обстрел рубанюковского участка. Огонь не прекращался почти двое суток.

К исходу второго дня на командный пункт прибежал лейтенант Румянцев. Рука у него была наскоро забинтована.

— По поручению комбата Яскина, — доложил он, тяжело дыша. — На дороге из Завадовки появилось несколько немецких броневиков. Меня с разведкой обстреляли... Связь оборвана... Вот,— показал он забинтованную руку.— Остальные убиты...

— А вы, лейтенант, успокойтесь, — сказал Рубанюк. — Странно было бы, если б фрицы перед нами не появились.

В блиндаже, кроме командира полка, находились Каладзе и Путрев.

Каладзе вызвал к телефону Лукьяновича и нервно закричал:

— Почему взвод не выслал для охраны «Вишни»? Ты что, мальчишка? Не понимаешь? Хочешь полк без «Вишни» оставить?.. Знать не знаю... Нету твоего Ореховского.

В трубке дребезжал голос Лукьяновича, но Каладзе не стал его слушать и яростно швырнул трубку.

— Ты поспокойней, поспокойней, капитан, — сказал Рубанюк, поднимаясь. — Комиссар, я пошёл к Яскину. Ведите, лейтенант.

Путрев задумчиво побарабанил пальцами по столу и поднял глаза на Каладзе.

— Вот вы, капитан, — проговорил он, — бранитесь, прямо слушать страшно. Не годится. Если бы я был Лукьяновичем, подумал бы: «Это не я виноват, а у Каладзе характер горячий». Приказывайте спокойно, но веско. И каждый поймёт: это не Каладзе требует, а государство.

— Ещё днём я приказал ему выслать взвод для охраны штаба, — оправдывался Каладзе. — Почему не выполнил?

— А вы разберитесь.

Спустя немного времени из батальона позвонил Рубанюк. Он предупредил, что останется там до утра. Потом позвонил Лукьянович и сообщил, что гитлеровцы накапливаются на правом берегу. На рассвете пришёл Рубанюк. Устало стянув с себя испачканную глиной гимнастёрку, он собрался окатиться водой. Вдруг стены блиндажа затряслись от мощных взрывов.

Атамась вскочил в блиндаж.

— Самолётов пятнадцать, як що не бильше, над плавнями, — сообщил он. — Садят так, що ничего не видно...

Путрев озабоченно сказал:

— Я пойду туда, Иван Остапович.

— Посиди, пожалуйста, — возразил Рубанюк. — У нас ещё два батальона. К Лукьяновичу я побегу...

Он быстро выбрался из блиндажа и торопливо зашагал вдоль плетней к спуску.

Над плавнями висел густой грязно-жёлтый дым, огромные водяные смерчи с крошевом лозы, камышей вздымались и рушились дождём на землю. Самолёты снижались до двухсот метров, кружились хороводом, бомбя, стреляя из пушек и пулемётов.

Рубанюк быстро пробежал километр до моста, который связывал с плавнями. Остановился он перед вздыбившимися, в щепья искромсанными жердями: это было всё, что осталось от моста.

Здесь и догнал его запыхавшийся, потный Атамась.

— Товарищ пидполковнык, — крикнул он, наклоняясь к уху Рубанюка, — тут щель левей. Переждать треба...

Рубанюк, не оборачиваясь, глядел на брёвна, обломки досок, оглушённую рыбу, которая плавала во взбаламученной воде, и вдруг заметил Татаринцеву. Забрызганная илом, багровая от натуги, она пыталась перетащить к берегу по уцелевшим сваям окровавленного бойца. Это было бессмысленно: мост у берега обвалился, но Татаринцева, крепко обхватив грузного красноармейца, продолжала волочить его к берегу.

— Ложись! — свирепо крикнул ей Рубанюк, но голос его потонул в нарастающем визге падающей бомбы.

Его обдало горячим воздухом и с силой швырнуло в сторону, к камышам.

Он очнулся от холодной воды, льющейся в ноздри, в уши; во рту стоял удушливый серный запах, в затылке звенело. Он хотел приподняться и ощутил, что не может шевельнуть правой рукой, не слушаются ноги. Словно в густом рыжем тумане возникли испуганные лица Атамася и Татаринцевой. Алла склонилась над ним и, сжимая его пожелтевшую безвольную руку, шептала запёкшимися губами:

— Подполковник... милый!.. Сейчас всё будет хорошо... Потерпите, голубчик...

Рубанюк устало смежил веки. Сознание медленно оставляло его.

IX

Основные силы фашистских оккупантов, форсировав Днепр, двигались со стороны Богодаровки, а в направлении Сапуновки, юго-восточнее Чистой Криницы, был выброшен подвижной отряд с танками и артиллерией. Замысел гитлеровского командования заключался в том, чтобы отрезать путь к отступлению советским частям, которые держали оборону в районе Чистая Криница — Сапуновка — посёлок Песчаный.

Достигнув почти без боёв Сапуновки, подвижной отряд фашистов повернул на юго-запад с тем, чтобы в полдень выйти к Чистой Кринице.

Около одиннадцати утра перед селом со стороны Богодаровки появились мотоциклисты. Красноармейцы, окопавшиеся за селом, открыли огонь, и гитлеровцы повернули обратно.

Спустя полчаса на гребне показались танки и сопровождающая их мотопехота. Около окопов и в самом селе начали рваться снаряды.

Фашистам ответили батареи из перелеска. Вразнобой постреливали красноармейцы.

Неожиданно пулемётные очереди полоснули со стороны ветряков, с горы: оккупанты окружили село.

...Когда просвистел первый снаряд и с грохотом разорвался где-то в посадках, Пелагея Исидоровна была дома одна. Кузьма Степанович где-то задержался. Настунька убежала к Рубанюкам.

Пелагея Исидоровна, слыша, как всё чаще бухали на гребне пушки и неистово трещала ружейная пальба, заперла на замок хату и сараи и тоже побежала к сватам.

Сокращая путь, она спустилась огородами и на полдороге замедлила шаг, удивлённая внезапно установившейся тишиной.

Через двор деда Довбни она выбралась на улицу. У плетней стояли женщины и ребятишки. Они смотрели в сторону ветряков. Оттуда сползали к майдану серо-зелёные цепи солдат.

— Ой, матинка, сколько их! — делились впечатлениями соседки.

— А вон что за страховище, кума?

— Танка, наверно.

— Гляньте, гляньте, до церкви какой-то завернул. На мотоциклете...

Тягнибеда прошёл мимо широким шагом. Он невесело усмехнулся по адресу баб:

— Ишь, какие невесты! Подождите, они вас всех в церкви покрестят и повенчают.

Накрапывал дождь, в воздухе похолодало, но народ не расходился.

А оккупанты расползались по улицам и переулкам, звеня алюминиевыми котелками, громко переговариваясь. Крупные откормленные кони, обмахиваясь куцыми хвостами, тащили неуклюжие массивные повозки, походные кухни.

И странно: собаки, словно по уговору, забились под навесы и крылечки — не слышалось ни одного тявканья на пришлых людей. От этого ещё тоскливее становилось на душе криничан, со страхом и любопытством следивших за каждым шагом чужеземцев.

В доме Рубанюков было так тихо и печально, будто сейчас только проводили из семьи кого-то на кладбище. Катерина Федосеевна и Василинка сидели с заплаканными лицами в чистой хате, где Александра Семёновна кормила с ложечки больного сынишку. Даже Сашко притих и боязливо жался к матери.

Пелагея Исидоровна ещё с порога заметила, что Настуньки у Рубанюков нет. Она испуганно спросила:

— А дочки моей не было у вас, сваха?

— До дому побежала, — отозвалась Василинка. — Только-только.

Пелагея Исидоровна тихонько прошла, села на скамейку. Кутаясь в платок, она сказала:

— Поверите, руки ни до чего не дотрагиваются. Мой как пошёл с ночи, доселя нету.

— И наш где-то пропадает.

— Уехать не успели. Что-то оно будет?

Посидели молча, глядя, как ребёнок, чмокая губёнками, облизывал ложечку. Василинка, не отрываясь, смотрела в окно. Длинные косы её расплелись, но она словно забыла о них.

— Если в селе гарнизон не останется, может быть, обойдётся, — после долгого молчания сказала Александра Семёновна.

От калитки к дому — быстрые шаги...

— Ганька наша бежит, — сказала Василинка.

Ганна шумно вскочила в сенцы, но увидев из дверей хворого парнишку, вошла на цыпочках и шопотом проговорила:

— Червоноармейцев ловят по лесу... Волокут до ихнего штабу, в школу... Страшно глядеть... Людей собралось...

Василинка сорвалась с места.

— Сядь! — строго остановила мать. — Батька не видала? — спросила она Ганну.

— Утром на посадках.

В хате было тихо. Сюда не доносились громыханье повозок, каркающий, гортанный говор солдат. Женщины сидели молча, понурившись, отдаваясь своим невесёлым мыслям.

Спустя немного времени прибежала соседка. Она сообщила, что солдаты ходят по дворам, расселяются по квартирам и что деда Довбню, который отказался пустить их к себе в хату, разукрасили так, что страшно глядеть. Пелагея Исидоровна и Ганна встревожились, заторопились по домам. Вместе пробежали до переулка и, увидев, что народ толпами валит к школе, решили пойти туда же.

Во дворе, за кирпичной оградой, сидели и стояли несколько десятков бойцов и младших командиров. Пять автоматчиков расхаживали вокруг и отрывистыми возгласами отгоняли толпившихся криничан.

Некоторые из пленных почему-то были без гимнастёрок, в прорези нижних сорочек виднелось озябшее, посиневшее тело. Шестеро были ранены. Один из них лежал на земле и громко стонал. Сквозь грязные бинты сочилась кровь.

— Может, и наши, сердечные, где-то вот так... — сказала Ганна, смахивая слезу.

Она пробилась вперёд сквозь толпу стариков, женщин, ребятишек и, пригорюнившись, глядела на красноармейцев.

Около часовых вертелся переводчик в немецкой форме, при пистолете. Строго поглядывая сквозь очки на толпу, он покрикивал:

— Нечего собираться, панове. Отойдите в сторону. Бандитов никогда не видели?

— А куда их погонят, сердешных? — несмело спросила заплаканная женщина, всё время сморкавшаяся в подол.

Переводчик снисходительно покосился на неё:

— Честным трудом займутся...

Домой Ганна вернулась совсем разбитая. Один из пленных живо напомнил ей Степана. Всю дорогу она шла, думая о муже, и ей теперь уже не верилось, что когда-нибудь придётся с ним повидаться.

Старуха завесила в хате окна, загнала внучат на печь, а сама со старшей невесткой поспешно укладывала в мешки одежду, посуду.

— У Варьки Горбанихи все рушники забрали, — сказала Христинья Ганне.

— Вот супостаты!

Ганна быстро сняла платок, принялась помогать. Они не успели увязать и двух мешков, как хлопнула калитка и послышались шаркающие шаги за стеной.

Старуха приоткрыла занавеску, выглянула.

— До нас идут, проклятые...

— Тащи на печь! — схватив один из мешков, шопотом приказала Христинья.

Вместе с Ганной они швырнули узлы в угол печи и забрались туда сами. Накрывшись рядном, женщины прикинулись спящими.

Солдаты вошли, один за другим, обивая на крыльце грязь с башмаков, звеня котелками и автоматами. Шестеро.

— Драстуй, хозяйка, — произнёс благодушный, немного шепелявый голос.

Было слышно, как пришедшие складывали у порога, около ухватов и лопат, свои сумки, оружие, котелки. Хата наполнилась смешанным запахом кожи, едкого пота, оружейной смазки, табака.

— Масльо, шпик, яйки, млеко есть? — спросил тот же благодушный голос.

Старуха, видимо, растерялась, не знала, что и как ответить. Мародёр переждал, высморкался. Затем снова терпеливо и заученно повторил:

— Хлэб, масльо, млеко... Ам, ам... Кушайт...

Старуха скрипнула дверью, через минуту вернулась с двумя хлебами и глечиком коровьего масла. Некоторое время были слышны лишь громкое чавканье, стук ножиков, отрывистые фразы.

Солдаты отрезали, каждый своим ножичком, ломтики хлеба, густо смазывали их.

Старуха внесла ещё один хлеб, затем ещё, а солдаты ели и ели, и когда всё было поглощено, тот же шепелявый голодно произнёс:

— Яйки, курка... Ам, ам...

— Нету уже, пан, — робко заявила старуха.

— Шпик? Сальо? — не сдавался немец.

Кряхтя, старуха снова побрела в комору, принесла несколько луковиц, два хлеба.

Луковицы шепелявый решительно отверг:

— Нехорош.

Он произнёс что-то по-немецки. Солдаты засмеялись. Двое из них поднялись, вышли во двор. Спустя несколько минут за окном истошно завизжал подсвинок.

— Сальо! — добродушно констатировал шепелявый. И сердито прикрикнул на старуху, которая рванулась к двери: — Матка, нельзя ходить!

Ганна больше не могла вытерпеть. Она отшвырнула рядно и, затягивая дрожащими пальцами поясок юбки, выглянула с печи.

— О! Марушка!

Горбоносый высокий толстяк, со сложными нашивками на петлицах, оскалившись, поднялся со скамьи и шагнул к лежанке.

— Не надевай себя, Марушка... Спать, спать... муж, жена...

Он влез коленями на лежанку, поймав ганнину руку, повторил:

— Не надевай себя... Спать... На пáра... ты... я...

Ганна побледнела. Вырвавшись, она соскользнула с печи и, гневно сверкая глазами, закричала:

— Вот пойду до вашего начальника, пожалуюсь. Он вам покажет «спать»!

Толстяк только сейчас заметил, что она беременна. Уставившись водянистыми голубыми глазами на её выпуклый живот, он повёл округлыми движениями вокруг своего.

— Нехорош, Марушка... Спать никс... Нехорош...

Всё это было так оскорбительно, гадко, что у Ганны хлынули из глаз слёзы. Она схватила с лежанки свой платок и хотела выбежать из хаты.

Горбоносый стал у двери, раскинул руки и преградил ей дорогу.

X

Всю ночь безостановочно лил дождь. В непроглядной темноте то и дело вырисовывались бледноголубые квадраты окон, и тогда Ганне было видно, как вздрагивало от зар-

ниц небо и дымилась под водяными брызгами крыша соседней хаты.

Лёжа на печи, Ганна вглядывалась в темноту, настороженно прислушивалась к дыханию солдат. Не спала и Христинья.

— Будто плачет Украина, — шептала Ганна, и женщины несколько раз принимались плакать, тихонько, чтобы не слышали немцы.

Солдаты часто вставали, выходили нагишом на крыльцо, тут же справляли нужду. Один ощупью разыскал на припечке чугунок с остатками варёной свинины, долго чавкал, сыто и довольно отрыгивая.

Едва дождавшись рассвета, Ганна, с отвращением переступая через голые тела, выбралась из хаты. Она надела жакетку, платок и побежала к своим.

По размытому ливнем шляху бесконечным потоком ползли автомашины, орудия. На огромных, вездеходах тесными рядами сидели солдаты в касках. С воем и рёвом, разбрызгивая грязь, пробирались штабные машины с офицерами. Где-то на просёлке гудели танки. Всё двигалось в направлении Сапуновки.

Дождевые тучи уползали к западу, но уже новые, ещё более чёрные, надвигались с другой стороны.

На квартиру к Рубанюкам немцы не стали: Остап Григорьевич предусмотрительно распространил слух, что ребёнок болен тифом.

Ганна, плача, поделилась с родителями пережитым накануне.

— Вы бы взглянули на ихнюю культуру, — плача и смеясь, рассказывала она. — Подумать и то срамно. Дядько Малынец их так расхваливал! Жрут, как свиньи, до нужника лень им пойти....

— А как ты думала? — едко откликнулся отец. — Они нас за людей считают? Пойди до Днепра, погляди...

— Что там?

— Всех пленных червоноармейцев вечером побили. Поставили в кучу — и... из автоматов...

Голос Остапа Григорьевича звучал глухо, и сам он был страшен, с глубоко ввалившимися глазами и пепельно-серым лицом.

— Разве какое государство так раньше казнило пленных?

— И похоронить, как людей, запретили, — всхлипнув, сказала Катерина Федосеевна.

Никто не знал, что сулит завтрашний день. Нестерпимо больно было сознавать, что свои войска отходят всё дальше и некому заступиться, защитить от пришлых головорезов.

Остап Григорьевич вырядился в рваный пиджак и такие же штаны. Он сидел у окна и чинил обувь. Василинка помогала матери собирать на стол.

Сашкò приник к окну.

— Сидай с нами, поснедаешь, — сказала мать Ганне. — Не ела, наверно?

— Мне глядеть на них противно, не то что...

Семья только начала рассаживаться, когда в хату вихрем ворвалась Настунька Девятко и со слезами рухнула на лежанку.

— Ты чего, Настунько? — всполошилась Катерина Федосеевна.

Лица у всех побелели.

— Жаворонок... наш, — уткнувшись лицом в косынку, рыдая, лопотала Настунька. — Он же такой был...

— Да ты толком расскажи, — бросив инструмент и подходя к ней, сказал Остап Григорьевич.

— Жаворонкова нашего, что квартировал... словили...

— Да что ты? Он в селе был?

— В лесу. Досвета пришёл к батьку. Попросил старенький пиджачок и ушёл... А его словили... Повели до школы.

Настунька снова запричитала. Лишь с трудом можно было понять, что Жаворонков оказался раненым и что Кузьма Степанович велел женщинам итти к штабу, просить, чтобы капитана не расстреливали.

— Иди, — коротко приказал Остап Григорьевич жене.

— Побежим, Ганько.

— И Ганна нехай идёт. Потом поснедаете.

Женщины побежали к школе. Около неё стояли часовые. Ганна показала матери на выгон за школьным садом. В просвете между деревьями пестрела толпа.

Обойдя ограду, они торопливо направились туда. Навстречу им, повязываясь на ходу платком, бежала Варвара, колхозница из звена Ганны.

— Не ходите, ро-одные, — плачущим голосом воскликнула она. — Там его так разрисовали... Не могу глядеть на такое...

Жаворонкова и в самом деле трудно было узнать. Он стоял между солдатами без фуражки. На побелевшем лице его, под скулой и на подбородке, горели багровые кровоподтёки. Старый пиджачок был разодран в нескольких местах, обнажая залитую кровью военную гимнастёрку.

Толпа молча и испуганно глядела на него. И вдруг Жаворонков, с трудом шевеля запёкшимися губами, запел высоким рвущимся голосом:

Раскинулось море широко,
И волны бушуют вдали...

Он оборвал песню и негромко произнёс:

— Не волнуйтесь, люди... Моряк нигде не пропадёт... А русский...

Стоявший рядом солдат наотмашь ребром ладони ударил его по скуле. Голова Жаворонкова мотнулась, из носа пошла кровь, но он даже не взглянул на фашиста и договорил, повысив голос:

— А русский, советский человек и на том свете вспомнит гадам всё... и Украину... и Смоленск...

Часовые засуетились, косясь в сторону школы. Вдоль кирпичной ограды шёл к толпе высокий офицер. На почтительном расстоянии следовали за ним солдаты.

Ганну потянул кто-то сзади за рукав:

— Это ж Гютер... Или Гнютер... Который червоноармейцев заставил расстрелять.

Офицер, скользя глубокими резиновыми сапогами по раскисшей земле, подошёл к торопливо расступившейся толпе. С холодным любопытством он взглянул на высокую фигуру русского командира и отрывисто бросил что-то переводчику.

Тот, блеснув очками, козырнул и обернулся к одному из солдат. Солдат выступил вперёд и протянул Жаворонкову лопату.

— Обер-лейтенант Гюнтер, — громко сказал переводчик, обращаясь к Жаворонкову, — разрешает вырыть для себя могилу. Копай вот здесь.

Переводчик каблуком ботинка прочертил квадрат и отступил на два шага.

— Пан офицер! — раздался дрожащий женский голос.— Не казните его.

Говорила Пелагея Исидоровна. Она пробилась вперёд к переводчику. В толпе разноголосо закричали:

— Не убивайте его!..

— Он же наш, криничанский!

Офицер смотрел на Жаворонкова насмешливо. Он перевёл взгляд на баб, на переводчика и коротко сказал что-то.

— Копай! — сердито прикрикнул переводчик. — С комиссарами не нянчимся.

Толпа колыхнулась. Жаворонков рывком вскинул руку и, напрягаясь, закричал:

— Кого просите, товарищи? Кого просите?!

Он с тоской посмотрел на необозримое море жёлтой, поникшей после ливня пшеницы, на кувыркавшихся над кровлями хат голубей, обернулся к солдату и взял лопату.

— Вы переводчик? — спросил он того, который был в очках.

— Да, я есть переводчик.

Глаза Жаворонкова сощурились, щёки задёргались.

— Ну, так русские меня и без переводчика поймут, — сказал он.

В тот же миг, подняв лопату, он яростно опустил её на голову переводчика. Не давая никому опомниться, Жаворонков ринулся к обер-лейтенанту.

Толпа шарахнулась в стороны. Один из солдат подставил Жаворонкову ногу, и он, не ожидая этого, плашмя рухнул в грязь.

Перекрывая истошный визг женщин, прозвучали два выстрела.

...Ночью труп расстрелянного исчез. А на горке, над Днепром, появился песчаный холмик. Чья-то рука положила на него большой букет из бессмертников, осенних астр и жёлто-горячих настурций.

XI

Дня через три части оккупантов ушли из Чистой Криницы на Сапуновку. Следом прошли через село в том же направлении тыловые подразделения, обозы, мастерские.

Газетка на украинском языке, которую принёс из района почтарь Малынец, сообщала о взятии германскими вооружёнными силами Ленинграда, Гжатска, о боях под Москвой.

Село жило без власти. По утрам и перед закатами бабы и старики собирались в проулках и у колодцев, отводили душу в разговорах, а по вечерам наглухо запирались хаты, отвязывались цепные кобели. Частично скошенный и связанный в снопы хлеб, по молчаливому сговору, растащили по дворам, обмолачивали цепами, а зерно припрятывали.

На шестые сутки из Богодаровки прикатила пароконная бричка. Она постояла минут десять около сельрады и, дребезжа ржавыми подкрылками, въехала во двор.

Через полчаса школьная уборщица Балашиха пошла по хатам, зазывая на сход.

На майдане, около кооперативной лавки, к полудню собралось около сотни криничан. Мужчины делились самосадом, переговаривались:

— Послухаем, какие песни петь будут...

— Наверно, власть выбирать скажут.

— Они её нам сверху посадят. Как при царе Миколашке...

Остап Григорьевич пришёл вместе с Девятко. Председателя колхоза встречали, как и раньше: почтительно здоровались, с былой предупредительностью уступали дорогу.

Сходка притихла, когда из хаты заведующего кооперативным магазином Ивана Тимчука, красовавшейся резными ставнями и крашеным забором, вышли четверо прибывших из района и, не спеша, зашагали через площадь.

Трое шедших впереди были в мягких фетровых шляпах, при галстуках. Четвёртый, отставший шага на два, ещё издали поразил криничан своим пёстрым нарядом. Его синие, в широчайших складках, шаровары, расшитая сорочка, сапоги гармошкой, соломенная шляпа словно были взяты напрокат в драмкружке.

Приезжие подошли ближе. Один вытянул из кармана платок. Громко сморкаясь, он строго оглядел площадь.

— Гляньте! Это ж агроном Збандуто! — удивлённо ахнул кто-то.

— Тш-ш! Помалкивай...

А Збандуто с хозяйской уверенностью подошёл к столику и широким жестом пригласил приехавших с ним занять места на лавке.

Он же открыл сходку, попросив господ стариков не стесняться и подойти поближе.

Первым говорил «представитель» в сборчатых шароварах и запорожских сапогах. Он снял свою соломенную шляпу, обнажив лысую голову с реденькими, притёртыми к блестящей коже волосами, по-театральному поклонился до пояса, на три стороны.

— Панове! — начал он и откашлялся. — Панове! Мы освобождены от большевиков. Мы, как сказать (у него получалось «кскать»), вольные добродии. И мы, кскать, вместе с германскими властями...

Он поклонился в сторону одного из приезжих. Тот с флегматичным видом закуривал длинную, как кочерга, трубку.

— ...и под руководством бургомистра господина Збандуто.., — поклон в сторону старшего агронома, — ...вместе с германской нацией, кскать, будем возвышать свою украинскую нацию... Хай живе вольна, самостийна Украина! Я, кскать, кончил.

Он подобострастно взглянул на немца и уселся, вытирая клетчатым платком испарину на сверкающем затылке.

Криничане с сумрачным любопытством глядели на приезжих и молчали. То, что оккупанты привезли с собой махрового националиста, видимо болтавшегося все эти годы где-то в эмиграции, насторожило и встревожило всех. Не забыли старики, как во времена первой германской оккупации такие же вот охвостья из петлюровцев оказались самыми злобными и свирепыми палачами и карателями.

— Дозвольте вопрос? — крикнули из задних рядов.

Збандуто вытянул голову.

— Пан добродий сказал: «возвышать». Разъясните. Как это? Как неделю назад возвысили пленных червоноармейцев над Днепром?

Немец с трубкой наклонил ухо к переводчику и, заливаясь тёмным румянцем, слушал его торопливый шопот.

Збандуто дёрнул подбородком:

— Вопрос не по существу. И вообще хулиганам на сходке не место. Эти большевистские штучки бросьте.

Переводчик не совсем учтиво отстранил Збандуто, поднял руку:

— Панове! Господин Крюгер... — переводчик, изогнувшись, приблизил ухо к губам немца, кивнул. — Господин Крюгер приказал передать: с бандитами и большевиками, а равно с теми, кто им сочувствует, будет поступлено так же, как с красноармейцами, которые не хотели сдаться...

Господин Крюгер обещает, что будет наведён твёрдый порядок.

По толпе прошелестел шопоток, потом снова установилась напряжённая тишина.

Збандуто повёл глазами по лицам близко стоявших стариков. Взгляд его был раздражённым и неприязненным. Но ссориться со сходкой резона не было.

— Будем полагать, — сказал он, изобразив улыбку на бритом лице, — что спрашивающий поймёт свою ошибку... Вам надо избрать старосту для управления селом. Выбирайте кого хотите.

Подождав несколько минут и видя, что сход никого не называет, Збандуто благосклонно разрешил:

— Посоветуйтесь между собой, панове... Ничего... Власть выбирать — не в карты играть...

— А как с колхозом будет? — задали вопрос. — Распускается или остаётся?

— Германские власти разрешают. Если с вашей стороны препятствий нет, то и председателя прежнего можете оставить. Господина Девятко.

Дружные крики разорвали тишину:

— Желаем!

— Старого оставить!

— Справедливый человек.

Збандуто переглянулся с нацистами. Настроение его заметно улучшилось.

— Видите, панове, — сказал он, поправляя галстук, — германские власти с народом считаются. Вы полные хозяева...

Немец сделал нетерпеливое движение и буркнул что-то переводчику.

— Итак, панове, — спохватился Збандуто. — У нас ещё много дел. Кого надумали в старосты?

— Желаем Остапа Григорьевича Рубанюка! — крикнул Тягнибеда. Он возвышался над толпой на две головы.

— Его желаем!

— Рубанюка-а!

Збандуто поморщился. Он подозрительно посмотрел на дружно ревущую сходку. Губы его собрались в твёрдый комочек.

Переждав шум, он многозначительно спросил:

— А сыновья у него знаете где?

— Знаем!

— У всех там. Сыновья или браты...

— Все воюют.

Одинокий голос выкрикнул:

— Малынца в старосты! Он по-немецки знает...

— Этого следует. Придурковатый, правда, простоват.

— Прост, прост, а придавит хвост.

— А таких, сват, им и треба, — зло сказал кто-то из стариков.

Збандуто погрозил пальцем:

— Вы там, деды, лишнего не болтайте!

После долгих дебатов сход избрал сельским старостой Остапа Григорьевича. В заместители ему определили почтаря Малынца.

Закрывая сход, Збандуто сказал:

— За обмолот хлеба принимайтесь немедля. Весь хлеб — ваш. Куда хотите, девайте. Желаете — ешьте, а нет — на базар везите...

После сходки представитель района, вновь избранные староста и заместитель выпили и закусили у Тимчука. К вечеру «гости» уехали.

XII

Остап Григорьевич вернулся домой, крепко подвыпивши. В хате слышны были только мерное дыхание Витьки на руках у матери, мягкие шлепки ладоней о сито — Катерина Федосеевна просеивала на лежанке муку.

Она раза два посмотрела через плечо на мужа и отвернулась.

Долго молчала и Александра Семёновна. Потом с трудно скрываемой враждебностью в голосе она проговорила:

— Как думаете, Остап Григорьевич, Ванюшке и Петру приятно было бы знать, что отец у них фашистский староста?

— Они бы мне шкуру содрали. Одну и другую, — сказал Остап Григорьевич с таким удовольствием, что Катерина Федосеевна обернулась: в своём ли уме старый?

— Почему же вы не отказались? — запальчиво спросила Александра Семёновна.

— А потому не отказался, — шевеля бровями, ответил Остап Григорьевич, — что хочется мне походить в старостах...

Он поднял палец и прищёлкнул языком.

— Поняла, Семёновна?

— Сдурел на старости, — сдерживая слёзы, крикнула Катерина Федосеевна.

— Там как хотите обзывайте, — махнув рукой, сказал старик и начал укладываться спать.

Утром, хмурый с перепою, он ещё до завтрака ушёл в сельраду. Побродил по пустым, пахнувшим жжёным кирпичом комнатам, хозяйственно позакрывал окна и двери; подумав, ушёл лугом к Днепру.

Ветер сердито гнал горбатые волны. Река бурлила, плескалась. Засинеет на миг гребень волны, вскипит серой пеной и вновь вздымается яростно и тяжело. Борясь с ветром и уступая ему, над чёрной водой мелькали белые пятна чаек.

Старик стоял в тяжёлом раздумье. Немногие в селе знают или догадываются о том, что позорное звание старосты принял он на себя не по доброй воле, а в интересах самих же криничан. И если уж для родной семьи он сразу стал чужим, что же скажут односельчане?

Остап Григорьевич с отвращением думал о почтаре, полицае Сычике, Збандуто. Он оказался в одной компании с ними! С предателями! Малынец глуп и нечистоплотен, Павка Сычик — уголовник, а Збандуто... Только сейчас бывший районный агроном обнажил своё подлое и вражеское нутро, с такой хитростью маскируемое много лет...

По-осеннему недвижно висели на хвоинках сосен капли влаги, по-осеннему табунились птицы. И до того стало пасмурно на душе у Остапа Григорьевича, что он понял: лишь в питомнике, среди своих друзей — деревьев, сможет найти он умиротворение.

Остап Григорьевич разыскал спрятанные в кустах вёсла, сел в чёлн и начал грести к бурлящей стремнине...

Спустя два дня из районной управы прислали несколько приказов и пачку плакатов.

Малынец охотно вызвался расклеить их по селу. К своим обязанностям заместителя старосты он относился ретиво, как и ко всему, что хоть в какой-то мере возвышало его над односельчанами.

Расклеивая пёстрые, издалека бросающиеся в глаза яркими красками листы бумаги, он подмигивал селянам:

— Это еще не всё тут намалёвано. Мануфактурой, обувкой, одёжой нас завалят... Чего посмеиваетесь?!

Думаете, брешу! К Богодаровке уже товарных поездов этих сколько пригнали.

Плакаты изображали улыбающегося крестьянина с лопатой в руках. Улыбался он, по мысли автора плаката, потому, что ему обещаны Германией в частную собственность земля, высокопородный немецкий скот и сельскохозяйственный инвентарь в рассрочку.

Один из приказов гласил:

«Громадяне! Скотину, которая у вас имеется, вы не имеете права ни уничтожать, ни продавать. Она — залог вашего благосостояния».

В сельуправу к Рубанюку наведывались старики. Они осторожно выпытывали:

— Это как же, Григорьевич? То бургомистр пел, что сами, мол, хозяева, а теперь про залог напоминают. Не вылезет нам этот залог боком, если кабанчика, к примеру, зарежешь?

— Ничего про ваших кабанчиков я не знаю,— опуская глаза, отвечал Остап Григорьевич. — Есть они у вас или нету.

— Был, да чего-то такого съел, издох, — хитрили собеседники.

— Если есть, то рано или поздно доведётся сдавать на армию. Защитникам нашим от советской власти.

Старики ещё сидели немного для приличия. Потом степенно прощались, уже за дверью надевали шапки и спешили домой резать кабанчиков.

Сперва резали свиней, ягнят, потом взялись и за телков. Из кукурузы и жита гнали самогонку, собирались по хатам. Пили, чтобы хоть немного заглушить отчаяние, забыть горькую свою судьбу.

Через неделю после избрания Остапа Григорьевича старостой из Богодаровки приехали в форме полицаев Алексей Костюк и Павло Сычик.

С Алексеем перед этим Збандуто имел личную беседу.

— Я мог бы на вас обижаться, молодой человек, — сказал он. — Помню ваше... э-э... рукоприкладство. Зря, зря. Но мы с вами одинаково пострадали от коммунистов. Вас выгнали из партии, а меня решили отстранить от должности... Обиды за прошлое не таю. Но вы должны своей усердной работой оправдать доверие властей... Вот-с. Нам за новую власть теперь крепко держаться следует...

— Будем держаться, — пообещал Алексей.

Из района он привёз и вручил Остапу Григорьевичу предписание бургомистра изъять у крестьян семьдесят пять коров и в трёхдневный срок отправить их в район, в распоряжение коменданта.

Остап Григорьевич долго вертел бумажку в руках.

— Написать легко, — сказал он. — А спробуй, сунься по дворам...

— Сунемся! — уверенно произнёс Алексей. — Это на што, пан староста?

Он похлопал рукой по кобуре пистолета, болтавшейся на ремешке.

Потом огляделся кругом и скороговоркой тихо добавил:

— Дорого им обойдётся моё полицайство...

— Тш-ш! Ты помалкивай...

— Одного боюсь, Остап Григорьевич, — понизив голос, признался Алексей. — Дуже я горячий. Не вытерплю, влеплю этому Збандуте проклятому из пистолета.

— А ты держи себя в руках, — сердито сказал Остап Григорьевич. — Подойдёт время — может, не одного Збандуто уберём. Это легче, чем народ свой каждый день потихоньку вызволять.

— Ещё сдуру кто-нибудь из своих подсидит да ахнет из-за угла, — высказал резонное опасение Алексей.

— И так может быть, — согласился Остап Григорьевич. — Ну, да зараз не об этом голова у нас с тобой должна болеть...

В числе других письменное приказание о сдаче коровы было послано Лаврентьихе Федосье. По переписи у неё значилась корова и годовалая тёлка.

Получив бумажку, Федосья швырнула её.

— Передай старосте, — сказала она посыльному, — нехай он ею подавится. Никуда корову не поведу.

Назавтра Алексей и Сычик направились к ней.

Семья Сычика жила единолично. Отец Павла дома прикидывался чахоточным, на людях натужно кашлял. Но на богодаровском базаре изворотливее и прижимистее его никого не знали: торговал он рыбой, пирожками, требухой, а то и просто каким-нибудь рваньём.

Сам Пашка однажды был изобличён в продаже краденой гармошки. Его жестоко избили, и он после этого полгода болтался на Херсонской пристани. Потом, слышно было, отсидел год и семь месяцев в тюрьме.

В Чистую Криницу заявился он на другой день после прихода оккупантов. До этого дезертировал с фронта, прятался в лесу.

— Нехай, кто подурней, служит, — беззастенчиво хвалился он. — Я себе дома житуху вò какую обеспечу!.. — Он выразительно провёл рукой по горлу и лихо сплюнул.

Поступив в полицию, Пашка Сычик с первого же дня «показал характер». Похлопывая резиновой палкой по голенищу, он внезапно появлялся там, где резали свинью или гнали самогонку, и тогда уже отвязаться от него без крупного магарыча было невозможно.

Побаивались его особенно потому, что мать его приходилась какой-то родственницей бургомистру. Пашка к Збандуто имел доступ днём и ночью.

К Лаврентьихе он пошёл с Алексеем пораньше, чтобы она не успела угнать корову на выпас.

— Мне она бумажку не швырнёт, — бахвалился Сычик, помахивая резиновой палкой.

Хозяйка была дома. Когда пришли полицаи, она, подоткнув подол, замешивала отруби для свиньи.

На кровати сонная девчонка лет четырёх вертела из тряпок куклу. В люльке, задрав розовые ножонки, сосал палец грудной младенец. Шестилетний мальчуган в вышитой рубашке, судя по всему, только что ревел; насупившись, он терзал пальцами пуговицу от подтяжек.

— Сидайте, хлопцы, — гостеприимно и преувеличенно ласково предложила Федосья.

— Ты почему не в поле? — сдвинув брови, спросил Сычик.

— Детей не на кого оставить,—распрямляясь и вытирая руки, объяснила Федосья.— Раньше ж я их в ясли отдавала.

— Веди корову на базу.

— Нет, хлопцы, никуда я её не поведу,— твёрдо сказала Федосья. — Хочь казните... Чем я детей кормить буду?

— Не хлопцы, а паны добродии, — сердито поправил Сычик. — Веди сей же момент корову, бо я тебя туда загоню, где Макар телят не пас!..

— Что ж это такое, Лёша? — взмолилась Федосья. — Ты ж с моим Юхимом вместе работал...

— Надо вести. Новые власти требуют, — сказал Алексей и потрепал мальца по голове.

— Не поведу! Вам хорошо, вы дома... А как мой на фронте, так вы храбрость свою показываете...

Сычик замахнулся на неё палкой и, наливаясь кровью, заверещал:

— Молчи! Ты знаешь, с кем разговариваешь?

Он крутнулся на каблуках и направился к порогу.

— Пойдём, Лёшка. Сами возьмём.

Федосья забежала наперёд, хватая парней за рукава, тонко, до звона в ушах, заголосила:

— Не дам коровы. Убивайте!.. Тогда сирот возьмёте...

Сычик с силой оттолкнул её, и Федосья, не удержавшись, упала, ободрав до крови локоть о кадушку. Ребятишки дружно заревели, кинулись к матери.

Не оглядываясь, Сычик пошёл к сараю. Корова оказалась под замком.

— Давай вон обух, отомкнём, — сплюнув, предложил Сычик.

— Ломать не годится, — решительно возразил Алексей. — Нагорит нам.

Сычик постоял, махнул рукой. Проходя мимо хаты, он заглянул в дверь и пригрозил:

— Ты мне ещё попадёшься!

Решительное сопротивление оказали при изъятии коров и в других дворах. Всё же через два дня положенное количество скота было собрано. Остапу Григорьевичу и Девятко пришлось сдать и своих телушек.

К вечеру третьего дня колхозный конюх Андрюшка Гичак и Алексей погнали мычащее стадо на Богодаровку.

XIII

В полдень следующего дня Остап Григорьевич поехал в Богодаровку по срочному вызову бургомистра.

Збандуто был необычайно возбуждён. Как только Рубанюк переступил порог его кабинета, он накинулся на старика:

— Где скот? Я знаю, где! Это разбой!.. Бандитизм!.. Вы ответите, господин Рубанюк!..

Остап Григорьевич по-солдатски выпрямился и смотрел в налившиеся кровью глаза бургомистра.

Збандуто, побушевав, устало бросился в кресло. Дрожащими руками он снял пенсне, протёр его.

— Куда девались коровы?

— Скот вчерашний день погнали в Богодаровку, — сказал Остап Григорьевич. — Сколько предписывалось, столько и погнали.

— Знаю! — Збандуто снова заметался по комнате. — Угнали ваш скот... Полицейского связали, э-э... Гичака связали. Теперь мне отвечать за беспорядки...

Он схватился за стриженую голову, зашагал по комнате.

— Так вот, господин Рубанюк, — произнёс он сдавленным голосом. — Гебитскомиссар вызвал карательный отряд. Это как, хорошо, по-вашему?

— Хорошего мало.

— В лесах орудуют красноармейцы. Полицейского вашего взяли в жандармерию.

— За что ж его, пан бургомистр?

— Ну, снять показания... Он сам избит. Но главное вот что: Крюгер приказал собрать по Чистой Кринице такое же количество скота. Кроме того, на ваше село наложено... э-э... пятьсот центнеров хлеба... Срок — трое суток... Что вы молчите?

— Я вас послухаю.

— Надо выполнять.

— Народ взбунтуется, товарищ... извиняюсь, по старой привычке... Народ, говорю, не захочет сдавать последнюю скотину... И хлеб, сами знаете, погнил, осыпался...

— В тюрьму хотите, господин Рубанюк?

— От тюрьмы да от сумы не зарекайся, как говорится, господин бургомистр...

— Молчать! Я не хочу из-за вас итти в тюрьму! — Збандуто стукнул кулаком по столу. — Семьдесят пять коров, пятьсот центнеров зерна! Всё! Я сам к вам приеду... Ступайте!

Вернувшись в Чистую Криницу, Остап Григорьевич направился прямо в колхозное правление.

Девятко оказался там. Сидели у него Малынец, Тягнибеда, бригадиры. О происшествии со скотом уже было известно всему селу.

В ту минуту, когда Остап Григорьевич входил, Малынец, блестя запухшими глазами, назидательно говорил:

— Это ещё что! Если оружие у них имеется, припасы, они и в село не побоятся притти... Без гарнизону нам нельзя. Гарнизон стребовать надо.

«Э, балбес!» — с досадой подумал Остап Григорьевич и, не здороваясь, от порога сказал:

— Требовать не надо. Пан бургомистр сам пообещал карателей прислать.

Он коротко передал содержание своего разговора

с Збандуто. И опять Малынец, поблескивая нетрезвыми глазами, вмешался:

— И коров, и хлеб надо сдать, как наискорей. А то они щепки от села не оставят...

— Голова ты садовая, хоть и помощник старосты, — перебил Девятко, поглядывая на важно надутые, в малиновых жилках, щёки почтаря. — Где ты хлеб возьмёшь, когда он весь на корню погиб? Откуда у нас коров столько, чтоб каждые три дня гнать?

— Збандуто приедет, он найдёт, — обидчиво поджав губы, сказал Малынец.

— Этот из-под земли выроет, — вставил слово Тягнибеда и, обернувшись к Девятко, принял сторону Малынца:

— Остапа Григорьевича подводить под петлю не годится. Сами его выбирали. А не выполним, — его первого на цугундер... Надо, какие снопы, валки погнили, перемолотить. И косить есть что.

— Много не насбираем, — не совсем решительно откликнулся Девятко, раздумывая над словами Тягнибеды.

Посовещались и решили всё же выгнать людей в степь, на уборку и обмолот.

Тягнибеда ещё раз повстречался с Рубанюком около школы. Озираясь по сторонам, он сказал:

— Народ, Григорьевич, дуже волнуется: кто скотину мог перехватить? Открыто не высказываются, а каждый про себя думает...

— Там следствие ведут.

— А на вашу думку?

— Сам с толку сбился. Может статься, что и червоноармейцы в лесах бедуют... Леса-то, сам знаешь, — войско спрячется...

Тягнибеда посмотрел на безучастное лицо Рубанюка недоверчиво, но выпытывать больше ничего не стал.

Бургомистр приехал на следующий день. Приехал не один, а в сопровождении целой ватаги полицаев и солдат. И, как и в первый раз, с ним заявились немец с длинной трубкой и переводчик...

В бригаде Горбаня, ушедшего на фронт, верховодила его жена, белобрысая Варвара. С подоткнутым подолом, повязавшись по-цыгански, — уткнув концы платка около щёк, — она проворно захватывала левой пригоршней пук жёлтой перестоявшей ржи, правой ловко подводила серп: «чш-ш-жик!» — и отбрасывала стебли в сторону.

В одном ряду с Варварой, приноравливаясь к незнакомому делу (серпами в колхозе не жали), шло ещё около десятка молодух. Немного поодаль деды косили пшеницу.

Тягнибеда, держа в поводу кобылёнку, бродил по жнивью, разглядывал хрупкие, осыпающиеся стебли и сумрачно прикидывал в уме. Не одна неделя напряжённой работы минет, пока удастся собрать зерно, требуемое оккупантами.

День был свежий, ясный. Дальний лес и два кургана перед ним, освещённые скупым, негреющим солнцем, вырисовывались чётко. Осень... По ночам небо густо усыпали яркие крупные звёзды, безостановочно меняющие свой холодный — то красный, то синий, то зелёный свет. На рассвете выпадали первые заморозки. А ещё совсем недавно земля парила, в тёплом воздухе лениво плыла паутина — стояло «бабье лето». Теперь матово-белые нити паутины легли на поля, зацепились за потемневшие кусты тёрна, придорожного донника, высохшей полыни.

Полевод намеревался поехать на другой участок, но вдалеке из-за кургана показались две брички.

На задней—Тягнибеда заметил это сразу—тесной кучкой сидели солдаты; на первой покачивались двое, оба в шляпах. Сбоку трясся на подседланном маштачке Малынец.

Бричка остановилась на дороге. Двое, те, что были в шляпах, направились следом за Малынцом к работавшим. Немец остановился около Тягнибеды, посасывая свой погасший чубук, и, глядя не на полевода, а на женщин, спросил:

— Ви есть козяин?

— Я?

— Да, ви.

— Полевод.

Переводчик перевёл ответ. Немец отнял трубку от полных, розово-бледных губ и брюзгливо сказал ему что-то.

— Господин Крюгер спрашивает, почему медленно убираете?

Тягнибеда пожал плечами.

— Серпами разве скоро уберёшь?

Немец выслушал ответ, исподлобья взглянул на Тягнибеду. Порывшись в словарике, он громко, чтобы слышали все, сказал:

— Сволошь! Машины поломал... Работать быстро! Шнеллер!

Он отозвал в сторону Малынца, долго ему внушал что-то, размахивая чубуком и тараща на него глаза. По-

том сердито пошёл к бричке, и ватага поехала на сапуновские поля.

Тягнибеда, козырьком приставив к глазам руку, проследил, пока за поворотом исчезли каски солдат, поблескивавшие в холодных осенних лучах солнца, и пошёл к дедам.

— Сидайте, дядьки, перекурим, — сказал он, опускаясь на сноп, потому что добра всё равно не будет.

Старики охотно подсели, полезли в карманы за кисетами. Побросали работу и бабы.

— Слыхали доброе слово? — кивнул головой в сторону уехавших Тягнибеда. — Будет так: отдай кур, масло, яйки, та ещё мало...

— Одним словом, произвели в хозяевов, — уныло подытожил гундосый дед Кабанец.

— Неужели, дядько Митрофан, управы на них не будет? — подала голос Варвара.

Тягнибеда огляделся, вскинул брови.

— Управы? Если Россия не поддастся, выдержит, то будет управа. А думка такая, что вроде Россия не должна поддаться. — Тягнибеда в упор посмотрел на Варвару. — Её ещё никто не мог одолеть, нашу радяньскую Россию.

Тем временем Збандуто сидел за столом старосты и самолично составлял список по изъятию коров. Рубанюк стоял тут же, посасывая самокрутку. Он настойчиво отводил один двор за другим.

— Одарка Черненко, — строго шевеля усами, называл бургомистр.

— Прошлый раз взяли тёлку. Шестеро малых детей.

— Митрофан Тягнибеда. Это полевод?

— Он. У него и всего добра, что коровёнка. К тому ж больные и матерь, и отец. Молоком только и поддерживаются.

— Федосья Лаврентьева.

— У этой никак нельзя. Вдова, трое малышей.

Сычик, стоявший у окна, за спиной бургомистра, сипло проговорил:

— У Федоски обязательно забрать надо. Что вы за неё заступаетесь, пан староста? С чего она вдова? Муж у красных. Сама нахвалялась, что придут русские — и бургомистра и старосту своими руками задушит... Стерва...

Збандуто отшвырнул список.

— Не у кого брать? К чорту ваши советы, господин Рубанюк! Одна шайка... Сдать скот, иначе самого упеку в тюрьму. Что? Молчать!

Он вскочил из-за стола, ногой отшвырнул стул и повернулся к Сычику:

— Где эта баба? Веди.

Лаврентьиха, увидев, какие гости направлялись к её двору, обомлела. Она заметалась по хате, выхватила из люльки спавшего ребёнка...

Збандуто ногой открыл дверь. Тупо глядя поверх женщины, он спросил:

— Почему не отвела корову на базу?

— У меня дети маленькие, пан начальник, — показала рукой Федосья.

Збандуто ударом ноги сшиб её на пол.

На кровати испуганно заплакали дети. Збандуто выхватил из кармана пистолет и наставил на ребятишек:

— Цыц! Постреляю! Вы-ыродки...

Он поднял пистолет и пальнул в потолок. Помертвевшие от ужаса детишки без звука ссыпались на пол и побежали из хаты. Плача, поднялась Федосья.

— Я тебе покажу! — завизжал на нее Збандуто. — Хуже ещё будет... Я научу вас дисциплине! Быдло!

Федосья, увидев в окно, как Сычик провёл мимо хаты, к воротам, её корову, рванулась было к двери и, обессилев, упала у порога. Збандуто переступил через неё и поспешил следом за полицаем.

Расправа над Лаврентьихой подсказала криничанам, что надо делать. В некоторых дворах коров не оказалось: хозяева предусмотрительно увели их куда-то. В других хатах двери были на замке.

Злость свою Збандуто сорвал на Остапе Григорьевиче: обругал его за то, что в присутственных местах не оказалось портретов Гитлера, исчезли почти все плакаты с улыбавшимся крестьянином.

Ещё до наступления сумерек бургомистр, немец и переводчик уехали.

Остап Григорьевич пошёл в колхозное правление. На полпути, около горбаневского подворья, он увидел Ганну. Она стояла с варвариной свекровью, потом, запахнув платок, пошла по улице.

— Как живёшь, дочко? — окликнул её Остап Григорьевич. — Чего не заходишь?

Ганна остановилась.

— Чего, говорю, не заходишь? — повторил Остап Григорьевич.

— Особенных делов нету, — со сдержанной холодностью ответила Ганна.

— Какие дела нужны, чтоб зайти батьков проведать?

— Эх, тато

Подбородок Ганны дрогнул.

— Ты мне вот что скажи, — дотрагиваясь пальцами до её плеча, сказал Остап Григорьевич. — Буряки твои... Как думаете быть с ними?

— Нехай они к бесам погниют, — коротко ответила Ганна. — Что с ними ещё делать?

— Жалко трудов. Знамя припрятала?

Ганна быстро посмотрела на отца. В её тёмных глазах он прочитал такую тоску, что ему захотелось обнять её, прижать к себе, как маленькую. А Ганна уже отвела взгляд на проезжавшего мимо деда Довбню и тихо проговорила:

— Ну, я побегу, тато. Поклон матери и всем передавайте.

Она укутала лицо и, осторожно ступая, пошла своей дорогой.

Остап Григорьевич понял, что дочь на него обижается, и он знал, за что. «Старостинское звание моё не по нутру всем им, — думал он. — А того не поймут, глупые, что на службу к этим фашистским бандюгам старый Рубанюк никогда не пойдёт. Потом поймут, а теперь... Нет, теперь нельзя и жене открываться...»

Катерина Федосеевна встретила мужа сердито. Подавая на стол, она с сердцем бросила ложку, положила ненарезанный хлеб. Перехватив взгляд Остапа Григорьевича, она срывающимся голосом крикнула:

— Заберу детей и пойду к людям. Живи сам.

— Сдурела?

— По селу срамно ходить, — заплакала Катерина Федосеевна. — Детвора на улице, и та старостихой обзывает. Ты свою шкуру спасаешь, а мне в очи шпыняют.

— А и дурная ты, Катря, — резко отодвинув миску, сказал Остап Григорьевич.

— Катерина Федосеевна права, — вмешалась Александра Семёновна. — Мы вот вдвоём были у Федосьи, — продолжала невестка. — Совсем больная лежит. Детишки в себя не могут притти. Пошли ей помочь, а она с нами разговаривать не пожелала. Приятно?

Василинка громко всхлипнула. Схватив косынку, она побежала из хаты.

Остап Григорьевич встал из-за стола. Отдуваясь, как после бани, он пошёл на огород курить.

Спал он в эту ночь в кухне один. Катерина Федосеевна и Василинка забрали постели и ушли на другую половину. Туда же увязался Сашкò.

Остап Григорьевич долго ворочался, вздыхал. Ему очень хотелось курить, но кисет был пуст. Ключи от коморы, где хранился табак, находились у жены. Не будить же всех из-за этого!

Остап Григорьевич вдруг озлился. Он вспомнил недоверчивый взгляд Ганны, когда спросил о знамени, злые слёзы жены, плач Василинки.

Жена даже не спросила, зачем приезжал бургомистр, а Остапу Григорьевичу хотелось бы ей рассказать, как тяжело выслушивать унизительные крики, угрозы этой продажной твари.

По спавшему селу недружно голосили первые петухи, ветер шелестел в саду листьями. И оттого, что рядом никого из своих не было, старик особенно остро чувствовал, что приближается осень, тревожная, тоскливая.

Слух его уловил вдруг шаги за хатой. Они раздавались всё ближе, потом кто-то прильнул к стеклу, вглядываясь, и, наконец, тихонько постучал ногтем.

Остап Григорьевич слез с кровати, подошёл к окну:

— Кто там?

Человек за окном не ответил. И то, как он терпеливо стоял, прижавшись к стеклу лицом, и то, что стучал он не со двора, а из сада, подсказало Остапу Григорьевичу, что спрашивать больше нельзя.

Он быстро оделся, накинул на плечи пиджак, вышел на крыльцо, затем завернул за угол хаты. Незнакомый человек подождал, пока он подошёл близко, и вполголоса произнёс:

— Ну, староста, доброго здоровья!

Остап Григорьевич приблизил лицо и разглядел бороду.

— Товарищ Бутенко! Игнат Семёнович!

— Я не Игнат Семёнович, — с усмешкой откликнулся Бутенко. — Понял, господин Рубанюк? Что ж... Пойдём в сад, потолкуем...

ЧАСТЬ
ЧЕТВЁРТАЯ

I

В середине октября Петра выписали из госпиталя. Начальник хирургического отделения в последний раз осмотрел его ногу.

— Ну, старший сержант, теперь ты на коне. Езжай, бей фрицев, — сказал он с грубоватой лаской.

Петро получил документы, попрощался с врачами, нянями и сёстрами и вышел за ворота.

Над городом, окутанным сизой дымкой, догорал закат, серебристо розовели в поднебесье аэростаты воздушного заграждения. Надвигались московские сумерки. Итти на пересыльный пункт было уже поздно. В госпитале задерживаться Петру не хотелось, и он начал перебирать в памяти адреса знакомых москвичей — к кому бы поехать.

На трамвайной остановке ждали вагона врач-майор, несколько женщин и юная сандружинница из хирургического корпуса госпиталя, где он лежал. На концерте для раненых девушка эта читала с большим чувством стихи одного фронтового поэта. Правда, читая, она дважды сбилась, но зато раскланивалась с грацией настоящей актрисы. и ей хлопали дружелюбно и весело.

Петро подошёл к ней.

— Совсем покидаете нас? — спросила она.

— Пора.

— Куда же теперь?

— У солдата один путь. На фронт.

— Нет, сейчас куда?

— В город. Поищу старых друзей.

Улыбаясь, Петро осторожно снял пальцем снежинку

с белокурой прядки её волос. Он вспомнил, как называли в палатах девушку, и добавил:

— Ясно, Машенька?

— Не Машенька, а Мария... А вас зовут Петром. Я знаю.

Мария нагнулась, поправила металлическую застёжку на резиновых ботах и сказала просто, как старому знакомому:

— Никаких друзей вы разыскивать не будете. Глупости! С больной ногой! Поедете к нам.

— Не стесню?

— Что вы! Мы вдвоём, с мамой. Конечно, не стесните. Мало приятного бродить ночью по затемнённой Москве.

Они с трудом вошли в переполненный трамвай.

— У Арбата сходить! — крикнула Мария, разыскав его глазами.

Мимо проплывали окраинные домики, пустыри, корпуса фабричных зданий. Петро разглядывал противотанковые рвы, проволочные заграждения, надолбы и стальные ежи, раскиданные на перекрёстках дорог. Он видел их впервые, и то, что всё это было построено в самой Москве, волновало и угнетало его.

Женщина с судками монотонно рассказывала старухе в большом шерстяном платке:

— Кончаю работу в половине шестого. Детишки сидят дома голодные. А столовая для детей фронтовиков — во Всехсвятском. Закрывается в шесть... Спешишь. Лезешь в трамвай через переднюю площадку, чтобы суп не расплескать. Ругаются, ну, и ты огрызаешься.

— Милая, — вздохнув, сказала старуха. — Им на фронте разве легче?

— Не к тому, что легче. Мой с первого дня там. Ни одного письма... Наверно, и нету его уже...

Женщины всю дорогу говорили о дровах, которых нет, о баррикадах на Ленинградском шоссе, о детских ботинках, которых уже два месяца не «выбрасывают» в магазины. На плечи женщин война взвалила столько тягот! Вот эти женщины рыли глубокие противотанковые рвы, закапывали в мёрзлую землю бетонные надолбы, гасили пожары от «зажигалок»...

...На трамвайной остановке Мария сошла раньше. Она хотела помочь Петру, но он отвёл её руку.

— Надо учиться ходить. Там, на передовых, помощников не будет.

Они шли неуютными затемнёнными улицами. Петро за время войны видел Москву впервые и дивился тому, как она изменилась. Мешки с песком у подвальных окон и витрин, глухой синий свет в подъездах. Даже милиционеры пользовались не яркими весёлыми светофорами, а фонариками с зелёными и красными стёклами, за которыми тускло мерцали свечи. Петру казалось, что он идёт по большой пустынной деревне...

Они уже приближались к тёмному многоэтажному дому, где жила Мария, когда протяжно загудели сирены и заводские гудки. В подъездах захлопали двери, торопливо зашаркали ноги по тротуарам.

— Мы в бомбоубежище не пойдём. Ладно? — сказала Мария.

— Хорошо, — ответил Петро рассеянно.

Его внимание привлекли два мальчугана, мчавшиеся во весь опор в сторону метро. Старший, лет восьми, крепко держа за руку меньшого, перебирал ногами так проворно, что карапуз задыхался.

Петро, раскинув руки, остановил ребятишек.

— Спокойнее, спокойнее, мальцы. Вы почему одни, без мамки?

— Она дежурит у ворот,— ответил старший, часто дыша.

Петро поднял меньшого на руки. Сердечко билось у него, как у пойманного зайчонка, и Петро успокаивающе произнёс:

— Успеете, не торопитесь. А главное, не бойтесь. Вы же всё-таки мужчины...

Парнишки, оглядываясь поминутно на старшего сержанта с вещевым мешком за плечами, сделали несколько чинных шагов, снова взялись за руки и побежали ещё быстрее. Сирены и заводские гудки продолжали тревожно завывать.

Петро и Мария поднялись по едва освещённой лестнице на третий этаж. Мария открыла обитую клеёнкой дверь, ввела Петра за руку в тёмную прихожую, захлопнула дверь и только тогда включила свет.

В прихожей стоял смешанный запах нафталина, духов и кухонного чада. Перед высоким трюмо, на столике и сундуках была свалена верхняя одежда.

Мария пригласила Петра в комнату.

— Я сегодня дома впервые за неделю, — словно извиняясь за беспорядок, сказала она. — Мама тоже бывает редко. Почти не выходит с завода.

Она зажгла настольную лампу под зелёным шёлковым абажуром, достала кипу старых юмористических журналов:

— Займитесь. Я хоть немного уберу.

Петро разглядывал журналы и не сразу расслышал, когда Мария его окликнула. Она стояла в дверях уже переодетая, кокетливо причёсанная. Петро удивлённо отметил, что без госпитального халата и белой повязки девушка утратила свой юный вид; перед ним стояла совершенно иная Мария.

— Товарищ больной, — шутливо сказала она, — идите принимать пищу.

За окнами бухали зенитки, дребезжали стёкла. Мария набросила тёмную шаль на лампу и повторила приглашение.

В столовой уже был накрыт стол: хлеб, коробка консервов, ломтики колбасы на тарелке.

Мария с удовольствием наблюдала, как ел Петро. Самой ей не хотелось есть.

— Может, хоть вы мне расскажете, как там на войне? — спросила она. — В госпитале от больных ничего не добьёшься.

— На войне — как на войне, — уклончиво сказал Петро.

— Нет, я серьёзно! Мне очень хочется в пулемётчицы. Есть же девушки на передовой линии?

— Я воевал мало. Наверно, есть и девушки.

— Ничего себе! Знамя у фашистов отобрал, дважды ранен и — «воевал мало!» Скромник!

Петро нахмурился.

— Вы ошибаетесь. Никогда я знамени у фашистов не отбирал. И вообще никаких таких заслуг у меня нет.

Он действительно был убеждён в том, что им на фронте сделано не так уж много, чтобы об этом распространяться. Правда, после того, как он вышел из окружения и оправился от контузии, полученной при переправе через Днепр, он снова дрался, до второго ранения, под Кременчугом, и ему за отличие присвоили звание старшего сержанта. Но, по его мнению, в этом ничего интересного для Марии не было, и Петро, чтобы изменить тему разговора, спросил:

— Вы вдвоём с мамой живёте?

— Да. Бабушка эвакуировалась.

— А отец?

— Папа на Урале. С заводом.

— Что он там делает?

— Директор.

Мария назвала фамилию отца. Петро часто встречал её в газетах. Ему хотелось ещё расспросить девушку об её отце, но она перебила его.

— Объясните мне, почему такая несправедливость? Об Анке, которая была у Чапаева пулемётчицей, все вспоминают с уважением, в книгах о ней пишут. А как только наши девушки заикнутся, что хотят на фронт, их высмеивают: «Девчонки!.. Куда вам!..». Всё равно меня не удержат! Мы ещё с вами на фронте встретимся.

Петро покосился на раскрасневшееся лицо Марии, на её сердито подрагивающие ноздри. «Девушка с характером», — мысленно одобрил он.

— Что же вы собираетесь делать на передовой?

— То-есть как «что»? То, что все делают. Стрелять, в разведку ходить, раненых перевязывать.

— А стрелять умеете?

— Научусь! Вы ведь тоже не с пелёнок это умели.

— Резонно... Прочтите, Машенька, стихи. У вас это здорово получается.

— А вы любите подтрунить, Петя.

— Что вы, Машенька.

— Мария, а не Машенька... Серьёзно хотите, чтобы я почитала?

— Очень! На фронте вас за хорошие стихи самые отчаянные разведчики боготворить будут. Наш солдат ведь только внешне грубеет, Мария. А чувствует он всё как-то тоньше, острее, что ли? Испытания облагораживают, выражусь так... Может быть, потому, что сражаемся мы за самое прекрасное, что есть у человечества. И к этому прекрасному наши бойцы тянутся тем сильнее, чем суровее им приходится поступать с врагом. Понимаете, Мария, мою мысль?

— Очень хорошо. Так что же вам прочесть?

— Что хотите.

Мария прислонилась к окну и, откинув со лба грациозным движением прядь волос, начала читать:

Не весна как будто и не лето,
Что-то холоден небесный шёлк.
Письмоносец с пачкою конвертов,
К нам во двор с пакетами пришёл.
Я взглянула, напрягая нервы,
На скреплённый марками конверт:
— Гражданин, скажите, в номер этот

Неужели писем ещё нет? —
С высоты своей воздушной крыши
Солнце бросило лучи в глаза.
— Не волнуйтесь, милая, вам пишут, —
Письмоносец на ходу сказал.
И ушёл. У всех работы много:
Друг писать сейчас не может мне.
Много дней письмо пройдёт в дороге,
Да всего не выскажешь в письме.
И к себе, в остывшую квартиру,
Письмоносца я не буду ждать.
Буду в самом лучшем командире
Образ твой любимый узнавать.
Дни пройдут, и с тёплою улыбкой
Вновь небесный развёрнется шёлк.
Станет жарко. Сердце стукнет сильно.
Ты войдёшь и скажешь: «Я пришёл».

Стихи были наивны и далеки от совершенства, но Петра покорила та горячая искренность, с какой они были прочитаны.

— Кто написал эти стихи? — спросил он.

— Вы знаете, Петя, даже не помню, — сказала, смущённо улыбнувшись, Мария. — Они нравятся раненым, я их и записала. Когда в госпитале читаешь, я по глазам вижу, что каждому хочется, чтобы его ждали.

— Вы чудесная девушка!

— Обыкновенная.

Она посмотрела на часы и пошла в отцовский кабинет готовить для Петра постель.

— Если что будет нужно, я рядом, — строгим, как в госпитале, голосом произнесла она и, прощально махнув рукой, плотно прикрыла за собой дверь.

Петро уснул сразу и так крепко, что не слышал ни близких разрывов фугасок, ни тревожной беготни людей по лестницам. Очнулся он оттого, что ощутил на своём лбу горячую руку.

— Разве можно так спать! — дрожащим голосом говорила Мария. — Очень уж близко они швыряют.

Петро сел на диване, быстро натянул сапоги. За окнами послышался воющий, быстро нарастающий звук. Грохот потряс стены, послышался звон стекла. Бомба, видимо, разорвалась на соседней улице.

— Пятисотку швырнул, — определил Петро.

— Знаете, — доверчиво сказала Мария. — Когда чувствуешь, что можешь каждую секунду погибнуть, жалеешь только об одном...

— О чём?

— Что жизнь обрывается в самом начале. Старикам не так должно быть обидно. Я ведь ничего хорошего ещё не успела сделать. Молодость, Петя, и замечательна тем, что у нас есть будущее. Правда? Всё впереди! Ещё неизвестное, но обязательно интересное и хорошее. И работа, которую выберешь себе, и... парень, которого ты полюбишь. У вас есть любимая девушка?

— Есть жена.

— Да? Как её зовут?

— Оксана.

— Красиво. У нас, в эвакогоспитале, не в том, где вы лежали, а в пятьсот шестнадцатом, была медсестра Оксана. Хорошенькая украинка.

— Как её фамилия? — спросил Петро, чувствуя, как быстро забилось его сердце и перехватило дыхание.

— Не помню, мы называли друг друга по именам.

— Ну, какая она из себя?

— С длинными тёмными волосами, голубоглазая.

— Знаете, Мария, это она!

— Думаете? Погодите, у меня где-то фотография была. Мы группой снимались...

Мария ушла в свою комнату и вернулась с толстым альбомом. Она зажгла свет и среди портретов благообразных старушек, чопорных тётушек в старомодных пенсне, усатых и безусых мужчин в вицмундирах и визитках отыскала тусклую любительскую фотографию.

Петро узнал Оксану сразу. Она сидела среди госпитальных работников, улыбающаяся, похорошевшая. В белом халате и косынке медсестры она выглядела моложе своих лет.

— Оксана, — прошептал Петро, жадно разглядывая фотографию.

— Теперь я убедилась, что это она, — усмехнулась Мария. — По вашему виду.

— Расскажите о ней всё, что знаете, — попросил Петро. — Где этот госпиталь?

— Был в Лефортове. Сейчас на фронте. Я дам адрес почтовой станции. А вообще... Я плохо знаю вашу жену. Слыхала, что хвалили её как хорошую сестру.

Петро закурил. Мария пожелала ему спокойной ночи. Громко шлёпая комнатными туфлями, она ушла к себе, а он так и не смог уснуть до утра.

Встал Петро, когда за окнами было ещё темно. Мария уже возилась на кухне. Услышав, что Петро проснулся, она быстро приготовила завтрак, заставила Петра поесть и выпить чаю. Она сидела за столом, устремив на него свои блестящие карие глаза.

— Что вы меня так рассматриваете, Машенька?

— Так... — Она смутилась и, покраснев, отвернулась. Записав адрес оксаниного госпиталя, Петро надел шинель, ушанку, взял вещевой мешок.

— Зайдёте, если будете в Москве? — спросила Мария, заметно волнуясь.

— Обязательно.

Мария, накинув на голову пушистый белый платок, вышла проводить его на лестничную площадку. Она протянула ему руку и, пристально посмотрев снизу вверх в его глаза, поспешно отвернулась. На её ресницах Петро заметил слезинки.

— Вы, что, Мария?

— Ничего!

Она выдернула руку, закрыла лицо платком и, не оглядываясь, побежала к двери.

II

Петра и ещё двух красноармейцев, выписанных, как и он, из госпиталя, направили в Волоколамск, в стрелковую часть.

У контрольно-пропускного пункта они сели на одну из попутных автомашин со снарядами, и вскоре подмосковные пригороды остались позади.

Водитель, молчаливый светлорусый парень, с такой широкой грудью и могучими плечами, что на них еле сходился полушубок, вёл пятитонку на предельной скорости, обгоняя другие машины и заставляя испуганно отскакивать с пути регулировщиц.

По сторонам шоссе мелькали обставленные свежесрубленными ёлками контрольные будки, фанерные щиты с надписями: «Убей оккупанта!», «Водитель, гаси свет», «Все силы — на разгром врага!»

У одного из поворотов Петро прочитал на огромном деревянном щите:

Станем нерушимой стеной
и преградим путь фашистским ордам
к родной и любимой
МОСКВЕ!

Петро не спускал с этого плаката глаз, пока его броские чёрные буквы не слились и потом совсем не исчезли из виду. Петро знал, что фашистские захватчики находились уже в Гжатске и Юхнове, подошли к Туле и Калуге, угрожали Можайску. Мысль о том, что они прорвались так далеко в глубь страны, наполняла сердце острой тревогой.

...Холодный резкий ветер гнал по асфальтовой глади шоссе колючие снежинки и обожжённые первыми морозами сухие листья. Точно вот такой же ветерок, с морозцем, гулял над Богодаровским шляхом, по которому Петро когда-то давно вёл хлопцев из Чистой Криницы в районное село на комсомольскую конференцию...

На мгновение с особенной ясностью вспомнилась ему его прежняя жизнь... Отец в белых домотканных шароварах, поющая Василинка. Волны у песчаного берега Днепра от проходящих пароходов... Дед Довбня, угощавший свежим мёдом на пасеке... Блестящие после дождя колеи степной дороги...

Всё время на фронте Петро мечтал о том, как, наконец, будет он гнать гитлеровцев с Киевщины и, если посчастливится, ворвётся с товарищами в Чистую Криницу. Об этом он думал и когда шёл из окружения, и в те дни, когда дрался на левом берегу Днепра, и в госпитале. Вера в то, что так будет, поддерживала его в тяжёлые дни отступления. Лишь бы скорее был дан приказ наступать! Этого он ждал с мучительным нетерпением, как ждал каждый фронтовик. Но войска попрежнему отходили, цепляясь за каждую пядь земли, заливая её вражеской кровью. Оккупанты бросали в бой всё новые и новые части и двигались вперёд. Вот уже далеко позади остались родные места, — полонены врагом Чистая Криница, Винница, Корсунь, и Канев с могилой великого Кобзаря, и древний Киев Захватчики уже вошли в подмосковные леса и деревушки..

Раненая нога начала зябнуть. Петро уселся спиной к ветру, пытаясь согреть ногу. Озабоченный тем, чтобы не

отморозить её, он даже не обернулся, когда пятитонка остановилась в хвосте машин.

Уже после того как они отъехали от контрольно-пропускного пункта, он вдруг заметил девушку, очень похожую на Оксану. Она стояла возле санитарной машины, опустив руки в карманы шинели, и провожала глазами шедшие к фронту автоколонны. Её взгляд скользнул по фигуре Петра, но она отвернулась и заговорила с шофёром.

— Оксана! — отчаянно закричал Петро.

Он вскочил и яростно забарабанил кулаком по крыше кабины. Водитель затормозил.

— Жену встретил! — крикнул Петро.

Он схватил вещевой мешок, соскользнул на шоссе и торопливо махнул водителю рукой:

— Слыхал? Жинку нашёл! Езжай!

Не спуская глаз с санитарной машины, он, прихрамывая, побежал обратно к контрольному посту. Девушка стояла всё так же, задумчиво поглядывая вокруг. Она, она! Оксана!

— Оксана!

Навстречу ему шёл густой поток гружёных машин, сзади, фырча моторами, торопились автомашины с ранеными. У поста регулировщики переругивались с водителями. Но до сознания Петра всё это доходило, как в тумане.

— Оксана! Слышишь?!

Петро вытер рукавом губы. Правая щека его от волнения задёргалась. Стало жарко, он опустил воротник шинели.

Оставалось пробежать немного. Но в эту минуту шофёр опустил крышку капота, и девушка начала усаживаться в кабину. Петро опять крикнул:

— Оксана, это я! Петро!

Но его голоса не услышали. Машина тронулась.

В первую минуту Петро опешил. «Нет, надо догнать. Во что бы то ни стало», — подумал он.

Добежав до контрольно-пропускного пункта, он вскарабкался на попутную пустую полуторатонку.

От контрольной будки подошёл красноармеец с красной повязкой на руке. Молодцевато козырнув и резко опустив руку, он предложил Петру предъявить документы.

— С документами у меня в порядке, — поспешно сказал Петро. — Ты, милок, не задерживай... Жену потеряю, честное слово.

— В порядке, так в порядке, а показать надо, — строго сказал красноармеец.

По его тону и холодному взгляду чувствовалось — попадись ему сейчас родной отец или брат, он и их не признает, пока не проверит документов.

Петро дрожащими от нетерпения пальцами расстегнул шинель, достал бумажку. Зелёный кузов санитарной машины быстро уменьшался.

— Где лежали в госпитале, товарищ сержант? — спросил красноармеец смягчившимся голосом.

— В Москве.

— А сейчас где ваша часть?

— В Волоколамске.

— Почему же не в часть, а обратно едете?

— Говорю же, увидел жену... Догнать хочу. Пойми, ничего о ней не знал... Опять потеряю.

Красноармеец пристально посмотрел в лицо Петру. Искренний и горячий тон, а больше всего справка о ранении убедили его. Он наклонился к водителю и сказал:

— Сержант жену свою нашёл. Дай-ка газку, пущай нагонит.

Но «дать газку» было трудно. В обе стороны по шоссе нескончаемым потоком катились машины, шли маршевые роты.

Санитарная машина, качнувшись на ухабе, скрылась за деревьями, и, когда полуторатонка добралась, наконец, до поворота, заветная зелёная машина уже потерялась из виду.

От шоссе тянулся к лесу деревянный настил, проложенный вместо дороги, чуть поодаль, в другую сторону, уходила просека.

Водитель машины торопился дальше, к Москве. Петро слез, осмотрелся. Он с трудом наскрёб в кармане махорки, свернул цыгарку.

«Всё же теперь знаю, что Оксана рядом. Разыскать будет легче», — утешал себя Петро.

Он сел в первую попутную машину и поехал в сторону фронта.

...К обеду он добрался до второго эшелона армии. Петро долго плутал между избами деревни, пока разыскал нужного ему штабного работника. Он настоял на том, чтобы его опять направили пулемётчиком, и, разузнав, где искать свою часть, направился туда.

Даже налегке итти с ещё болевшей ногой Петру было трудно. Через шесть километров он свернул к небольшой деревушке, решив здесь переночевать, а с рассветом отправиться дальше.

Деревушка насчитывала около десятка дворов, все избы были переполнены военными. К своему великому удовольствию Петро узнал, что здесь как раз и расположилась часть, которую он разыскивал.

Младший лейтенант Моргулис, командир пульвзвода, простой и жизнерадостный парень, с двумя золотыми зубами, которые сверкали каждый раз, когда он улыбался, дружелюбно протянул Петру руку.

— Блиндажей у нас ещё нет,— сказал он.— Так что переспим сегодня в Быковке. Забирайся в любую избу, кроме крайней с северной стороны. Там комбат капитан Тимковский поместился со своим штабом.

III

После полуторамесячного пребывания в госпитале Петро снова обрёл фронтовую солдатскую семью.

Он подошёл к ближней избе, поднялся на крыльцо и потянул на себя дверь. В лицо ударил спёртый запах прелой соломы, махорочного дыма, сушившихся портянок.

У самого порога и дальше по всему полу, на полатях и лавках сидели и лежали вповалку бойцы. Тусклый свет коптилки освещал только ближайших к двери, но по непрекращавшемуся натужному кашлю и хриплым голосам Петро понял, что людей набилось в избе очень много. «Тут, если и знакомые есть, — не разглядишь», — подумал он, осматриваясь.

Шагнув к свободному местечку, он задел ногой лежавшего на спине с самокруткой в зубах бойца.

— Куда прёшь?! — крикнул тот зло.— Ты ещё на лицо мне наступи.

— Подвинься трошки, — спокойно сказал Петро. — Да не ругайся, а то я это умею получше твоего.

— Двери, Прошка, заложи,— крикнули из темноты.— Будут до ночи шляться. И так дыхнуть нечем...

— Это ты и есть Прошка? — спросил Петро злого бойца. — Ну-ка, принимай в соседи...

Прошка буркнул что-то и нехотя подвинулся. Петро снял сумку, положил её под голову и, опустившись на солому, начал стаскивать сапог. Раненая нога ныла, и нужно было хоть растереть её.

Ему хотелось есть, но у него ничего с собой не было, и он спросил сердито посапывающего Прошку:

— Сухарик не завалялся у тебя?

— А если и завалялся? — вызывающе сказал тот.— Што я, специально для тебя носил?

— Ну, вот это ты скверно поступаешь,— удивлённо сказал Петро.— Разве на фронте говорят такое товарищу?

— Скорей у курицы молока выпросишь, чем у Прошки чего-нибудь,— вмешался лежавший сбоку Петра пожилой красноармеец.

Он приподнялся, порылся в своей сумке и протянул Петру краюху хлеба и кусок колбасы.

В разных углах избы раздавался громкий храп, кто-то скрежетал во сне зубами. На печи не умолкал тихий разговор. Там лежал с красноармейцами старик хозяин; он остался один, семья его эвакуировалась в тыл.

Дед вполне освоился со своим холостяцким положением. Ворчал на бойцов, забывавших закрывать двери, охотно пользовался их табачком, харчами и, страдая бессонницей, всю ночь напролёт толковал с парнями о войне, о житейских делах..

Насытясь и попив из ведра ледяной воды, Петро намеревался заснуть, но разговор на печи его заинтересовал, и он прислушался.

— Как ты ни оправдывайся, отец, плоховато вы тут живёте,— говорил насмешливый, по-мальчишечьи ломкий голос. — Ни электричества в курене, ни фруктового сада на подворье. Ты бы к нам приехал, поглядел...

— Куда это к вам?

— На Кубань. Вот где житуха!

Старик тягуче закашлялся, потом уселся, подогнув под себя ноги, начал вертеть цыгарку. Сиплым голосом он сказал:

— Вот сколько народу идёт, ночует, а никто не скажет, цела выставка эта... хозяйственная... или нет?

— Это сельскохозяйственная, что ли? Зачем она тебе?

— Как это «зачем»? Думаешь мы не были на ней?

— И ты сам был? — с недоверчивой ухмылкой спросил сонный голос из-за печи.

— А чего мне не быть? Внучка-то моя за главную доярку. Её коровёнок на выставке этой дипломом вознаградили.

В голосе старика послышались горделивые нотки. Управившись с цыгаркой, он продолжал:

— Если бы не война, наша деревня ещё не то бы перед людьми выставила... Тебе вот, служивый, электричество поперёк стало. А оно не везде сразу...

— Нет, дед,— весело перебил его парень, видимо, подзадоривавший старика ради скуки, — некультурно живёте.

— Поживи-ка с моё,— рассердился дед.— Мне-то за восемьдесят. Ты-то не помнишь, как в Белокаменной нашей этого электричества и в помине не было... Маслёнками светили да керосином. Конка по улицам ходила... А нонче какой город! Видал? Наш человек, русский подмосковный строил. Два зятя у меня в инженерах. Оба наши, быковские... Ты сам-то, чай, не с Москвы?

— Нет, я издалека. С Кубани.

— Ага! А пришёл за Москву воевать? И правильно. В Москве вся она, наша жизненность, заключается...

Под разговоры на печи Петро незаметно уснул. Уже под утро он услышал сквозь сон громкий стук в дверь. На крыльце и под окнами разговаривали, звякали котелки и оружие, перекликались озябшие голоса.

Прошка поднял голову от сумки и лениво крикнул:

— Чего стучишь? Нету места.

— Ты человек? — зло вопрошали за дверью.— Ну, и я человек...

— Не гавкай,— равнодушно откликнулся Прошка и снова улёгся.

Дверь яростно затряслась. Петро встал, перешагнув через спящих, отодвинул засов. В избу, впуская клубы пара, начали втискиваться бойцы. Подшлемники, брови, ресницы их были белыми от инея.

По отрывкам фраз Петро догадался, что это сибиряки. В госпитале говорили о них много похвального. Он доброжелательно наблюдал, как крепкие, коренастые и все, как на подбор, молодые парни умудрялись сносно расположиться в набитой до отказа избе, охотно помогали друг другу.

— Много вас таких идёт? — спросил Прошка одного.

— Хватит,— уклончиво ответил тот.

Петру ответ понравился. Несмотря на новенькое снаряжение и оружие, сибиряки не производили впечатления новобранцев, новичков в военном деле. К фронту их шло, очевидно, много (за окнами не стихал гомон), и Петро с радостным облегчением подумал о том, что с такими вот ребятами обязательно удастся здесь, под Москвой, погнать захватчиков.

— Вы, хлопцы, поудобней располагайтесь,— приглашал он, убирая свой мешок к стенке и подгибая под себя ноги. — Отдыхайте.

Но едва сибиряки успели отогреться, за окнами властный голос закричал: «Выходи-и-и! Строиться!»

Бойцы загремели котелками, оружием, и вскоре в избе стало просторнее.

Дед слез с печи, вышел на крыльцо, постоял, громко зевая, затем снова проворно забрался на своё место.

— Заснул, что ли? — спросил он своего собеседника.

— Заснёшь, как раз!

Старик молча поскрёб пальцами впалую, в серых волосах грудь, подумал, потом вслух заключил:

— Это Сталин посылает на фашиста такую гвардию.

— Ну, а кто же? Не иначе — Сталин.

— Ты вот что мне ответь,— понизив голос, спросил старик: — Сталин в Москве, аль выехал?

— В Москве. А что?

— Ты мне точно скажи

— Зачем тебе?

— У меня свои мысли.

— Чудной ты, дед,— вмешался добродушный басовитый голос за печкой.— Ему никак нельзя... Сталину... уехать.

— Ну, вот хорошо,— успокоился старик.— Я так себе и помыслил...

Дремля, Петро слышал, как дед ещё долго вполголоса рассказывал о Москве, о невестках и сыновьях, о льне, который брали из колхоза на выставку «для примера».

Проснулся Петро, когда бойцы разбирали своё оружие и пожитки и один за другим выходили во двор. В окно глядел пасмурный зимний рассвет.

Петро вышел, умылся снегом. Одевшись и приладив за плечами вещевой мешок, он пошёл к командиру пульвзвода.

Моргулис, выбритый, свежий, встретил Петра, как старого знакомого. Он долго расспрашивал, что делал Петро до войны, где воевал, как был ранен.

— Я ведь тоже институт закончил, — сообщил он. — В Ростове. Паровозы собирался делать, а стал пулемётчиком.

Он подозвал проходившего мимо чернявого, горбоносого красноармейца.

— Вот, Арсен, знакомься,— представил он ему Петра.— Старший сержант Рубанюк. Из госпиталя. Будет командовать вашим отделением.

— Есть! Очень приятно.

— А это Арсен Сандунян. Наводчик.

Сандунян изучающе посмотрел на Петра и козырнул.

— Выдают взводу продукты? — спросил Моргулис.

— Выдают, товарищ младший лейтенант.

— Проводи сержанта к старшине. Пусть зачисляет.

— Есть!

Петро поднялся. Моргулис, понизив голос, сказал ему:

— Неприятные вести. Сдали Калинин.

IV

Батальон капитана Тимковского держали три дня во втором эшелоне.

На центральном участке Волоколамского укреплённого района было затишье. Левее, со стороны Осташева и на правом крыле Западного фронта, время от времени прогромыхивала канонада, а с утра 19 октября бои вспыхнули с новой силой и ожесточением. Возобновив наступление, гитлеровцы предприняли попытку выйти из района Осташева в тыл Волоколамскому укреплённому району, а на можайском и подольском направлениях — прорваться в глубину обороны укреплённых рубежей.

Накануне утром Тимковский собрал всех командиров рот и взводов.

Моргулис вернулся от него в пулемётный взвод возбуждённый и довольный.

— Расчёт весь в сборе? — спросил он, протискиваясь в тесный блиндаж.

— Все на месте, товарищ младший лейтенант,— доложил Петро, вытягиваясь.

Сандунян пришивал пуговицу от хлястика, помощник наводчика Марыганов и подносчик Прошка Шишкарёв делили махорку. Махорка попалась сухая, с едкой пыльцой. Прошка тёр немытыми пальцами покрасневшие веки, нарочито громко чихал и фыркал.

— Будем отрабатывать сегодня тему «Пульвзвод в наступательном бою», — сказал Моргулис, обращаясь к Петру. — Понятно?

— Нет, не совсем...

— Как это?

— Разве задача переменилась? Нам не в обороне сидеть?

Моргулис опустился на деревянный обрубок, обежал лица пулемётчиков загадочно улыбающимся взглядом.

— Не всю же войну только обороняться да запасные позиции рыть?

Он достал из кармана потёртой, видавшей виды шинели бумажку, насыпал в неё щепоть махорки.

— Комбат приказал проверить, как мы умеем фрицев гнать.

— Абы приказ,— вставил слово Прошка.— Аж засвистит той фриц.

— Это поглядим. Будем сегодня скрытно переползать, штурмовать опорный пункт.

— Есть! — за всех ответил Петро с готовностью.

Такие занятия были приятны. О наступлении мечтал каждый, и, судя по всему, оно было не за горами.

Ещё больше поднялось настроение у пулемётчиков после посещения их блиндажа парторгом роты Василием Вяткиным. Он пришёл вскоре после Моргулиса.

— Эй, орлы! — громко окликнул он, приподняв край плащ-палатки и просунув голову в рыжей ушанке.— Не обросли ещё окопным грибком? Комбат проверить собирается.

— Заходи, Вася,— пригласил Марыганов.

С Вяткиным они были земляки.

Парторг шагнул в блиндаж. Широкоплечий, светлорусый с блестящими весёлыми глазами, он обладал, как безошибочно определил Петро, таким запасом энергии, которого с избытком хватило бы на нескольких людей.

— С тобой еще не встречались, кажется, — сказал парторг, здороваясь с Петром за руку. — Вяткин.

Его взгляд изучающе скользнул по лицу Петра, обежал других и задержался на Прошке.

— Что это вид у тебя такой, Шишкарёв? — спросил он.

— Какой?

— Не геройский, прямо скажем...

Только сейчас все заметили, что Прошка действительно выглядел неприглядно: одет неряшливо, щёки его небриты.

— Знаешь, что когда-то Чехов писал? — продолжал Вяткин, обращаясь к Прошке, но поглядывая на всех, кто был в блиндаже. — Он писал, что в человеке всё должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Попробуй не согласиться! Как, Шишкарёв?

Прошка угрюмо молчал, и Вяткин, щадя его самолюбие, круто переменил разговор:

— Я вам, товарищи, «боевой листок» оставлю. Почитайте и потом передадите дальше.

Он извлёк из-за пазухи полушубка лист бумаги, испещрённый рисунками, цветными заголовками. Над короткими заметками, написанными карандашом, крупно был выведен лозунг: «Наше дело правое. Победа будет за нами!»

— Фрица скоро погоним, Вася? — осведомился Марыганов. — Ты всё-таки к начальству поближе.

— А это от вас зависит.

Глаза Вяткина улыбались лукаво и многообещающе. Он, несомненно, что-то знал, о чём говорить было преждевременно.

— Скоро погоним, — добавил он, видя, как напряжённо его слушали. — Они сюда за железными крестами пришли, а мы им — деревянных. Покрупней. Берёз на всех фрицев хватит. Как, Шишкарёв?

Покурив с пулемётчиками и ещё раз напомнив о том, что предстоящие занятия должны показать: «не засиделись ли в траншейках», он ушёл.

— Как он тебя, Проша, сконфузил! — сказал Петро.— Острый у него глаз, подметил...

— Ладно уж, «сконфузил»,— огрызнулся Шишкарёв.— Велика беда!

— Васю у нас в посёлке очень уважали,— сказал Марыганов, с упрёком посмотрев на Прошку.— Он председателем совета был. Всю семью Вяткиных уважали. Потомственные сталевары. Вася, когда его избрали, за два года колонки водоразборные поставил, улицы замостил. Во всех дворах, на площадях цветов понасажали.

— Хватка у него есть, сразу видно, — одобрительно произнёс Петро.

Через двадцать минут первая рота выступила. Погода попрежнему стояла пасмурная и морозная. За синим зубчатым бором млела малиновая кромка небосклона, к югу небо расчистилось было, порадовало прозрачной голубизной и вновь заволоклось облаками.

Мимо присыпанных снежком блиндажей и пустых полей вилась изрезанная ледяными колеями дорога. Она сворачивала к избушкам селения, терялась в опушённом инеем кустарнике. Придорожный голый лозняк усыпали воробьи, трещание их было мирно и беззаботно.

Петро шагал впереди своего расчёта, жадно, всеми лёгкими вдыхая горьковатый от холода, ядрёный воздух.

В крайнем блиндаже показался боец. Он вытряхнул пыль из шинели, проводил озорными глазами марширующих и опять скрылся. Из-под земли донёсся его беспечный, приглушенный деревянными накатами голос:

Есть на Во-о-лге утёс,
Диким мо-охом поро-ос...

Всё, что попадалось на глаза Петру, было для него таким родным, чистым, волнующим, каким бывает для человека воспоминание далёкого детства, любимая девушка, родная мать. Даже низкие тучи, плывшие с северо-запада, грустная, оголённая земля с рассыпчатым снегом в кустиках озимки были дороги его сердцу потому, что напоминали детские годы, полотняный мешок школяра через плечо, горячую лежанку, на которой было так хорошо сидеть, когда за стеной мела метель, бился в ставни резкий, воющий ветер...

Комбат Тимковский, русоволосый, деятельный и жизнерадостный москвич, заставил батальон заниматься весь день. Высокая, чуть сутулая фигура его, в белом нагольном полушубке, с болтающимся на боку планшетом, мелькала то в одном, то в другом взводе. После короткой вечерней передышки он на ночь вывел роты в поле и отпустил только утром.

Возвращались усталые, но в приподнятом настроении, с песнями. Лишь у своего блиндажа Петро с тревогой ощутил, как ноет раненая нога, ломит в суставах.

В блиндаже было холодно. Всё же Петро снял с больной ноги сапог и укутал её полой шинели.

— Может, ты приляжешь? — спросил Сандунян.— Мы тебя плащ-палаткой накроем.

Петро отрицательно покачал головой:

— Посижу, и так отойдёт.

— Сильно болит?

— Нет. Просто я оступился. На том бугорке, помнишь, где Прошка ящик уронил.

Сандунян молча собрал котелки. Был его черёд итти за завтраком. Он шагнул к выходу и вдруг, взглянув при свете на один из котелков, задержался.

— Это твоя посуда, Прошка? — спросил он.— Почему не почистил?

— Ладно. Валяй так. Не помру...

Прошка сидел у нетопленой печурки, широко раскинув ноги, и бесцельно вертел в руках сумку с гранатами.

— Ну, и чорт с тобой!

Сандунян сердито оглянулся на него, пошёл, позвякивая котелками, из блиндажа.

Марыганов посмотрел на Прошку неприязненно.

— Ты, браток, в порядок привёл бы себя,— сказал он.— А заодно и подмёл бы в халупе. Твоё дежурство нынче.

Прошка даже головы не повернул. Он сощурился и лениво процедил сквозь зубы:

— Что-то не хочется.

Марыганов молча поднялся, взял веник из прутьев.

— Отставить! — резко сказал Петро.— Дежурит Шишкарёв? Он уберёт.

Прошка встретился глазами с его взглядом и нехотя подчинился.

Всем было неловко и неприятно, как после ссоры. В молчании ждали Сандуняна. Он вернулся с котелками, наполненными дымящейся кашей. В блиндаже хорошо запахло жареным салом.

Сандунян был мрачен. Поставив завтрак на ящик от снарядов и ни к кому не обращаясь, он глухим голосом сказал:

— Вчера Одессу эвакуировали...

Чувствуя, что все смотрят на него выжидающе, Сандунян добавил:

— Тяжёлый день. В Москве, говорят, осадное положение объявили.

Завтракали молча. Потом Марыганов негромко произнёс:

— Меньше ста километров от нас до Москвы.

— Девяносто семь,— сказал Сандунян.

Прошка вдруг всхлипнул, быстро отложил ложку и, сутулясь, отошёл в тёмный угол. Петро успел заметить, что лицо Прошки, пожелтевшее, как от недуга, скривилось, губы почернели.

— Тебе что, нездоровится, Шишкарёв? — спросил он.

— Здоровится,— буркнул тот.

Он нагнулся, пряча лицо, долго перематывал портянку. С ним творилось что-то непонятное.

Позже, когда Сандунян с Марыгановым сели чистить винтовки, Петро сказал:

— Выйдем-ка, Прокофий, на воздух. Разговор у меня к тебе есть.

Прошка, не ответив Петру, вдруг накинулся на Марыганова:

— Ты что чужую протирку берёшь без спросу? А ну, сейчас же положь, где взял!

Марыганов переглянулся с товарищами:

— Когда ты свои дурости бросишь, Прошка? Что твоей протирке сделается?

Сандунян, сердито поблескивая глазами, собирался ввязаться в разговор, но Петро остановил его неприметным кивком головы, давая понять, что хочет остаться наедине с Прошкой.

Когда товарищи вышли, Петро сел напротив Шишкарёва и пристально посмотрел ему в лицо. Трудно было поверить рассказам Сандуняна и Марыганова о том, что былде Прошка ещё недавно балагуром, добродушным, компанейским парнем. Как и при первой встрече с Петром в переполненной красноармейцами избе, Прошка всё время держался вызывающе, грубил, обязанности свои выполнял неохотно.

— Что с тобой делается, Прокофий? — сказал Петро.— На всех кидаешься, рычишь. Прямо оброс собачьей шерстью. Пойми, нельзя же так. Все друзья от тебя откажутся.

Прошка независимо мотнул головой:

— Плевал я...

— Ну, и дурак,— мягко возразил Петро.— Какой же ты вояка, если друзей гонишь от себя?

— Ладно! Навоевали... Москву вон через неделю-две сдадим... Как Одессу...

Прошка вдруг часто заморгал, рот его перекосился, и он, уронив голову на руки, зарыдал так бурно, что Петро встревожился. Он переждал, пока Прошка немного успокоится, затем притронулся к его вздрагивающему плечу.

— Москву не отдадут,— сказал он строго.— Её, брат, нельзя отдать.— Он сдвинул брови и продолжал тихо и

значительно: — Заметь себе. Не каждому, как вот нам с тобой, выпало воевать под Москвой. Это, Прокофий, большая честь. Кто уцелеет, его всю жизнь будут почитать. А погибнет если, великая слава о нём будет жить в людях. «Этот, — скажут, — погиб, защищая Москву».

Сердечный, спокойный голос Петра, уверенность, с которой он высказывал свои мысли, успокоили Прошку.

— Тебя вот, Прокофий,— продолжал Петро,— характер твой дурацкий взнуздал и едет на тебе. А здесь, под Москвой, нельзя так. Каждый должен себе в душу заглянуть, всю пакость из неё выскресть. Ведь на тебя, на меня, на всех нас народ смотрит. Сталин надеется на нас. А разве только наш народ на нас глядит и надеется? — продолжал Петро, загораясь. — А поляки — те, что стонут под фашистами, не ждут? В Софии, Праге, наверно, ночей не спят, ждут — а как мы тут, под Москвой, а когда начнём гнать врага? И матери наши, ожидая нас, все глаза выплакали... Твоя семья где?

Прошка снова заморгал от навернувшихся слёз.

— Один отец был,— сдавленно произнёс он.— Мать ещё до войны померла.

— Ну, и где батько?

— В Одессе остался... Я сам оттудова. Отец — калека, помрёт теперь с голоду...

Прошка прерывисто, по-детски вздохнул.

Петро помолчал, потом добавил:

— Ты вот об одном своём батьке кручинишься, я — о своей семье. А как же Сталину? Ему ведь обо всём народе приходится горевать!.. Нельзя же так руки опускать.

Прошка задумался. Когда Петра позвали к командиру взвода, он пошёл его проводить.

— Рассчитываешь, Одессу заберём когда-нибудь у фрицев? — спросил он.

— И сомневаться нечего.

Разговор этот взволновал Прошку. Отстав от Петра, он не пошёл в блиндаж, а, зябко сутулясь от холодного ветра, побрёл по заснеженному пригорку.

Спустя полчаса Петро возвращался от Моргулиса.

В ложбине, за мелколесьем, виднелась бесконечная вереница конников, повозок, орудий. Издали, в лёгкой морозной мгле, верховые с их бурками и башлыками напоминали былинных витязей. Петро долго глядел на них. Ему пред-

ставились казаки, которые дрались в этих местах за Москву в восемьсот двенадцатом году, солдаты Кутузова. Много лет назад, как и сейчас, тысячами уст произносились названия: Тарутино, Малоярославец, Бородино, Можайск...

В памяти его с необыкновенной живостью возникли Красная площадь, мавзолей, стены и башни Кремля, красный стяг над дворцом. Там Сталин, усталый, но, как всегда, твёрдый, непоколебимый... Склонённая над картой голова... На карте линия фронта проходит под самым Ленинградом, мимо Старой Руссы, Калинина, Можайска, Тулы, Сталино. День и ночь у этих городов грохочут орудия, завывают вражеские самолёты, полыхают пожары...

Всё это запечатлелось в мыслях так ярко и отчётливо, что поздно ночью, когда в блиндаже все уснули, Петру привиделась затемнённая Москва, очертания кремлёвских башен, бодрствующий Сталин...

И Петро ощутил непреодолимую потребность написать ему. Мысль о том, что он, рядовой солдат, будет писать письмо Сталину, сперва показалась Петру дерзкой и нескромной. «У Главнокомандующего,— размышлял Петро,— есть дела поважнее, чем читать письма неведомого ему Рубанюка о том, что он чувствует. Но Сталин всегда прислушивался к маленьким людям,— возражал сам себе Петро.— Ему надо знать, о чём думают в окопах вот такие, как я, незаметные бойцы».

Петро встал, накинул на плечи шинель, чиркнул спичкой. Слабый желтоватый огонёк выхватил на миг из мрака установленные в ряд котелки, забытый на нарах противогаз, высунувшуюся из-под шинели ногу Сандуняна.

«Напишу ему,— думал Петро,— как болит сердце за Москву, как неспокойно на душе от того, что захватчики подошли к столице...»

Но тут же Петро отверг эту мысль. «Сталину разве легче будет, если о печали своей ему рассказывать? Ему тоже нелегко. Не любит он нытиков, и сам никогда рук не спускал, в самые тяжкие минуты. Надо прямо сказать: товарищ Сталин, хоть и тревожно у нас, у солдат, на душе, а будем стоять крепко! Будем воевать так, как требует совесть наша, как учит партия».

Петро вспомнил о том, как Сталин в мирные годы беседовал в Кремле с рабочими-стахановцами, с учёными, колхозниками и направлял их к одной цели — сделать родину могучей и богатой. Теперь Сталин сплачивает весь

народ вокруг одной задачи — победить врага, отстоять свободу. Он — первый солдат великой армии, и армия, которую он ведёт, победит, как бы трудно ни было.

Петро достал огрызок свечи, припасённый для исключительных случаев, зажёг. В вещевом мешке не оказалось ни бумаги, ни конверта. И то и другое имелось у Марыганова, но он ещё с вечера ушёл в наряд, и Петро остановился в нерешительности.

— Ты что ищешь? — сонно спросил Шишкарёв из-под плащ-палатки.

Петро сказал.

— Чего это приспичило в потёмках писать? Глаза портить?

Тон у Прошки был, против обыкновения, благодушный, и Петро ответил ему просто:

— Хочу товарищу Сталину кой-чего написать...

Прошка молча повозился в темноте, протянул Петру листок бумаги и начал натягивать сапоги.

— Может, Арсена разбудим? — спросил он, подойдя к свету. — От всех нас чтобы пошло...

Лицо его, с багровой складкой на щеке от шинельного рубца, выражало такую трогательную озабоченность, что Петро невольно улыбнулся.

— Что ж, буди, — сказал он.

Прошка свернул цыгарку, но закуривать не стал, осторожно положил её на ящик и шагнул в темноту.

Сандунян спросонок минуты две не мог понять, о чём ему толковали, а когда, наконец, сообразил, вскочил и, накинув на себя шинель, подсел к товарищам.

Письмо получилось короткое, но в нём было сказано всё то, что в эту холодную октябрьскую ночь чувствовали бойцы.

Переписав начисто, Петро прочитал его вслух:

«Дорогой наш товарищ Сталин!

Обращаются к Вам фронтовики, боевые пулемётчики, которым командование доверило священное оружие — пулемёт «максим».

Пишем мы Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, о Москве, родной нашей столице. Мы сами из других сёл и городов, но за Москву, если понадобится, отдадим свою жизнь без колебаний. Мы, товарищ Сталин, в столицу врага не пустим. Настроение у нас бодрое, патронов и других припасов хватает. Когда дадите приказ наступать, все, как один человек, с радостью пойдём вперёд и дадим свободу нашим отцам, сёстрам и матерям, стонущим в фашистской неволе.

С боевым красноармейским приветом пулемётчики отделения старшего сержанта Рубанюка».

Все трое старательно вывели под письмом свои фамилии.

— Приветливое слово всегда человека в беде греет, — сказал Сандунян.

Они чувствовали себя торжественно, так, словно посидели вместе со Сталиным и поговорили о тех важных делах, какими жил в эти дни каждый советский человек.

Загасив свечу, они долго сидели в потёмках, разговаривали. И все трое ощущали, что стали намного ближе друг к другу, и уже было не так холодно и одиноко в сыром солдатском блиндаже.

V

К утру потеплело. Пошёл мелкий, докучливый дождь.

Петро поднялся раньше всех. Прихватив котелок с водой, он вышел из блиндажа.

Уныло чернел невдалеке хвойный лес. Круглые брёвна накатов на блиндажах, которые вчера блестели серебристой изморозью, сегодня отсырели, стали тёмными.

Петро достал карманное зеркальце. Поглядел на себя и с грустной усмешкой подумал: «Ничего удивительного, что Оксана не узнала. Ещё один такой год, и родная мать за сына не признает...»

Соскребая бритвой с худощавых обветренных щёк жёсткую чёрную щетину, Петро и сам дивился тому, как изменилось, посуровело его лицо. Исчез деревенский румянец. По высокому лбу, от виска к виску, протянулись две морщинки. Лишь тёмные большие глаза глядели попрежнему задорно и смело.

Петро расправил плечи, усмехнулся: «Рубанюковской закалки! Ещё повоюем...»

Мимо брёл в мокром полушубке, с ящиком подмышкой, старшина. Яловые сапоги его скользили в глинистой желтоватой грязи.

— Чего рано поднялся? — на ходу крикнул он. — На солдатской перинке-то плохо разве?

Петро собирался отшутиться, но в этот миг совсем близко загрохотали разрывы снарядов.

Старшина остановился. Он вопросительно посмотрел на Петра, потом поверх него, в сторону выстрелов. Справа и слева откликнулись пушки, затем отдельные выстрелы потонули в сплошном грохоте. Над мелколесьем медленно таяли рыжеватые дымки разрывов.

Из блиндажей, поспешно натягивая шинели, выскакивали бойцы.

Ещё до того, как батальон был поднят по тревоге, стало известно, что гитлеровцы, получив подкрепление сумели прорваться на флангах дивизии и вышли ей в тыл. Из полка по телефону передали приказание подготовиться к уничтожению подвижных отрядов противника; они двигались на бронетранспортёрах и броневиках.

Петро, не ожидая команды, вытащил с товарищами из блиндажа пулемёт, приготовил патроны. Через минуту прибежал запыхавшийся Моргулис. Круглое упитанное лицо его лоснилось от пота.

— Вон к той деревушке! — крикнул он Петру, показывая рукой. — В распоряжение командира полка. Будете оборонять капэ. Живей!

Петро взвалил на плечи пулемёт, перекинулся несколькими отрывочными фразами с товарищами. До селения добрались полем, сокращая расстояние.

Прошка бежал рядом с Петром, навьюченный патронными ящиками. Перед самой деревушкой он поскользнулся в вязкой пахоте. Когда Сандунян кинулся к нему, чтобы помочь, Прошка вскочил и, лихо сплюнув, выкрикнул:

— Ничего, в бою обсохну!

У крайней избы стояли на привязи нерассёдланные лошади, на завалинке сидели бойцы.

На крыльцо вышел командир. Он выжидающе посмотрел на остановившихся у изгороди пулемётчиков.

— Землячок, то не командир полка? — спросил вполголоса Петро у коновода, который вводил в распахнутые ворота лошадь.

— Нет. Это комиссар, товарищ Олешкевич.

Комиссар подошёл к Петру и его товарищам. Под отворотами его красноармейского полушубка были видны знаки различия старшего политрука. Узкое молодое лицо его, с седыми висками и шрамом на скуле, было совершенно спокойно, и Петро невольно проникся к нему доверием.

— От капитана Тимковского? — спросил комиссар.

— Так точно, товарищ старший политрук.

— Расположитесь вот в этом сарае. Обзор оттуда хороший.

Он проводил их через двор, показал на дверь сарая и, осведомившись, много ли патронов, ушёл в блиндаж, вырытый неподалёку.

Петро передал пулемёт Сандуняну, осмотрелся. Сквозь дырявую крышу сарая виднелось низкое сумрачное небо, ветер шевелил солому с набившимся в неё снегом.

— Прибыли на зимние квартиры, — сказал Прошка, раскладывая патронные ящики.

— Не зимние, а подмосковная дача, — поправил Марыганов.

Пулемёт установили в дверях, замаскировали хворостом.

Из блиндажа доносились приглушённые голоса. Кто-то настойчиво вызывал «Волгу». Тенорок связиста чередовался с басовитым начальническим голосом.

По отрывкам разговора Петро понял, что фашисты наступают на полк большими силами, при поддержке пятнадцати танков и бронемашин, что один батальон отрезан и связи с ним нет.

На северо-западе шёл ожесточённый бой; оттуда слышались частые пулемётные очереди, винтовочная трескотня.

По далёкой канонаде, которая то затихала, то подкатывалась ближе, Петро догадывался, что бои развернулись на широком фронте. Было досадно, что приходится отсиживаться при штабе.

Сандунян, словно угадав его мысли, мрачно сказал:

— Влипли мы, товарищ сержант. Товарищи бьют фашистов, а мы старый сарай охраняем...

— На передовых — сзаду, — ввернул Прошка.

Петро пожал плечами.

— Долго нас тут не продержат. И вообще, — раздражённо добавил он, — приказ не обсуждают.

Часа два они сидели в вынужденном безделье и настороженно прислушивались к звукам недалёкого боя.

Незадолго до полудня в штаб полка добрался связной от Тимковского. Лицо связного было в грязи, смешавшейся с засохшей кровью, шинель изодрана во многих местах. Его тотчас же проводили в штабной блиндаж.

Вышел он оттуда минут через двадцать, с забинтованной щекой, подошёл к пулемётчикам покурить.

— Как там наши? — спросил Марыганов, щедро оделяя связного махоркой.

Связной устало махнул рукой:

— Гансов много... Навряд устоим... Соседний полк отступил. Они какие-то новые снаряды кидают, — добавил он оправдывающимся тоном. — Я, пока дошёл, три раза себя в поминание записывал...

Петро молча слушал бойца. Заметив у блиндажа комиссара, он с решительным видом направился к нему.

— Разрешите обратиться! — произнёс он громко. — Извините, конечно, что с таким вопросом. Боевого охранения впереди нас нет?

Комиссар только плечами пожал:

— Какое там охранение! Нас всего тут, вместе с вами, сорок человек.

— Позвольте мне выдвинуться с пулемётом. В засаду.

— Распыляться рискованно. Неизвестно, откуда они могут пойти.

— Риска нет, товарищ комиссар. В засаду я пойду один. Только прикажите дать мне ручной пулемёт. У ваших бойцов их два.

Олешкевич пристально посмотрел в его глаза:

— Знаете, на что идёте?

— Двум смертям не бывать, товарищ комиссар...

Петро перехватил недоверчивый взгляд, устремлённый на него, и поспешно добавил:

— А я умирать не собираюсь, товарищ комиссар. Я ещё жену свою хочу повидать. Она тоже здесь, под Москвой, воюет...

Петро проговорил это так просто и искренне, что Олешкевич тепло улыбнулся.

— Ладно, идите, — сказал он, — только возьмите себе помощника.

— Одному сподручнее. Не так заметно.

Олешкевич взглянул на его тёмное, словно литое из бронзы, уверенное лицо и кивнул головой.

У станкового пулемёта Петро оставил за себя Сандуняна. На расспросы ответил коротко и туманно:

— Иду по одному заданию. Вернусь, когда удастся.

Петро нагрузился дисками и зашагал по улице, затем по раскисшей пахоте, стараясь держаться ближе к кустарнику, росшему на меже. Он шёл с величайшими предосторожностями, часто останавливался и осматривался. Никогда ещё, за всё время войны, инстинкт самосохранения так настойчиво не руководил его поступками, как сейчас.

Ветер дул с северо-запада в лицо Петру, и руки его быстро озябли. «Надо было б у Сандуняна перчатки попросить», — мелькнула мысль. И без всякой связи подумалось о другом: «Если засада удастся и останусь живой, Оксане расскажу когда-нибудь, как шёл по холодному

ветру... один... сам вызвался... Мать руками всплеснула бы, заплакала...»

Он отошёл уже от деревушки километра полтора, когда в лощине увидел противника. Несколько солдат выкатывали из кустарника пушки, другие стояли группками. По всем приметам, они готовились к атаке.

Петро, чтобы не обнаружить себя, лёг, затем пополз в их сторону, к бугорку, видневшемуся невдалеке на раскисшей пахоте.

Где-то в стороне Можайска погромыхивала канонада, а здесь было удивительно тихо, и Петро сдерживал дыхание, которое казалось ему чересчур громким. Он дополз до бугорка, приспособил пулемёт, разложил диски. Засунув в рукава шинели озябшие пальцы, наблюдал.

Гитлеровцы были не больше чем в трёхстах метрах. Солдаты, одетые пёстро, в пятнистых маскировочных халатах и длиннополых шинелях, в стальных шлемах, подпрыгивали, колотили нога об ногу, стараясь согреться.

Сознание подсказало Петру, что позиция, занятая им, неудачна. Он осторожно переполз влево, к вороху почерневшего бурьяна, отстегнул от ремня сапёрную лопатку и принялся рыть.

Земля ещё не была мёрзлой и поддавалась легко, но копать лёжа было несподручно, ноги в промокших сапогах коченели, и Петро чувствовал, как в нём всё больше закипала злоба. Сжав челюсти, он откалывал глыбы пахнущей тленом и гнилыми корнями земли.

За боевыми порядками противника, из кустарника, вдруг взвилась зелёная ракета. Она на мгновение повисла в воздухе и, оставляя дымчатый след, опустилась. Солдаты засуетились, разбежались по местам и спустя минуту пошли, развёртываясь цепью, в сторону деревни.

Петро соскользнул в окопчик, приладил пулемёт, положил под рукой гранаты. Автоматчики двигались, против обыкновения, без стрельбы, соблюдая молчание. Когда пулемётная очередь внезапно разорвала тишину и завопили несколько раненых, солдаты в растерянности затоптались на месте. Петро, не давая им опомниться, снова нажал на спусковой крючок и дал длинную очередь.

Цепь залегла. Петро оторвался от прицела, высунулся. Высокий офицер, поблескивая очками, свирепо кричал на солдат и размахивал рукой.

Петро тщательно прицелился в него, выстрелил. Затем, не отпуская пальца, обежал глазами мутно желтевшие под касками лица солдат, дострелял весь диск и быстро начал перезаряжать пулемёт.

Около окопчика просвистели пули. Одна, врезавшись в бруствер, обдала Петра комочками земли. «Заметили, — пронеслась, обжигая, мысль. — Теперь не дадут головы поднять».

У него ещё была возможность отползти заросшей межой до перелеска и там пробраться к штабу. Но неиспользованными оставались два полных диска патронов и четыре гранаты. Гитлеровцев можно было ещё задержать. И Петро решил остаться.

Из цепи доносились громкие стоны, и, заглушая их, кто-то вопил нечеловеческим, завывающим голосом.

— Никто вас сюда не приглашал. Обижаться нечего, — шепнул сухими губами Петро и, сняв шлем, снова выглянул.

По полю, пригибаясь и скользя, как по льду, бежали с носилками санитары, дальше, в километре, на чёрном фоне леса разворачивались зелёные броневики. С лёгким свистом пролетела и где-то возле деревни разорвалась мина.

Сбоку, со стороны перелеска, к которому мог бы, в случае крайней необходимости, отойти Петро, послышалась трескотня автоматов. Петро оглянулся: из-за редких деревьев высыпало до взвода автоматчиков. Солдаты перебегали в направлении деревни. Длинные полы шинелей хлестали их по ногам, отчётливо были видны болтавшиеся сзади ранцы и котелки.

Петро повернул пулемёт в сторону новой цепи, но в этот миг рой пуль пронёсся над его головой. Теперь уже сомнений не оставалось — его обнаружили.

VI

Командир полка майор Стрельников собрал всех бойцов и командиров, которые находились на командном пункте.

— Капэ окружён, — сказал он. — Только что оборвалась связь с дивизией... Батальоны разъединены...

Сандунян стоял в нескольких шагах, за спинами других красноармейцев. Он заметил, что щёки у майора неестественно горели, а погасшая трубка, зажатая меж пальцев, дрожала.

Сандунян не раз видел командира полка в бою, знал, что он отличался исключительной храбростью. И то, что сейчас Стрельников нервничал, свидетельствовало об опасности, какая нависла над полком и его штабом. Прежде чем окончательно созрела мысль о том, что надо любой ценой связаться с дивизией, Сандунян громко выкрикнул:

— Разрешите мне, товарищ майор, пойти!

Стрельников удивлённо взглянул на него и сдвинул густые брови.

— Мы должны подготовиться к худшему, — продолжал он, покосившись в сторону недалёкого разрыва. — Оружие приготовить всем. Обороной буду руководить лично. Трусов расстреливать на месте.

Он повернулся вполоборота к Сандуняну и холодно спросил:

— Вы где находитесь, младший сержант?

— Виноват, товарищ майор.

— Кто вам разрешил перебивать, когда я говорю? — повысил голос командир полка.

— Виноват...

На побледневшем лице Сандуняна крупно перекатывались желваки.

Стрельников посмотрел на комиссара:

— Есть что добавить?

Олешкевич отрицательно качнул головой, но всё же коротко сказал:

— Надо знать, товарищи, что помочь нам сейчас не смогут. Против нас брошены свежие подкрепления. Сосед отошёл.

— Всё! — сказал Стрельников. — По местам!

Сандунян продолжал смотреть в упор на командира полка.

— Что у вас?

— Разрешите пойти в штаб дивизии? Я прорвусь.

— Останетесь у пулемёта. И в другой раз не выскакивайте, когда не спрашивают.

— Есть!

— Вы из батальона Тимковского?

— Так точно.

Стрельников смотрел на него пристально, что-то припоминая.

— Это вы под Чудовым «языка» привели?

— Точно.

Стрельников раскурил трубку.

— Может, разрешите, товарищ майор, пойти в дивизию?

— Товарищ младший сержант, ступайте к своему расчёту.

Сандунян приставил руку к каске, сердито крутнулся на месте и пошёл к пулемёту, ни на кого не глядя.

Марыганов с Прошкой посыпа́ли землёй укрытие из брёвен, разогрелись и даже сняли шапки-ушанки.

Не успел Сандунян рассказать им, зачем вызывал командир полка, как впереди глухо затакал пулемёт, рассыпчато покатилось эхо.

Все трое повернули головы, вслушиваясь.

— Рубанюк, — сказал Сандунян.

Пулемёт после короткой паузы снова застрочил. Лощина, из которой доносилась стрельба, была скрыта за взгорком, и Прошка вызвался взобраться на крышу сарая. Он долго и напряжённо вглядывался в сизую безлюдную даль, но так ничего и не разглядел.

Из-за угла сарая вышел, сопровождаемый низеньким упитанным лейтенантом, Стрельников. Он рассказал Сандуняну, как следует поступить расчёту в случае вражеской атаки, и с неожиданной легкостью поднялся к Прошке.

В цейссовский бинокль командир полка разглядел то, чего Прошка невооружённым глазом увидеть не мог. В лёгкой дымке, сливаясь с бурыми контурами мелколесья, двигались в направлении деревни вражеские солдаты. Не отнимая от глаз бинокля, Стрельников смотрел, как солдаты, прижатые огнём искусно замаскированного пулемётчика, залегли, потом спустя минуту снова поднялись.

— Алтаев! — крикнул он вниз лейтенанту. — Доложи комиссару, что нас атакуют. Быстрее!

— Разрешите обратиться, товарищ майор? — сказал Прошка. — Подносчик патронов Шишкарёв.

— Обращайтесь.

— Там старший сержант Рубанюк. Командир нашего отделения...

— Ну?

— Диски ему надо бы снести.

Стрельников на минуту оторвался от бинокля, скользнул взглядом по лицу Прошки.

— Сумеете?

— Не впервой, товарищ майор.

— Идите. Скажите ему, он молодец. Пусть продержится. Отшвырнём их.

Стрельба в лощине то прекращалась, то вспыхивала с новой силой. Уже без бинокля были видны гитлеровцы. Они наступали с двух сторон. В деревне разорвалось несколько снарядов. Один поджёг пустой овин — едкий голубой дым низко стлался по улицам.

Стрельников нетерпеливо поглядывал влево, в направлении хвойного леска. Комиссар с пятнадцатью бойцами отправились туда, чтобы сковать наступавших с фланга. Командиру полка хотелось задержать врага подольше у деревушки, пока наступит неизбежная развязка.

В трагическом её исходе у Стрельникова не оставалось сомнения. Судя по звукам боя, линия фронта неумолимо отодвигалась к Москве...

— Товарищ майор Стрельников, — окликнул его снизу взволнованный голос. — Из дивизии...

Алтаев стоял рядом с младшим лейтенантом и старшиной. По яркорыжим, будто освещённым солнцем, волосам и бровям Стрельников сразу узнал в младшем лейтенанте командира радиовзвода. Он запахнул полы полушубка и поспешно соскользнул на землю.

Лицо Стрельникова посветлело.

— Как сумели?

Младший лейтенант показал рукой на шинель, иссеченную во многих местах пулями и осколками.

— Пробрался. Где ползком, где нахрапом...

— У вас рация?

— Так точно.

— Можете связать с комдивом?

— Обязательно! Для этого прибыл.

Младший лейтенант устроился под стеной сарая и начал проворно налаживать передатчик. Как только рация заработала, командир дивизии приказал Стрельникову доложить обстановку.

— Докладываю, — заметно нервничая, передал Стрельников. — Мой капэ окружён... Связи с батальоном не имею. Два связных, посланных к Тимковскому, не вернулись. По всем данным, на меня наступает до батальона.

— Сколько людей у тебя на капэ? — осведомился комдив.

— Со мной и Олешкевичем сорок два.

— Пулемёты?

— Станковый и два ручных.
— Пушки?
— Нету, товарищ полковник.
— Надо держаться. Переходите врукопашную.
— Силы неравны, товарищ комдив. Погибнем все...
— Держаться на месте! Раньше чем через два часа помочь не смогу.
— Видно, придётся погибать, товарищ полковник.
Стрельников отошёл от рации, задумчиво глядя через голову младшего лейтенанта на полыхавший овин. Лицо его как-то сразу постарело, осунулось. Старшина окликнул:
— Комиссар дивизии будет с вами разговаривать.
Густой спокойный голос произнёс:
— Слушай, Стрельников. Чего это ты там погибать собираешься? Не умирать, а драться надо.
— Будем, товарищ комиссар. Но силы неравны.
— Пулей, штыком, гранатой, кулаком деритесь. Но ни шагу назад. Вы Москву обороняете. Понял? Ни шагу назад!
— Есть, товарищ комиссар!
Стрельников крупным шагом пошёл мимо сарая и штабного блиндажа к бойцам.
Около длинного полуразбитого сарая его настиг коновод. Тревожно шаря глазами по дымившемуся в разрывах снарядов полю и с трудом переводя дух, он сказал:
— Разрешите коней в лес отвести? Здорово сволочи снаряды кидают.
— А ты хочешь, чтобы конфеты тебе кидали? — жёстко спросил Стрельников. — Винтовка твоя где? Марш в цепь!..

. . . .

Петро вжался всем телом в ненадёжный сырой окопчик. Противник бил двумя батареями по деревне, по прилегавшим к ней огородам, полю.
«Перепашут всё и кинутся в атаку. А у меня диск один...» — сверлила мозг тревожная мысль.
Снаряд, тягуче просвистев, грохнул в нескольких шагах. В ушах Петра долго стоял звон. Оглушённый, подавленный, он не сразу услышал, когда его окликнули. Из ближайшей воронки осторожно высовывался Прошка. Жестами он требовал подобрать брошенные им диски с патронами. Прошка пытался улыбнуться, но Петро видел, что Прошке ещё страшнее, чем ему.

Раздумывать об этом было сейчас некогда. Перезарядив пулемёт, Петро снова, почти в упор, продолжал расстреливать наседающих солдат. Петро видел, что на раскисшей пахоте становится всё больше и больше неподвижно застывших серых фигур.

Смутно, как во сне, запечатлелись в памяти Петра дальнейшие события дня. Сосредоточенный огонь автоматчиков по его окопу, несколько их попыток подняться в атаку, внезапный огонь «максима» с бугра позади. И, как неожиданная награда за всё пережитое, торжествующий крик бойцов батальона Тимковского, ударившего в спину гитлеровцам, дерзкая атака немногочисленной группки комиссара Олешкевича из леса.

С вражескими солдатами, которые сами попали в окружение, было покончено быстро. Стрельников получил приказание от командира дивизии отходить в район деревни Быковка. Отдав распоряжения о выносе раненых, сборе оружия, о пленных, он занялся организацией разведки и прикрытия. Было совершенно очевидно, что неприятель постарается отрезать путь к отходу.

Петра, когда он возвращался на командный пункт, встретил у околицы адъютант Стрельникова Алтаев. Он спешил с каким-то поручением к Тимковскому, но, увидев Петра, свернул к нему.

— Молодец, старший сержант! — крикнул он. — Майор тебя к награде представляет. Я всё время смотрел, как ты их долбал...

Петро устало улыбнулся, переложил пулемёт с одного плеча на другое и, пошатываясь, побрёл к своему расчёту.

Возле сарая сидели, прислонясь к стене, Сандунян и Марыганов. Они обрадованно вскочили навстречу. Сандунян крепко обнял Петра.

— А где Прокофий? — спросил Петро, осматриваясь.

Сандунян печально покачал головой.

— А ты ничего не знаешь?

— Убит?

— Ранен дважды. В грудь и лицо.

Марыганов тронул рукой плечо Петра:

— Он к тебе когда второй раз полз, был уже раненый... В щёку... Привязал к ногам сумки с дисками, так его и подобрали.

— Где он? — быстро спросил Петро и швырнул диски.

— Пойдём, отведу, — вызвался Сандунян. — Его скоро отправлять будут.

Раненых разместили в просторной избе на выходе к лесу. В выбитые окна дул ветер. Петро остановился у порога, разыскивая глазами Прошку.

— Старший сержант, — окликнул его слабый голос.

Петро повернул голову и встретился взглядом с широко раскрытыми, горячечно блестевшими глазами комиссара. Олешкевич лежал на животе около стены, прикрытый до половины туловища полушубком. В его лице не было ни кровинки, нос и скулы заострились.

Петро тихонько, на носках, приблизился к нему и участливо спросил:

— Куда вас, товарищ комиссар?

— Бедро разворотило... Ни сидеть, ни лежать не могу. Ох, св-волочи...

Он охотно, как это у раненых бывает, рассказал, что его ранило в самом начале атаки, что он лежал, истекая кровью, и его нашли только после боя.

— А ты, Рубанюк, герой, — неожиданно прервал он себя. — Правду говоря, не надеялся, что уцелеешь.

— Чего там герой, — смущённо махнул рукой Петро.— Вон у нас Шишкарёв — тот, действительно, герой. Я что ж, я в укрытии сидел, а он — под самыми снарядами...

Петро нетерпеливо оглядывал избу и, наконец, узнал Прошку по его шинели. Из-под забрызганной грязью полы виднелась забинтованная голова, пожелтевшая, как у мертвеца, рука.

— Разрешите, товарищ комиссар, к дружку подойду, — сказал Петро.

— Это и есть Шишкарёв? Он без сознания. Его только что перевязывали... Живот...

Петро подошёл к Прошке, опустился перед ним на корточки.

— Проша, — негромко окликнул он. — Слышишь меня, Прокофий?

Шишкарёв не шевелился. Петро осторожно взял его руку. Она была влажная и ледяная, и Петро, не отпуская её, громко прошептал:

— Ведь он уже...

Сандунян приоткрыл полу шинели. Шишкарёв был мёртв.

Солдат скуп на слёзы. Вместе с Сандуняном Петро молча постоял над телом товарища.

В избу шумно вошёл Стрельников. От порога, громко, чтобы все слышали, он сказал:

— Ну, минут через десять-пятнадцать всех отправим. Две санитарные машины прислали.

Он остановился подле комиссара, с участием вглядываясь в его изменившееся лицо. Олешкевич показал глазами в сторону Петра:

— Ты хотел Рубанюка видеть...

Стрельников быстро повернулся к Петру и поманил его к себе пальцем.

— Я думал, он великан, — полушутливо проговорил он. — Пустячок: роту автоматчиков один уложил!

Он с уважением оглядел коренастую фигуру Петра и уже серьёзно добавил:

— То, что вы сегодня сделали, старший сержант, войдёт в историю нашего полка.

Петро стоял вытянувшись, щёки его загорелись.

Разговор слушали раненые, и Петру, который испытывал какую-то неловкость перед ними из-за того, что он остался невредим и его даже не поцарапало в бою, были особенно приятны слова командира полка. Но как только Стрельников обратился к пожилому усатому старшине, Петро поспешил отойти к Сандуняну. Когда они собрались уже уходить, Стрельников снова подозвал Петра.

— Будете сопровождать комиссара до госпиталя, — сказал он, пытливо вглядываясь в его глаза. — У вас там, комиссар говорил, дела есть?

— Смотря в каком госпитале, товарищ майор, — ответил Петро, чувствуя, как у него забилось сердце.— В одном жена работает...

— Знаю. Поищите. Три дня отпуска хватит? Честно заработали.

— Разрешите нам Шишкарёва похоронить? С почестями.

— Да.

Козырнув, Петро пошёл из избы.

VII

В сумерки санитарные машины въехали в густой сосновый лес. Здесь размещался эвакогоспиталь, за неделю сменивший уже третье место.

Ещё в пути Петро узнал у всесведущих водителей, что 516-й полевой госпиталь, где работала Оксана, стоял под Можайском, а позавчера переехал куда-то поближе к Москве.

Петро помог санитарам перенести в приёмный покой раненых и зашёл проститься с комиссаром.

Олешкевича совсем изнурила дорога. Он с трудом нацарапал на бумажке записку командиру полка и слабым голосом попросил:

— Передай... И не теряйте меня из виду, друзья... Пишите... Иди, Рубанюк... Желаю тебе разыскать жену...

Петро устроился на грузовую машину, которая отправлялась в Москву, и к утру разыскал дачный посёлок, где обосновался госпиталь Оксаны.

«А что, если и здесь её нет или уехала?» — подумал он с тревогой. И чем ближе подходил он к зданию госпиталя, тем больше росла в нём эта тревога.

С замирающим сердцем он приблизился к зданию, долго очищал сапоги, потом решительно открыл стеклянную дверь.

В просторном светлом вестибюле было людно: в одинаковых серых халатах расхаживали и сидели легко раненые, толпились санитары, две молоденькие сестры о чём-то с увлечением разговаривали.

Петро подошёл к пожилой женщине, с хмурым видом записывавшей что-то в тетрадь.

— Могу я повидать Оксану Рубанюк? — спросил он, и голос его дрогнул.

— Рубанюк?

— Есть у вас такая?

Дежурная оторвалась от работы и рассеянно посмотрела на Петра.

— А по какому делу?

— По личному.

— Она занята в операционной.

— Я подожду, — с радостной готовностью сказал Петро.

Оксана была здесь, он скоро её увидит! При этой мысли даже неприветливая дежурная показалась Петру милейшей, обаятельной женщиной.

Он отошёл от столика, присел на скамейку и огляделся. Знакомая приглушённая суета фронтового госпиталя. Но специфический больничный запах, который так раздражал

Петра, когда ему пришлось лежать на излечении, сейчас не был неприятен. Петру даже пришла в голову мысль о том, что эфир, насыщающий воздух госпиталей, придаёт им своеобразный аромат чистоты.

Вскоре дежурная поднялась. Проходя мимо Петра, она спросила:

— Как передать? Кто спрашивает?

В её светлых усталых глазах впервые мелькнуло любопытство, и Петро, на мгновение замявшись, ответил с усмешкой:

— Скажите, земляк. С Украины.

Он вертел в руках ушанку, завязывал и развязывал на ней тесёмки.

В вестибюль спустились, громко разговаривая, два военных врача, прошли санитары с пустыми носилками. Обгоняя их, пробежала, на ходу снимая белый халат, румяная курносая толстушка.

Наконец, Петро, совсем истерзанный ожиданием, скорее почувствовал, чем услышал, мягкие торопливые шаги. Из-за поворота лестницы показалась Оксана. Она стремительно, скользя рукой по перилам, добежала до последней ступеньки и остановилась.

Петро поднялся, надел почему-то ушанку, вытер ладонью испарину на лбу. Широко раскрытые прекрасные глаза смотрели на него с таким изумлением и смятением, что он сразу понял: Оксана никак не предполагала его увидеть.

— Живой... Петрусь! — воскликнула она и, протянув руки, спотыкаясь, кинулась к нему.

Петро гладил прильнувшую к его груди голову, ощупывал дрожащими пальцами туго скрученные под косынкой волосы. Всё, что пережил он за время разлуки со своей возлюбленной, было вознаграждено вот этой встречей, и Петро чувствовал одно: Оксана — около него, ещё более родная и близкая, чем раньше.

Она на миг оторвалась и посмотрела в его лицо.

— Живый... Мени ж сказалы... Риднесенький мий... — смеясь и переходя от волнения на родной язык, шептала она.

Они стояли, держась за руки, не зная, о чём спрашивать друг друга, и никого не замечая.

— Сейчас пойдём, — спохватилась Оксана. — Дивчата, Петро приехал! — счастливым голосом крикнула она

сёстрам. Торопливо развязала халат и побежала одеваться.

На ступеньках подъезда она остановилась, взяла Петра за руку и с весёлым удивлением пожала плечами:

— Нет, ей-богу, не верится! Ну, прямо, сон... Что же это Михайло Турчак наговорил о тебе?

— Какой Турчак?

— Михайло. Лежал у нас такой раненый. Стихи ещё всё время читал про Украину... Кучерявый. Не знаешь разве его?

— Что-то не припомню.

— А он тебя хорошо знает. Вместе, говорил, под Ржевом воевали. Он мне и сказал, что сам, собственными глазами видел, как ты погиб. Ох, Петро! И вспоминать страшно...

— Не был я под Ржевом. Что-то напутал он...

На улице шёл крупный снег, и Оксана, пряча подбородок в воротник, потащила Петра за собой через дорогу. В аккуратной, не без щегольства сшитой шинели, в причёске, уложенной по-новому, она была совсем иной, чем представлялась Петру все эти долгие фронтовые дни и ночи.

— А ведь я, когда на фронт ехал, видел тебя, — сказал Петро.

— Как «видел»?

Оксана даже остановилась. Петро в полушутливом тоне рассказал, как он тщетно гонялся за санитарной машиной.

— Ох, досада! — с горечью всплеснула руками Оксана. — А у меня почему-то так ныло сердце в тот день. Ревела весь вечер...

Они дошли до маленького домика. Оксана открыла калитку.

— Вот это наша с Алкой хата. Когда узнает, что ты появился, примчится...

Оксана вдруг остановилась.

— Алка ведь в полку Ванюшки вашего была, — сказала она быстро. — В санроте... Рассказывала, как знамя ты от её мужа взял... Таринцева.

— Ванюшка? Где он?

— Сейчас в тылу. Ранен.

— Как ранен?! Его танком задавило...

Петро посмотрел на Оксану взглядом, в котором она увидела и страдание и проснувшуюся вдруг надежду...

— Да нет, Петрусь, — сказала Оксана поспешно. — Его только контузило сильно. Живой он!..

— Правда это?

Петро крепко сжал пальцами её руку повыше кисти и смотрел на неё изумлённо и радостно.

— Живой, живой он, Петро! В госпитале для выздоравливающих... А знамя вернули в полк. Алка тебе всё расскажет. Пойдём в хату.

— Погоди...

Петро закрыл глаза рукой. Он столько думал о смерти брата, столько из-за этого перестрадал, что потребовалось некоторое время, чтобы он мог осмыслить новое, неожиданное для него известие.

Оксана решительно и ласково отняла его руку от лица и повела за собой.

В комнате с тюлевыми занавесками на окнах, заставленных фикусами, столетниками, кактусами, было по-девичьи уютно, всё блистало свежестью, чистотой.

— Тут одна дивчина жила, — пояснила Оксана. — Свою комнату нам с Аллой уступила, а сама к тётке двоюродной перешла.

Петро, скинув шинель, пристроился на диване, вертел самокрутку из газетного обрывка.

— Татаринцев мне сам говорил, что видел, как Ванюшка погиб, — сказал он. — Знаешь, что я пережил?..

— Это как с Михайлом Турчаком. Тот тоже видел, как тебя снарядом разорвало. А ты жив-здоров...

Оксана села около него и мягко прижалась щекой к его щеке.

— А дома, как там? — спросил он. — Ты давно ушла из Чистой Криницы?

— Фашисты Богодаровку взяли, я и уехала. С медсанбатом.

— Старики остались?

— Все остались, наверно. Знаешь, как быстро фашисты наступали?

— Ну, а Ивана где ранило?

— Его около Днепра. При бомбёжке.

Петро задавал вопрос за вопросом.

— Погоди, — сказала Оксана, заметив, что он собирается закурить махорку. — Я тебя лучшими угощу.

Она принесла начатую пачку папирос.

— Ты куришь? — удивился Петро.

— Что ты! Это Александра Яковлевича, нашего хирурга. Он как-то заходил, оставил. Вот тебе с кем надо познакомиться.

— Зачем?

— Знаешь, какой он! На него прямо молиться надо...

Петро взял папироску, закурил и затянулся. Оксана, возбуждённая, раскрасневшаяся, собирала завтрак. Потом села за стол.

Зимние сумерки подкрались незаметно. Оксане предстояло дежурить в ночь, но вечером примчалась из госпиталя Алла с сообщением, что хирург разрешил заменить Оксану другой сестрой.

Алла с любопытством оглядела Петра.

— На фотографии совсем молоденький, — сказала она. — А на самом деле... На Ивана Остаповича совсем не похож.

— А вы хорошо его знаете? — спросил Петро.

— С начала войны были вместе.

Алла вдруг помрачнела. Усевшись против Петра, она попросила:

— Расскажите про Гришу. Он же на ваших глазах умер.

Петро, умолчав о страданиях Татаринцева, рассказал о встрече с ним в лесу, о последних минутах, проведённых вместе. Алла слушала с остановившимися глазами, потом неожиданно вскочила и выбежала из комнаты.

— Она все надеялась, что разыщется её Гриша, — тихо сказала Оксана.

— Татаринцев перед смертью вспоминал о ней...

Оксана согрела воду, заставила Петра вымыться, и он, вынув из вещевого мешка чистое бельё, с удовольствием переоделся.

Оксана села рядом с Петром и взяла его за руку.

— До сих пор не опомнюсь. Как во сне... Знаешь, если бы у меня не было столько работы, я бы с ума сошла от тоски по тебе. Иной раз кусок хлеба съесть некогда. Каждому раненому хоть ладонь на лоб положишь, и то ему легче. А времени даже для этого не хватает...

— Сколько горя насмотрелась я, Петро, — продолжала она. — И знаешь, какие чудесные хлопцы! Так хочется им чем-нибудь помочь! Придёшь с улицы, руки у тебя холодные, приложишь ко лбу, у кого жар. Или платком помашешь над лицом. По взгляду стараешься понять, чего он хочет, и если угадаешь, такими благодарными глазами он

на тебя глядит... Лейтенант у нас один лежал. Из Белоруссии. До последней минуты не давал адреса матери. «Умирать не собираюсь», — шепчет, а его уже кислородом только и поддерживали... Каждый раз привозят раненых, бегу, смотрю — вдруг — ты... Сердце бьётся, бьётся... Всё мне казалось, что тебя непременно к нам привезут.

— К вам, в Чистую Криницу, паренёк один не приходил? — прервал её Петро, вспомнив о Стёпе. — Я, когда на фронт ехал, направил парнишку, беженца.

— Нет, никого не было.

— Значит, потерялся где-то... Ну, а как там старички наши жили?

Оксана принялась рассказывать о Чистой Кринице, но Петро с трудом слушал её. Бессонные ночи не прошли даром. Чувствуя, что веки его слипаются, Петро сказал:

— Ложись, Оксана, спать. Ты ведь тоже всю ночь глаз не сомкнула.

Проснулся Петро, по солдатской привычке, часов в пять. С нежной благодарностью смотрел на лицо спящей жены.

— Ты во сне кричал, — не открывая глаз, пробормотала Оксана. — Аж страшно стало.

За стеной завывал ветер, издалека доносился гул артиллерийской канонады, а Петру казалось, что война, с её залитыми кровью окопами, грохочущими снарядами, стонами раненых, была вся в прошлом.

VIII

У Петра впереди было ещё двое свободных суток. Утром Оксана сбегала в госпитальную библиотеку, принесла несколько истрёпанных книжек. От её расстёгнутой шинели, белого платка с пышной бахромой, от румяных щёк пахло снегом, едва уловимым запахом духов.

Она торопливо сняла платок, отряхнула снежные хлопья и сказала жалобно:

— Я должна тебя покинуть, Петро... Подежурю — и прилечу к своему родненькому.

— Что же поделаешь? — сказал Петро. — Иди... Работай.

Он погладил её руки, взял одну из книжек.

— На улице большой мороз?

— Страшный! Пурга поднялась... Как там, в окопах, сейчас сидят?

Сквозь разрисованные ледяными узорами стёкла ничего не было видно. Петру ярко представились несущаяся белая муть, дымящиеся сугробы, облепленные снегом орудия, сосны, обозные кони.

Оксана достала из чемодана шапку, почистила её щёткой и, примеривая перед зеркалом, проговорила с протяжным вздохом:

— Нерадостная, Петро, нам жизнь выпала. Верно? Сейчас бы в тёплой хате, дома, вдвоём посидеть...

— Придёт время, Оксана, посидим... Не об этом нам с тобой сейчас мечтать. А что нерадостная жизнь у нас... Нет, несогласен, — твёрдо возразил Петро.

— А ты не придирайся, — смеясь сказала Оксана. — Я же просто так сказала. Кто теперь в тёплых хатах может отсиживаться?! Да и не в этом счастье. Правда, Петро?

— Вот именно, не в этом...

Она ушла, оставив на столе завтрак для Петра, однако есть ему не хотелось. Он раскрыл было томик рассказов Чехова, перелистал его и положил в сторону.

В воображении его возникли усталые, измученные лица Сандуняна, Марыганова, последний бой под Быковкой. «Хлопцы воюют. Может, у них самое пекло сейчас? А я семейными делами занялся...»

Он встал, бесцельно походил из угла в угол, начал одеваться. В дверях столкнулся с Аллой.

— Куда, фронтовичок? — воскликнула она, шутливо загораживая дорогу.

— Пойду погуляю. А вам после дежурства хоть немножко отдохнуть надо.

Петро вышел из дому. Он медленно зашагал мимо госпиталя к видневшейся сквозь снежную пелену колонне танков, стоявших на дороге. Покурил с танкистами, перебросился несколькими фразами.

Танки вскоре двинулись, и Петро побрёл обратно.

К подъезду госпиталя подкатывали одна за другой санитарные машины, из здания выносили раненых. Смягчённые кисеёй снегопада, чернели контуры пустынного сквера, виднелись фигуры связистов, тянущих провод. Низко, над крышами, неторопливо прострекотал «У-2».

Здесь, в нескольких десятках километров от переднего края, Петро чувствовал себя как в глубоком тылу, и ему стало неловко при мысли, что он слоняется вот так, без дела.

Он вернулся в дом, тихонько, чтобы не разбудить спавшую под шинелью девушку, пристроился с книгой у окошка.

Оксана пришла с работы, когда уже совсем смеркалось. Она прибежала усталая, но, как всегда, деятельная, подвижная.

— Проскучал тут? — засматривая Петру в глаза, с нежностью и тревогой прошептала она. — Сейчас обедом накормлю тебя. Александр Яковлевич обещал вечером заглянуть, хирург наш.

Петро смотрел, как она, хозяйственно засучив рукава гимнастёрки, проворно собирала на стол.

Алла сонно спросила из-под шинели:

— Еще шести нет. Оксанка?

— Вставай. Без пяти минут.

Алла стремительно соскользнула с постели, сердито сопя, натянула сапоги и, уже на ходу всовывая руки в рукава шинели, выскочила из комнаты.

— Много вы работаете, дивчата, — сказал Петро.

— Мы хоть в тепле. Сыты. А вы...

— Знаешь, я всё время о друзьях думаю. Как они там? Может быть, круто им приходится. Мы ведь, Оксана, на переднем крае друг с другом, как родные братья...

— Ещё успеешь с ними повидаться. А с тобой нам неизвестно когда придется встретиться...

— Это правда.

Оксана, накормив Петра, завесила окно и, стремительно рванувшись к мужу, спрятала у него на груди пылающее лицо:

— Риднесенький мий! Желанный! Истосковалась я... В себя не приду. Всё время кажется, что это сон. А сердцем чуяла, что увижу, что встретимся!

— Ты же считала меня погибшим? — улыбнулся Петро, целуя доверчивые синие глаза жены.

— Нет! Не считала. Не верила! Не могла этому поверить, Петрусь! Как страшно и одиноко было бы жить.

Они сели на кровать. Оксана, порывисто и нежно прижавшись к Петру, долго рассказывала ему о своей работе, бессонных ночах, проведенных около раненых бойцов, о том, какую большую жизненную школу прошла она на фронте.

— Знаешь, о чём я недавно думала? — Оксана слабо улыбнулась далёкому, милому воспоминанию. — Девчушкой, только что принятой в институт студенткой, мечтала

я подарить человечеству какое-нибудь открытие в медицине. Мечтала хорошая, наивная девочка, далёкая от ужасов жизни, огромных человеческих страданий. А вот сейчас, пройдя через кровь, смерть, перевязывая раненых, я часто плачу бессильными слезами: мало я знаю, только первую помощь оказать могу. После школы пропустила целый год учёбы. Правда, болела мама, и я махнула рукой, думала: не беда, успею. А сейчас поняла: ни минуты упускать нельзя, всё надо брать с боя. Я старенькая стала, Петрусь, и мудрая. Ты не смейся. Это совсем не смешно,— сдвигая чёрные тонкие брови, нахмурилась Оксана.

— Я не смеюсь, — откликнулся Петро. — Я просто любуюсь на свою старенькую и мудрую.

— Да, старенькая и мудрая!.. Мне пришлось под бомбёжкой перевязывать одного молоденького старшину. Самолёты над нами кружатся, избы горят. Я тащу старшину в сторону, где безопаснее. Улыбается он: «Живём, сестричка!» Глаза такие хорошие, ласковые. Я его посадила, перевязку накладываю. А в это время стервятники стали из пулемётов бить; шальная пуля его достала. Прямо в висок. Я вижу, валится он... мертвый. Над ним, над чужим человеком, который последний раз в своей жизни мне улыбнулся, я великую клятву дала, Петро! Ни минуты, ни секунды не терять, чтобы стать в будущем... Мне посчастливилось: наш врач — хирург Романовский — это целый институт. Я у него всему учусь. А взглянул бы ты на него в операционной! Просто чудеса творит! К нему из Москвы профессора приезжают. Изучают его опыт. И человек чудесный. Я к нему, как к самому родному, близкому отношусь. Не спит по нескольку суток, оперирует сотни людей — и всегда ровный, спокойный. У нас на него все врачи и сёстры молятся. Я ему так благодарна за всё! Как только война кончится, ни дня не пропущу зря. Сразу в институт, в Киев, а ещё лучше — в Москву. Силы там какие! Я бы, кажется, день и ночь работала, чтобы наверстать упущенное! Я такая жадная стала, мне столько знать надо! — Оксана облизнула сухие губы и, волнуясь, продолжала: — У нас один случай был, никогда не забуду. Александр Яковлевич оперировал одного обожжённого лётчика, Синицына. И вдруг на столе сердце у него перестало биться. Ой, как страшно стало! А Александр Яковлевич ввёл шприц с адреналином в сердце ему — и спокойно так, будто ничего не случилось. Гляжу, Петрусь, а шприц

вдруг начинает подниматься, опускаться... Сердце заработало! Спасли хлопца. Потом его в тыл эвакуировали. А ведь совсем было умер. Как же не молиться на таких, как наш Александр Яковлевич?! Как не тянуться мне к таким людям, чтобы и самой... Ты понимаешь меня, муж мой любимый? — внезапно остановилась Оксана, пытливо глядя расширенными от волнения зрачками на внимательно слушающего её Петра.

— Всё понимаю, родная!

Петро, найдя руки Оксаны, прижался к ним лицом.

...Часов около девяти в сенцах послышались шаги, кто-то зашарил рукой по двери. Оксана вскочила и побежала открывать.

В комнату вошёл, щурясь от яркого света, высокий, чуть сутулящийся человек. Петро сразу догадался, что это и есть Александр Яковлевич. Оксана помогла ему скинуть шинель, стряхнула снег с его шапки и бережно повесила их на вешалку.

— Знакомьтесь, — оживлённо проговорила она. — Я вам много рассказывала...

Александр Яковлевич крепко сжал руку Петра:

— Романовский.

Он смахнул со лба капельки растаявшего снега, сел за стол, положив на скатерть большие кисти рук. Матово-бледное лицо его с крупными, энергичными чертами, крутой лоб, внимательный взгляд умных глаз очень понравились Петру.

— Что у вас с рукой? — встревоженно спросила Оксана, заметив на пальце хирурга бинт.

— Пустяк. Скальпелем царапнул.

Александр Яковлевич мельком взглянул на свой забинтованный палец и повернулся к Петру.

— У вас большая удача, — сказал он. — Так встретиться на фронте с женой суждено немногим.

— Да, повезло. А ваша... Семья ваша где?

В глазах врача промелькнула и исчезла тень.

— Мои погибли, — сказал он отрывисто. — Жена и сынишка... При эвакуации Таллина несколько пароходов с женщинами и детьми эти звери разбомбили.

Он тряхнул головой, как бы отгоняя неприятные воспоминания, спросил:

— Жмут нацисты?

— Здорово жмут.

— Чувствуем. Да... тяжело.

— Вы, кажется, академию перед войной закончили — спросил Александр Яковлевич.— Мне Оксана Кузьминична много о вас говорила. Молодец она у вас. Очень способная. С ней работать просто удовольствие. Учиться ей, обязательно учиться надо.

Оксана вспыхнула.

— Какая там способная, — махнув рукой, возразила она. — Когда Синицына оперировали, — мне до сих пор стыдно вспоминать, — как я растерялась...

— Ну, то была исключительная операция...

Александр Яковлевич живо повернулся к Петру.

— Знаете, мы одного больного из могилы вытащили. Синицына. Замечательный лётчик! Когда это было, Оксана Кузьминична?

— Двадцатого.

Хирург принялся описывать сложную и смелую операцию.

Петро слушал его рассказ с живым интересом. Увлёкшись, он забыл даже стряхнуть с папироски пепел и, увидев, что загрязнил скатерть, смущённо покраснел.

— Отвык прилично вести себя, — сказал он, улыбаясь.

Оксана молча навела на столе порядок, незаметно прижалась губами к затылку Петра и продолжала слушать.

. . . .

Через сутки Петро уезжал. Оксана пошла проводить его к контрольно-пропускному пункту.

В сторону фронта бесконечной вереницей шли колонны машин, гружённых боеприпасами, сухарями, мясными тушами. По обочинам шоссе ползли в ту же сторону конные упряжки с заиндевевшими конями и ездовыми, катились орудия, танки.

— Возьми меня с собой, Петро, — полушутя сказала Оксана.

— Поехала бы? Не побоялась?

— С тобой нигде не страшно.

Они постояли молча, глядя друг другу в глаза. Она заставила себя улыбнуться и спросила:

— Когда же теперь ждать тебя?

Он пожал плечами:

— Буду жив, увидимся.

— Будешь!

Всё же лицо её было грустным.

IX

Старшина помог Петру взобраться на машину, кивнул в сторону контрольно-пропускного пункта:

— Твоя провожала? — спросил он.

— Жена.

— Толковая баба. На фронте подцепил?

— Какие новости у нас в полку? — не отвечая на вопрос старшины, спросил Петро.

— Должны отвести на пополнение. А что ещё за эти два дня было, не знаю. Сам из командировки возвращаюсь, из Москвы.

Свой батальон они разыскали в полуразрушенной усадьбе совхоза. Роты грузились на машины, и Петро, доложив командиру взвода о прибытии из отпуска, побежал помогать своим. Сандунян обрадовался ему так, словно они не виделись целую вечность, однако расспрашивать было некогда. Уже в пути, накрывшись с Петром от ветра одной палаткой, он спросил:

— Виделся?

Петро охотно рассказал о встрече с Оксаной.

Поздно вечером колонна въехала в окраинные улочки Москвы и остановилась. Временно роты разместили на частных квартирах, выставили усиленные караулы.

Петро со своими товарищами устроился в крайнем от переулка тесном домике. Они умылись, просушили валенки, поделились харчами с хозяевами — стариком-пенсионером и его больным сыном-подростком.

После ужина Петро свернул цыгарку и вышел за калитку. Молодой снежок заново выбелил крыши, заборы, тротуары.

Над деревянными одноэтажными строениями раскинулось синее, в крупных звёздах, небо. Противоположная сторона улицы тонула в мягком сумраке. Мимо, скрипя полозьями, тянулись бесконечные обозы. По приглушённому разговору ездовых и усталому фырканью лошадей Петро догадался — обозы были в пути уже давно.

Изредка слух Петра улавливал глухое погромыхивание далёкой канонады.

К Петру подошёл Сандунян. Они долго стояли молча.

— Знаешь, о чём я думаю, Петро? — вполголоса произнёс Сандунян.— Мы сейчас от товарища Сталина совсем недалеко. Правда?

В сыроватой мглистой темноте лежала безмолвная Москва. Погашены тысячи фонарей на её улицах, плотно занавешены окна домов, у каждого подъезда, у калиток — настороженные женщины с противогазами поверх шубок, пальто, ватных стёганок.

Петро представил себе Москву такой, какой он покинул её несколько месяцев назад, когда закончил учёбу и собирался домой, в Чистую Криницу. Омытые тёплым дождём торцы Красной площади, блестящие на солнце. Сверкающие в бирюзовом поднебесье златоцветные купола соборов, рубиновые звезды над кирпично-красной зубчатой стеной. Птичий писк и гам в Нескучном и Сокольниках. Воздушно-лёгкие павильоны Парка культуры.

Петро снова почувствовал, как невыразимо близка, дорога ему и та, залитая щедрым июньским солнцем, шумная Москва, и вот эта, окутанная мраком, настороженная, но такая же величавая и гордая в своём спокойствии.

Через день полк перевели в город, в казармы. До двух часов бойцы приводили в порядок себя и своё оружие, а в обеденное время Петро пошёл к комбату Тимковскому с просьбой об отпуске в город. Капитан выслушал просьбу с кислой улыбкой.

— Дорогуша! Старший сержант! — воскликнул он.— Моя квартира в трёх шагах отсюда, мамашу свою с двадцать второго июня не видел, а навестить не могу. Не приказано. И не проси.

— Разрешите в таком случае к командиру полка обратиться,— настаивал Петро.— Я бы комиссара отыскал. Он не иначе, как где-нибудь здесь в госпитале находится.

Тимковский с сомнением покачал головой, но Петро так упрашивал, что он согласился сходить к майору.

Вернулся он от командира полка минут через десять.

— До двадцати ноль-ноль,— сказал он, протягивая Петру увольнительную записку.— Если комиссара разыщешь, доложи.

— Есть! Думаю, что удастся.

Выйдя за ворота, Петро заколебался. Можно было направиться на Арбат, к Марии. Это было сравнительно близко. Но едва ли в такое время она окажется дома. До эвакогоспиталя было далеко, однако там, безусловно, помогут навести необходимые справки, да и просто хотелось проведать госпиталь, в котором лежал.

Одёрнув полушубок и поправив шапку, Петро зашагал к трамвайной остановке.

Навстречу, вдоль трамвайной линии, двигались рабочие батальоны столицы. Мужчины шли в штатской одежде, с городскими рюкзаками за плечами. Новенькие автоматы в неумелых руках выглядели далеко не воинственно. Но лица людей были мужественны, и, глядя на них, Петро вспомнил, как он сам, впервые получив боевую винтовку, ощутил в себе какую-то неведомую ему до того силу и уверенность.

На перекрёстке широкого проспекта женщины возводили баррикаду. Наискось от многоэтажного здания с огромной вывеской «Универмаг» через всю улицу торчали припорошенные снегом металлические «ежи».

«Значит, дела плохи»,— с тревогой думал Петро.

Это чувство тревоги усилилось ещё больше, когда Петро, выйдя из трамвая, увидел густые толпы людей, шедшие за город с лопатами, мотыгами, кирками.

Уже в нескольких десятках шагов от госпиталя ему встретилась знакомая пожилая няня.

— Тётя Даша,— обрадованно окликнул её Петро.

Няня остановилась. Добродушными усталыми глазами она пристально вглядывалась в его лицо, но так и не узнала.

— Всех не упомнишь, — оправдывалась она. — Ты, голубчик, не серчай.

— Я в девятой палате около самой двери лежал,— подсказывал Петро.— Вы мне ещё от сына своего письма всегда читали...

— Ранили моего Феденьку,— печально сказала няня и торопливо полезла в карман за платком.— Ноженьку ему ампутировали.

Воспользовавшись предлогом, чтобы ещё раз излить материнское горе, она подробно рассказала, каким непоседой был до войны её сын, как он не пропускал ни одного футбольного матча, ни одного спортивного состязания на Москве-реке.

Петро терпеливо выслушал её и расспросил о госпитальных новостях. Почти все знакомые ему медсёстры и дружинницы ушли куда-то за город рыть окопы, хирурга перевели на другой фронт.

Всё же Петро заглянул в госпиталь. Комиссара Олешкевича в списках раненых не оказалось. Петру дали адреса

других госпиталей, и он, посмотрев на часы, прикинул, что времени только и хватит на то, чтобы заехать на Арбат.

Поднимаясь знакомой лестницей на третий этаж, Петро перебирал в памяти подробности тревожной ночи, проведённой им недавно в этом большом арбатском доме. Припомнился ожесточённый налёт вражеских самолётов, лицо Марии, когда она декламировала стихи...

Уже на площадке он остановился перед дверью в нерешительности. Не ищет ли он сам предлога, чтобы повидать её?

Да, какое-то ещё не осознанное им чувство влекло его к Марии. Петру было просто недосуг разобраться в этом раньше. И, словно избегая откровенности с самим собой, он подумал: «Ничего тут дурного нет. Мария — славная, заботливая девушка, меня она уважает, мне это и приятно».

Петро начал шарить рукой, отыскивая звонок, но дверь в эту минуту открылась.

— Кто здесь? — спросили из темноты.

Лица спрашивающей женщины не было видно, однако по голосу Петро сразу догадался, что это мать Марии.

— Здравствуйте,— растерявшись от неожиданности, сказал он.— Вы, вероятно, мама?

— Боже, какой вы догадливый! — женщина весело рассмеялась.— Я, безусловно, мама. Вы к Машеньке?

— Да.

— Маши нет. Вы войдите. Пожалуйста.

Она повернула выключатель. Петро шагнул в прихожую Взглянув на хозяйку, он был поражён её сходством с Марией. Те же бойкие карие глаза, отенённые длинными ресницами, такие же пышные белокурые волосы, тот же рисунок губ, полных и немножко оттопыренных. Чуть заметные морщинки на её лице только и подчёркивали разницу между ней и дочерью.

— Я вас приглашу в кухоньку,— предложила она.— Вы не обидитесь? Единственный тёплый уголок у нас.

Петро заметил, что она в грубой ватной спецовке, а на ногах у неё — мужские чёрные бурки.

— Я на работу собралась...— пояснила хозяйка, словно угадав его мысли.— Что же вы стоите? Если не боитесь озябнуть, прошу в столовую. И надо же познакомиться. Меня зовут Екатерина Ивановна.

— А меня Петром.

Екатерина Ивановна посмотрела на него быстрым любопытным взглядом.

— Тот самый, о котором мне Маша столько говорила?

В столовой было очень холодно, как и во всей квартире, но от беспорядка и запустения, какое застал Петро прошлый раз, не осталось и следа. Вещи были расставлены и развешены по своим местам, пыль всюду тщательно вытерта.

— Ваш приход очень кстати,— сказала Екатерина Ивановна.— Вы должны помочь мне уговорить Машу. Она хоть с вами будет считаться.

— В чём уговорить?

— Хочет уходить на фронт. Это безрассудно. Маша очень молода для этого. Она совсем ребёнок. Причём капризный и своенравный.

— В госпитале её очень любили. Она хорошая, отзывчивая девочка.

— Всё это верно. Но сейчас так заупрямилась, что меня её поведение просто пугает.

— Тогда и я ничем не сумею помочь.

— Вы сможете! Если бы здесь был её отец, он повлиял бы на неё. Меня она считает обыкновенной мамашей, которая всего боится.

— Мария сейчас в Москве?

— Побежала к подружке. Скоро вернётся.

Петро взглянул на часы. В его распоряжении оставался всего час.

— Жалко, если не придётся увидеться, — сказал он.

— Маша тоже будет очень жалеть.

Екатерина Ивановна приготовила чай, сделала несколько бутербродов.

— Извините, что без сахара,— сказала она.— Ничего, скоро будет легче. Прогонят врага, увидите.

— Откуда вы знаете?

— Знаю. Я ведь на оборонном работаю...

Екатерина Ивановна не без гордости показала руки. Маленькие, узкие ладони были в твёрдых синеватых мозолях.

Подвижная, даже несколько беспокойная, с живыми добрыми глазами, она подробно расспрашивала о фронтовой жизни, о семье Петра, об Оксане и вскоре окончательно расположила его к себе. «Это и жена, и мать настоящая»,— с уважением подумал Петро.

— Тяжёлая вещь — разлука, — вздохнув, сказала Екатерина Ивановна.

— И тяжёлая и опасная... Ведь опасно, Екатерина Ивановна, когда с мужем надолго разлучена молодая, красивая жена? Кругом неё такие же молодые мужчины...

Екатерина Ивановна покачала головой:

— Простите, не понимаю.

— Ну... Ведь случается... Расходятся иногда...

— Если любишь по-настоящему, разлука лишь усилит и обострит это чувство. А вот когда любви нет, а так... розовый сиропчик... жалеть не о чём. Настоящую любовь, мой дружок, ни разлука, ни время не пошатнут.

В двери щелкнул английский замок, было слышно, как в прихожей кто-то снимал калоши.

— Вот и повидает вас, — сказала Екатерина Ивановна. — Примчалась...

Мария появилась в дверях в забрызганном комбинезоне, в непомерно большой шапке-ушанке. Она посмотрела изумлённо на Петра, потом на мать.

— Убиться надо! Давно здесь?

Голос у неё был простуженный, с хрипотцой, горло завязано белым платочком.

— Петя уже уходить собирается,— сообщила мать.

Мария сняла шапку, бросила её на диван.

— Никуда никто не уйдёт,— сказала она решительным тоном, который исключал всякие возражения.— Вы мне очень нужны, Петро.

Она протянула ему согревшуюся в перчатке руку и сейчас же убежала переодеваться.

Петро уныло взглянул на часы, вскочил, прошёлся по комнате и снова сел.

— Гауптвахта, кажется, обеспечена,— сказал он.— Ну, что делать? Мария мне нужна. И в полк возвращаться пора.

Екатерина Ивановна беспомощно развела руками:

— Мои советы бесполезны. Я тоже должна спешить.

Уже после того как она, торопливо попрощавшись, ушла, Петро, обдумывая своё положение, успокоил себя тем, что опоздание из отпуска вызвано не его личными делами.

Однако Мария и не думала торопиться. За стеной слышались её спокойные шаги, негромкий стук передвигаемых вещей.

Наконец, она вышла.

— Я знала, что вы придёте, Петро,— сказала она.

— Мария, у меня считанные минуты,— напомнил с упрёком Петро.— Мы только о деле и сумеем поговорить.

— О каком?

Мария села рядом на диван.

— Помогите мне разыскать нашего комиссара. Он ранен... Надо справиться в госпиталях.

— Конечно, разыщу. Давайте его фамилию.

Мария записала необходимые сведения и, лукаво взглянув на Петра, спросила:

— А вы мне поможете?

— В чём?

— Попасть на фронт. В пулемётчицы.

— Не расстались со своей мечтой? Об этом надо поговорить серьёзно, Мария, а я уже и так заработал гауптвахту.

— Ничего страшного,— беспечно сказала Мария.— Бояться какой-то гауптвахты?! Я согласна сидеть на ней каждый день, лишь бы меня взяли в пулемётчицы.

Петро невольно улыбнулся:

— Силён был бы пулемётчик!

Но Мария не была настроена на шутливый лад.

— Вы обещаете уговорить маму, чтобы она отпустила меня на фронт? — повторила она, и губы её упрямо сжались.

— Несколько минут назад меня просили уговорить вас не ехать на фронт.

— Ничего из этого не выйдет!

— Тогда и маму уговаривать нет нужды. Раз вы решили... А правду говоря, Мария, пулемётчиков хватит и без вас. Это ведь не так романтично, как представляется издали.

Петро поднялся, надел шапку.

— Не уходите!

— Я должен вернуться в полк.

— У вас нет пропуска, и патрули задержат вас на первом же углу. А кроме того, я хочу, чтобы вы не уходили... Я о вас очень скучала. Очень!

Петро растерянно посмотрел на её чуть побледневшее лицо.

— Мария,— сказал он, наконец, взяв её за руку.— Вы очень славная и умная... И вы знаете: у меня есть Оксана...

— Знаю! Мы больше никогда с вами не встретимся. Это я решила твёрдо! Поэтому скажу то, о чём вы не дога-

дывались... Можете потом смеяться, называть меня легкомысленной. А сейчас выслушайте...

Ноздри маленького остренького носика Марии сердито раздувались.

— В госпитале я пела для вас, кокетничала, как последняя девчонка, только для вас... Когда у вас поднималась температура, у меня она падала, и я ревела так, что меня уводили в дежурку... Вы ничего этого не знали... Мне в девятой палате не удалось работать, но я вертелась около неё каждый день, каждую свободную минутку...

Петро слушал её серьёзно, без тени улыбки, и Мария, ободрённая этим, продолжала уже спокойнее, даже с насмешливыми интонациями в голосе:

— Ведь глупо, Петя, понимаю. И то, что я рассказываю вам об этом, смешно. Мало ли в моём возрасте девчонок, теряющих голову непонятно почему?! А к вам... вас... Раненые рассказывали в госпитале, как вы от фашистов вырвались, несли знамя... Как вас чуть не убили... Я тогда уже решила посвятить вам всю свою жизнь... Всё рассказывала маме. Дала себе клятву, если вам отнимут ногу, всё равно быть с вами...

Петро сидел, ошеломлённый признанием девушки. У него было странное ощущение, словно он взял не принадлежащую ему ценную, очень хрупкую вещь и сейчас боится спустить её на место, чтобы она не разбилась. Но сделать это было необходимо.

— Всё, что я сейчас услышал, очень трогательно,— мягко сказал он.— И я уверен, Мария, вы встретите на своём пути человека, достойного вашего чистого чувства. Пусть он даже не будет таким героем, каким в вашем воображении кажусь я.

— Вы меня утешаете?

— Нет, просто говорю о том, в чём крепко убеждён.

Мария помолчала.

— Завтра, — сказала она, — я принесу адрес вашего раненого товарища и передам через часового. Можно так?

— Хорошо.

X

В казарму Петро возвращался с рассветом по пустынным улицам. Большими неподвижными рыбинами казались аэростаты воздушного заграждения, смутно маячившие

в мглистой вышине, торопливо шуршали шаги ранних пешеходов.

Давно у Петра не было так тягостно на душе. Вспоминая разговор с Марией, он испытывал такое чувство, будто чем-то незаслуженно обидел, оскорбил девушку. Настроение его становилось ещё более подавленным, когда он думал о своём опоздании. «Подвёл комбата, опозорился на весь полк»,— точила его всю дорогу неотвязная мысль.

Часовой бегло взглянув на увольнительную записку, задержал взгляд на лице Петра.

— С небольшим опозданьицем,— сказал он ядовито.— Приказано немедленно по прибытии явиться к командиру полка.

Петро ускорил шаг, завернул сперва в казарму.

Марыганов только что вернулся с поста.

— Что же ты? — укоризненно сказал он и, рывком сняв через голову гимнастёрку, пошёл умываться.

Сандунян поднялся, воткнул в подкладку ушанки иглу с ниткой, отозвал Петра к окну.

— Комбат два раза прибегал, Петя, — сообщил он.

— Сердился?

— Кричал.

— Вот чорт, влип в неприятность.

— Ничего. Может, как-нибудь обойдётся...

Петро отправился к командиру полка.

У майора Стрельникова шло командирское совещание. Ждать пришлось минут сорок. Петро старательно оправил ремень на полушубке и постучался.

Стрельников стоял за столом. Он молча наблюдал, как Петро, чеканя шаг, подошёл к нему, щёлкнул каблуками и ненатурально бодрым голосом доложил о прибытии.

— Поедем со мной к командиру дивизии,— сказал он.— Через десять минут быть готовым!

— Есть через десять минут быть готовым! — откликнулся Петро.

«Значит, не за опоздание вызвал...— мелькнула у Петра облегчающая мысль.— Не станет комдив такими пустяками заниматься».

Но тревожное чувство не покидало его. Всю дорогу, пока ехали на «газике», Петро ломал голову, стараясь объяснить причину вызова к комдиву, но так ничего и не придумал.

Командир дивизии, седой, могучего сложения полковник, собирался завтракать. В комнате, которая служила ему и рабочим кабинетом, и спальней, и столовой, бойкий красноармеец накрывал стол, предварительно убрав с него карты, исчерченные цветными карандашами.

— Доставил старшего сержанта Рубанюка, Антон Антонович, — доложил Стрельников, входя запросто, без официального доклада.

Полковник, чуть прихрамывая, вышел из-за стола, на ходу снял очки. Несмотря на то, что в комнате было жарко от раскалённой докрасна чугунной печки, он был в меховой безрукавке, в валенках.

— Это и есть сам Рубанюк? — спросил он окающим волжским говорком.

Пристально взглянув на Петра, комдив протянул ему мягкую, тёплую руку.

— Самарин! — позвал он, приоткрыв дверь.— А ну-ка давай... Получил на своих орлов новое вооружение? — повернувшись к Стрельникову, осведомился он. И, заметив, что Петро стоит вытянувшись, коротко бросил: — Садись, Рубанюк!

Петро отошёл к стене, опустился на краешек продавленного кресла.

Полковник, тяжело дыша, прочищал проволочкой мундштук. Не дослушав Стрельникова, он снова сказал Петру:

— Полушубочек сними, старший сержант. У меня тут натопили архаровцы, дышать невозможно. И ты раздевайся, майор. Завтракал?

— Не пришлось, Антон Антонович.

— Стало быть, знал, хитрец, что у комдива пельмени на завтрак. Сознайся, знал?

— Откуда же знать, Антон Антонович?

Полковник, засмеявшись, погрозил ему пальцем и шагнул к капитану Самарину, вошедшему с папкой.

— Ну, что ж,— сказал он, надевая очки и снова проницательно оглядывая Петра. — Заработал, орёл, получай!

Он выпрямился и торжественно произнёс:

— В бою под Быковкой хорошо дрался, товарищ Рубанюк. Правительство награждает тебя высокой наградой! Орденом Красного Знамени.

Полковник протянул ему коричневую шкатулочку. Спохватившись, он раскрыл её, извлёк поблескивающий зо-

лотом и эмалью орден и сам прикрепил к гимнастёрке Петра, потом крепко тряхнул его руку и, щекоча усами, поцеловал в щёку.

Всё было так ошеломляюще неожиданно и просто, что Петро забыл даже, как положено ответить. Словно в полусне он чувствовал, как ему пожимают руку Стрельников, капитан, ещё кто-то...

Уже за столом, принимая от полковника стакан с водкой и осознав, что произошло, Петро отставил стакан.

— Э-э, орёл! — запротестовал комдив.— У нас так не делается... Посуда чистоту любит.

— Дайте опомниться, товарищ полковник. Я ж никак не ожидал, — чистосердечно признался Петро.

Он благодарно смотрел на командира дивизии и Стрельникова. Ему казалось в этот момент, что нет такого, самого тяжёлого, боевого задания, которого он не взялся бы выполнить. В его памяти вихрем пронеслись воспоминания о бое с немецким батальоном... Прошка, подающий ему диски для пулемёта.

— А Шишкарёв? — быстро спросил он Стрельникова.

— Шишкарёв награждён тоже,— сказал комдив.— Посмертно.

— Вот это правильно!

— Раз правильно,— ты, голубок, пей,— сказал, чокаясь с ним, полковник.

Петро подождал, пока комдив, смачно крякнув, коротким движением опрокинул в рот свой стакан, и тоже выпил.

Хмель быстро обволакивал его сознание. После второго стакана Петро неуверенно поднялся.

— Разрешите мне,— произнёс он,— заверить командование, что старший сержант Рубанюк оправдает в боях своё высокое воинское звание...

Полковник потёр пальцами мясистый красный нос и добродушно заметил:

— Звание у тебя не такое уж высокое. По твоей хватке совсем не высокое. В командиры пора пробиваться.

— Мы его на курсы собираемся посылать,— сказал Стрельников.— Как, Рубанюк, смотришь на такое дело?

Предложение командира полка застигло Петра врасплох, и он взглянул на Стрельникова с недоумением. Сейчас, в разгар боёв за Москву, полку был нужен каждый человек, владеющий оружием, а ведь он, Петро, воевал не хуже

других! Досадуя на командира полка, он сдержанно сказал:

— За доверие очень благодарен, товарищ майор. Подучиться неплохое дело. А если моё желание вам интересно знать, то я откровенно скажу: с передовой никуда не пойду.

Он покосился на свой орден и добавил:

— Мне полком не командовать, а пулемётный расчёт мой в бою ещё не подводил...

— Зря артачишься, старший сержант,—вмешался комдив. — Месяца полтора в курсантах походил бы, взвод дали бы. А то и роту. Зря...

К этому вопросу ни он, ни Стрельников больше не возвращались, но Петро, спустя некоторое время, негромко спросил у Стрельникова:

— С курсов этих, о которых вы говорили, товарищ майор, не пошлют меня в другой полк?

— Курсы при штабе армии. Поучишься, заберём обратно. Да ты не беспокойся, раньше чем через месяц-два сами не отпустим.

Через час Стрельников довёз Петра до ворот казармы и поехал дальше, на интендантский склад.

Петро испытывал потребность побыть наедине с самим собой. Орден под полушубком не был виден, но Петро ощущал его всем своим существом. Сейчас о нём узнают друзья, потом он напишет Оксане. Как бы радовался батько, если бы можно было сообщить ему...

Петру представилось, как после войны он вернётся домой, скинет воинскую одежду, снова примется за сады, а на пиджаке его будет поблескивать орден.

Но об этом времени можно было лишь мечтать. Гитлеровцы продолжали наступать, и никто не знал, где их остановят.

Петро смотрел на снег, покрывавший улицу, на озабоченных прохожих, на заклеенные белыми полосками окна зданий.

— Барышня одна спрашивала, старший сержант, — окликнул его часовой. — Записочку оставила.

Письмо было от Марии. Петро, отойдя в сторонку, вскрыл конверт, прочитал:

«Старшего политрука Олешкевича вчера эвакуировали в Куйбышев.

Послезавтра уезжаю. Мы никогда уже больше не встретимся. Это я решила твёрдо Если очень захотите узнать что-нибудь, навестите маму. Она будет рада.

Мария.»

Он бережно сложил записку и прошёл в ворота.

Сандунян встретил его у входа в казарму. Широко раскинув руки, он сгрёб его в объятья.

— Молодец, Петя! Это же здорово! — воскликнул он, засматривая чёрными блестящими глазами в лицо друга.— Пойдём живо к нашим...

В полку уже знали, для чего вызывали Рубанюка к комдиву. Марыганов, комвзвода Моргулис, бойцы из других рот обступили его, заставили распахнуть полушубок, рассматривали награду.

До вечера Петро ходил, как в угаре, распивая с друзьями и знакомыми бойцами пайковую водку, терпеливо повторял рассказ о том, как всё произошло.

Перед сном он раздобыл бумагу и карандаш и сел писать Оксане.

XI

Полк получил пополнение. В первых числах ноября ротам выдали новенькие, в складской смазке, автоматы. Бойцы искренне им обрадовались: до этого в полку насчитывалось всего несколько автоматов.

«Наверно, Москва и другие сюрпризы врагу готовит, — думал Петро, наблюдая, как старшина вынимал из ящика один за другим новенькие пистолеты-пулемёты.— Екатерина Ивановна права была».

Он вспомнил об её гостеприимстве, о записке Марии и решил при первом же удобном случае навестить дом на Арбате.

Такая возможность представилась лишь в канун Октябрьского праздника. Все дни перед этим в полку шла напряжённая боевая учёба, и в город никого не отпускали.

Шестого ноября, получив разрешение, Петро тщательно выбрился, разгладил гимнастёрку, прикрепил орден и ехал на Арбат. В половине пятого он был там.

Екатерина Ивановна только что пришла с завода. Она встретила Петра в прихожей с полотенцем, перекинутым через плечо. Пригласив его раздеться, она грустно спросила:

— О Маше уже знаете? Уехала. В школу снайперов.

— Настояла всё-таки? Ну, упрямица!

— Очень своевольная!

— Она на фронт уехала?

— Нет. Школа эта где-то под Москвой. Машу Цека комсомола направил.

— На передовую её сразу не пошлют. Может, всё учёбой и обойдётся...

Екатерина Ивановна только теперь заметила орден.

— О, Петя, вас с наградой!

— Спасибо.

— Молодец! За что же это?

— Так... за одно небольшое дело.

— За небольшое? — спросила Екатерина Ивановна. с недоверчивой улыбкой.— Разве такие ордена дают легко?

— Знаете, на фронте зачастую люди находятся в меньшей опасности, чем сейчас здесь, в тылу. Так что о Марии вы сильно не беспокойтесь.

— Спасибо, Петя.

За окнами быстро сгущались сумерки. Екатерина Ивановна замаскировала с помощью Петра окна, зажгла свет.

— Завтра праздник,— сказала она,— а на душе тревожно, нерадостно. Помните, как бывало раньше?

— Правда, что правительство выехало в Куйбышев?

— Да. Знаете, все умом понимают, что так нужно, а всё же остаётся какое-то тоскливое чувство. На заводе у нас крепкий народ, и то загрустили.

Екатерина Ивановна спросила:

— Вы сегодня не очень торопитесь? Могу вас чаем угостить.

— Большое спасибо! Я ведь на несколько минут забежал.

— Если бы вы не пришли навестить, совсем была бы тоска.

Беспрерывно грохотали зенитки, в окнах дребезжали стёкла, и Екатерина Ивановна, вздрагивая при каждом близком выстреле, сказала со смущённой улыбкой:

— Никак не могу привыкнуть вот к этому. Все нервы изматывает.

— Злятся фашисты. Завтра седьмое, а Гитлер ведь вопил, что в этот день парад на Красной площади устроит.

Петро посидел ещё немного и, пообещав навещать, попрощался.

Он шёл затемнёнными, обледенелыми улицами, по которым непрерывно двигались войска, танки. Сыпал густой снег, ветер трепал полы полушубка.

Около ворот казармы Петру повстречался командир батальона Тимковский.

— Рубанюк? — окликнул он ещё издали.

Голос у него был весёлый, и Петро, подойдя, заметил, что комбат чем-то необычайно возбуждён.

— Слушал? — спросил Тимковский.

— Что, товарищ капитан?

— Сталина! Выступал на торжественном заседании.

— Сегодня?

— Да, только что. Иди в казарму. Вяткин записывал. И потом, завтра парад. Дивизия участвует.

Петро прибавил шагу и через две минуты был в казарме. Здесь царило радостное оживление. Бойцы приводили в порядок своё обмундирование, брились.

Парторга Вяткина не было — его вызвал командир полка, но Арсен Сандунян подробно рассказал Петру о торжественном заседании, пересказал наиболее запомнившиеся ему места из речи вождя.

— Понимаешь? — поблескивая глазами, повторял Сандунян. — Нет, ты не слышал, значит, не понимаешь! Конец оккупантам! «Неминуемая гибель». Это товарищ Сталин говорил.

XII

Седьмого ноября полк подняли до рассвета. Стрельников приказал построиться, лично обошёл каждый взвод, строго осматривая одежду и снаряжение бойцов.

Около семи утра полк, дружно отбивая шаг, подходил к Манежной площади.

С хмурого свинцового неба сыпал колючий снег, но вверху, невидимые глазу, гудели баражирующие самолёты, и Петро с опаской подумал: «Чорт его разберёт в этом снегопаде, чей летает... Ахнет парочку пятьсоткилограммовых...»

До его слуха донёсся еле слышный за топотом сотен ног перезвон кремлёвских курантов. Где-то впереди бойцы пели о Москве. Улицы и площадь были расцвечены алыми флагами.

Рассекая гусеницами сырые сугробы снега, ползли танки, шумно проносились мотоциклы со связными. Вдоль тротуаров расположились артиллеристы со своими орудиями, миномётчики, стояли бойцы с противотанковыми ружьями.

У Исторического музея батальон Тимковского остановился. Отсюда были видны мавзолей Ленина, заснеженные купола собора Василия Блаженного, часть островерхих крыш здания ГУМа. Всё было, как обычно, и лишь защитные чехлы на рубиновых звёздах кремлёвских башен напоминали о том, что фронт рядом, под самой Москвой.

Петро жадно вглядывался в смутные очертания знакомых строений, таких близких и дорогих сердцу каждого советского человека. Ветер нёс с площади снег. На штыках оседали белые иглы инея, в чёрных раструбах мощных громкоговорителей шуршало, попискивало. Вслушиваясь и осматриваясь, Петро думал о том, что он присутствует на таком историческом параде, о котором люди будут помнить многие века.

Да, он и его друзья стояли на той самой Красной площади, где Гитлер обещал своим головорезам устроить 7 ноября парад. Эта площадь видела и празднества, устраиваемые Петром Первым в честь победы над шведами, и солдат Суворова и Кутузова, отправлявшихся отсюда на битвы с вражескими полчищами. Здесь первые отряды Военно-Революционного Комитета громили юнкеров. Здесь не раз выступал Ленин, и здесь же покоится его священный прах.

Над площадью разнеслась протяжная команда. Эхом откликнулись голоса командиров, и бойцы начали выравниваться. Несколько мгновений было тихо, и вдруг со стороны мавзолея донеслись шумные аплодисменты, взволнованные радостные возгласы:

— Да здравствует наш Сталин!

— Ура-а! Родному, великому Сталину ура-а-а!

Петру и его товарищам не было отсюда видно то крыло мавзолея, где обычно появлялся Сталин во время народных праздников, парадов, демонстраций. Но, охваченные общим чувством ликования, Петро, Марыганов, Сандунян закричали «ура».

Бой кремлёвских часов. Восемь ударов, низких и дрожащих, вплелись в шум ликующей Красной площади. И снова глубокая тишина. Послышался цокот копыт по брусчатке, заглушённые расстоянием слова рапорта.

Спустя несколько минут показался скачущий на коне и сопровождаемый перекатывающимися криками «ура» всадник. Петро узнал его сразу, ещё издали. Это был Будённый. Легко и привычно сидя в седле, он подъезжал к войскам, прикладывая руку в перчатке к папахе. Поздра-

вив с двадцать четвёртой годовщиной Октября, он круто поворачивал коня, скакал дальше. Когда он приблизился, Петро мысленно отметил, что лицо Будённого осунулось, но глаза, устремлённые на бойцов, блестели молодо и весело.

Объезд закончился, стихли приветственные крики бойцов, и после минутной паузы над площадью раздался чёткий, уверенный голос:

— Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники...

Говорил Сталин.

Петру вдруг вспомнилась ночь в холодном блиндаже, письмо, которое он со своими боевыми друзьями писал в Кремль.

И вот Сталин вышел к ним, фронтовикам, вышел, как отец, чтобы подбодрить, сказать те слова, которые унесёт в своём сердце каждый, кто пойдёт в бой.

Голос над площадью звучал гулко, откликаясь многократным эхом:

— На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков.

Впереди Петра стоял Марыганов. Широкая, в нагольном полушубке, спина его словно была выточена из белого камня. Справа, подавшись вперёд корпусом, застыл Сандунян. Глаза его горели. За ним стоял сивобровый боец с приоткрытым ртом, ещё дальше вырисовывались напряжённые лица других.

Ясные, простые, как народная мудрость, слова звучали над площадью:

— На вас смотрят порабощённые народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии!..

Петро прикрыл веки. Твёрдо, как клятву, он сказал себе:

«Буду! Буду достоин, батько!»

Ему внезапно вспомнились сейчас родной отец, мать, Украина. Он смотрел затуманенными глазами на островерхие крыши здания ГУМа, на серебристые от снега ели у зубчатых стен Кремля и думал о тополях над заснеженным Днепром.

Увидит ли он когда-нибудь их снова? Прикоснётся ли загрубевшими, покрытыми ссадинами руками к плечу ма-

тери, к нежным молодым яблоням, которые он помогал отцу выращивать?

Над площадью прозвучало «ура», загремела дробь барабанов, и шеренги зашевелились, готовясь к торжественному маршу.

На площадь Петро вступал с тем трепетным чувством, какое бывает перед встречей с очень дорогим, желанным человеком. Несколько мгновений назад он мысленно назвал Сталина отцом, и в этом движении души его было и доверие к мудрости вождя и преклонение перед изумительным самообладанием этого великого человека, твёрдой рукой направлявшего своих сынов к победе.

Вот всё яснее и чётче видны тёмные контуры мавзолея. Сталин стоял в своей солдатской шинели. Рядом с ним Молотов, Каганович, [redacted], Микоян, Щербаков.

Внимательно глядя на проходившие части, Сталин время от времени приветственно поднимал руку и улыбался бойцам. Петру почудилось, а может, так и было, что Сталин задержал взгляд на его лице. У него радостно дрогнуло сердце и стало тепло и легко на душе.

Уже по ту сторону площади он негромко спросил Сандуняна:

— Запомнится этот день, Арсен? А?

— На всю жизнь, Петя...

До самой казармы они больше не перемолвились ни словом. Слишком большие и сложные чувства владели ими, чтобы о них можно было говорить обыденными словами.

...Через два дня дивизия, пополненная и снабжённая новым автоматическим оружием, выступила в сторону Солнечногорска.

XIII

В погожий зимний день сыпалась над Чистой Криницей алмазная изморозь. Низко стояло над заснеженными кровлями негреющее декабрьское солнце, сухо скрипел снег под ногами.

Остап Григорьевич, кутаясь в кожух, вышел на крыльцо. Ноздри его обжёг чистый, крепкий, как спирт, воздух.

Словно изваянные из розового, оранжевого, сизого самородного камня, застыли на строгой, холодной синеве неба столбы дыма над хатами.

В такой день хорошо не вылезать из жарко натопленной, пахнущей свежими пирогами хаты, слушать, как за окном потрескивают от мороза деревья.

Но Остапу Григорьевичу предстояло с самого утра итти в сельуправу. Накануне бургомистр прислал бумажку: согласно постановлению райхминистра Украины о введении трудовой повинности, в неметчину надо было направить из Чистой Криницы шестьдесят молодых парней и дивчат.

Остап Григорьевич в раздумье постоял на крыльце. Небритый, похудевший за ночь, с ввалившимися от бессонницы и усталости глазами, он выглядел глубоким стариком.

В фашистскую неволю, вместе с другими девушками-сверстницами, он должен был послать и Василинку. Когда Василинка вечером узнала об этом, она побледнела, разрыдалась и решительно заявила:

— В Германию не поеду! Нехай хоть повесят...

Остап Григорьевич и сам не представлял себе, как так можно отпустить дочку на чужбину, к фашистам. Если они здесь, на Украине, ведут себя по-зверски, то что же может ждать девушку в Германии, вдалеке от родного дома, без батька и матери.

Нет, из Чистой Криницы не поедет на каторгу и издевательства ни один человек. Остап Григорьевич ещё не знал, как это ему удастся сделать; бургомистр шкуру спустит за невыполнение приказа. Но решение созрело твёрдое: в Германию он, Рубанюк, людей не даст.

Остап Григорьевич решил посоветоваться с Девятко. Ещё до завтрака он пошёл к нему.

Кузьма Степанович сидел на кухне в ватных стёганых шароварах, в башмаках на босу ногу и читал газету. Пелагея Исидоровна кончала топить печку.

— Что там брешут? — спросил Остап Григорьевич, сметая у порога снег с валенок и кивнув на газету.

— А я, сват, их брехни не читаю, — быстро сказал Кузьма Степанович и сдвинул очки на лоб. — «Голос Богодаровщины» как-то я поглядел, так вроде на меня целую свору кобелей напустили. Вроде обгавкали.

Он даже крякнул и поёжился, вспоминая, как разозлило его беззастенчивое враньё фашистской газетки.

— Я, Григорьевич, старую нашу «Правду» перечитывал, — сказал он. — Теперь я в каждое слово вникаю. Думаю над тем, что оккупанты у нас отняли.

— У меня уже от этих думок голова распухла.

— Палажка, дай свату стул.

— Не беспокойтесь. Я вот с краешку тут сяду.

Остап Григорьевич сел на низенький стул и смахнул с багрового от мороза лица капельки талого снега.

— Прислал бургомистр бумажку. Детей наших до неметчины силует отправлять.

— Что ты?

— Бож-же ж ты наш! — воскликнула Пелагея Исидоровна, прислушивавшаяся к разговору мужчин. — Это же и Настуньку нашу заберут...

— Мы свою не отдадим, — со скрытой угрозой сказал Кузьма Степанович.

— Об этом деле и пришёл потолковать, — откликнулся Остап Григорьевич. — Скотину, зерно ещё туда-сюда. Верх ихний. А детей... Это не скотина.

Опасливо озираясь на дверь, он изложил свои мысли: надо мобилизовать комсомольцев и предупредить молодёжь, спрятать её по глухим хуторам, у родственников и близких знакомых. Говорил он не совсем твёрдо: провести оккупантов и бургомистра было нелегко. Но Девятко поддержал его решительно.

— Надо прятать, — сказал он. — Обязательно! Они ж их на свои заводы посылать хотят. Видишь, куда гнут. Нашими руками нас же и душить...

Комсомольцы, поставленные в известность Остапом Григорьевичем о предстоящем угоне молодёжи в Германию, сделали своё дело быстро и скрытно.

К вечеру из Чистой Криницы исчезли все молодые дивчата и парни. Малынец, обошедший с полицаями ряд дворов, удивлённо сказал старосте:

— Утром сам видел Груньку Кабанцеву, а сегодня зашёл, говорят, до Киева, мол, уехала. И у Горбачевых, у Нетудыхаты дивчат припрятали. Обижаться пан бургомистр будут...

— Раз нету, какой же спрос? — сказал Остап Григорьевич. — Ты дуже не налегай, Никифор, на людей. С родной дытыной никому не охота расставаться.

Дома он велел устроить для Василинки в тёплом чулане ложе, сам завалил его мешками и рухлядью. В хату приходила Василинка только на ночь. Соседям объяснили, что приезжала из Тарасовки тётка и забрала Василинку к себе в гости.

Через несколько дней в Чистую Криницу прибыл в сопровождении своей охраны — двух автоматчиков — Збандуто. Он вызвал в сельуправу Остапа Григорьевича и, с трудом сдерживая ярость, спросил:

— Вчера прошёл срок, господин Рубанюк. Доложите, как у вас вербовка рабочей силы идёт?

— Так что, господин бургомистр, с этим делом прямо-таки неважно, — ответил Остап Григорьевич. — Подевали куда-то дивчат, как, скажи, и не было их никогда.

— Вы что? — крикнул Збандуто и даже поперхнулся от гнева. — Смеяться изволите?

— Не хотят люди детей отдавать.

— Вы — болван или хитрец! Что значит... э-э... не хотят? Немцы за нас головы свои кладут, а вы саботируете? В тюрьму!

Обычно спокойный и уравновешенный, Остап Григорьевич вдруг разъярился и закричал:

— Что вы меня всё тюрьмой стращаете, пан бургомистр?! В тюрьму злодеев сажают. А среди Рубанюков не было ни воров, ни конокрадов, ни убийц. Никогда не было и не будет!

— Завтра лично представите в Богодаровку шестьдесят человек, — сказал твёрдо Збандуто. — Ваша меньшая дочь где?

— Она у тётки. Сестра у меня бездетная, ей интересно, чтоб племянница погостила.

— Вижу вас насквозь, господин Рубанюк, — угрожающе предупредил Збандуто. — Вы мне голову не морочьте...

К удивлению Остапа Григорьевича, бургомистр ругаться больше не стал. Он задал несколько незначительных вопросов и уехал. Но, уезжая из села, Збандуто пробыл около часа у Малынца, и Остап Григорьевич подумал: «Не к добру обмякла ехидна проклятая... И до почтаря завернул пан бургомистр выпытать, что к чему. Повадка известная».

То, что бургомистр замышлял против него каверзу, было Остапу Григорьевичу ясно из того, что Пашка Сычик под разными предлогами старался находиться всё время поближе к нему, чрезмерно заискивал и юлил перед старостой.

Но, возвращаясь перед вечером домой, Остап Григорьевич встречал приветливые взгляды криничан, и на душе его становилось легче.

Поздно вечером из района приехал Алексей. Прямо с дороги он забежал к Рубанюкам.

— Выйдите на минутку, — позвал он Остапа Григорьевича, дыша на скрюченные пальцы.

В сенях, плотно прикрыв дверь из кухни, он вполголоса сказал:

— Сегодня же ночью, дядько Остап, куда-нибудь сматывайтесь. Видел написанный приказ коменданта. Арестовать вас хотят. Утром гестаповцы прибудут.

— Спасибо, Лёша, — тепло сказал Остап Григорьевич. — Я об этом и сам догадывался. Ты, сынок, Пашку Сычика забери. Он у соседей торчит, подглядывает.

— Я его горилкой напою. От этого он никогда не отказывался. Бутенко увидите, поклон ему.

— Спасибо.

Проводив Алексея до ворот, Остап Григорьевич вернулся в хату.

— Чего он прибегал? — спросила Катерина Федосеевна.

Старик рассказал. Выпытав подробности, Катерина Федосеевна с несвойственной ей непреклонностью и решительностью заявила:

— Сберу тебе харчей на дорогу, и сейчас же иди. Тебе лучше знать, куда податься...

Остап Григорьевич сумрачно посмотрел на неё. Встретившись с её жалостным, тревожным взглядом, он ответил:

— Уйти — это не вопрос. А вот вас за меня тягать, казнить будут.

— Как-нибудь за людьми проживём. Ты за нас не беспокойся. Василинку завтра с Настунькой Девятко отправим до родственников. Со свахой мы уже столковались.

Василинка и Сашкò спали на печке. Будить их не стали. Пока Катерина Федосеевна доставала сухие портянки, укладывала в холщёвый мешок харчи и необходимое бельё, Остап Григорьевич пошёл на другую половину проститься с невесткой и внучонком.

Александра Семёновна только что задремала. Услышав скрип двери, она испуганным спросонья шопотом спросила:

— Это вы, тато?

— Ухожу, Саша.

— Подождите, я оденусь.

Александра Семёновна, не зажигая света, быстро накинула на себя шубёнку и вышла в кухню.

Остап Григорьевич, взобравшись на лежанку, молча глядел на детей. Такая тревога была в глазах старика, что Александра Семёновна поняла всё сразу.

— Будут про меня спрашивать, — по-хозяйски строго сказал Остап Григорьевич, слезая с лежанки, — стойте на одном: вызвал, мол, кто-то ночью из приезжалых. И не вернулся, мол...

— Ты иди, ради бога, — сказала Катерина Федосеевна. — Найдём, что сбрехать.

— Детишек берегите. Я далеко не пойду.

Остап Григорьевич обнял жену и невестку. Нахлобучив поглубже шапку, он, горбясь, переступил порог.

За воротами с минуту постоял. Снег, белевший в ночном полусумраке, делал его фигуру слишком приметной.

Остап Григорьевич, поскрипывая валенками, пошёл в сторону площади. Потом, не доходя нескольких хат до больницы, он свернул обратно к огородам и пошёл в сторону Богодаровского леса.

XIV

С утра небо затянуло тучами, мороз отпустил. Медленно опускались редкие хлопья снега. Потом посыпало гуще. С юго-запада подул резкий ветер; он не давал снежинкам оседать, озорничая, швырял их пригоршнями в стены и окна криничанских хат.

Катерина Федосеевна заметила сквозь залепленное мокрым крошевом стекло пронёсшиеся сани с людьми и прильнула к окну.

Мимо двора, к площади, проехало трое саней, потом ещё двое. Кутаясь в шинели, на санях жались друг к другу солдаты. На предпоследних санках тавричанского фасона, утопив голову в воротнике романовского полушубка, сидел Збандуто.

Томясь от недоброго предчувствия, с трудом передвигая ноги, Катерина Федосеевна отошла к печи, поставила в угол припечка чугун, привычным движением закрыла заслонку.

После того как ушёл Остап Григорьевич и чуть свет убежала к Девятко Василинка, хата казалась ей пустой, хотя за сенями, в чистой половине, Сашко́ шумливо играл с Витькой, стучала швейной машинкой невестка.

Катерина Федосеевна ждала, что мужа хватятся очень скоро, поэтому не удивилась, когда на подворье появились Пашка Сычик и три солдата.

Сычик без стука вошёл в хату и, распахнув двери, позвал солдат.

— Холода не напускай, Паша, — сказала Катерина Федосеевна. — Сейчас же не лето.

— Хозяин где, тётка Катря? — спросил Сычик, пропустив без внимания её замечание.

— А он мне не докладывает, куда ходит.

— Ну, то мы люди не гордые, поищем.

Сычик оттеснил её локтем от двери и кивнул солдатам.

Катерина Федосеевна молча наблюдала, как солдаты обшаривали все уголки хаты, заглядывали в сундуки. Она даже сама подивилась тому спокойствию, с которым встретила полицаев. А они, потребовав лестницу, полезли на чердак, потом обыскали сараи, клуню. Сычик оттаскивал мешки и кадушки, постукивал в стены с таким добродушным видом, словно выполнял приятную и для хозяйки и для себя работу. Вытерев рукавом испарину на лбу и подмигнув Катерине Федосеевне, он нагло спросил:

— Опохмелиться нечем у вас, тётка Катря? Что-то голова болит.

— Нету, — коротко отозвалась Катерина Федосеевна.— Ты ж по всем куткам шаришь, сам видишь...

— А и жадная хозяйка.

Катерина Федосеевна промолчала.

Сычик, тщетно перерыв всё в хате и на подворье, угрюмо заявил:

— Одевайтесь, тётка Катря, пойдём до сельуправы.

— Чего я там не видела? Никуда я не пойду.

— Да уж, извиняйте, придётся, — ухмыльнулся Сычик. — Некультурно будет, если силком поволочём по селу.

Александра Семёновна, с тревогой наблюдавшая за обыском, сказала:

— Идите, мамо. Я сейчас тоже приду.

Катерина Федосеевна покосилась на солдат и начала одеваться. Наказав Сашку с подворья не отлучаться, она пошла за Пашкой и солдатами.

В сельуправе хозяйничал Малынец. Збандуто письменным распоряжением назначил его старостой, и почтарь, упоённый властью, был особенно словоохотлив.

В сенцах толпились криничане, вызванные к старосте. В углу, расстегнув полушубок, сидел Збандуто.

— Садитесь, пан Грищенко, — любезно предлагал Малынец, косясь на бургомистра.

Крестьянин неохотно присаживался.

— Что ж вы свою Варьку прячете? — укоризненно качая головой, упрекал его Малынец. — Нехорошо, пан Грищенко. Мы их на культурную жизню приглашаем, а вы... Они там в Германии с вилочков, ножичков кушать будут... Булочек, франзолек белых пришлют, а вы...

— Нехай она, пан староста, лучше с ложки ест, да с батьковой, — угрюмо отвечал крестьянин.

— Глупые разговоры, — менял тон Малынец. — Завтра Варьку в сельуправу пришлите. Всё одно, мы ж её найдём...

Пока Малынец укорял, упрашивал, бранился, полицаи и солдаты пошли по селу с облавой. К вечеру человек пятнадцать, получивших повестки об отправке в Германию, были схвачены и заперты в помещении школы.

Катерину Федосеевну продержали в сельуправе до вечера. Так и не добившись от неё ответа, где находится муж, Збандуто приказал её отпустить.

— Благодарите бога, — сказал он, — что я, а не другой бургомистром. Муж ваш подлец, изменник. За такие дела всё имущество ваше реквизировать надо. Ну, да уж ладно... Пришлёте кабанчика — живите. Сычик завтра его заберёт.

— Власть ваша. Берите, — сказала Катерина Федосеевна.

Возвращаясь домой, она видела, как со двора во двор бродили полицаи и солдаты, как провели к школе заплаканную девочку Тягнибеды. Сердце её сжалось. Она не знала, ушли Василинка с Настей или они ещё в Чистой Кринице.

В сумерки собралась она пойти расспросить обо всём Пелагею Исидоровну, но на крыльце послышался быстрый топот, скрипнула дверь, и в хату влетела Василинка.

— Ты что, доню? — испуганно спросила Катерина Федосеевна. — По селу такое делается, а ты вернулась?

— Расскажу, мамо. Вот разденусь...

Катерина Федосеевна поспешно завесила окна, заложила двери. Василинка аккуратно сложила пальто и платок села против матери.

— Коней дядька Кузьма не может дать,— сказала она.— Полицаи так и шастают. Так мы с Настунькой чуть свет пешком пойдём. До её тётки.

— А не дай бог, сегодня навернутся сюда?

— Наскучилась я за вами, — прижимаясь к матери, вздохнула Василинка. — Как сказали, что вас до управы забрали, я слезами залилась...

Возбуждённо блестя глазами, Василинка принялась рассказывать, как хорошо будет у настунькиной тётки. Живёт она на хуторе, фашистов там и в глаза ещё не видали. К вечеру завтра они с Настунькой туда доберутся, а если случится попутная подвода, то и к обеду успеют.

Спать легла Василинка пораньше. Засыпая, она сонным голосом спросила:

— Вы кота, мамо, кормили?

— Спи, спи, доню... Кормила.

Катерина Федосеевна пересмотрела бельишко Василинки, собранное в дорогу. Порывшись в скрыне, положила в узелок её любимую голубую кофточку. «Нехай хоть чем-нибудь у чужих людей порадуется»,— думала она с ласковой грустью. Несколько раз она подходила к кровати дочери, молча любовалась ею. Косы Василинки разметались по подушке, нежный девичий румянец заливал щёки, чуть вздрагивали во сне длинные ресницы.

По селу брехали собаки, глухо доносились голоса.

В кухню вошла с шитьём Александра Семёновна. Ей тоже не спалось. Усевшись поближе к лампе, она шила, изредка переговариваясь со свекровью.

В сенях жалобно замяукал, запросился в хату кот. Катерина Федосеевна встала, чтобы открыть дверь. Кот испуганно юркнул между ног.

— А чтоб тебе неладно,— сказала Катерина Федосеевна, споткнувшись, и в ту же минуту с крыльца громко сказали:

— Тётка Катерина, а ну, открой!

— Кто там?

— Свои.

Катерина Федосеевна узнала голос Сычика, и у неё перехватило дыхание. Рывком прикрыв двери, она бросилась к кровати и затормошила Василинку. Она хотела спрятать её на печь, но Сычик, посмеиваясь за окном, предупредил:

— Вы там не прячьтесь. Всё одно вижу, что дочка дома.

В дверь гулко заколотили прикладами. Василинка сорвалась с постели, дрожащими руками кое-как натянула на себя юбку, кофтёнку.

— Ох ты ж, боже наш! — суетилась Катерина Федосеевна.— Куда тебя деть, доню?

— Открывайте, никуда я не пойду! — ответила Василинка.

Дверь затряслась от новых ударов, и Катерина Федосеевна, тяжело переставляя ноги, вышла в сени.

В клубах пара, щурясь от света, вошли Алексей, Сычик, два солдата. Сычик огляделся, задержал мутный взгляд на Василинке.

— Нагостевалась у тётки? — спросил он, шагнув к ней и сдвигая шапку на затылок.— Забирай свои монатки, пойдём в управу.

— Никуда я не поеду! — крикнула Василинка.— Убивайте на месте.

Катерина Федосеевна притронулась к кожуху Сычика:

— Паша, не забирай её. Она ж малая ещё. Куда она поедет?

— Опять двадцать пять. В Германию. Разве не знаете?

На печи, разбуженный громкими голосами, проснулся и заревел Сашко́.

— Лёша, ну, скажи ты ему,— дрожащим голосом упрашивала мать.— Она ж одна у меня осталась.

— Я, тётка Катря, сейчас ничем помочь вам не могу,— сказал Алексей.

Сычик сладко отрыгнул и пошарил глазами. Найдя пальто Василинки, накинул ей на плечи.

— Не поднимай голос, всё одно без пользы,— сказал он внушительно и, взяв Василинку за руку, потянул за собой.

Василинка яростно крутнулась, толкнула его в грудь. Сычик устоял. Нахлобучив шапку, он ринулся к ней.

— Мамочка, родная, ратуйте!

Василинка ухватилась обеими руками за спинку кровати, изворачиваясь и кусаясь, отбивалась от полицая.

— Немен панянку! — хрипел Пашка, обращаясь к солдатам.— Брать, брать!..

— Не пойду... Всё равно с поезда выкинусь! — рыдала Василинка.

Пашка оттолкнул Катерину Федосеевну, уцепившуюся за дочь, замахнулся на Александру Семёновну. Солдаты

силой выволокли девушку, уже на крыльце накинули на неё пальто, потянули по улице.

Катерина Федосеевна побежала следом, причитая и спотыкаясь в сугробах.

До утра в школе собрали около полусотни дивчат и парней. Провожать их пришли со всего села. Перед самой отправкой у школы появилась с узелком Настунька. Она кинулась на грудь Катерине Федосеевне.

— Ты что, Настя? — удивилась Катерина Федосеевна.

— Я с Василинкой вместе поеду,— всхлипывая, объяснила та. — Меня не нашли. А раз подружку забирают, и я с ней.

— Ох, дочечки вы мои,— тихо заплакала Катерина Федосеевна.— За что ж это на вас погибель такая?..

В одиннадцать утра «завербованных» погнали пешком на Богодаровку.

Автоматчики шли по бокам колонны, покрикивали на провожающих и отгоняли их.

Всё же Катерина Федосеевна старалась держаться поближе. Она несла узелок Василинки, не спускала глаз с неё и Настуньки, шагавших рядом.

К четырём часам колонну привели на станцию. На путях стоял длинный состав теплушек, вдоль вагонов расхаживали немецкие жандармы. Они озябли и поэтому были особенно свирепы.

Пропустив отъезжающих к составу, жандармы резиновыми палками оттеснили на перрон провожающих.

Катерина Федосеевна едва успела передать узелок Василинке: девушек сразу начали загонять в вагоны.

Впереди состава лениво пыхтел паровоз, над запорошенными снегом крышами станционных построек кружились вороны, оглушительно хлопал и фыркал грузовик за вокзалом.

Катерина Федосеевна ничего не видела, кроме опухшего от слёз лица Василинки. Девушка уже была в теплушке и, высунувшись из-за спин своих подружек, глазами разыскивала мать.

Катерине Федосеевне хотелось кинуться к вагонам и припасть к дочери, но впереди, широко и прочно расставив ноги, стояли жандармы и сердито покрикивали на женщин:

— Цурюк! Не мошно, матка...

От паровоза прошёл к хвосту состава офицер. Он остановился, сказал что-то унтер-офицеру, и тот, щёлк-

нув каблуками, побежал вдоль вагонов. Залязгали двери, девушки запричитали, заголосили. И вдруг из ближнего вагона взметнулся звенящий голос. Чернобровая смуглая дивчина, высунувшись в створки дверей, запела:

Ой, посию жыто по-над осокою,
Чы не будешь плакаты, матинко, за мною...

И подружки её подхватили:

Ой, не буду плакать, самэ сэрдце вьянэ,
Хто ж мою головку до смэрты доглянэ...

Рыдающий голос смуглой дивчины вновь взвился над вагонами:

Доглянуть головку всэ чужии люды,
А я одъизжаю, сама не знаю куды...

Лязгнув буферами, состав тронулся. Расталкивая жандармов, женщины бросились к вагонам, побежали рядом. И всё громче, заглушая плач матерей и сестёр, молодые невольницы пели тут же родившуюся песню:

Згадай мэнэ, маты, хочь раз у вивторок,
А я тэбэ, маты, на день разив сорок.
Згадай мэнэ, маты, хочь раз у субботу,
Бо я одъизжаю в Берлин на роботу...

В последний раз мелькнуло бледное лицо Василинки. Катерина Федосеевна нечеловеческим голосом вскрикнула, сделала несколько неверных шагов и без памяти рухнула на снег.

XV

Эшелон, шедший из другого села — Песчаного, остановили партизаны, и молодёжь, угоняемая в Германию, разбежалась по окрестным хуторам, а частью ушла в партизанские отряды.

Об этом рассказал Катерине Федосеевне Тягнибеда. Он же подобрал и доставил её, больную и разбитую, домой на санях, на которых отвозил в Богодаровку бургомистру продукты из села.

Повернувшись спиной к ветру, чтобы высечь огонь — коробок спичек стоил пятьдесят рублей,— Тягнибеда утешающе сказал:

— Если и этот эшелон подсидят, прибежит ваша Василинка до дому.

— Хотя б дал господь-бог, — вздохнула Катерина Федосеевна.

Она не очень верила словам полевода, но, вернувшись домой, всю ночь не смыкала глаз. Вскакивала на каждый шорох за окном, выходила в сени, долго стояла в ожидании, что вот-вот сейчас раздастся голос Василинки.

Поджидала она её и на следующую ночь. Утром Катерина Федосеевна жаловалась Александре Семёновне:

— Так тихо стало у нас. И не стукнет, и не грюкнет. А мне верится, что прибежит она ночью, стукнет в то оконце, что из сада. Она, бывало, когда у подружек засидится, всегда в то окошко стучала. Не хотела батька беспокоить.

— Ничего, мама, не горюйте, — утешала Александра Семёновна.— Из других сёл дивчата в Киеве, говорят, остались. Может быть, и Василинке посчастливится...

Через два дня в Чистую Криницу пришёл меньшой брат Катерины Федосеевны Кузьма, путевой обходчик, живший на разъезде. Раздеваться Кузьма не стал, попросил у Александры Семёновны воды напиться. Осушив большую кружку, он сказал:

— Видел, Катерина, нашу Василинку.

— Где? — рванулась к нему Катерина Федосеевна.

— Состав когда проходил на Германию, я около будки стоял. Глядь — племянница. Высунулась в окошко, чёрная, страшная. Я её спервоначалу и не признал. А она руки себе выламывает, жалостно так кричит: «Дядько Кузьма, это ж я, ваша Василинка!.. Заберите меня!» — кричит. Да куда ж там! На кажном вагоне солдат стоит. Как каторжанов везут... Да ты что, Катерина?

Александра Семёновна кинулась к Катерине Федосеевне, успела поддержать её.

Спустя минуту Катерина Федосеевна отошла, вытерла краем платка побелевшее, как мел, лицо. Слабым голосом спросила у брата:

— А верно, что эти... партизаны... освобождают людей? С поездов снимают?

Кузьма покосился на окно, понизив голос, сказал:

— Если б не верно, таких вот бумажек не расклеивали бы...

Он достал аккуратно сложенный листок бумаги и вполголоса прочитал:

«ВОЗЗВАНИЕ

1. Кто партизанам даёт убежище, снабжает их съестными припасами или каким-либо другим образом помогает, будет наказан смертной казнью. Кто сохраняет или прячет оружие, амуницию или взрывчатые вещества, также подвергается смертной казни.

2. О появлении каждого партизана сейчас же следует доложить ближайшей германской военной части или местной комендатуре с точным указанием местопребывания таковых. Всё оружие, амуницию и взрывчатые вещества следует немедленно отдать германским властям.

Сёла, которые не сообщат о местопребывании партизан и не сдадут оружия, должны считаться с тем, что они будут наказаны строгими мерами.

3. Во время ночной темноты никому нельзя выходить из своего жилища. Кто будет встречен вне своего жилища, подвергается расстрелу.

4. Сёла и хутора или лица, которые помогают германской армии в её борьбе против коварных партизан, будут награждены особой добавкой хлеба, пользоваться особой защитой и другими благоприятствиями.

Верховное командование германской армии»

Кузьма спрятал бумажку и надел шапку.

— Темнеет сейчас рано,— сказал он.— Ещё сдуру под расстрел попадёшь.

— Иди, иди,— торопила Катерина Федосеевна.— Ещё никогда такого не было, чтобы в своём селе люди ходить боялись.

Кузьма пренебрежительно махнул рукой:

— Им жалко, что ли? А того не учитывают, что партизан ихнего объявления не боится. Ему ночь — в самый аккурат...

После его ухода Катерина Федосеевна пробовала взяться за хозяйство, но у неё всё валилось из рук. Александра Семёновна, незаметно наблюдавшая за нею, предложила:

— Вы, мама, отдохните немножко. Я всё сделаю.

— Теперь уже не доведётся её повидать,— сказала Катерина Федосеевна.— Никто ей головоньку не расчешет, никто спать не положит... «Згадай мэнэ, маты, хочь раз у субботу...» Дытына моя!..

Она отвернулась к печке. Александра Семёновна подошла, обняла её, и обе женщины заплакали облегчающими душу слезами.

Позже, поняв, что ей дома не успокоиться, Катерина Федосеевна надела мужнин кожух, платок и пошла к старшей дочери.

У Ганны недавно умер новорожденный. Первые дни она очень убивалась, никуда не выходила из дому, а потом как-то примирилась с утратой.

Не прошло и месяца, как по селу поползли слухи о ней и о вдовом Тягнибеде. Приметили, что он несколько раз проведывал её дома, видели, как они долго разговаривали у колодца.

Тягнибеда был замкнут, малоразговорчив. Длинные, худые, как жерди, руки и ноги его, непомерно тонкая шея всегда были предметом ядовитых насмешек молодых баб и дивчат. Мальчишки втихомолку подразнивали его «черногузом». Но полеводом он считался отличным, уважали в нём криничане бескорыстность и честность.

Катерина Федосеевна по дороге к дочери увидела его длинную фигуру около бригадного двора.

— Жива, соседка? — крикнул он издали.— Ну, и добре!

Ганны дома не оказалось. Старуха и невестка лущили на полу подле печки кукурузу, тут же играли початками босоногие ребятишки.

Катерина Федосеевна, расстегнув кожух и ослабив платок, присела на стульчик, погладила голову девчонки.

— А Ганька где ж? — спросила она устало.

— Пошла до Варьки юбку скроить,— откликнулась Христинья и недовольно добавила: — Она дома и минуты не посидит. Дела себе всё выдумывает.

— Абы не тосковала,— ответила Катерина Федосеевна.

— Теперь вечером только заявится,— вставила старуха.

Но Ганна пришла минут через двадцать. Она обрадованно взглянула на мать, спрятала свёрток с шитьём в сундук, разделась и потом уже спросила:

— А вы, мамо, чего не раздеваетесь? Скидайте кожух, вы до нас давно не заходили.

Она поправила перед зеркалом юбку, прошлась гребнем по волосам. Катерина Федосеевна с материнской жалостью подумала: «Моя доля досталась сердешной... Без Степана, как и я когда-то без своего, бедует...»

Ганна подсела к кукурузе, из проворных её рук золотистые зёрна посыпались на ветошку обильной шуршащей струёй.

— Не слыхали, что Митька Гашук рассказывал? — спросила она.— В Богодаровке этой ночью тот немец пропал. Помните, приезжал с трубкой, когда батька старостой выбирали?

— Как пропал?

— Пропал — и всё. Там вся жандармерия, солдаты, полицаи на ногах. Шум, Митька рассказывает, такой поднялся... Он же у них за главного, тот немец.

— Разлютуются зараз, — с тревогой сказала Катерина Федосеевна.

— Нехай лютуют, — передёрнула плечами Ганна. — Хоть трошки бояться будут. Збандуто, вон, прослышал про это, так его из нашего села как корова языком слизнула...

— И, скажи, отчаянные какие! — со смешанным чувством восхищения и страха восклицала Христинья.

— Есть ещё казаки на свете,— весело усмехнулась Ганна.

Катерина Федосеевна давно не видела дочь такой оживлённой и довольной. Глядя на неё, она и сама немного успокоилась и ушла домой умиротворённая, со смутными надеждами в душе. Не предчувствовало её сердце новой беды. А она стряслась в тот же день.

К вечеру в село приехал на нескольких машинах карательный отряд. Солдаты разместились в школе. Около управы был выставлен усиленный патруль.

Часов около девяти в хату Рубанюков заскочила бледная, трясущаяся Христинья.

— Ганьку нашу забрали,—ещё с порога рвущимся голосом крикнула она.— Кто-то доказал... Знамя нашли в подполье.

Катерина Федосеевна и Александра Семёновна с ужасом смотрели на неё.

— Куда забрали? Какое знамя?

— Да то, которое летом ей дали за работу... Колхозное,— плача говорила Христинья.— В управу Ганьку повели...

Чтобы сообщить об этом, Христинья с большой опаской пробралась огородами. Обратно итти побоялась и заночевала у Рубанюков.

Этой же ночью арестовали полевода Тягнибеду. К нему нагрянули после вторых петухов. Пока он одевался, Пашка Сычик и ещё два дюжих эсэсовца силились открыть сундук в углу, под божницей. Сундук был добротный, с крепким замком, и Сычик, тщетно провозившись над ним, кинул Тягнибеде:

— Ключи где?

— Нету.

— Нету? То мы замок и так собьём.

— Какое имеешь право сбивать? — хмуро спросил Тягнибеда.

Сычик ощерился:

— А ты кто такой — права мне вставлять?

— Я человек, а ты продажная шкура. Вот ты кто.

— Гляди, а то я...

Сычик, сузив глаза, крупно шагнул к нему, но, встретившись со страшным взглядом полевода, трусливо юркнул за спины солдат.

— Я вот тебе посбиваю замки, погоди...— зловеще пообещал Тягнибеда.

Он всё так же спокойно и неторопливо надел старенький полушубок, подпоясался цветным матерчатым поясом и пошёл за солдатами.

После его ухода полицаи взломали сундук. На дне его, под праздничными шароварами и пиджаком, нашли «Краткий курс истории ВКП(б)», тщательно свёрнутые в трубку и связанные бечёвкой портреты Ленина и Сталина.

Обыски и аресты по селу продолжались всю ночь; криничанские кобели охрипли, кидаясь на солдат.

Уже перед рассветом постучали в рубанюковскую хату. Катерина Федосеевна, так и не раздевавшаяся, быстро поднялась, вышла на крыльцо. Перед ней возникла в сером квадрате двери худощавая фигура офицера, за ним смутно маячили в предрассветном сумраке солдаты.

— Ви есть жена оберст-лейтенант Рупанюк? — спросил офицер и перешагнул через порог.— Зажигайте лампа.

Он молча ждал, пока Катерина Федосеевна засветила лампу, и, внимательно посмотрев на хозяйку, сказал:

— Мне нужен жена подполковник Рупанюк, оберст-лейтенант Рупанюк.

Катерина Федосеевна только сейчас догадалась, о чём он спрашивал. Она намеревалась итти в другую половину хаты, но Александра Семёновна вышла сама. Она слышала вопросы офицера.

— Я жена подполковника,— сказала она, зябко кутаясь в платок.

— Мы вас должен забирать, потом пудем делать расследовать...

— У меня маленький сынишка, господин офицер,— сказала Александра Семёновна.— Он не совсем здоров.

Офицер подумал, помял в пальцах сигарету и добродушно разрешил:

— Сынишка можно забирать собой... Германский доктор даст вылечение...

— Да куда ты, Шура, его, хворенького? — горячо вмешалась Катерина Федосеевна. — Мы его и сами вылечим.

— Сынишка брать! — не раздумывая и уже строго приказал офицер. — Это ребьонок оберст-лёйтенант, дадим вылечение.

В глазах его промелькнула и погасла усмешка, и Александра Семёновна, чувствуя, как у неё холодеют руки, сдавленным голосом попросила:

— Пусть останется, господин офицер, он очень болен.

— Ну! Шнеллер!

Офицер свирепо посмотрел на неё и подал солдатам знак пальцем.

Александра Семёновна торопливо собрала бельишко сына, потом разбудила его, сонного и горячего, тщательно закутала в одеяльце. Ребёнок заплакал.

— Не надо, маленький,— быстро шептала Александра Семёновна.— Гулять пойдём... Котик мой...

Она обернулась к Катерине Федосеевне и Христинье, губы её дрогнули. Удобнее взяв на руки сына и узелок, она молча пошла за офицером.

XVI

Неделю стояла сухая морозная погода, потом посыпал снег, всё гуще и гуще. К середине декабря хаты Чистой Криницы занесло до стрех, а сугробы всё росли; день и ночь курились они белым дымом.

Катерина Федосеевна вставала до света, затапливала печь.

Потрескивал, шипел хворост, извивались в сизом дыму багряные, жёлтые змейки, потом огонь разгорался, вода в чугуне закипала. Щурясь, Катерина Федосеевна смотрела на пламя, блики играли на её пожелтевших щеках, тёмной кофточке. Но думы её были не здесь.

Каждое утро, невзирая ни на какую погоду, она носила еду в тюрьму, которую гестаповцы устроили в подвале сельуправы. Уже два раза пыталась Катерина Федосеевна пробиться к офицеру, в руках которого находилась судьба

арестованных, носила гостинцы солдатам. Подарки от неё принимали, но к офицеру так и не допустили.

У Катерины Федосеевны созрела мысль сходить к Малынцу, задобрить его, упросить, чтобы помиловали дочь и невестку.

С вечера она зарезала и зажарила последних двух гусей. Утром завернула их в чистую тряпочку, прихватила бутылку первача, занятого у соседки, и пошла к Малынцу на дом.

У старосты готовились к крестинам. В хату Малынец приглашать не стал, а разговаривал в сенях. Катерина Федосеевна вынула из-под платка гостинец и, покраснев, сказала:

— Это, Никифор Семёнович, я вашему новорожденному... Нехай живёт здоровый...

Малынец подношение принял с достоинством и тут же передал его в двери хозяйкам.

— До вашей милости я...— начала Катерина Федосеевна и опять покраснела. Ей ещё никогда не приходилось так унижаться.

— Говори, послухаем, — сказал Малынец и снисходительно добавил: — Мы ж с твоим, как-никак, вместе старостовали...

— Поэтому и пришла,— обрадовалась Катерина Федосеевна.— Насчёт дочки и невестки... Их зазря посадили, Никифор Семёнович.

— Ну, не зазря, — важно возразил Малынец. — Как это зазря? Невестка твоя... Муж ейный, Ванюшка, кто он есть? Подполковник! А-а-а! Как же зазря? А Ганна знамя скрывала, с партизанами связана, это точно. Ты вот матерь ей, а сама не знаешь... И не болтай, что «зазря»...

Малынец глубокомысленно поскрёб ногтями висок:

— Суд твоей дочке послезавтра. Такое распоряжение вышло. Я тут ни при чём. А невестку в Богодаровку переводят. Ещё посидит трошки...

— За что ж ей суд, бедолашной?! — взмолилась Катерина Федосеевна.— Никифор Семёнович, век не забуду... Может, офицеру гостинца хорошего? Я б последнюю корову на базар повела... И вас не обижу. Сделайте милость, вызвольте...

Малынец долго молчал, сопел. Наконец, сказал:

— Меня просить толку мало. Они до этих своих дел не допущают. Это истинно, Катря...

Он спохватился, что умаляет себя, и с прежней важностью добавил:

— Потолкую с офицером. Но навряд. Скажу ему про корову... Может, польстится...

Ушла от него Катерина Федосеевна с ещё большей тревогой в душе. Втайне она перед этим надеялась, что Ганну и Шуру подержат немного и выпустят. В уме её никак не укладывалось, за что можно судить Ганну, пусть она даже и прятала честно заработанное ею знамя...

А у Малынца тем временем подготовка к гулянке шла во-всю. Он пригласил, по совету бургомистра, важных начальников из района и потому лез из кожи, чтобы встретить их пышно.

На крестины гости начали собираться с утра в воскресенье. Малынец, в праздничном костюме, новых сапогах, подстриженный и сделавший себе коротенькие, как у Гитлера, усики, выходил на крыльцо, здоровался за руку:

— Проходьте, панове, пожалуйста, проходьте...

Одними из первых приехали Збандуто в крытой овчинной шубе и начальник районной почты.

Затем на двух автомашинах подкатили новый гебитскомиссар, несколько офицеров. Отряхивая снег с синего жупана и смушковой шапки, вылез «украинский» представитель.

Малынец, польщённый столь блестящим обществом и тем, что кумом был не кто иной, как сам бургомистр, не жалел ни водки, ни угощения.

Криничане в этот день обходили подворье бывшего почтаря с великой опаской (у ворот зябли на холоде полицаи и автоматчики). Но по улице далеко был слышен пьяный гомон. Низкой октавой рычал бас «украинского» представителя.

— За лучшую жизнь, панове! За освобождение!

Визжащим фальцетом откликался хозяин:

— Хайль!

Уже не один гость резво выскакивал на крыльцо, страдальчески вытаращив глаза, изрыгал съеденное и выпитое; сноха Малынца Федоска уже дважды пробегала через двор с бутылками самогона, а гулянке не видно было конца.

После обильного обеда сидели в полусумраке, отдыхали. Гости, расстегнув кители и посасывая сигаретки, тянули маленькими глоточками самогон. Малынец в приступе хмельной восторженности мочил сладкими слезами сюртук бургомистра.

К вечеру перепившегося гебитскомиссара с превеликими почестями уложили на хозяйскую постель. Збандуто, ругаясь и икая, совал голову в цыбарку с ледяной водой. Лишь офицеры цедили и цедили в гранёные стаканы пахнувшую кислым бураком самогонку.

— Русс крестин корошо. Панянки никс, пльохо...

— Панянки? — тонким голосом взвизгнул Малынец.— Битте! Панянки будут... Федоска, крикни Пашку. Ейн момент! Ейн, цвей, дрей... Аухвидерзейн...

Пашка Сычик вошёл степенно, с несколько обиженным видом. Глаза его от морозного ветра слезились, нос посинел. Ему пришлось слишком долго ждать на холоде, пока его догадались пригласить.

Он охотно, без передышки опорожнил две кружки самогона, закусил огурцом, выпил ещё. Узнав от Малынца, что господ офицеров надо сводить к дивчатам, он деловито спросил, разжёвывая свиной хрящ:

— На ночь или на время?

— Это как паны офицеры пожелают.

Сычик понимающе кивнул, нахлобучил шапку. Офицеры, тучный не по годам обер-лейтенант и его начальник майор, поднялись. Обер-лейтенант давно уже пронизывал блестящими глазами присутствовавших на празднестве женщин: полногрудую сноху хозяина, сутуловатую вислоносую хозяйку. Майор был хмур и молчалив.

За офицерами и полицаем в некотором отдалении шагал автоматчик.

— У школьной уборщицы Балашихи две дочки есть,— раздумчиво произнёс Сычик и для наглядности оттопырил два пальца. — Цвай панянок... Фарштейензи? Конечно, меньшой тринадцатый год — не больше. А старшая в восьмой класс ходит.

Эсэсовцы шли, слегка покачиваясь, вразнобой мурлыкали песенки. Падал мягкий, редкий снежок. Но мороз не отпускал, пощипывал за уши, и майор, потирая их рукой в перчатке, торопил Сычика.

Балашиха спала на лежанке. Она открыла на стук двери и проворно юркнула под одеяло, пряча голые руки.

Сычик осветил её карманным фанариком.

— Любка твоя где, Устя? — спросил он.

— Она уже три недели, как в Богодаровке. Вроде ты не знаешь, Паша!

— Чего её черти туда понесли?

— Ты же знаешь. В няньках у бухгалтера.

— Опять двадцать пять. Откедова я знаю?

Обер-лейтенанту надоело ждать. Он пошарил лучом фонарика по комнате, наткнулся на косички девочки и подошёл к кровати.

Жмурясь от яркого света, девочка села и вопросительно поглядела на незнакомых людей.

— Раздевай себя! — произнёс требовательный нерусский голос.

Мать испуганно переводила взгляд с офицеров на шерстяной свитер дочери. Лишь позавчера она выменяла его у солдат на бутылку водки.

— Скидай, дочка, раз требуют,— сказала она.— Отдай им... Оно, видно, казённое.

Девочка покорно сняла свитер, протянула офицеру. Тот пренебрежительно швырнул его на пол и расстегнул шинель.

— Весь раздеваться. Аллес!

Он быстро обхватил девочку рукой. Фонарик выпал, погас.

Балашиха только сейчас поняла намерения эсэсовцев. Она соскочила с лежанки и, задыхаясь от страха, закричала:

— Паны офицеры! Что вы надумали? Она дытына совсем... Не дам дочки... Танюшка!

Сычик рывком оттянул её к порогу, вытолкнул в сени и припёр спиной дверь.

— Чего кричишь? — недовольно пробурчал он, дыша ей в лицо самогоном.— Ничего с твоей Танькой не будет. Погуляют офицеры и оставят. С собой не заберут, не бойсь...

Балашиха с яростью рванула его за ворот и, чувствуя, что не справится, цепенея от ужаса, слушала возню за дверью, громкий плач, потом истошный вопль дочери. Она кинулась к двери, но Сычик наотмашь ударил её по щеке, свалил на землю и прижал коленом...

XVII

С утра полицаи ходили от двора к двору и зазывали к трём часам на собрание.

Балашиха сидела в окружении соседок. Плача, она рассказывала о ночном злодеянии. Вошёл Сычик.

— На сходку, Устя,— сказал он таким добродушным голосом, будто накануне ничего не произошло.— Все бабы на сходку! На майдане будет.

Он лихо сплюнул сквозь зубы, наступил на плевок валенком и, похлопывая резиновой палкой себя по голенищу, пошёл дальше.

— Иди, жалься, дурная,— дружно советовали Балашихе соседки.— До самого главного, до Збандуты ступай.

— Это ж, глянь, что ироды вытворяют!

— До сих пор дытына не пришла в себя,— всхлипывала Балашиха.— Я как доползла до её кровати... Ну, мёртвая... Водой отливала.

Она косилась на постель, на укрытую с головой девочку.

— Как бы умом не тронулась... Ничего не ест, не говорит...

Подстрекаемая бабами, она решила пойти в сельуправу.

Збандуто сидел со старостой в прокуренной комнатушке. Его ещё мутило после вчерашнего, под глазами вспухли дряблые, трупного цвета мешки.

Он угрюмо выслушал плачущую уборщицу и рассвирепел:

— Что ты мне басни сочиняешь? Дурёха! Не смей болтать! Господа офицеры этого не позволяют.

Алексей, которому бургомистр только что поручил доставить в район срочный пакет, из любопытства задержался.

— Так Пашка, ваш свояк, при том был,— не унималась Балашиха.— Какие басни, когда девчонка не при своём уме...

— Партизаны! — отрезал Збандуто.— Поняла? Партизаны... э-э... были у тебя. Запомни. Пошла вон! Полицейский выведи её, лгунью!

Скрипнула дверь, и Збандуто стремительно поднялся, учтивой улыбкой приветствуя гибетскомиссара и сопровождающих его офицеров.

Алексей вышел следом за Балашихой. Он тронул её за рукав.

— Пожаловалась? —спросил он насмешливо.— Глупая ты, Устя. Это ж одна чашка-ложка. Ты ещё к гебитцу пойди... Он тебя пожалеет.

— Все вы хорошие,— зло со слезами в голосе огрызнулась Балашиха.— И где погибель на вас, чертей?

Заметив Пашку Сычика, появившегося из-за угла сельуправы, она посмотрела на него с ненавистью и быстро пошла домой.

Сычик подошёл к Алексею и ухмыльнулся:

— Жалиться прибегала?

— Ага.

— Ну, и как?

— Ей ещё влепили.

— Нехай не бегает. Дай-ка свернуть.

Сычик поплевал на пальцы, отодрал от газетки лоскуток.

— Людей, знаешь, зачем на майдан скликают? — спросил он, разминая бумажку на ладони.

— На сходку?

— Э, балда! Вешать будут.

— Кого?

— Ганьку Степанову, Тягнибеду.

— Брось ты!

— Ей-богу! Сейчас шибеницу [1] ставят. Я подслухал. Ночью в арестантской судили. Гебиту, бургомистр. И этот, что в синем жупане и смушковой шапке, сидел. Клятый, стерва. Прямо кидался до Тягнибеды.

Алексей широко раскрытыми глазами смотрел на равнодушное, опухшее с перепоя лицо Сычика, потом быстро сунул кисет в карман полушубка и подошёл к коню.

— Далеко, Лёшка?

— Пакет везу в район.

— Вертайся шибчей. Интересно поглядеть, как ногами дрыгать будут.

Алексей отвязал жеребца, придержал стремя рукой и легко вскочил в седло.

Он поехал было к площади. Солдаты, действительно, тесали подле кооперативной лавки брёвна. Двое долбили ломами мёрзлую землю.

Алексей хлестнул коня, намётом вынесся в переулок, ведущий к подворью Девятко. «Если не задержать хотя бы до вечера, повесят...— лихорадочно думал он.— Пятнадцать километров туда... Пока соберутся... Ещё пятнадцать...»

Около хаты Девятко он соскочил, торопливо привязал жеребца и вбежал во двор.

---

[1] Шибеница — виселица (укр.).

Кузьма Степанович сидел за столом, глубоко задумавшись. Пелагея Исидоровна просеивала около припечка муку.

— Выйдите на минутку,— скороговоркой попросил её Алексей.

Пелагея Исидоровна вытерла фартуком руки, прихватив цыбарку, пошла в коровник.

— Беда, Кузьма Степанович,— сказал Алексей.— Ганну и Тягнибеду поведут сегодня на шибеницу.

— Что ты мелешь!

— Ночью суд им был. Народ затем и скликают.

— Ах ты ж, горе!

Кузьма Степанович трясущимися руками стал натягивать валенки на толстые шерстяные носки:

— Я зараз в лес подамся. Не может быть, чтобы хлопцы не выручили, — торопливо говорил Алексей. — И верховоды из района аккурат слетелись... Застукают в самый раз. Но, боюсь, не поспеют... Как можно придержать надо... Голова идёт кругом — что придумать?..

— Ты давай поспешай,— сказал Кузьма Степанович.— Дорогу добре знаешь?

— Два раза ездил.

— Давай, давай шибчей. Я в село пойду.

Кузьма Степанович, увидев через окно, как Алексей ускакал в сторону Богодаровского леса, сорванным голосом покликал жену. Он приказал ей немедленно бежать к Катерине Федосеевне, к другим бабам и шепнуть, чтобы они на площадь не ходили. Сам он поспешил с той же целью в колхозное правление.

...Без четверти три гебитскомиссару доложили, что к казни всё готово, но, кроме солдат охраны и полицаев, на площади никого нет.

Гебитскомиссар нахмурился и посмотрел на старосту желчным взглядом:

— Делать, как намечено!

Збандуто позволил себе заметить, что публичное повешение преступников полезно именно тем, что устрашающе воздействует на присутствующих.

— Если господин гебитскомиссар не возражает,— добавил он,— в течение часа или двух солдаты и полицейские сумеют доставить публику в... э-э... принудительном порядке.

Гебитскомиссар в упор поглядел на него и сказал через переводчика:

— Разрешаю отложить исполнение приговора на один час и тридцать минут. Но передайте бургомистру, что я имею основание быть недовольным порядками, к которым он и староста приучают население.

Солдаты, полицаи, во главе с самим старостой, пошли по селу.

Часа за два до этого Пелагея Исидоровна, бурно дыша, вбежала в хату к Катерине Федосеевне, бессильно прислонилась к косяку двери.

— Что с вами, сваха?—удивилась Катерина Федосеевна. — Лица на вас нету!..

Она только что кончила мыть голову Сашку, усадила его на лежанку и сполоснула руки в тёплой воде.

— Про дочку свою ещё ничего не слыхали?

— Про какую?

— Ганьку. Судили её...

Катерина Федосеевна побледнела. Ступив два шага, опустилась на скамейку, глухо сказала:

— Говорите всё, сваха...

Пелагея Исидоровна, причитая и часто сморкаясь в подол, рассказала о приговоре.

Катерина Федосеевна вцепилась в подоконник, чтобы не упасть. С минуту она сидела, не проронив ни слова, потом так же молча поднялась, начала одеваться.

— Куда вы, сваха?

— До сельуправы.

— Может, выручат, Катря, — утешала Пелагея Исидоровна. — Лёша подался до хлопцев, в лес...

Катерина Федосеевна не ответила. Ей трудно было говорить, она лишь смогла шепнуть Сашку, чтобы он сидел дома.

Пелагея Исидоровна догнала её за воротами и пошла рядом.

На площадь тем временем стекались группками и в одиночку криничане. Полицаи кой-кого избили резиновыми палками, двух женщин вытащили из хаты волоком и привели под винтовками.

Толпа стояла молчаливой стеной у сельского кооператива. На тускло-голубом небе чернели наспех сколоченные брёвна виселицы. Люди кашляли сдержанно, как в церкви, поминутно оглядывались в сторону сельской управы.

Там выстроился усиленный наряд солдат, толпились ребятишки.

Катерину Федосеевну и Пелагею Исидоровну близко к арестантской не подпустили. Они ждали в стороне, около школьной ограды. Мимо сновали солдаты и полицаи, провёл в поводу запотевшего маштака сапуновский староста.

С заснеженного бугра, со стороны ветряков, дул пронизывающий, порывистый ветер, надоедливо поскрипывала, хлопала ставня в здании школы.

Из сельуправы выбежал Сычик и поспешил к площади. Потом на крыльце появились бургомистр, эсэсовцы, Малынец. Переговариваясь, они неторопливо прошли по улице.

Пелагея Исидоровна первая заметила, как возле арестантской засуетились солдаты, возвышаясь над их головами, показался Тягнибеда.

— Ведут,— шепнула она.

Катерина Федосеевна подалась вперёд. Меж шинелями солдат мелькнул и исчез белый бахромчатый платок Ганны. Конвой, обступив кольцом осуждённых, двинулся к площади.

Они поровнялись со школой, и Катерина Федосеевна смогла теперь увидеть лицо дочери. Ганна похудела, побледнела, но глаза её, лучистые, большие, и теперь прямо и смело глядели перед собой.

— Доченька,— прошептала Катерина Федосеевна, прижимая руки к груди.

Ганна вдруг заметила мать. Взгляды их встретились Она чуть приостановилась. Солдат, шедший сзади, отрывисто крикнул:

— Ходить надо, матка, ходить!

Ганна с трудом оторвала взгляд от матери и пошла дальше, медленно переставляя ноги в стареньких латаных башмачках.

Спотыкаясь, Катерина Федосеевна шла за конвоем до площади. В толпе с поспешной предупредительностью пропустили её и Пелагею Исидоровну вперёд, и они стали невдалеке от виселицы.

Тягнибеда затянул потуже разноцветную подпояску на дублёном стареньком кожушке и опустил по швам руки. Ганна что-то сказала ему. Он кивнул головой и обвёл взглядом криничан.

Офицер, распоряжавшийся солдатами, вскинув руку, посмотрел на часы, повернулся к Збандуто и показал ему время.

Кузьма Степанович нетерпеливо ворочал головой, всматриваясь в снежные дали за селом. Смугло серела каёмка Богодаровского леса, мертвенно белели снеговые наносы около посадок.

Збандуто шагнул вперёд, к середине круга, посмотрел бегающими глазами на крестьян, сделал ещё два шага, извлёк из кармана романовской шубы платок и отёр усы.

— Панове! — произнёс он и, откашлявшись, снова повторил строго и внушительно: — Панове!

До сознания Катерины Федосеевны, словно во сне, туманно и несвязно, доходили слова:

...Фашистское командование... не жалеет сил... навести порядок... спокойная жизнь... за голову коменданта господина Крюгера... решением полевого суда... к смерти через повешение... Ганна Лихолит, урождённая Рубанюк, Митрофан Тягнибеда... Такая же участь... всех, помогающих партизанам...

Збандуто вернулся на своё место. У виселицы задвигались солдаты. Молчание нарушали только отрывистые фразы. Осуждённым повесили на грудь дощечки с надписями, заставили взобраться на табуретки. Тягнибеда вскочил легко, и, когда распрямился, все увидели, что он почти касается треухом верхней перекладины. На груди его на дощечке чернели слова: «Я помогал партизанам». Такая же дощечка болталась и у Ганны.

Высокий солдат в тёплых наушниках, с подвязанным подбородком, поднялся по лестничке и рывком накинул Ганне на шею верёвку.

— Доню моя, родная! — разорвал тишину исступлённый крик.— Не дам! Люди добрые, ратуйте!..

В толпе послышался плач, кто-то, причитая, побежал прочь. Обер-лейтенант с сигаретой в зубах ходил вокруг виселицы, вскидывал к глазам фотоаппарат, выбирал более удобное положение, снова щёлкал.

— Дайте сказать!— звонко крикнула вдруг Ганна.— Сказать дайте... Люди!.. Мамо!.. Не покоряйтесь им!.. Наши придут!.. Степан...

Солдат в наушниках, повинуясь еле заметному кивку офицера, сильно ударил ногой по табуретке.

Перед глазами Катерины Федосеевны сдвинулась, поплыла багровая земля. Кто-то подхватил её под руки, дрожащую, вскрикивающую, и насильно повёл от страшного места...

Когда палач подобрался к Тягнибеде, он оттолкнул его локтем, сам надел на себя петлю, поправил её и спрыгнул с табуретки...

Спустя минут десять гебитскомиссар, Збандуто и «украинский» представитель, констатировав смерть обоих осуждённых, громко переговариваясь, пошли с площади.

В это мгновение из глухого переулка вынеслась в галопе лавина всадников и, дробясь, рассыпалась по майдану.

— Партизанен! — всплеснулся и оборвался испуганный крик.

Криничане, которые начали было расходиться по домам, сразу угадали в одном из верховых Алексея Костюка. Он остервенело колотил каблуками взмыленного жеребца и круто осадил его перед виселицей. Потом он, мотнув локтями, понёсся дальше по снегу, вдогонку убегающим палачам. Опережая гебитскомиссара, к дальним домам бежал, путаясь в полах шубы, Збандуто, резво семенил валенками Малынец.

Партизаны их уже заметили; трое скакали наперерез. Около сельуправы выщелкал очередь и сразу замолк пулемёт, бахали одиночные выстрелы. Не ожидавшие дерзкого налёта, эсэсовцы были переловлены и обезоружены; их волокли к месту казни. Алексей заскочил в сельуправу, разыскал знамя, отобранное полицаями у Ганны, принёс его на площадь.

Всадники подъезжали сюда же, спешивались. Криничане, дивясь и радуясь, узнавали своих односельчан, сапуновских, тарасовских, богодаровских людей.

— Жив, Микола? — радостно обменивались возгласами односельчане.

— Я ещё тебя переживу.

— Гляньте, Фёдор Загнитко! Он же в плену, говорят, был...

— А дедуган вон какой бравый! Ты скажи...

От всхрапывающих приморенных лошадей струился острый запах пота, пена, покрывающая влажные бока, лубенела на морозном ветру.

В толпе вдруг затихли. В круг въехал и слез с коня пожилой бородатый человек. Он застегнул кобуру маузера, медленно снял перед повешенными шапку, и все узнали секретаря райкома Бутенко.

Он коротко приказал что-то стоявшим возле него партизанам; те подошли к виселице и, бережно сняв тела Ганны и Тягнибеды, положили их рядом на снегу.

Издали, из-за толпы, крупными шагами спешил Остап Григорьевич. Перед ним расступились. Старик протянул руки, как незрячий, сделал несколько шагов, рухнул перед дочерью на колени, обхватил её голову руками и беззвучно зарыдал.

— Люди! — негромко и отчётливо, так отчётливо, что голос его был слышен в самых дальних рядах, сказал Бутенко. — Большое горе на нашей земле. В чёрную, беспроглядную ночь кинули захватчики наши города, сёла, хутора. Вот такими виселицами покрыт их позорный путь. Удавить, захлестнуть петлёй они хотят всю Украину...

Бутенко бросил горящий ненавистью взгляд в сторону гебитскомиссара, Збандуто, Малынца и Сычика, которых окружили партизаны.

— Но знайте, друзья,— повысил Бутенко голос.— День уже завиднелся. Вчера под Москвой началось могучее наступление Красной Армии. Фашистских оккупантов погнали, они кидают всё, бегут... Нас идут освобождать славные братья наши, идёт весь советский народ... Никогда, никому из чужеземцев не пановать на нашей земле! Не сломить воли, любви к свободе наших людей никакими виселицами, пытками.

Бутенко обернулся к Алексею Костюку, стоявшему за его спиной, взял из его рук сложенное знамя, развернул. Он благоговейно прикоснулся губами к знамени, опустился на колено и бережно покрыл красным полотнищем тела Ганны и Тягнибеды.

XVIII

За последние пять суток пулемётному расчёту Петра Рубанюка не удалось ни отдохнуть, ни хотя бы мало-мальски отогреться. Батальон, сдерживая свирепый натиск эсэсовцев, нёс большие потери.

Третьего декабря день выдался особенно горячий. Вражеские танки несколько раз прорывались на передний край обороны полка, солдаты добегали до самых окопов стрелков. Здесь и там завязывались рукопашные схватки. Лишь к полудню, не достигнув успеха, гитлеровцы немного притихли.

— Погоди... Дай только из этого пекла вырваться...— сказал Марыганов, вытирая платком красные от бессонницы и порохового дыма глаза.

— Тогда что будет? — Сандунян сдвинул на затылок горячую шапку-ушанку и устало прислонился к брустверу.

— Поведу вас в такое местечко! — продолжал Марыганов.— Тепло, перинки пуховые, яичницу-глазунью можно зажарить или блинчики со сметаной.

— Прямо рай,— со слабой усмешкой откликнулся Петро.

Он отлично знал, что благословенное местечко существует только в воспалённом воображении второго номера.

— Рай не рай, а натопленную избушку я обеспечу,— не сдавался Марыганов.— И яичницу...

Однако отдохнуть пулемётчикам довелось не скоро. По всей линии подмосковной обороны не утихали ожесточённые бои. К концу второго генерального наступления на Москву фашистским войскам удалось выйти севернее столицы — к каналу Москва — Волга, в район Красной Поляны и Крюково, на юге — к шоссе Тула — Москва, а также к Михайлову, Венёву.

Именно в эти дни германское информационное бюро сообщало:

«...Германское наступление на столицу большевиков продвинулось так далеко, что уже можно рассмотреть внутреннюю часть города Москвы через хороший бинокль».

Армия, в которой теперь находился Петро со своим пулемётным расчётом, отражала непрекращавшиеся удары подвижных частей противника на солнечногорском и истринском направлениях. Сконцентрировав в районе Красная Поляна и Клушино части 106-й пехотной и 2-й танковой дивизий, гитлеровцы стремились отсюда нанести удар на северную окраину Москвы. Из района Льялово, Алабушево, Крюково, Бакеево наступали вдоль Ленинградского шоссе 5-я, 11-я танковые и 35-я пехотная дивизии. Восточнее Истры действовали пехотная дивизия СС и 10-я танковая дивизия, а вдоль Истринского шоссе на Красногорск рвались 252-я и 87-я пехотные дивизии противника.

В подразделениях, на батареях бойцы зачитывали обращение командования Западного фронта.

«Товарищи! В час грозной опасности для нашего государства жизнь каждого воина принадлежит отчизне.

Родина требует от каждого из нас величайшего напряжения сил, мужества, геройства и стойкости.

Родина зовёт нас стать нерушимой стеной и преградить путь фашистским ордам к родной и любимой Москве.

Сейчас, как никогда, требуются бдительность, железная дисциплина, организованность, решительность действий, непреклонность и готовность к самопожертвованию. В наших рядах не может быть места малодушным нытикам, трусам, паникёрам, дезертирам. Самовольное оставление поля боя без приказа командира есть предательство и измена Родине.

Бойцы, командиры и политработники!

Вы грудью отстаиваете честь и свободу нашего народа. Ещё теснее сплотимся вокруг коммунистической партии большевиков, вокруг нашего полководца великого Сталина и уничтожим фашистскую мразь!».

На строительстве оборонительных рубежей вокруг Москвы работали десятки тысяч москвичей. Здесь были целые семьи: матери с детьми, бабушки с внуками. Несмотря на тридцатипятиградусные морозы, лютые ветры и вьюги, они по две-три недели не уходили домой, думая только о том, чтобы помочь войскам задержать рвущегося к столице противника.

Положение попрежнему было тревожным, но уже к началу декабря общий ход военных действий начал изменяться в пользу Красной Армии. В результате героического сопротивления советских войск враг потерял в Подмосковье убитыми десятки тысяч человек и оставил на поле боя много боевой техники. Вместо концентрированных ударов на клинско-солнечногорском и венёв-каширском направлениях гитлеровцы вынуждены были вести напряжённые и кровопролитные бои от Московского моря до Тулы и Михайлова, на фронте в триста пятьдесят километров. Они нигде не смогли прорвать сталинскую оборону, воздвигнутую вокруг Москвы.

К 6 декабря второе генеральное наступление фашистских орд на Москву выдохлось. Решительный перелом в ходе событий, которого с таким страстным нетерпением ждала вся страна, наступил.

В батальоне Тимковского ничего определённого не было известно, пока на энпэ комбата не побывал работник политотдела армии. До того знали лишь, что где-то в районе Загорска, Сходни и Химок группируются свежие резервы. Об этом рассказывали бойцы и командиры, прибывшие в полк на пополнение.

Политотдельский работник принёс с собой последние новости. А у хороших вестей быстрые крылья. Через час

на переднем крае уже знали, что у Дмитрова и Яхромы немецко-фашистские захватчики неожиданно получили такой удар, какой были способны нанести только очень сильные, свежие войска. На некоторых участках дивизии врага перешли к обороне, а кое-где даже начали отходить.

В пулемётном расчёте Петра обо всём этом узнали от комвзвода Моргулиса.

Гитлеровцы на участке полка с самого утра не проявляли активности. Над полем стоял молочный туман, и Моргулис бежал по ходу сообщения во весь рост. Полы его маскировочного халата, пятнисто-грязные от частого ползанья, хлестали по голенищам сапог, кобура пистолета болталась на животе.

— Подготовиться к маршу! — возбуждённо крикнул он ещё издали.— Резвей, ребята!

Он помог вытащить из дзота пулемёт и установить его на волокушу. Уже по дороге он рассказал, что полку дают короткий отдых, а потом поставят новую задачу.

К полудню были на месте. Остановились в полусгоревшей деревне, в двух-трёх километрах от переднего края.

Пулемётчики двинулись к крайней избушке с покосившимся крыльцом. Она была забита танкистами, но те охотно потеснились.

— Валяй, валяй, теплей будет.

— Царица полей!

— Откуда, землячок?

— Это ко мне?

— Нет, вот тот, что в разодранном халате!

— Я? Ставропольский. А что?

— Ничего. Показалось — родственничек.

— Близкая родня. На одном солнышке онучи сушили...

В окна дул резкий, с влажным снежком ветер, в избе было не теплее, чем во дворе, но бойцы свернули самокрутки, пыхнули синим дымком, и стало домовитей, уютней. Негромко разговаривали.

Петро с Марыгановым и Сандуняном пристроились у порога. Они сложили под стенку вещевые мешки и прилегли рядышком. Длинному костлявому Марыганову было, как и всегда, неудобно и тесно, но он решительно стянул сапог с налипшим на подошве снегом, взялся за другой, да так и заснул, не успев скинуть его. Скрючившись, тотчас же начал похрапывать и Сандунян.

Петро закрыл глаза, но сон не приходил. Невдалеке беспрерывно рвали морозный воздух тяжёлые орудия, гулко постукивали пулемёты, кто-то в другом углу хрипло кашлял. Но всё это доходило до сознания Петра, как в тумане.

С неожиданной отчётливостью возникла в мозгу и поразила своей строгостью фраза: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идёт на бой». Петро тщетно старался вспомнить, кому принадлежали эти суровые слова. Когда-то, в студенческие годы, они так понравились Петру, что он даже выписал их.

Углубившись в свои мысли, Петро не сразу обратил внимание на то, что в избе установилась вдруг тишина. Звучный, уверенный голос сказал:

— Можете не вставать, товарищи. Отдыхайте...

Петро быстро открыл глаза. У двери стояли плотный низенький полковник в чёрном кожаном пальто с эмблемами танкиста на петлицах и рослый худощавый генерал. Из-за спины полковника виднелось взволнованное лицо комбата Тимковского.

«Из штаба», — подумал Петро и, приподнявшись, тихонько толкнул локтем Сандуняна.

— Будить не надо, — вполголоса произнёс генерал и, вытерев платком влажное от снега лицо, прошёл в глубь избы.

Но солдатский сон — заячий. Сандунян вскочил, торопливо поправил полушубок, надел ушанку. Начали подниматься остальные.

— Командующий армией,— шепнул Тимковский Петру.

Солдаты торопливо приводили себя в порядок.

Полковник обежал добродушными, улыбающимися из-под густых белесых бровей глазами замызганные маскировочные халаты пехотинцев и раскурил трубку. По избе поплыл пряный аромат медового табака.

Командующий повернулся к Тимковскому и спросил:

— Тут у вас танкисты и пулемётчики?

— Так точно.

Генерал кивнул и задержался взглядом на обветренном лице Сандуняна.

— Как солдатская жизнь? Патронов хватает?

Сандунян, растерявшись, не сразу ответил.

— Патронов получаете достаточно? — повторил вопрос генерал.

— В патронах недостатка нет, — сказал Петро. — Но и фрицев хватает, товарищ генерал.

Худощавое лицо генерала тронула лукавая усмешка, глаза блеснули молодо и обещающе:

— Это ничего. Справимся... Как, капитан, думаете? — спросил он Тимковского.— Сумеем одолеть фрица?

Комбат молча вытянулся.

— А тот Рубанюк не у вас в батальоне? — спросил его генерал.

— Вот он самый, — показав глазами на Петра, сказал Тимковский.

Командующий пристально, с искренним любопытством смотрел на порозовевшее от неожиданности лицо Петра.

— Слыхал, слыхал, как под Быковкой было дело,— проговорил он.— Спасибо за службу.

Он сдёрнул перчатку и протянул Петру руку.

— Служу Советскому Союзу! — охрипшим от растерянности голосом сказал Петро.

— Один с пулемётом целый батальон фрицев задержал,— сказал командующий полковнику.— Видал, какие номера откалывают?

Он любовно оглядывал огрубевшие, шелушившиеся от ветров и морозов лица пехотинцев. Живо повернулся к Марыганову. Тот старался тихонько натянуть на босую ногу сапог.

— Портяночки, друзья, аккуратно подгоняйте,— посоветовал командующий. — И вообще покрепче обувайтесь...

Он не стал пояснять, почему это нужно, однако по его весёлому тону все догадались, что̀ имел в виду командующий, и радостно заулыбались. Весёлое оживление долго не проходило и после того, как генерал и полковник ушли в другие подразделения.

— Ну, орлы, дел серьёзных ждать надо, — вслух заключил Петро. — Командующий не на прогулку сюда приехал.

— Смеётся, шуткует, — вмешался в разговор пожилой боец. — Стало быть, фрицевская положения незавидная.

— Факт, будем наступать.

В полночь батальон подняли. После шестикилометрового марша дали короткую передышку и снова повели вдоль линии фронта. Потом, незадолго до рассвета, комбат приказал выстроить роты на лесной поляне и огласил приказ Военного Совета армии.

Наступление назначалось на 10 часов утра 7 декабря.

. . . .

На правом крыле Западного фронта глухо громыхала артиллерийская канонада. Резервные армии наносили контрудар в направлении Клин, Федоровка, Красная Поляна, Солнечногорск. Контрнаступление развернулось на фронте в сто двадцать километров и вынудило противника начать отход.

Батальону Тимковского была поставлена задача овладеть укреплённой высотой и затем, во взаимодействии с остальными батальонами полка, развивая удар на запад, помешать врагу уводить свою живую силу и боевую технику.

Батальон занял исходные позиции до рассвета, сменив подразделения, которые держали здесь оборону.

Красные пунктиры трассирующих пуль беспрерывно носились раскалёнными угольками в чёрном мареве. По всему горизонту слышалось неумолчное сорочье пощёлкивание пулемётов.

Гитлеровцы заметно нервничали.

Расчёт Петра должен был поддерживать атаку третьей стрелковой роты.

Рядом, в укрытиях, тускло отсвечивали металлические шлемы бойцов, примкнутые штыки. Петро курил в горсть, слушал приглушённый говорок, осторожное покашливание.

В укрытие прыгнул парторг Вяткин.

— С праздником вас! — сказал он.

Глаза его то ли отражали свет ракет, то ли просто возбуждённо блестели.

— И тебя с праздничком, товарищ Вяткин,— приветливо откликнулся Петро. Он питал искреннее расположение к подвижному и энергичному парторгу.

— Бежал мимо, слышу, разговор интересный,— сказал Вяткин.— Знаете, во всех окопах сейчас словно перед большим праздником...

— Ликует душа у каждого,— сказал Марыганов.— До каких же пор терпеть фашистских злодеев тут, под Москвой?

— Точно. Задачу свою знаете, ребята? — озабоченно спросил Вяткин.

— За мой расчёт, Вася, будь покоен,— положив руку на его плечо, сердечно сказал Петро.

Он впервые назвал парторга по имени, ласково, и на душе стало тепло, хорошо.

Покурили. Затем Вяткин, собираясь уходить, сказал:

— Высотка нам, ребята, имейте в виду, попалась колючая. Шесть дзотов, до полусотни автоматчиков. Ну, и также, учтите, две миномётные батареи, артиллерийский дивизион Это на триста квадратных метров гадючьё понатыкало...

— Ну, и мы же не деревянными зубами кусать тот орешек будем,— ответил Петро.

— Это, конечно,— согласился Вяткин.— Ну, я пойду, друзья. У меня там «боевой листок» готовится.

Чуть брезжил неяркий зимний рассвет. Ракеты вспыхивали и гасли всё реже, а вскоре и совсем исчезли.

Петро начал различать за лощиной неясные контуры высоты, которую предстояло взять сегодня любой ценой. Угрюмо и мрачно высились вокруг неё сосны. Только намётанный глаз мог различить притаившиеся между деревьями присыпанные снегом дзоты. За высотой была деревня Салтыковка. Эсэсовцы несколько дней назад сожгли в ней живьём около ста женщин и стариков. «Возьмём высоту,— прикидывал Петро, вглядываясь в неё,— а там и Салтыковку очистим. Если остались люди, освободим. А там, дальше, русские города пойдут: Гжатск, Смоленск, Витебск... До Днепра дойдём... Это не так уж далеко. Перед Ярцевом.

Петро вспомнил свою Чистую Криницу. Она словно была тоже там, за той высотой... «Возьмём высоту — и к Чистой Кринице ближе будем...»

Тяжёлые свинцовые тучи ползли на юг. К девяти часам повалил густой снег.

— На нас работает,— сказал Петро.

— Лишь бы в глаза не сыпал.

Начала атаки ждали напряжённо. И всё же, когда вверху, мягко шурша, пронеслись первые снаряды и вслед за тем воздух потряс адский грохот, артиллерийская подготовка показалась неожиданной.

На высоте блеснули разрывы снарядов, сквозь густую пелену снега зачернели клубы дыма.

Через минуту яростно ответили немецкие батареи. Но в артиллерийскую подготовку включались всё новые и новые пушки, и когда властно и могуче загрохотали издали орудия большой мощности, ответный огонь врага сразу стал слабеть.

Петро поминутно оглядывался, боясь пропустить сигнал атаки.

— Минут тридцать будут утюжить,— нагибаясь к его уху, прокричал Сандунян. — Капут! Хенде хох! Конец гансу!..

Из-за леска, один за другим, выползали танки. Быстро разворачиваясь, вздымая тучи снежной пыли, они устремлялись вперёд.

В небо взвилась серия красных ракет. Тотчас же из окопов, траншей, укрытий, ходов сообщения начали выскакивать бойцы. Проваливаясь в непрочном снежном насте, они бросались за танками.

Петро первым выбрался на бруствер, помог товарищам. Его охватил такой бурный восторг, он ощущал такой прилив силы, что гитлеровцы, укрывавшиеся где-то за толстыми земляными стенами, за железными перекрытиями, колючей проволокой и минными полями, казались ему уже не теми хитрыми и опасными врагами, какими он считал их раньше, а жалкими и никчемными существами, трусливо прячущимися в своих норах от огненного смерча.

Пулемётчики пробежали несколько шагов, обгоняя бойцов, и вдруг Петро увидел, как передний танк закрыло дымом и землёй. Танк медленно накренился и застыл на месте. Ещё два или три танка, шедших в стороне, загорелись.

«Нарвались на мины...» — догадался Петро и невольно замедлил шаг. Было видно, как передние бойцы, успевшие пробежать за танками метров полтораста, залегли. Чёрные круги разрывов пятнили вокруг них снег. С визгом летели осколки.

Невдалеке пробежал вперёд бледный и обозлённый комбат; планшетка болталась у него на боку, шапка с налипшим снегом казалась непомерно большой и лохматой.

Противник снова усилил огонь. Рядом сухо зачмокали пули. Петро, заметив шагах в десяти глубокую воронку, взмахнул рукой:

— За мной, в укрытие!

— Петро!..

Рубанюк оглянулся и похолодел. Сандунян, корчась, прижимался грудью к земле. Марыганов переводил с него на Петра растерянный взгляд, не зная, что предпринять.

— В укрытие! Пулемёт!

Петро обхватил Сандуняна рукой и пополз с ним к воронке.

Навстречу, помогая друг другу, брели раненые, некоторых санитары тянули за собой на волокушах. Над горящими танками стлались облака жёлто-грязного дыма, потянуло удушливой гарью.

Сандуняна втащили в воронку, сняли с него полушубок, гимнастёрку. Выше локтевого сгиба пуля пробила мякоть руки. Пришлось израсходовать весь индивидуальный пакет, но кровь продолжала хлестать, и Петро, поняв, что повреждена артерия, мрачно заключил:

— Отвоевался, дружок. Придётся отправлять тебя на перевязочный...

Сандунян поднял голову и молча стал натягивать полушубок. Забинтованная рука беспомощно висела, и Марыганов бросился помогать.

— Ничего, Арсен,— сказал он ободряюще.— Врачи поглядят и обратно отпустят.

— Врачи? — грозно сдвинув брови, переспросил Сандунян.— Никаких врачей! С вами пойду.

Сандунян поморщился, приподымаясь, и потянул к себе здоровой рукой коробку с патронами.

— Пригнись! — крикнул Петро.

Мина разорвалась где-то за воронкой. Петро выглянул. Первое, что привлекло его внимание, была коренастая фигура полковника-танкиста в чёрном кожаном пальто. Он твёрдо и уверенно шагал к горящим танкам!

Такое презрение к свистящим вокруг осколкам и пулям было в его чуть покачивающейся походке, в высоко поднятой голове, что Петро подумал: если его убьют, это будет гордая и красивая смерть, поднимающая на подвиг даже слабодушных.

Танки начали отходить назад. Вместе с подоспевшими сапёрами танкисты ползали по полю, копались в снегу. Батареи с обеих сторон довели огонь до предельного напряжения.

Спустя минут сорок танки вновь рванулись вперёд, в проделанные для них проходы.

* * *

Высоту взяли к полудню. Крайний дзот продолжал сопротивляться, и расчёт Петра задержался, помогая стрелкам пулемётным огнём.

Сандунян добросовестно выполнял обязанности помощника наводчика, и об его ране забыли. Когда после ожесто-

чённого обстрела из дзота стали выходить пленные с поднятыми трясущимися руками, он, сгорбившись, постоял несколько минут с закрытыми глазами и, пошатываясь, пошёл за товарищами.

Около раздавленных гусеницами орудий в извилинах траншей валялись трупы, ящики от мин, разметанные солдатские пожитки.

Один из пленных, боязливо поглядывавших на бойцов, неожиданно вскочил на бруствер окопа и, закатывая глаза, закричал:

— Катценямер-р-р... умфассен!..

— Тронулся умом, — сказал Марыганов. — Ишь, выкомаривает...

Он запнулся на полуслове и одним прыжком скрылся за изгибом траншеи.

До Петра донёсся его приглушённый, злой голос, потом он появился, держа за ворот высокого костлявого унтер-офицера.

— Гранату собирался кинуть,— тяжело дыша, сообщил он Петру.— Гадюка!

Во вторых эшелонах ещё шла жаркая рукопашная схватка, а танки, покачиваясь на рытвинах и воронках, уходили вперёд— к разбитой деревне.

Тягачи подтаскивали могучие орудия. Из-за леса показалась конница.

В прорыв вводились войска.

Конец первой книги

Крым, 1944—1946.

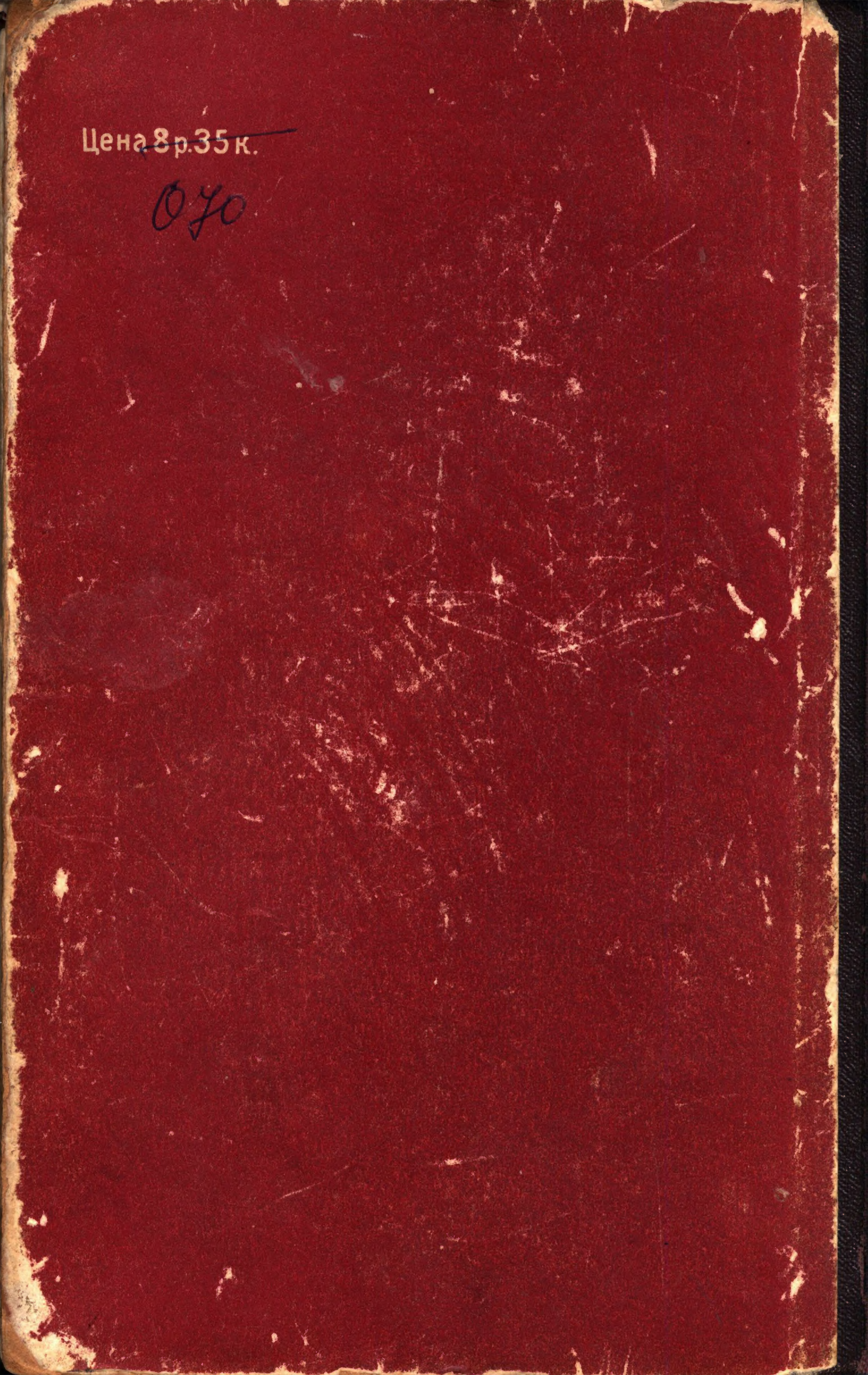
СОДЕРЖАНИЕ

Редактор *Козлов Н. Т.*
Переплет и титул *Кривинской Е. Я.*
Иллюстрации *Пинкисевича П. Н.*
Технический редактор *Захарова Н. П.* Корректор *Мартьянова М. Е.*

Г-92175 Подписано к печати 5.7.52. г. Изд. № 1/6093
Формат бумаги 84×108[1]/32 — 6,375 б. л. = 20.91 печ. л., + 1 вкл. 22,237 уч.-изд. л.

Номинал — по прейскуранту 1952 года

2-я типография им К. Е. Ворошилова Управления Военного Издательства
Военного Министерства Союза ССР
Зак. № 38


Цена 8р.35к.
070

Е. ПОПОВКИН

СЕМЬЯ РУБАНЮК